

|| 2 ||

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2

|| 1978 ||



1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1978 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Л. И. БРЕЖНЕВ — <i>Малая земля</i>	3
ДОЛГ — Юрий Белченко, Светлана Гершанова, Юлия Дручина, Игорь Иванов, М. Кабаков, Борис Куяев, Сергей Курганов, Н. Рудой, Владимир Сапронов, Виктор Федотов, Валерий Черкашин, Константин Шашкай, Сергей Алиханов. Стихи	34
ЮРИЙ ПИЛЯР — <i>Забывать прошлое</i> , роман	46
АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО — <i>В поте лица своего...</i> , роман. Продолжение	148
ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ: Джайн Хаулетт, Антони Рудольф. Перевел Е. Винокуров	183
В МИРЕ НАУКИ	
ВЛАДИМИР ШУБКИН — <i>Пределы</i>	187
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
В. ДРОБЫШЕВ — <i>Заявские эскизы</i>	218
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЕВГЕНИЙ ГРОМОВ — <i>Аспекты героического</i> . Заметки о книгах и фильмах	232
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — <i>Писатель и война</i>	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
	<i>Литература и искусство</i> 260
В. Косолапов. Военные дневники Константина Симонова.— Владимир Савельев. «Поэзия — она живет, как мы...» — Ю. Смелков. Плохой хороший человек.— Дора Дычко. Мир Пушкина, мир исследования.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	273
Ким Селихов. Страницы наших биографий.— Б. Жировов. Влиятельная сила современности.— Дмитрий Билевкин. Все, что возможно, сбудется!	
КОРОТКО О КНИГАХ: Г. Егорова.— Н. М. Матузова. Рабочий класс в художественной литературе ФРГ. ♦ Е. Цейтлин.— Н. Яновский. Леонид Иванов. ♦ Вл. Андреев, Ф. Поварков.— Михаил Царев. Малый театр. ♦ Владимир Даненбург.— И. Дубинский, Г. Шевчук. Червонное казачество. ♦ Анна Илупина.— О. П. Воронова. Вера Игнатьевна Мухина. ♦ Л. Василевский.— Франсиско Мероньо. И снова в бой	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

Л. И. БРЕЖНЕВ

★

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

Более тридцати лет минуло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война. Но то, как мы выстояли в этой войне, что было пережито советским народом во имя победы над врагом, всегда живет в памяти.

С первого дня до победы прошел войну Л. И. Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

В адрес Леонида Ильича Брежнева на протяжении многих лет приходят письма от людей разных возрастов и профессий — из Советского Союза и зарубежных стран, в которых его просят поделиться своими воспоминаниями о тех огненных годах.

Леонид Ильич Брежнев предоставил редакции свои записки, в которых он рассказывает об одном сражении Великой Отечественной войны — битве на Малой земле.

1

Дневников на войне я не вел. Но 1418 огненных дней и ночей не забыты. И были эпизоды, встречи, сражения, были такие минуты, которые, как и у всех фронтовиков, никогда не изгладятся из моей памяти.

Сегодня мне хочется рассказать о сравнительно небольшом участке войны, который солдаты и моряки называли Малой землей. Она действительно «малая» — меньше тридцати квадратных километров. И она великая, как может стать великой даже пядь земли, когда она полита кровью беззаветных героев. Чтобы читатель оценил обстановку, скажу, что в дни десанта каждый, кто пересек бухту и прошел на Малую землю, получал орден. Я не помню переправы, когда бы фашисты не убивали, не топили сотни наших людей. И все равно на вырванном у врага плацдарме постоянно находилось 12—15 тысяч советских воинов.

17 апреля 1943 года мне надо было в очередной раз попасть на Малую землю. Число запомнил хорошо, да и ни один малоземец, думаю, не забудет его: в тот день гитлеровцы начали операцию «Нептун». Само название говорило об их планах — сбросить нас в море. По данным разведки мы знали об этом. Знали, что наступление они готовят не обычное, а решающее, генеральное.

И мое место было там, на передовой, в предместье Новороссийска, мысом входившем в Цемесскую бухту, на узком плацдарме Малой земли.

Как раз в апреле я был назначен начальником политотдела 18-й армии. Учитывая предстоящие бои, ее преобразовали в десантную, усилили двумя стрелковыми корпусами, двумя дивизиями, несколькими полками, танковой бригадой, подчинили ей в оперативном отношении Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота.

На войне не выбираешь, где воевать, но, должен признаться, назначение меня обрадовало. 18-ю все время бросали на трудные участки, приходилось уделять ей особое внимание, и я там, как говорится, дневал и ночевал. С командующим К. Н. Леселидзе и членом Военного совета С. Е. Колониным давно нашел общий язык. Так что перевод в эту армию из политуправления фронта лишь узаконил фактическое положение дел.

Переправы мы осуществляли только ночью. Когда я приехал на Городскую пристань Геленджика, или, как ее еще называли, Освободскую, у причалов не было свободного места, теснились суда разных типов, люди и грузы находились уже на борту. Я поднялся на сейнер «Рица». Это была старая посуда, навсегда пропахшая рыбой, скрипели ступеньки, ободраны были борта и планшир, незрешечена шрамами от осколков и пуль палуба. Должно быть, немало послужила она до войны, несладко приходилось ей и сейчас.

С моря дул свежий ветер, было зябко. На юге вообще холод переносится тяжелее, чем на севере. Почему — объяснить не берусь, но это так. Сейнер обживался на глазах. В разных местах на разных уровнях бойцы устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Каждый искал себе закуток поуютнее, пусть хоть тонкой дощатой перегородкой, но закрытый со стороны моря. Вскоре поднялся на борт военный лоцман и все пришло в движение.

Как-то странно это выглядело, будто толпой повалили на рейд. Но так было в первые минуты. Каждое судно точно знало свое место. «Рица» шла первой, за ней пыхтели, как мы называли их, мотоботы — № 7 и № 9. Сейнер взял их на буксир, остальные суда вытянулись в караван с расстоянием 400—500 метров друг от друга, и мы взяли курс на Малую землю. Шли под охраной «морских охотников».

За три часа хода я думал побеседовать с бойцами пополнения, хотел лучше узнать людей. Общей беседы не вышло. Десантники уже заняли на палубе свои места, и не хотелось их поднимать. Решил пройти от группы к группе. Кому-то задавал вопросы, с кем-то перебрасывался большей частью репликами, присаживался к бойцам для разговора. Убедился, что народ в основном обстрелянный, настроение боевое. Я хорошо знал, что нужен разговор с солдатами, но я знал и другое: иной раз важнее бесед было для солдат сознание, что политработник, политический руководитель, идет вместе с ними, претерпевает те же тяготы и опасности, что и они. И это было тем важней, чем острее складывалась боевая обстановка.

Далеко впереди, над Новороссийском, светило зарево. Доносились гулкие удары артиллерии, это было уже привычно. Значительно левее нас шел морской бой. Как мне сказали позже, это сошлись наши и немецкие торпедные катера. Я стоял на правом открытом крыле ходового мостика рядом с лоцманом; фамилия его, кажется, была Соколов.

— Бойцы, — рассказывал он, — идут в десант один раз, а катерники каждую ночь. И каждая ночь — это бой. Привыкли. Мы, лоцманы, чувствуем особую ответственность за всех. По существу, часто приходится, как говорится, на ощупь вести суда. На земле саперы раз-

ведает минное поле, сделают в нем проходы и уверенно ведут за собой людей. А наш путь немцы все время минируют заново — и с самолетов и с судов. Где вчера прошел спокойно, там сегодня можно напороться на мину.

Чем ближе подходили к Цемесской бухте, тем сильнее нарастал грохот боя. Ночью плацдарм не часто бомбили, а тут волнами со стороны моря накатывали вражеские бомбардировщики, гул их заглушался грохотом взрывов, и от этого казалось, что самолеты подкрадываются бесшумно. Они пикировали и тут же, разворачиваясь, уходили в сторону. Люди у нас подтянулись, суровее стали лица бойцов, вскоре мы и сами оказались на свету.

Ночная тьма во время переправ была вообще понятием относительным. Светили с берега немецкие прожекторы, почти непрерывно висели над головой «фонари» — осветительные ракеты, сбрасываемые с самолетов. Откуда-то справа вырвались два вражеских торпедных катера, их встретили сильным огнем наши «морские охотники». Вдобавок ко всему фашистская авиация бомбила подходы к берегу.

То далеко от нас, то ближе падали бомбы, поднимая огромные массы воды, и она, подсвеченная прожекторами и разноцветными огнями трассирующих пуль, сверкала всеми цветами радуги. В любую минуту мы ожидали удара, и тем не менее удар оказался неожиданным. Я даже не сразу понял, что произошло. Впереди громыхнуло, поднялся столб пламени, впечатление было, что разорвалось судно. Так оно в сущности и было: наш сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх.

Я не почувствовал боли. О гибели не думал, это точно. Зрелище смерти во всех ее обличьях было уже мне не в новинку, и хотя привыкнуть к нему нормальный человек не может, война заставляет постоянно учитывать такую возможность и для себя. Иногда пишут, что человек вспоминает при этом своих близких, что вся жизнь проносится перед его мысленным взором и что-то главное он успевает понять о себе. Возможно, так и бывает, но у меня в тот момент промелькнула одна мысль: только бы не упасть обратно на палубу.

Упал, к счастью, в воду, довольно далеко от сейнера. Вынырнув, увидел, что он уже погружается. Часть людей выбросило, как и меня, взрывом, другие прыгали за борт сами. Плавал я с мальчишеских лет хорошо, все-таки рос на Днепре, и в воде держался уверенно. Отдышался, огляделся и увидел, что оба мотобота, отдав буксиры, медленно подрабатывают к нам винтами.

Я оказался у бота № 9, подплыл к нему и лоцман Соколов. Держась рукой за привальный брус, мы помогали взбираться на борт тем, кто под грузом боеприпасов на плечах с трудом удерживался на воде. С бота их втаскивали наверх. И ни один, по-моему, оружия не бросил.

Прожекторы уже нащупали нас, вцепились намертво, и из района Широкой балки западнее Мысхако начала бить артиллерия. Били неточно, но от взрывов бот бросало из стороны в сторону. Грохот не утихал, а снаряды вокруг неожиданно перестали рваться. Должно быть, наши пушки ударили по батареям противника. И в этом шуме я услышал злой окрик:

— Ты что, оглох? Руку давай!

Это кричал на меня, протягивая руку, как потом выяснилось, старшина второй статьи Зимода. Не видел он в воде погон, да и не важно это было в такой момент. Десантные мотоботы, как известно, имеют малую осадку и низко сидят над водой. Ухватившись за брус, я рванулся наверх, и сильные руки подхватили меня.

Тут только почувствовал озноб: апрель даже на Черном море не самое подходящее время для купания. Сейнера уже не было. Бойцы выжимали одежду и негромко ругались: «Чертов фриц, проклятый!» Постепенно все поутихло, устраиваясь за ящиками и тюками. Ложились согнувшись или ничком, будто это могло спасти. А ведь главное было впереди. Главное — бой, куда вступить нам предстояло сейчас же.

И вдруг в этой трагической обстановке, при свете взрывов и огненных трасс родилась песня. Пел один из матросов, помнится, очень большого роста; это была песня, рожденная на Малой земле, в ней говорилось о нестигаемой воле и силе таких вот бойцов, какие были сейчас на боте. Я знал эту песню, но теперь мне кажется, что именно тогда впервые ее услышал. Врезалась в память строка: «На тех деревянных скорлупках железные плавают люди».

Медленно стали приподниматься головы, лежавшие садились, сидевшие вставали, и вот уже кто-то начал подпевать. Никогда не забуду этот момент: песня распрямила людей. Несмотря на то только что пережитое, все почувствовали себя увереннее, обрели боевую форму.

Вскоре бот зашуршал по дну, и мы начали прыгать на берег. Резко зазвучали команды, бойцы сгружали ящики с боеприпасами, другие подхватывали их на плечи и бегом — тут подгонять не надо, огонь торопит — несли к укрытиям. Свалив груз, тотчас бежали обратно, все это под обстрелом, под грохот непрекращавшейся бомбежки. А с берега уже несли на носилках раненых, приготовленных к эвакуации, которых наше пополнение должно было сменить.

Пологая прибрежная полоса была покрыта галькой, дальше вздымалась круча, изрытая нишами. К ним-то и надо было проскочить, чтобы укрыться от огня, а затем, забравшись еще десятка на полтора метров вверх, прыгнуть в траншею, ведущую в глубь Малой земли. И хотя, повторяю, главное было еще впереди, тут уж люди чувствовали себя спокойно. По ходам сообщения отсюда можно было пробраться к любой воюющей на плацдарме части, едва ли не к любому подразделению.

Переправы всегда были опасны, само плавание не обходилось без риска, и выгрузка, и перебежка, и подъем по круче, но всякий раз, прибывая на Малую землю, я возвращался к мысли: а как же высаживались здесь наши люди, когда на месте нынешних спасительных укрытий стояли немецкие пулеметы, а по ходам сообщения бежали невидимые десантникам гитлеровцы с автоматами и гранатами? У каждого, кто вспоминал, что тем, первым, было намного труднее, наверняка прибавлялось сил.

Все же, как известно, мы удерживали Малую землю ровно столько, сколько требовалось по планам советского командования, — 255 дней. Как мы их тогда прожили — я и хочу рассказать.

2

Нам война была не нужна. Но когда она началась, великий советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессорами.

Помню, в 1940 году Днепропетровский обком партии собирал совещание лекторов. Я тогда уделял особое внимание военно-патриотической пропаганде, о чем и шел у нас разговор. А был, как известно, заключен договор о ненападении с Германией, в газетах публиковались снимки встреч Молотова с Гитлером, Риббентропа со Сталиным, договор обеспечивал нам необходимую передышку, давал

время для укрепления обороноспособности страны, но не все это понимали. И вот как сейчас вижу, встал один из участников совещания, хороший лектор по фамилии Сахно, и спросил:

— Товарищ Брежнев, мы должны разъяснять о ненападении, что это всерьез, а кто не верит, тот ведет провокационные разговоры. Но народ-то мало верит. Как же нам быть? Разъяснять или не разъяснять?

Время было достаточно сложное, в зале сидело четыре сотни человек, все ждали моего ответа, а раздумывать долго возможности не было.

— Обязательно разъяснять,— сказал я.— До тех пор, товарищи, будем разъяснять, пока от фашистской Германии не останется камня на камне!

В ту пору я был секретарем Днепропетровского обкома по оборонной промышленности. И если кто и мог позволить себе благодушие, то я каждоедневно должен был думать о том, что нам предстоит. На мою долю выпало немало важных и срочных дел по организации и координации такого мощного комплекса обороны, каким был в то время юг Украины, и в частности Приднепровье.

Заводы, изготавливавшие сугубо мирную продукцию, переходили на военные рельсы, наши металлурги осваивали специальные марки стали, мне приходилось связываться с наркоматами, вылетать в Москву, бесконечно ездить по области. Выходных мы не знали, в семье я бывал урывками, помню, что и в ночь на 22 июня 1941 года допоздна засиделся в обкоме, а потом еще выехал на военный аэродром, который мы строили под Днепропетровском. Этот стратегически важный объект был на контроле в ЦК, работы шли днем и ночью, только под утро я смог вернуться со строительной площадки.

Подъехав к дому, увидел, что у подъезда стоит машина К. С. Грушевого, который замещал в то время первого секретаря обкома. Я сразу понял: что-то случилось. Горел свет в его окнах, и это было дико в свете занимавшейся зари. Он выглянул, сделал мне знак подняться, и я, еще идя по лестнице, почувствовал что-то неладное и все-таки вздрогнул, услышав: «Война!» Вот в эту минуту, как коммунист, я твердо и бесповоротно решил, где мне надлежит быть. Обратился в ЦК с просьбой направить меня на фронт — и в тот же день моя просьба была удовлетворена: меня направили в распоряжение штаба Южного фронта.

Я благодарен Центральному Комитету нашей партии за то, что одобрено было мое стремление быть в действующей армии с первых дней войны. Благодарен за то, что в 1943 году, когда часть нашей территории была освобождена, посчитались с просьбой — не отзывать меня в числе партийных работников-фронтовиков, направляемых на руководящую работу в тыл. Благодарен и за то, что в 1944 году была удовлетворена просьба не назначать на более высокий пост, который отдалил бы меня от непосредственных боевых действий, а оставить до конца войны в 18-й десантной армии. Мной руководило одно чувство — защитить нашу землю, бить врага везде и повсюду, дойти до конца, до полной победы. Только так можно было вернуть мир на земле.

С 18-й армией связана моя фронтовая жизнь, и она навсегда сделалась для меня родной. В рядах 18-й я сражался в горах Кавказа в момент, когда там решались судьбы Родины, воевал на полях Украины, одолевал карпатские хребты, участвовал в освобождении Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии. С этой армией был и на Малой земле, роль которой в освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова значительна.

Бывает, попадет человек в такие обстоятельства, когда за год увидит, узнает, прочувствует столько, чего в иное время не вместит и целая жизнь. Насыщенность событий на этом плацдарме была так велика, а бои столь жестоки и непрерывны, что, казалось, шли они не 255 дней, а целую вечность. И это все мы пережили.

В географическом смысле Малая земля не существует. Чтобы понять дальнейшее, надо ясно представить себе этот каменистый клочок суши, прижатый к воде. Протяженность его по фронту была шесть километров, глубина — всего четыре с половиной километра, и эту землю во что бы то ни стало мы должны были удержать.

Как появился плацдарм? Новороссийск расположен на берегах Цемесской бухты, которая глубоко врезается в горы. Там два цементных завода — «Пролетарий» и «Октябрь». С одной стороны были мы, а с другой — немцы. К началу 1943 года левый берег весь был у противника, с высот он контролировал движение нашего флота, и надо было этого преимущества его лишить. Вот и родилась мысль: давайте попробуем высадить десант и захватить предместье Новороссийска. Это не только надежнее прикрывало бы бухту от проникновения врага в ее воды, но и облегчило бы нам все последующие бои.

Гитлеровцы хорошо это понимали. Цифрами я постараюсь не злоупотреблять, но одну сейчас приведу. По плацдарму, когда мы заняли его, фашисты били непрерывно, обрушили гигантское количество снарядов и бомб, не говоря уж об автоматном-пулеметном огне. И подсчитано, что этого смертоносного металла на каждого защитника Малой земли приходилось по 1250 килограммов.

На плацдарме сражалось почти две трети 18-й десантной армии, и большую часть своего времени я проводил на Малой земле. Так что и на мою долю из тех килограммов смертоносного металла тоже кое-что предназначалось.

Думается, что десант на Малую землю и бои на ней могут служить образцом военного искусства. Мы тщательно подбирали людей, специально готовили их. На Тонком мысу в Геледжике тренировали штурмовые группы, учили их прыгать в воду с пулеметами, взбираться по скалам, бросать гранаты из неудобных положений. Бойцы освоили все виды трофейного оружия, научились метать ножи и бить прикладами, перевязывать раны и останавливать кровь. Запоминали условные сигналы, наловчились с завязанными глазами заряжать диски автоматов, по звуку выстрелов определять, откуда ведется огонь. Без этой выучки дерзкий десант и особенно самая первая ночная схватка были немислимы — все предстояло делать в темноте, на ощупь.

В первую группу, названную отрядом особого назначения, брали только добровольцев. И только таких, кто уже проявил героизм. Командиром десанта назначили майора Ц. А. Куникова. На этого умного и сильного человека я обратил внимание еще в предыдущих сражениях, когда он командовал батальоном морской пехоты. Заместителем по политчасти шел старший лейтенант Н. В. Старшинов, а начальником штаба — майор Ф. Е. Котанов, тоже хорошо показавшие себя в боевых делах. Все трое получили впоследствии звание Героя Советского Союза. Куников — посмертно (он погиб на четвертый день после высадки), а Старшинов и Котанов — в боях, которые были уже после Малой земли.

При формировании отряда им предоставили право отбирать людей из любых частей Новороссийской военно-морской базы. Право, конечно, исключительное, но продиктованное необходимостью. Мы понимали, что в таком десанте слишком велика роль буквально каж-

дого бойца. Так собрано было пять штурмовых групп, объединенных в отряд численностью в 250 человек. В тяжелейшем испытании им предстояло бить впереди, и они выполнили свой долг.

В 1974 году в Новороссийском музее я обратил внимание на примечательный документ. Это был рапорт старшего лейтенанта В. А. Ботылева, высадившегося на плацдарме в ту же ночь, что и Куников. Он писал: «Доношу, что в первой штурмовой группе убитых — 1 человек, раненых — 7 человек. Из них кандидатов ВКП(б) убитых — 1 человек, кандидатов ВКП(б) раненых — 4 человека, комсомольцев раненых — 2 человека, беспартийных раненых — 1 человек. Первая боевая задача, поставленная командованием, выполнена. Политико-моральное состояние группы высокое».

Здесь уместно будет вспомнить, что на фронтах Великой Отечественной войны пали смертью храбрых три миллиона коммунистов. И пять миллионов советских патриотов пополнили ряды партии в годы войны. «Хочу идти в бой коммунистом!» — эти ставшие легендарными слова я слышал едва ли не перед каждым сражением, и тем чаще, чем тяжелее были бои. Какие льготы мог получить человек, какие права могла предоставить ему партия накануне смертельной схватки? Только одну привилегию, только одно право, только одну обязанность — первым подняться в атаку, первым рвануться навстречу огню.

Перед высадкой отряд принял клятву. Коммунист Куников построил всех на небольшой площади, еще раз напомнил, что операция будет смертельно опасная, и предупредил: кто считает, что не выдержит испытаний, может в десант не идти. Он не подал команды, чтобы эти люди сделали, скажем, три шага вперед. Щадя их самолюбие, сказал:

— Ровно через десять минут прошу снова построиться. Тем, кто не уверен в себе, в строй не становиться. Они будут отправлены в свои части как прошедшие курс учебы.

Когда отряд построился, мы недосчитались всего лишь двух человек.

Торжественную клятву, принятую перед выходом в море, и сейчас, спустя десятилетия, нельзя читать без волнения. «Идя в бой,— говорилось в ней,— мы даем клятву Родине в том, что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни ради победы над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою капля за каплей мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина... Нашим законом есть и будет только движение вперед».

Мысленно возвращаясь к тем штурмовым дням, вспоминая суровую клятву, я всегда испытываю душевное волнение и гордость. История знает немало героических подвигов одиночек, но только в нашей великой стране, только ведомые нашей великой партией, советские люди доказали, что они способны на массовый героизм.

3

Итак, наступила ночь высадки десанта. Хорошо помню настроение, царившее на пристани. Я не видел ни одного хмурого лица, лица были скорее веселые, на них читалось нетерпение. Моряки бегом таскали ящики и кричали: «Полундра!» Я, помню, спросил у одного:

— Что такое полундра?

Оказалось, «берегись». Так я узнал значение этого слова.

Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из

пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы «катюши» (впервые в практике войны на тральщике «Скумбрия» была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину.

На войне не все идет по плану. Часто бои разворачиваются не совсем так, а иногда и совсем не так, как рисовалось на штабных картах. И тогда поистине бесценны становятся отвага, преданность, инициатива каждого командира и политработника, каждого солдата и матроса. Военные историки знают, что была попытка захватить плацдарм и в другом месте — за тридцать километров отсюда, в районе Южной Озерейки. Собственно, основной десант и намечался там, но помешал шторм, задержавший выход судов, позже прибыли на исходные рубежи и сухопутные части. А прорыв куниковцев, неожиданный для врага, увенчался полным успехом, чем мы мгновенно и воспользовались.

Демонстративный десант был превращен во вспомогательный, а затем стал основным. С него и началась эпопея Малой земли. Пробившись сквозь огневую завесу, наш штурмовой отряд успел занять совсем еще небольшой, но очень важный участок берега в районе предместья Новороссийска — Станички. Уничтожено было около тысячи фашистов, отбито четыре трофейных орудия, которые тотчас открыли огонь по врагу. Спустя полтора часа здесь высадилась вторая группа десантников, затем еще одна, число их выросло уже до 800 человек.

К месту высадки противник перебросил новые части, вела бомбежки фашистская авиация, начала бить по плацдарму тяжелая артиллерия, одна за другой шли отчаянные контратаки. Но было уже поздно: десантники успели надежно закрепиться. Они овладели несколькими кварталами Станички и железной дорогой на протяжении трех километров. И хотя потери понесли немалые, но не отошли ни на шаг. Солдаты и матросы верны были клятве, они знали, что надо продержаться до подхода главных сил, в них ощущался еще веселый азарт от удачного десанта — такими я запомнил этих людей.

За несколько ночей на плацдарме высадились две бригады морской пехоты, стрелковая бригада, истребительно-противотанковый полк и другие части. На берег были выгружены сотни тонн боеприпасов и продовольствия. Спустя пять дней в районе Станички и Мысхако уже находилось 17 тысяч бойцов с автоматами, минометами, орудиями, противотанковыми пушками. Затем на Малую землю высадилось пять партизанских отрядов — «За Родину», «Гроза», «Норд-ост», «Новый» и «Ястребок».

Пользуясь случаем, хочу сказать доброе слово о партизанах. Если у кого-либо есть представление о них как о неких обособленных группах в тылу врага, то это представление ошибочно. Многие отряды возникали стихийно, но они имели руководимый партией Центральный штаб и, бывало, проводили крупные операции в полном соответствии с замыслами командования регулярных частей. Так было и на Малой земле, где всеми пятью отрядами руководил секретарь Новороссийского горкома партии П. И. Васев, тесно связанный с нашим штабом.

А в общем, повторяю еще раз, десант на Малую землю может быть признан образцом военного искусства. Успех высадки первого штурмового отряда, оперативное наращивание сил, продвижение полков и корпусов по сильно укрепленному, минированному берегу — все это требовало четкого взаимодействия пехоты, саперных частей, моряков, артиллеристов. Ни малейшей ошибки не могли допустить «боги войны»: во многих местах наши части сошлись с вражескими чуть ли не до расстояния броска гранаты. Еще сложнее было летчикам. Помню, перед налетами нашей авиации бойцы выкладывали на бруствер окопов нижние рубахи, чтобы очертить свой передний край.

Надо сказать, мы находились в крайне невыгодном географическом положении. У нас была узкая полоска берега — длинная, голая и ровная, а у немцев — все высоты, лес. Может возникнуть вопрос: как же могли остаться в живых люди, если на них обрушивались сотни тонн смертоносного металла, если силы противника во много раз превышали наши, если с окружающих гор враг видел Малую землю как на ладони? Всему этому противостояли опыт, хладнокровие, расчет и каждодневный труд.

В ту пору я хорошо понял, что война — это, кроме всего, еще и исполинский труд. Труд вчерашних металлургов, слесарей, шахтеров, землепашцев, комбайнеров, конюхов, строителей, плотников. Труд народа, надевшего солдатскую шинель. Проявления не только преданности и отваги, но и великой выдержки, упорства, умения, сноровки.

По сути, вся Малая земля превратилась в подземную крепость. 230 надежно укрытых наблюдательных пунктов стали ее глазами, 500 огневых укрытий — ее бронированными кулаками, открыты были десятки километров ходов сообщения, тысячи стрелковых ячеек, окопов, щелей. Нужда заставляла пробывать штольни в скальном грунте, строить подземные склады боеприпасов, подземные госпитали, подземную электростанцию. Нужда заставляла ходить только по траншеям, это нелегко, но чуть высунешься — и конец. Все сидели подолгу, и потом, когда фашисты стали отступать, у некоторых бойцов появилась, как мы называли ее, «сидячая болезнь».

Инженерные войска проявляли удивительную изобретательность. Воронки от взрывов, иные из которых скорее назывешь котлованом, саперы соединяли траншеями и превращали в блиндажи. На узком пятачке Малой земли были созданы три линии обороны, отстоявшие одна от другой на километр. Вдоль каждой — минные поля. Надежно действовали подземные линии связи. Командный пункт десанта, врезанный в скалу на глубине шести с половиной метров, мог скрытно, по ходам сообщения, перебрасывать войска туда, где создавалось угрожающее положение.

В районе Станички нейтральной полосы у нас фактически не было: противник находился в пятнадцати — двадцати метрах от наших позиций. Однако приходя туда, я видел, что и на этом участке передний край — край постоянной тревоги и опасности — был густо заминирован и оплетен заграждениями. В ходе работ саперам приходилось иной раз вступать в рукопашные схватки.

Укрепленный плацдарм стал своеобразным городом-крепостью. Появились даже улицы — Госпитальная, Саперная, Пехотная, Матросская. На них не было ни одного дома, неизвестно кто придумал эти названия, но случайными они не были. Скажем, Саперная — это овраг, защищенный от огня, а Госпитальная — бугристая местность, насквозь простреливаемая, откуда люди часто попадали в госпитали. Укрепления строились под огнем, не было ни механизмов, ни стройматериалов, но зарывались наши умельцы с толком, обживали землю осно-

вательно, по-хозяйски — так, чтобы отсюда не уйти. Каждого, кто сооружал эту крепость, можно назвать героем.

С особой теплотой я вспоминаю немолодых саперов. Их не посылали ставить на виду у врага минные заграждения, «старички» занимались, казалось бы, самым мирным делом: в нескольких километрах от Геленджика, близ Джанхота, рубили лес, вязали его в плоты и по ночам доставляли на Малую землю. Но как доставляли! Темных ночей над Цемесской бухтой, как уже сказано, мы никогда не видели. По безоружным плотам начинала бить артиллерия. Ни ответить на огонь, ни маневрировать своим неповоротливым грузом саперы не могли. Они сползали в холодную воду и, держась за бревна, продолжали свой путь. Если в плот попадал снаряд, то на плаву они опять стягивали его, только бы не растерять драгоценный лес. Если тонул буксир, давали ракетами условный сигнал и ждали, пока подойдет какой-нибудь мотобот. Вот какими были эти «старички».

У читателя может создаться впечатление, будто тысячи людей на плацдарме жили только атаками, бомбежками, рукопашными схватками. Нет, за долгое время тут утвердилось жизнь, в которой было место всему, чем обычно живет человек. Читали и выпускали газеты, проводили партийные собрания, справляли праздники, слушали лекции. Затеяли даже шахматный турнир. Выступали армейский и флотский ансамбли песни и пляски, работали художники Б. Пророков, В. Цигаль, П. Кирпичев, создавшие большую галерею героев обороны.

Помню, приехала к нам бригада ЦК. Люди первый раз попали в наши условия и попросили меня познакомить их с бойцами Малой земли. Вышли в тот раз на торпедном катере. Как только двинулись, наши дали ракету. Это сигнал: свои или чужие. А немцы, когда мы подходили к месту, палили непрерывно. Орудия у них навесные, и потому важно было прижаться к берегу, пройти по краю. Снова взрывались снаряды, совсем близко от нас. Если не знать, что метят в тебя, красота необыкновенная. На плацдарме стояла похожая на Царьколокол дальнобойная морская батарея. Ее малоземельцы превратили в командный пункт. Пришлось нам под обстрелом пробираться туда, я уж по привычке, а для гостей впечатление было, думаю, сильное. Запомнился вынырнувший из темноты морячок, который нес какой-то груз.

— Помоги немного, братишка, — попросил он. — Для всех несу.

Когда теперь, треть века спустя, вспоминаешь о том, что выпало на долю бойцов, командиров, политработников нашей армии, даже не верится порой, что это все было, что это можно было выдержать. Однако выдержали. Все выдержали, через все прошли и победили, разгромили фашистов.

В тот день, привезя на Малую землю свежих людей, которые приехали к нам из Москвы, я как бы и сам взглянул на привычное и знакомое другими глазами. Видел все это и раньше, а тут у в и д е л — и постоянную смертельную опасность, и невыносимые трудности, и беззаветный героизм наших воинов.

Бывало, конечно, очень тяжело. Мы были отрезаны от Большой земли, у нас не хватало соли, случались перебои с хлебом. Целые подразделения посылали в лес собирать дикий чеснок. С другой стороны, было сыро в этих катакомбах, по ночам бойцы мерзли, и работникам политотдела пришлось заботиться об отоплении, заказывать буржуйки, собирать дрова. И все равно Малая земля оставалась советской землей, а люди оставались людьми. Они строили планы, шутили, смеялись, отмечали даже и дни рождения. Например, 15 февраля, то есть на одиннадцатый день после первой высадки, одному из десант-

ников, Шалве Татарашвили, исполнилось 23 года. Его неразлучный друг Петр Верещагин подарил ему 23 патрона из своего диска. Это был самый дорогой подарок, потому что патронов не хватало, а ожидалась очередная атака врага.

Многое в этой жизни рядом со смертью было на первый взгляд несовместимо с войной. Как-то начальник политотдела 255-й бригады морской пехоты И. Дорофеев насчитал в бригаде пятнадцать депутатов городских, районных и сельских Советов. Решили созвать сессию. Какие же проблемы они могли решать? Да те же, что и в мирные дни: нужды населения, бытовое обслуживание. Первым был у них решен вопрос о строительстве бани. И построили! Как говорится, в нерабочее время соорудили отличную баньку. И меня как-то туда сводили. Парная хоть и небольшая, но пар держала хорошо.

Очень ценились на Малой земле находчивость, выдумка, остроумие. И людей, способных на это, было немало. Помню, как один راستоронный парень, посланный по каким-то делам в Геленджик, обнаружил в горах бродячую бездомную корову. И решил доставить ее на Малую землю. Пригнал корову на пристань и просит командира бота принять ее на борт. Все вокруг смеются, но идею поддерживают: раненым будет молоко. Так невредимой и доставили. Поместили в надежное укрытие, молоко сдавали в госпиталь, находившийся в подвале бывшего винного совхоза.

Дело, однако, не в молоке. Корова приносила большую радость людям, особенно пришедшим на войну из села. После каждого артобстрела или бомбежки бойцы прибегали узнать, цела ли буренка, не поранена ли, ласково поглаживали корову. Не просто объяснить все это, но появление сугубо мирного существа в обстановке огромного напряжения помогало людям поддерживать душевное равновесие. Напоминало: все радости к человеку вернуться, жизнь продолжается, надо только суметь отстоять эту жизнь.

Хороший подарок малоземельцам был преподнесен в честь 1 мая 1943 года. Когда рассвело, люди ахнули и заулыбались от радости. Ночью в разных местах расположения бригады бойцы водрузили красные знамена. Утром их увидели все, в том числе, конечно, и немцы.

Я помню, какое потрясающее впечатление во времена черно-белого кино произвело появление на экране красного флага в кинофильме «Броненосец «Потемкин». Здесь же, на Малой земле, изрытой бомбами и снарядами, усеянной осколками, прокопченной и окровавленной, в окружении врага, водруженные знамена буквально ошеломили. Гул восторженных голосов прокатился над этой истерзанной землей. Что-то очень дорогое лично каждому ощутили люди. После первого порыва волнения всех охватило веселье. Смеялись от радости, от сознания своей силы: «Смотри, проклятый фашист! На-ка выкуси!»

Апрельские бои, последовавшие за памятной переправой, когда мне пришлось искупаться в воде, были самыми жестокими на Малой земле. О них я сейчас расскажу.

Подготовленная фашистами операция «Нептун» должна была, по их замыслам, полностью покончить с нашим плацдармом. Специально для этого создавалась ударная группа войск Ветцеля численностью до 27 тысяч человек, действовать ей предстояло при поддержке 1200 самолетов, сотен орудий и минометов. Планировалась и операция с моря под не менее выразительным названием «Бокс». В группу «Бокс» были включены флотилии торпедных катеров и подводные

лодки. На них возлагалась обязанность перерезать наши морские коммуникации и уничтожать советские войска после того, как они будут сброшены в море. Так это все им представлялось.

Бои на Малой земле, начавшиеся 17 апреля, развивались с нарастающей силой. Каждый день противник вводил пополнение. Рано утром начинали бить его тяжелые батареи. Одновременно в небе появлялись самолеты. Они буквально висели над нами, шли волнами по 40—60 машин, сбрасывая бомбы на всю глубину обороны и по всему фронту. Вслед за скоростными бомбардировщиками двигались пикирующие — тоже волнами, затем штурмовики. Все это длилось часами, после чего начинались атаки танков и пехоты.

Атаковали фашисты самоуверенно, считая, что в сплошном дыму, закрывшем Малую землю, ничего живого остаться уже не могло. Но их атаки наталкивались на яростное сопротивление, и они откатывались назад, оставляя сотни и сотни трупов. Тогда все начиналось сначала. Снова били тяжелые батареи, снова завывали пикировщики, свистовали штурмовики. Так повторялось по нескольку раз в день.

Бомбардировочная и штурмовая авиация прикрывалась истребителями. В связи с большим превосходством противника в воздухе наши истребители хотя и наносили ему урон, но бомбовых ударов остановить не могли. Советские бомбардировщики над позициями врага не появлялись, что давало ему возможность производить перегруппировки и готовиться к атакам. Так продолжалось три дня, до 20 апреля. Это был срок, в который немецко-фашистское командование намечало окончательный разгром Малой земли.

Решив сбросить нас в море, Гитлер на этом участке фронта поставил на карту все. Создавалось тяжелое положение. Тогда Военный совет 18-й армии, а практически я, написал письмо-обращение к малоземельцам. Оно пошло по окопам и блиндажам. Люди резали руку и расписывались на нем кровью. Один экземпляр я послал позже И. В. Сталину, чтобы он понял, как дерутся бойцы.

«Отвоеванный нами у врага клочок земли под городом Новороссийском,— говорилось в письме,— мы назвали «Малой землей». Она хоть и мала, но она наша, советская, она полита нашим потом, нашей кровью, и мы ее никогда и никакому врагу не отдадим... Клянемся своими боевыми знаменами, именем наших жен и детей, именем нашей любимой Родины, клянемся выстоять в предстоящих схватках с врагом, перемолоть его силы и очистить Тамань от фашистских мерзавцев. Превратим Малую землю в большую могилу для гитлеровцев!»

В первый день фашистского наступления мы получили категорическое указание Ставки Верховного Главнокомандования любыми средствами удержать плацдарм. Видя в нем ключ к освобождению Таманского полуострова, Ставка придавала ему большое значение и внимательно следила за ходом боев.

18 апреля в штаб Северо-Кавказского фронта, которым командовал генерал-полковник И. Е. Петров, вылетела группа представителей Ставки во главе с маршалом Г. К. Жуковым. В тот же день вместе с наркомом военно-морского флота Н. Г. Кузнецовым и командующим ВВС А. А. Новиковым они приехали в штаб 18-й десантной. Об этом мне сообщил один из штабных полковников, прибывших на Малую землю, и добавил:

— Маршал хотел вас видеть.

— Это что, приказ? — спросил я.

— Приказа такого от него я не получал,— ответил полковник.— Но он сказал, что хотел бы с вами поговорить.

Откровенно сказать, и мне хотелось поговорить: всех нас очень беспокоило превосходство противника в воздухе. Свою точку зрения

на этот счет я еще в первый день немецких атак высказал нашему командующему Константину Николаевичу Леселидзе. Настойчиво просил поддержки авиации. Говорил об этом и с членом Военного совета Семеном Ефимовичем Колонинным, к которому относился всегда с уважением. Оба были смелыми, принципиальными, опытными людьми, оба согласились со мной, и я посчитал, что Жукову о положении с авиацией они, конечно, доложат. Мне же лучше в тяжелый момент не покидать плацдарм. Так я и поступил: остался с бойцами на Малой земле.

Как писал потом в своих мемуарах Г. К. Жуков: «Всех нас тогда беспокоил один вопрос, выдержат ли советские воины испытания, выпавшие на их долю в неравной борьбе с врагом, который день и ночь наносил воздушные удары и вел артиллерийский обстрел по защитникам плацдарма». Далее маршал писал, что именно об этом он хотел знать мою точку зрения. Выдержат ли наши воины такой ад хотя бы еще день-два, потому что Ставка уже приняла серьезные меры, чтобы помочь нам.

И действительно через два дня картина резко изменилась. Один за другим прибыли три авиакорпуса из резерва Ставки. По мере подхода они вступали в бой. Прежде всего красnozвездные истребители закрыли небо над Малой землей. Густо обрушились бомбы на вражеские боевые порядки. Теперь бои шли при равных силах в воздухе, а затем превосходство перешло к нам, поскольку летчикам удалось разбомбить несколько аэродромов противника.

Трудно мне передать, что творилось в небе. Куда ни глянешь, то в одиночку, то звеньями сходились в смертельных петлях наши и немецкие самолеты. Черные шлейфы сбитых машин, пересекая друг друга, тянулись к земле. За три дня боев наши летчики сбили над Малой землей 117 вражеских самолетов. Об этих яростных схватках подробно рассказал в своей книге их участник А. И. Покрышкин.

На нашем плацдарме решалась участь Новороссийска и Тамани, и немецко-фашистское командование бросало на передовую все новые и новые части. Восемь дней и ночей как в кошмаре бились малоземельцы, пока не иссякли силы врага, пока остатки вражеских сил не уползли на свои исходные позиции. Но кульминационный момент сражения наступил 20 апреля 1943 года, и, как ни странно, день этот связан для меня с одним забавным воспоминанием.

Был у нас начальником политотдела в 225-й бригаде морской пехоты М. К. Видов, воевал он умело, лихо, обладал большой силой воздействия на бойцов, а на упрек командира, чтобы зря не рисковал собой, отвечал: «Я комиссар, а не мокрая курица!» Так вот в ночь на 20-е Михаил Капитонович собрал политработников, подвел итоги боев, а потом спросил, знают ли они, почему так остервенело рвутся фашисты. Потому, ответил, что у них завтра именины фюрера. Хотят покончить с нами, чтобы поднести ему подарок. Хорошо бы, мол, и нам отметить эту дату.

Пока обсуждали разные предложения, тогда еще мало известный художник Борис Пророков набросал рисунок, всеми тут же одобренный. Ночью он изобразил на простыне свинообразное чудовище, убегающее с Кавказа. У свиньи были всем знакомые усики и челка — карикатура на Гитлера получилась отменная. Простыню укрепили на раму и установили на заранее пристрелянном месте нейтральной полосы, надежно закрепив косяками.

Утром 20 апреля со всех окрестных гор, со всех своих позиций гитлеровцы увидели это поздравление. Как и предполагалось, стрелять в своего фюрера немцы не решались. Прошло немало времени, пока они, как видно, согласовывали, что им делать. Наконец к раме

с трех сторон поползли фашисты. Но место-то пристрелянное: половина их полегла, остальные убрались восвояси. Так повторялось трижды за этот день, пока по «именинному подарку» не ударила их артиллерия.

— Так его! Бей его! — хохотали бойцы.

Смех — грозная сила, свидетельство оптимизма, признак душевного здоровья людей. После того, как была отбита атака на одном из участков, я шел по траншее с Дорофеевым. И опять рядом с огневой ячейкой мы слышали смех. Подошли: оказалось, там проводил беседу молодой сержант-агитатор.

— Подводим итоги боя, товарищ полковник, — доложил он.

— И какие же итоги?

Сгрудившиеся вокруг пулемета бойцы стали сержанта подталкивать: расскажи, расскажи. Тот было смутился, но под напором товарищей осмелел:

— Гитлер хвастался, что сегодня сбросит нас в море. Нашей украинской байкой я и сказал, чего он добился. Пошел на охоту, убил медведя, ободрал лисицу, принес домой зайца, мать зарезала утку и сварила кисель. Попробовал, а он горький.

Вместе с солдатами я с удовольствием слушал веселого парня. Его немудреная байка, пожалуй, значила в тот момент больше и действовала крепче, чем самый серьезный разбор военных действий. Это было тем более важно, что день, повторяю, выдался самый тяжелый из всех пережитых нами на Малой земле.

Горела земля, дымились камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не попятились с этой земли. Роты сдерживали натиск батальонов, батальоны перемалывали полки. Накалялись стволы пулеметов, раненые, оттолкнув санитаров, бросались с гранатами на танки, в рукопашных схватках бились прикладами и ножами. И казалось, нет конца этой битве. Там, где все вокруг покрывалось трупами врага, появлялись новые цепи, их истребляли, но снова и снова возникали серо-зеленые силуэты. И не удивительно, что в одну из атак у бойца 8-й гвардейской стрелковой бригады вырвалось: «Да что они, из земли растут?»

У гитлеровцев было в тот день изрядное преимущество в силах, мы несли большие потери, и не раз у меня мелькала мысль: сколько их ляжет на этой земле наших ребят и сколько их не вернется домой. Вопрос о жалости на войне — сложный вопрос. Война дело жестокое, и смерти на ней неизбежны. Тут пожалеешь кого-то, значит, посылай вместо него другого. Тут нравственное оправдание одно — быть вместе с бойцами в тяжелый момент, испытывать те же опасности. И делать все, что ты можешь сделать, чтобы уберечь их от излишнего риска, облегчить их невзгоды.

Среди сохранившихся документов военных лет есть директива, под которой стоит моя подпись. Она была послана всем политорганам, каждому политработнику позже, в конце 1943 года, в дни боев под Киевом. Но то, что написано здесь, было для меня главнейшим делом в течение всей войны:

«Постоянно проявляйте заботу о сбережении сил и здоровья бойцов. Бесперебойное обеспечение солдат горячей пищей и кипятком должно быть нерушимым правилом. Надо обеспечить строжайший контроль за тем, чтобы все, что государство отпускает для бойцов и офицеров, доходило бы до них полностью. Беспечных и бездеятельных в этом отношении людей нужно привлекать к суровой ответственности. Исключительное внимание должно быть уделено работе санитарных учреждений. Политотделам соединений надлежит выделить специальных работников, отвечающих за эвакуацию раненых с поля боя и оказание им своевременной медицинской помощи».

И сегодня, спустя многие годы после сражений, среди множества дел мы обязаны постоянно помнить о тех, кто прошел войну. Окружать их заботами и вниманием, помогать им в житейских делах — это моральный долг органов власти, всех граждан, это закон нашей жизни.

5

Надо полагать, читатель ждет от меня рассказа о партийно-политической работе, но, в сущности, именно о ней я давно уже веду речь. Потому что стойкость воинов Малой земли была итогом этой работы. Потому что налаженный быт плацдарма, забота о сбережении сил и здоровья бойцов, присланные вовремя авиакорпуса, и веселые шутки в момент затишья, и беззаветная храбрость в атаках, и то, что люди до конца оставались людьми, — это все было следствием партийно-политической работы. Таким образом, выделить ее из общего повествования трудно, да, наверное, и не нужно.

Чем измерить, как оценить деятельность политического руководителя на фронте? Снайпер истребил десяток гитлеровцев — честь ему и слава. Рота отбила атаку, отстояла рубеж — честь и слава командиру роты и ее бойцам. Дивизия взломала оборону врага, освободила населенный пункт — имя командира отмечается в приказе Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга политработника, который идейно вооружал бойцов, укреплял в них великое чувство любви к Родине, вселял веру в свои силы, вдохновлял на подвиг.

Настоящий политработник в армии — это тот человек, вокруг которого группируются люди, он доподлинно знает их настроения, нужды, надежды, мечты, он ведет их на самопожертвование, на подвиг. И если учесть, что боевой дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости войск, то именно политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолеты победы нам бы не принесли.

Так было повсюду, а уж на трудных участках войны, таких, как Малая земля, значение этой работы трудно переоценить. Бойцам казалось в иные моменты, что они отрезаны от Большой земли, и надо было дать им понять, что отрезаны — это не значит оторгнуты, что отделены — это не значит забыты. Надо было показать, что война с фашизмом ведется на всех фронтах, что огромную помощь оказывает нам вся страна. Надо было связать воедино только что отбитую атаку с тем великим сражением, которое ведет весь советский народ.

Тут не громкие речи были нужны, да и залов не было для речей, а откровенный, мужской и, я бы сказал, душевный разговор. Я участвовал в большинстве партийных собраний, проводившихся в боевых соединениях и частях, да и просто часто общался с бойцами. Обычно мне удавалось найти с солдатами и матросами общий язык, хотя каких-либо особых приемов я для этого не применял. Шла ли речь о серьезных делах или шутовская была беседа, старался вести себя просто, ровно. И говорил всегда правду, как бы ни была она горька. Замечу, что встречались среди офицеров такие, которые старались изобразить из себя этакого рубаху-парня. Бойцы, конечно, сразу чувствуют фальшь нарочитого панибратства, и тогда уж откровенности от них не жди.

Большинство наших политотдельцев, политруки, комсорги, агитаторы умели найти верный тон, пользовались авторитетом среди солдат, и важно было, что люди знали: в трудный момент тот, кто призывал их выстоять, будет рядом с ними, останется вместе с ними, пойдет с оружием в руках впереди них. Стало быть, главным нашим ору-

жием было страстное партийное слово, подкрепленное делом — личным примером в бою. Вот почему политические работники стали душой Вооруженных Сил.

Разумеется, они участвовали в подготовке наступательных или оборонительных операций, без них не обходилась разработка планов военных действий. Я, например, не помню случая, чтобы генерал Леселидзе или другие командующие армиями, с которыми пришлось мне воевать, не учли моей точки зрения или поправок, порой весьма существенных. Но приказ на войне отдает командир, это его prerogative, и хотя политработник тоже может приказывать, пользоваться этим правом он должен, на мой взгляд, только в исключительных случаях.

Приведу пример. Во время одного из партактивов, который мне пришлось проводить, люди сидели рядами на земле. В середине доклада где-то позади меня, не так уж далеко, разорвался немецкий снаряд. Мы слышали, как он летел. Дело привычное, я продолжал говорить, но минуты через две разорвался второй снаряд, уже впереди. Никто не тронулся с места, хотя народ был обстрелянный, понимавший, что нас взяли в артиллерийскую «вилку». Третий снаряд, как говорили на фронте, был наш. Вот тут я и отдал приказ:

— Встать! Влево к ложине триста метров бегом — марш!

Мы закончили работу в другом месте. Третий снаряд действительно разорвался на площадке, где мы до этого были. Возвращались оттуда с политруком В. Тихомировым молча.

— Никто не шевельнулся, — сказал он только. — Вот люди...

Об этом же думал и я.

В подобных чрезвычайных случаях, будь то в бою или в затишье, политработник вправе и обязан приказывать. В повседневной же работе приказ для него должен быть исключен — только разъяснение и убеждение. Притом и эта работа должна вестись с умом и тактом. Если даже человек ошибся, никто не вправе оскорбить его окриком. Мне глубоко отвратительна пусть не распространенная, но еще кое у кого сохранившаяся привычка повышать голос на людей. Ни хозяйственный, ни партийный руководитель не должен забывать, что его подчиненные — это подчиненные только по службе, что служат они не директору или заведующему, а делу партии и государства. И в этом отношении все равны. Те, кто позволяет себе отступать от этой незыблемой для нашего строя истины, безнадежно компрометируют себя, роняют свой авторитет. Да, совершивший проступок должен нести ответственность: партийную, административную, наконец, судебную — любую. Но ни в коей мере нельзя ущемлять самолюбие людей, унижать их достоинство.

Так я считаю сегодня, этому правилу следовал и в годы войны, в этом духе старался воспитать аппарат политотдела, которым мне довелось руководить. Не могу не сказать, что это был дружный коллектив боевых офицеров, прошедших школу партийной работы, обладавших и опытом и знаниями, отличавшихся инициативой и личным мужеством, рисковавших жизнью в ходе боев там, где этого требовала обстановка. Не все они дожили до победы, но каждый с честью выполнил свой долг.

С добрым чувством вспоминаю этих людей. За время войны я вынес им немало благодарностей, подписал немало наградных листов, а взысканий, помнится, не объявлял ни разу. И не потому, что такой уж был «добренький», напротив, никаких поблажек я им не давал, даже если приходилось работать сутками. Просто я знал, что смело могу положиться на каждого, и они меня никогда не подводили. Чтобы читатель все же представил наших людей, назову хотя бы некоторых.

Одним из моих заместителей, начальником отделения пропаганды и агитации был С. С. Пахомов. Спокойный в любой обстановке, на первый взгляд даже медлительный, он превращался в стук энергичности, проявляя решительность, когда это было нужно для дела. Он умел найти то единственное слово, которое именно в данный момент больше всего нужно бойцу. Поэтому чаще, чем других, я привлекал его к подготовке обращений Военного совета и других важнейших документов.

Лектором, пропагандистом был обаятельнейший майор А. А. Арзуманян, обладавший не только обширным кругозором, но и хорошим чувством юмора, которое лишним никогда не бывает. Уже тогда было видно, что человек это незаурядный. И меня не удивило, а обрадовало, когда после войны узнал, что Арзуманян стал академиком, а затем и членом Президиума Академии наук СССР.

Хорошим пропагандистом, как и Арзуманян, был И. В. Щербак, еще до войны ставший кандидатом исторических наук. Глубокими знаниями обладал и Г. Н. Юркин. Кстати, на его примере можно судить о храбрости работников политотдела. Еще в ходе Новороссийской наступательной операции непосредственно на поле боя командующий Черноморским флотом наградил его орденом Боевого Красного Знамени. И уж если я так забежал вперед, добавлю, что за участие в ней столь же высоко была оценена роль всех работников политотдела 18-й армии.

Была у нас и своя армейская газета «Знамя Родины», которая оперативно откликалась на все события Малой земли. Ее ждали в окопах и траншеях, передавали из рук в руки. Мне не раз приходилось участвовать в редакционных летучках, беседовать с редактором В. И. Верховским и другими сотрудниками. Я привык уважать журналистов, потому что знал: во время боев они постоянно находились в войсках, ходили в десанты, участвовали в диверсионных группах, в захвате языков.

Аппарат газеты и ее авторский актив были сильными. Кроме штатных сотрудников, таких, как будущий Герой Советского Союза корреспондент «Правды» С. Борзенко, у нас выступали писатель Б. Горбатов, поэт П. Коган.

Приезжали к нам в армию и другие известные писатели.

Наконец, хочу сказать и о том, как важно было для солдат меткое слово, сказанное своим, доморощенным поэтом, или рисунок в скромном боевом листке. Потому что это слово, этот рисунок были обращены непосредственно к ним. Помню, рано на рассвете я возвращался с переднего края и увидел двух девушек. Они поднимались со стороны моря. Одна невысокая, ладно схваченная ремнем, рыжая-рыжая. Козырнули, и я проехал. Своему помощнику по комсомолу я дал обещание в пять часов принять людей в связи с утверждением их комсортами на место убитых. И вот приходит как раз эта рыжая девушка со свертком бумаг.

— Вы откуда? — спрашиваю у нее.

— Из батальона моряков.

— Как они к вам относятся?

— Хорошо.

— Не обижают?

— Нет, что вы!

Оказалось, она рисует. Тут же развернула свои боевые листки. Как сейчас помню рисунок и надпись под ним: «Что, Вася, тушуешься?»

На Малую землю эта девушка, Мария Педенко, попросилась сама, была в десанте с первых дней высадки. Под огнем выносила

раненых, а в минуты затишья пробежала от окопа к окопу с газетами, конвертами, бумагой, проводила беседы, читала стихи. Ее знали и любили все малоземельцы, считали одним из лучших агитаторов. Рукописная газета «Полундра» была придумана ею, она даже ухитрилась «издавать» ее в нескольких экземплярах, и бойцы зачитывали эти листки до дыр. Дружный хохот стоял всегда там, где их рассматривали и читали.

Позже, когда мы брали Новороссийск, Марию ранило, но, подлечившись, она снова ушла в боевые части. Ее героизм был отмечен тремя боевыми орденами. Затем она попросилась в Киев, когда там шли самые напряженные бои. Однажды мне попала на глаза в газете (в «Правде» или «Известиях» — не помню) ее статья «Любовь». Можно было подумать, что это какая-то сентиментальная вещь. Оказалось, нет. Речь шла о Родине, о любви к Родине.

Во имя Родины Мария Педенко не щадила ни своей юности, ни самой жизни. В дневнике, впоследствии опубликованном, она писала о Малой земле: «Вылезешь из подземелья поглядеть на белый свет, и сердце радуется. Так хочется жить. А вокруг поля вспаханы жестокой машиной войны. Всюду развалины домов и пятна порыжевшей крови на изуродованной, искромсанной земле. Не успеешь налюбоваться солнцем, как уже слышишь: «Воздух!» И ты снова проваливаешься в свою пещеру, где обдает сыростью лицо, где в копоти гильзовых ламп еле узнаешь своих друзей».

Как и многие из героев, Мария не дожидая до наших дней. Вспоминая этого прекрасного человека, я думаю о многих других дочерях нашей Родины, разделявших с мужчинами все тяготы войны. Для меня их образ стал олицетворением величия советской женщины.

6

Наступление... После апрельских боев этим словом жила вся армия от солдата до командующего. Много мы все хлебнули горя, когда оставляли врагу родные села и города, сильно ожесточились против захватчиков в долгие месяцы осады, и до предела накалилась священная жажда мести.

«Когда же?» — спрашивали бойцы, командиры, политработники, не добавляя слово «наступление», потому что и без того было ясно, о чем идет речь. На это можно было ответить только одним словом: «Скоро». День и план наступления держались в строжайшей тайне. Но то, что оно готовится, скрыть было невозможно, да и не надо было скрывать.

Обстановка для мощного удара складывалась самым благоприятным образом. На всех фронтах инициатива перешла в руки Красной Армии. Фашистское командование навсегда утратило преимущества, которые были созданы внезапностью нападения и превосходством в военной технике. В 1943 году героический тыл поставил фронту 24 тысячи танков и самоходных орудий, 35 тысяч самолетов, 130 тысяч пушек. Мы имели уже более совершенное оружие, чем враг, и в большем количестве. В итоге, выиграв летом сорок третьего ряд крупных сражений, наша армия продвинулась на запад в центральной части фронта на 300 километров, а у нас на юге — на 600 километров.

При каких обстоятельствах родилась идея штурма Новороссийска?

После Сталинградской битвы Гитлер почувствовал, что может попасть в еще большее серьезное окружение, и с особой силой вцепился в южный плацдарм. Он понимал: потеря Тамани неизбежно приведет

к потере Крыма, поставит под угрозу его войска на Украине. Чтобы удержать Тамань, фашисты создали мощный оборонительный рубеж. Он шел от Черного до Азовского моря, состоял из двух полос, покрытых минными полями, противотанковыми заграждениями, завалами, дзотами и дотами, огневыми точками с броневыми колпаками.

Рядом с нами воевала армия А. А. Гречко, он первым ощутил ярость фашистского сопротивления. Возьмет одну сопку — остановка, возьмет еще одну — опять остановка. Помню, Леселидзе, Колонин, я и полковник Зарелуа лежали на бурке. Был момент отдыха, мы обсуждали сложившуюся обстановку, и Леселидзе сказал:

— Знаете что? Ключ ко взятию Тамани и Крыма не на этих сопках, а во взятии Новороссийска. Давайте мы попросим Ставку дать нам 17—20 тысяч человек пополнения. Подготовимся и начнем штурм.

Так мы и сделали. Леселидзе позвонил в Москву, нашу инициативу одобрила Ставка, и дали нам дивизию Гладкова. Вот с этого и началось.

Новороссийск был у немцев главным узлом сопротивления. Кроме мощных укреплений вдоль линии фронта, они создали множество опорных пунктов в самом городе. Крупные жилые дома, заводы, элеватор, вокзал были насыщены огневыми средствами, целые кварталы пересекались ходами сообщения, улицы перегораживались баррикадами. Особенно сильно был укреплен порт.

Немецко-фашистское командование полагало, что хорошо знает тактику советских войск. Крупные узлы сопротивления в лоб мы не брали, а обходили. Следовательно, укрепляя Новороссийск, штурма в этом месте они все-таки не ждали. И просчитались. Особенность нашей тактики заключена была в ее гибкости. Одной из причин, побудивших нас осуществлять прорыв оборонительных рубежей врага именно в Новороссийске, был фактор внезапности.

18-я армия накопила к тому времени большой опыт десантных операций, и мы считали, что удар по городу можно нанести не с двух сторон, как предполагалось ранее, а с трех — с правого и левого берегов Цемесской бухты, то есть с Малой земли и со стороны цементных заводов, а также с моря крупным десантом, который явится полной неожиданностью для противника. Такой план и был принят.

Готовился еще один сюрприз. Крупный десант, естественно, должен производиться крупными кораблями, их-то очень внимательно и выслеживал враг. А десантировать войска мы решили на малых судах. Кроме того, готовились нанести торпедный удар по береговым укреплениям. Никогда раньше торпедами по берегу не били: они предназначены для морского боя и поражения судов. Для того чтобы торпеды сработали, как было задумано, катерникам пришлось достаточно потрудиться.

Разгаданный противником план, как известно, заранее наполовину обречен. Поэтому первой задачей стало строжайшее сохранение тайны. Мы запретили какую бы то ни было переписку, связанную с готовившейся операцией. К ее разработке привлекался до предела ограниченный круг людей. Началась тщательная разведка. Чтобы не раскрыть наших замыслов, она шла на широком фронте. Велась работа и по дезинформации противника, ряд умело выполненных мероприятий внушил ему, что опять готовится десант в районе Южной Озерейки.

Партийно-политическому обеспечению операции мы придавали не меньшее значение, чем ее боевой подготовке. Решили к началу штурма во что бы то ни стало иметь во всех частях полнокровные партийные организации. Исходя из этого, направляли коммунистов на самые ответственные участки наступления. Особый подбор людей шел

для десантных частей. В них насчитывалось 60—70 процентов коммунистов и комсомольцев.

Думал я и о наиболее разумной расстановке работников политотдела: каждый из них на весь период операции закреплялся за определенной воинской частью. Позже, встречая их в дивизиях и полках, я видел, что воевали они с огромным подъемом, заражая своим боевым духом других. Привлекли мы многих политработников и из резерва, с тем чтобы во время боев быстро заменять выбывших из строя. Парторги имели по два заместителя, комсорги — по три. Таким образом, мы добились, чтобы в составе всех подразделений постоянно были партийные и комсомольские вожаки.

Как выяснилось после освобождения Новороссийска, добрую службу сослужила разработанная нами «Памятка десантнику». В нескольких абзацах введения говорилось об успехах Красной Армии на всех фронтах, о зверствах гитлеровцев, о том, что пришел и наш час нанести сокрушительный удар по врагу, отомстить за все его злодеяния. Затем шли практические советы. Коротко напоминалось, как боец должен вести себя в момент посадки на судно, на самом судне, во время высадки и в бою. Мы стремились заранее научить людей, что делать в непредвиденных обстоятельствах. Памятку вручили каждому десантнику.

Идею памятки я заимствовал у бойцов Южного фронта времен гражданской войны, которой в то время очень интересовался и подчеркнул особо важные места В. И. Ленин. Впрочем, рядом ее положений, на которые обратил особое внимание Владимир Ильич, мы пользовались во всей партийно-политической работе. Вот для примера строчки из памятки:

«Товарищ коммунист!.. Ты должен в бой вступать первым, а выходить из боя последним. Ты призван на фронт воспитывать красноармейскую массу. Но во всякую минуту ты должен уметь взять в руки винтовку и личным примером показать, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть!»

Дни и ночи подготовки штурма вспоминаются мне как время самой напряженной работы, тяжелейшей нагрузки. Но как же это отличалось от дней и ночей осады на Малой земле! Работа не тяготила, нагрузка радовала, каждая новая встреча с людьми придавала сил. В авангарде десанта вызвался идти отдельный батальон морской пехоты под командованием героев первой высадки на Малую землю В. А. Ботылева и его заместителя по политчасти Н. В. Старшинова. Этому батальону и был вручен флаг, чтобы водрузили его на первом отвоеванном у врага высоком здании Новороссийска. Как великую честь принял флаг старшина второй статьи молодой коммунист Владимир Смержевский. Смелый разведчик, герой боев первого десанта, растроганный доверием, дал товарищам клятву: «Не посрамлю морской чести!»

Наконец командующий армией К. Н. Леселидзе собрал командиров, которым предстояло вести войска на штурм, и объявил время «Ч» — час и минуту штурма в ночь с 9 на 10 сентября. Здесь окончательно уточнили задачу каждого. Затем за полдня до начала операции командующий Северо-Кавказским фронтом И. Е. Петров созвал расширенное совещание командного состава армии и флота, где каждый доложил о готовности.

Во всех стрелковых частях, в десантных отрядах и на судах за час до наступления были проведены митинги. Очень многое надо было сказать людям, а говорить до этого мы не могли. Значит, выбрать надо было самые нужные слова. Я был на многих митингах. Убедился,

что приказ о штурме солдаты восприняли с огромным удовлетворением, я бы даже сказал, с радостью.

Пришло время, которого все мы ждали 255 дней и ночей. Наблюдательный пункт командующего был оборудован на Маркотхском хребте. Отсюда как на ладони видны Цемесская бухта, порт, значительная часть города.

Ночь. До начала операции есть еще время, но здесь уже много людей. Командующий армией, начальник штаба генерал Н. О. Павловский с группой штабных офицеров, командующий артиллерией генерал Г. С. Кариофилли со своими помощниками, командующие другими родами войск. Напряженная тишина, прерываемая телефонными звонками. Разведчики доложили: со стороны противника никакого движения не наблюдается. Время от времени слышался одиночный выстрел из орудия, разрывался где-то шальной снаряд — и опять тишина. Разговаривали почему-то тихо, чуть ли не шепотом. Офицеры и генералы то и дело посматривали на часы.

И вот время «Ч» — 2.44. Я знал, что в эту минуту ударят 800 орудийных стволов и 227 «катюш», поднимутся в воздух полторы сотни бомбардировщиков. Представлял, конечно, силу удара. Но то, что услышал, поразило меня. Показалось, будто рушится вся земля.

Артиллерийская подготовка длилась пятнадцать минут. За это время было выпущено 35 тысяч снарядов по заранее засеченным целям. Пошли в атаку морские пехотинцы и стрелковые части с Малой земли — не зря мы столько времени держали этот драгоценный клочок береговой полосы. С другой стороны началось наступление из района цементных заводов. Пошел в бой, как мы и намечали, морской десант.

Зарево пожаров, возникших в городе, озарило Цемесскую бухту. Я всматривался в темноту, в сторону Геленджика, но только близ порта увидел первую группу катеров-«прорывателей», пронесшихся с неуправляемой скоростью и уничтоживших заграждения. Это произошло через шесть минут после начала артподготовки. Появился условный знак — «путь открыт». Через несколько минут на огромной скорости ворвались в бухту катера, ударившие по западному и восточному молам тяжелыми торпедами. Ошеломляющий удар, разворотивший береговые укрепления. Берег заволокло дымом, цементной пылью. Это прикрыло катера высадки от противника, и ровно через пятнадцать минут, то есть в момент окончания артподготовки, батальон Ботылева уже сражался на пристани. В течение получаса под жестоким огнем противника высадилось 800 человек, оснащенных станковыми пулеметами, минометами, противотанковыми ружьями.

Все смешалось в Цемесской бухте. С разных сторон неслись катера, вздыбливая на разворотах воду, и, казалось, вот-вот столкнутся. Однако все было подчинено точному расчету. Вслед за торпедными катерами шли канонерские лодки, сторожевые катера, сейнеры — каждое судно по своему маршруту. Одна за другой были атакованы пристани Лесная, Элеваторная, Нефтеналивная, Импортная. Огонь от взрывов и пожаров хорошо освещал бухту в районе порта. Вода в ней буквально кипела.

Почти одновременно с батальоном Ботылева, захватившим Лесную пристань, на Цементную пристань обрушился 1339-й стрелковый полк под командованием С. Н. Каданчика. И хотя всему полку не удалось высадиться, но те, кто зацепился за берег, в едином порыве бросались на вражеские укрепления. К утру они овладели сильным опорным пунктом — цементным заводом «Пролетарий». На следующую ночь к ним присоединились остальные подразделения полка.

На наблюдательном пункте не утихали телефонные звонки. Со всеми соединениями держалась надежная связь. С величественным спокойствием и твердостью руководил сражением талантливый командарм. В ходе боя оперативно перегруппировывал части, вводил резервы, перебрасывал подкрепления туда, где создавалась угроза.

Ошеломленный в первые минуты враг пришел в себя. Заговорило огнем каждое здание, каждый квартал. Определив границы захваченного нами плацдарма, гитлеровцы открыли по нему артиллерийский огонь. Однако и наша артиллерия сопровождала наступающие части. Наши летчики так спланировали свои действия, чтобы без перерыва бомбить территорию, занятую противником. В небе все время были штурмовики — в день они совершали по шесть-семь вылетов.

На вторую ночь в район электростанции высадился 1337-й полк. С ним высадился и полковник В. А. Вруцкий, командир 318-й стрелковой дивизии. Однако связь с ним нарушилась. По лицу командующего я видел, как он встревожен. Не рота, не батальон, а почти целая дивизия, да еще выведенная на направление главного удара, не подавала вестей.

Леселидзе приказал послать ответственного офицера в район электростанции, найти Вруцкого, разобраться в обстановке и незамедлительно доложить. Я подумал и предложил командующему поручить это дело моему заместителю Пахомову. Командующий хорошо знал его и быстро согласился, но приказал начальнику оперативного отдела послать с ним из отдела капитана Пушицкого.

— Возьмите мой «виллис»,— сказал он при этом.

Им предстояло пробраться в город через передний край, миновав сильно обстреливаемую зону, найти Вруцкого, опытным глазом все оценить, нанести на карту и как можно скорее возвратиться. К счастью, оба вернулись невредимыми, хотя машину командующего, оставленную ими в районе завода «Октябрь», разбомбило. Преодолев множество препятствий, пробравшись по водосточной трубе, проложенной вдоль береговой кромки, они вышли на какую-то площадку, прямо против которой была электростанция, а справа длинное здание, откуда фашисты вели непрерывный огонь. До электростанции оставалось метров семьдесят, но путь туда шел только через открытую площадку или вдоль здания за кучами угля. Решение приняли быстро. Пушицкий ползет позади угольных холмов, а Пахомов бешеным рывком пронесится через опасный участок. Как он потом всерьез уверял, лучший спринтер мира не догнал бы его. Несмотря на опасность, тем же путем они вернулись обратно, и не с одной, а с двумя картами и донесениями, чтобы гарантировать доставку Военному совету армии данных об обстановке. Принесли они и печальную весть: полковник Вруцкий тяжело контужен, лишился глаза и ранен в руку. Тотчас были приняты меры по оказанию помощи частям дивизии, которые медленно, но настойчиво продвигались вперед. Временное исполнение обязанностей командира дивизии возложили на начальника штаба.

На улицах шли бои. Одно за другим поступали сообщения: взят вокзал и там водружен морской флаг; взят «Серый особняк»; захвачен «Красный дом»; наши ворвались в школу; освобожден квартал 103... И каждое из них сопровождалось горькими вестями: убит начальник политотдела 318-й дивизии подполковник А. Тихоступ... убит инструктор политотдела армии майор П. Исеев... убит инспектор политотдела армии майор А. Цедрик... Незадолго до этого погиб М. Видов, позже под Анапой погиб начальник политотдела 83-й морской бригады К. Лукин.

Вспоминаю, мы вместе с ним зашли в один из румынских блиндажей, построенных на песчаном берегу. Было очень жарко, и Леселидзе, я, Зарелуа, Лукин хотели хоть немного укрыться в тени. Но в блиндаже слышно было какое-то шуршание, непрерывный стрекот, совсем негромкий. Я сказал:

— Это, видимо, часовой механизм. Наверное, подложили бомбу. Давайте выйдем отсюда.

И мы выбрались на воздух, отошли от блиндажа, раскинули бурку и легли. Лукин тоже лег, совсем близко от нас. Свистели отдельные бомбы, берег весь был в песчаных барханчиках. Когда грохот взрывов кончился, мы встали. Я позвал товарища:

— Лукин! Лукин!

Молчит. Подошли — он мертвый. Ни одной царапины, ничего. Убило воздушной волной.

Неправда, друг не умирает.
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет...

Хорошо сказал поэт. Разумом я все понимал: идет сражение и жертвы неизбежны. Но сердце не слушалось, щемило нестерпимой болью. Сам я писал письма вдовам, моя горсть земли лежит в могилах товарищей, огонь моего автомата звучал в залпе траурного салюта. Верные сыны партии, ее именем они звали бойцов на смертный бой. Призывали во имя Родины не щадить жизни. И в бою они первыми совершали то, к чему звали других, увлекая за собой бойцов. Они до конца выполнили ленинский наказ — личным примером доказали, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть.

7

Шесть дней и шесть ночей шли бои в Новороссийске. Не стану перечислять номера частей и соединений, не буду приводить цифры — штурм подробно отражен в военно-исторической литературе. Важно отметить другое: наступательный порыв, священная ярость воинов были так велики, что их уже ничто не могло удержать. Ежедневно и даже ежечасно мы были свидетелями ратных подвигов. Хотя бы об одном из них я должен рассказать.

Трижды рота морских пехотинцев безуспешно атаковала фашистские укрепления. Командир роты Иванов решил создать добровольную штурмовую группу для прорыва. В нее вошли одиннадцать человек во главе с парторгом роты Валлиулиным и еще четверьмя коммунистами. Решительным ударом они проббили оборону врага, и за ними ринулись бойцы. Однако в конце улицы фланговый огонь остановил их движение. Тогда Валлиулин сказал старшине Дьяченко: «Когда замолкнет пулемет, поднимай людей в атаку». И уполз. Перед самым окном подвала, откуда бил пулемет, его сразило. Но, окровавленный, он бросился на это окно. Рубеж был взят.

Салахутдина Валлиулина я хорошо знал по Малой земле, он был одним из лучших парторгов. Подписывая на него наградной лист, думал о природе таких подвигов. Бесспорно, человек знал, что идет на верную смерть. Но вряд ли говорил себе в этот момент: «Сейчас совершу подвиг». Нет, эта храбрость была не картинно-героическая, а немногословная, неброская, я бы даже сказал, скромная, какую особенно ценил, судя по роману «Война и мир», Л. Н. Толстой. И подвиг

был в толстовском понимании этого слова: человек делает то, что должен он делать, несмотря ни на что.

Конечно, чувство страха перед смертью свойственно людям, это естественно. Но решение в критическую минуту приходило как бы само собой, подготовленное всей предыдущей жизнью. Значит, есть какой-то рубеж, какой-то миг, когда у воина-патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие — подвиг, а убежденность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою жизнь.

«Убеждение в справедливости войны,— писал В. И. Ленин в годы гражданской войны,— сознание необходимости пожертвовать своей жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести... Это объясняется тем, что каждый рабочий и крестьянин, взятый под ружье, знает, за что он идет, и сознательно проливает свою кровь во имя торжества справедливости и социализма».

Эти замечательные ленинские слова глубоко и точно раскрывают истоки нравственных сил народа, истоки бессмертного подвига нашего народа, который он совершил в годы Великой Отечественной войны во имя торжества справедливости и социализма.

16 сентября Москва салютовала доблестным войскам Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота. Великое противостояние закончилось. На голом участке с маленьким поселком Станичка наши воины выдержали семимесячную осаду и победили. Гитлеровцы занимали большой город, превращенный в неприступную крепость, и мы вышибли их за шесть дней.

Родина высоко оценила беспримерную отвагу и доблесть освободителей города. Девятнадцати соединениям и частям было присвоено почетное наименование Новороссийских. Тысячи солдат и офицеров награждены орденами и медалями Советского Союза. Десятки воинов, совершивших выдающиеся подвиги, удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Новороссийский десант, в котором принимали участие все рода войск, был одним из крупнейших десантов Великой Отечественной войны.

Битва за Новороссийск вошла в историю минувшей войны как один из примеров нестигаемой воли советских людей к победе, ратной доблести и бесстрашия, беспредельной преданности ленинской партии, социалистической отчизне.

Приказ Верховного Главнокомандования я слушал по радио в полуразрушенном помещении, где разместился горком партии. Митинг населения города мы не устраивали: населения не было. Потом пошли по улицам. И улиц не было. Развалины. Весь город — одни пепелища. В каком-то погребе нашли бабку с кошкой, а больше никого. Помню, там еще был элеватор, рядом клуб моряков. Накануне фашисты захватили наших, согнали в это место, облили керосином и сожгли. Страшное зрелище.

Работали саперы, обезвреживали и увозили тысячи мин, фугасов, неразорвавшихся бомб и снарядов. Срывали надписи: «Каждый житель, обнаруженный в городе, будет расстрелян на месте». Фашисты боялись наших людей... Перед клубом моряков было картофельное поле, тут я вышел вперед. Колонин мне говорит:

— Ты куда лезешь?

— Ты член Военного совета,— ответил я,— а я начальник политотдела. Я должен на два шага идти вперед.

После освобождения Новороссийска хотелось хоть немного отдышаться, но останавливаться мы не могли ни на час. Успешный штурм открыл возможность наступления по всему плацдарму. Немцы буквально бежали под натиском наших войск, мы взяли так называемые Чертовы ворота, и открылся путь на Анапу. Гитлеровское командование было вынуждено операцию «Кримгильда» (планомерную переброску войск с Таманского полуострова) заменить «Брунгильдой» (спешной эвакуацией). Но и эта мифическая дама им не помогла.

На рассвете мы мчались по дороге, и нам сообщили, что впереди наша авиация штурмует немецкие части. Ехали в машине Коложин, Зарелуа, я и адъютант Кравчук. Видимо, выработалось уже чутье, которое возникает у людей под огнем, и я крикнул:

— Ребята, сейчас будут нас бомбить, ложись!

Мы выскочили, легли у дороги и все-таки чуть не пострадали от своей же авиации. Но летчиков тут, пожалуй, винить нельзя. Такой уж был наступательный порыв, так мы все рвались тогда вперед.

21 сентября 1943 года танковые и пехотные соединения нашей армии мощным ударом освободили город и порт Анапа — главный узел сопротивления врага на пути в Крым. Натиск был настолько стремительный, что оккупанты бросили все свое имущество, все награбленное добро и даже подготовленные к выходу в море 16 судов с нефтью.

Наступательный порыв наших войск возрастал с каждым днем. Энтузиазм в сочетании с опытом, обретенным в боях, был мощной, неодолимой силой. Однако ни в коем случае нельзя сказать, что успех давался легко. Нам противостояли ожесточенные, сильные, хорошо вооруженные гитлеровские части. Стремясь выиграть время, они тщательно укрепили свои последние рубежи на подступах к Крыму, с яростью обреченных цеплялись за каждый населенный пункт, за каждую высоту. И только в результате непрерывного натиска армий Северо-Кавказского фронта, кораблей, морской пехоты и авиации Черноморского флота и Азовской флотилии к 9 октября 1943 года Таманский полуостров был освобожден окончательно.

На берегу Керченского пролива мы увидели картину, потрясшую изумлением гитлеровцев. С группой командиров я смотрел на едва различимые в бинокль, удаляющиеся транспортные суда противника. Мы хорошо видели, как пронеслись наперерез им наши бомбардировщики и истребители. Но достигнув цели, самолеты разворачивались и уходили. Мы ничего не могли понять. Потом пилоты доложили: палубы судов были заполнены детьми и женщинами. Летчики не могли бросать бомбы: загнанные на палубу силой оружия люди служили прикрытием для фашистов, засевших в трюмах.

Впереди был Крым. Войскам зачитали приказ командующего Северо-Кавказским фронтом № 51 от 9 октября 1943 года.

«Славен и знаменит боевой путь войск 18-й армии,— говорилось в нем.— Героическими боями на Малой земле, Мысхако, в горах под Новороссийском, смелым и дерзким штурмом города и порта Новороссийск проложен путь славы 18-й армии. Войска 18-й армии, овладев городами Анапа, Тамань, первыми выполнили боевую задачу по разгрому врага на Тамани».

В ночь на 1 ноября 1943 года в Керченский пролив вышли десантные суда с бойцами 318-й, теперь Новороссийской стрелковой дивизии. В сильный шторм, преодолев минированную тридцатикилметровую полосу моря под непрерывным артиллерийским огнем, они успешно высадились на крымском берегу в районе рыбацкого поселка Эльтиген близ Керчи.

Перед высадкой представитель Ставки маршал С. К. Тимошенко сказал, что успех десанта 318-й дивизии — залог освобождения Крыма. Как известно, его слова полностью оправдались.

Вот, собственно, и все, что связано для меня с понятием «Малая земля». Одна страница Великой Отечественной войны. Всего одна страница, но незабываемая.

По приказу Верховного Главнокомандующего мы грузились в эшелоны, направляясь в распоряжение 3-го Украинского фронта. После боев на Малой земле, после штурма Новороссийска это казалось нам едва ли не отдыхом. Но жизнь на войне переменчива, судьба сулила нам иное.

6 ноября 1943 года, освободив Киев, наши войска за десять дней продвинулись на запад на 150 километров, выбили противника из многих населенных пунктов, в том числе из Житомира и Фастова. Были перерезаны важные коммуникации, связывавшие группы армий «Центр» и «Юг». Опасность создавшегося положения для гитлеровских войск была очевидной. Немецко-фашистское командование, перебросив свежие силы из Франции, сосредоточило южнее Житомира и Фастова полтора десятка танковых, моторизованных и пехотных дивизий. Очевидным стал и гитлеровский план — нанести удар с юго-запада, ликвидировать наш плацдарм на правом берегу Днепра и вновь захватить Киев. Фашистам удалось осуществить прорыв и во второй раз овладеть Житомиром.

Закрывать этот прорыв, остановить движение противника и было приказано нашей 18-й армии, танковой армии Катукова и другим соединениям. В пути мы повернули на 1-й Украинский фронт, которым командовал генерал Н. Ф. Ватутин. Враг к тому времени уже находился на 74-м километре Житомирского шоссе, по пути к столице Украины.

Эшелон, в котором находились Военный совет, штаб армии, политотдел, отправился первым. Вслед за ним шли эшелоны с соединениями и частями армии. Двигались быстро, останавливаясь лишь для смены паровозов. Ночью миновали станцию Баглей — это всего шесть километров от Днепродзержинска. Остановились на другой станции, тоже совсем близко. Вот я и вернулся в родные места.

Вышел из вагона, было ветрено, холодно, вокруг не видно ни зги. Я вглядывался в темноту, показалось, что пахнуло дымком родной «Дзержинки» — завода, где работал отец, где и я начинал, был кочегаром, потом инженером силового цеха. И так потянуло туда, захотелось заглянуть хотя бы на день, на час, на несколько минут. Накануне получил письмо от матери, она уже возвратилась из эвакуации. По письму чувствовалось, что пришлось ей пережить многое.

Но паровоз коротко гуднул, надо было прыгать в вагон, и домой я попал, увидел своих близких много позже, уже после войны...

8

Наш эшелон был разгружен на станции Гостомель. Штаб расположился в селе Колонщина.

Бывать там мне приходилось редко, все время ездил на ближайшие станции, помогал быстрее организовать выгрузку войск, и прежде всего артиллерии, чтобы рассредоточить ее в лесополосах вдоль шоссе Житомир — Киев.

Около часа ночи с 11 на 12 декабря мне позвонил заместитель начальника оперативного отдела штаба армии подполковник Н. А. Соловейкин: враг прорвался в районе деревни Ставище. Это всего в нескольких километрах от нас.

Связался с Леселидзе и Колониным. Командующий уже поднял стрелковый полк, уже шли к этому месту танки, однако придут они в район прорыва не раньше чем через час. До их подхода мы решили бросить туда почти весь офицерский состав штаба. Эта крайняя мера вызывалась тем, что ни при каких обстоятельствах нельзя было дать врагу перерезать и оседлать Киевское шоссе.

После звонка Соловейкина я сразу приказал поднять по тревоге офицеров политотдела. С командующим говорил минуты три всего и, когда опустил трубку, с удовлетворением увидел: человек тридцать с автоматами и гранатами были уже наготове. Распределили, кто куда едет.

Я взял с собой адъютанта И. Кравчука и одного автоматчика. Запасливый шофер успел положить в машину десятка три гранат. По всей улице гудели заведенные машины. Направились на КП ближайшего полка. Получив самые необходимые сведения, помчались дальше. В полутора километрах от передовой из-за сильного минометного огня вынуждены были машину оставить. Быстро пошли на звуки стрельбы и вскоре наткнулись на траншею. Стонали раненые, что-то выкрикивал молоденький лейтенант. Припадая к брустверу, десятка два автоматчиков вели огонь. Короткими очередями бил станковый пулемет. Раздался испуганный голос из темноты:

— Надо отходить!

— Замолчи, трус! — крикнул лейтенант.

В тот момент я не знал, как сложилась здесь обстановка. Не знал, что эта вторая линия траншей после фашистской атаки превратилась в первую. Не знал, что враг решил не дать нам возможности закрепиться и уже атаковал снова. Понял я это, когда увидел, как под редким огнем пехотинцев перебежками надвигались фашисты, строча из автоматов и залегая, когда начинал бить наш пулемет.

Успокоив лейтенанта, велел передать по цепи, что продержаться надо буквально минуты: на машинах послан сюда пехотный полк, на полной скорости идут танки. Побежал к бойцам обрадованный лейтенант, в другую сторону с той же вестью бросился Кравчук. Запомнилось, как он без конца повторял:

— Это комиссар, начальник политотдела!

Уже давно не существовал в нашей армии институт комиссаров, давно не слышали в войсках и самого слова комиссар, но Кравчуку оно в тот момент показалось наиболее подходящим.

За войну я не раз видел врага так близко, но этот ночной бой особенно врезался в память. При свете ракет гитлеровцы, прячась в складках местности, бросками перебежали от одного бугорка к другому. Они все ближе и ближе подходили к нам, сдерживал их главным образом наш пулемет. При новом броске он снова забил и вдруг умолк. Теперь стреляла только редкая цепь бойцов. Немцы уже не ложились — подбадривая себя криками и непрерывным огнем, они в рост бежали к траншее. А наш пулемет молчал. Какой-то солдат оттащивал в сторону убитого пулеметчика. Не теряя драгоценных секунд, я бросился к пулемету.

Весь мир для меня сузился тогда до узкой полоски земли, по которой бежали фашисты. Не помню, как долго все длилось. Только одна мысль владела всем существом: остановить! Кажется, я не слышал грохота боя, не слышал шума команд, раздававшихся рядом. Заметил лишь в какой-то момент, что падают и те враги, в которых я не целился: это вели огонь подоспевшие нам на выручку бойцы. Помню, моей руки коснулась рука одного из них:

— Уступите место пулеметчику, товарищ полковник.

Я оглянулся: траншея вся была полна солдатами. Они занимали позиции — привычно, споро, деловито. И такими родными показались мне незнакомые эти люди, такими близкими! Конечно, мы остановили гитлеровцев, а вскоре, обрушившись на них мощной лавиной, советские войска освободили Житомир и продолжали наступление. О солдатском братстве, о боевой дружбе, царившей в нашей армии, о том, какими патриотами своих частей были бойцы, хочется сказать особо.

Любое сражение, каждый бой, где бы они ни происходили, это огонь, кровь, смерть. Тем не менее, когда думаешь о боях в различных районах от Днепропетровщины до Праги, невольно возникают в памяти картины, резко отличные одна от другой. Барвенково-Лозовская операция — и перед глазами люди, утопающие в снегах, сносимые ледяным ветром. Бои на Малой земле — кипящая от взрывов вода Цемесской бухты, где из стороны в сторону бросает судьбышки, заполненные войсками. А Сухумское шоссе до самого побережья — это пыль. Она висела в воздухе, окутывала дома, орудия, машины, толстым слоем лежала на растениях, пригибая вниз ветки. Она просачивалась через голенища сапог до самых ступней, сквозь одежду — до голого тела. Мы глотали ее вместе с водой и пищей и просто в натуральном виде.

Вот по такой пыльной, раскаленной от солнца дороге, под вой снарядов ехал я в одну из дивизий, которая готовилась к бою. Машина попала в пробку, я вышел поискать объезд и увидел, как на обочине шумно спорили сержант и солдат. Выяснилась интересная история.

Солдат возвращался из госпиталя, имея направление в резервную часть. По пути умышленно отстал от группы, сбежал. Посланный за ним сержант догнал его в другой части, где он служил до ранения. Командир роты разобрался в конфликте и сказал своему бывшему бойцу: ничего не поделаешь, иди с сержантом. Они и пошли. А по дороге солдат взбунтовался: не пойду, и все, вернусь в свою часть.

— У него приказ в наш полк, — отвечая на мой вопрос, сказал сержант. — Он не выполнил приказа, нарушил присягу. Его бы судить надо, а он еще артачится.

— Нет, не нарушил, товарищ командир, — просяще заговорил боец. — Я ж не в тыл убежал, я ж в свою часть.

— А где она?

— Так в самом пекле, атаки фрицев ждет, а они, — он неприязненно кивнул на сержанта, — еще только чухаются.

Вдумайтесь. Человек на законном основании может не идти в бой. По крайней мере получил отсрочку, и еще неизвестно, когда придется идти. А он рвется в бой. Какие же выводы следуют из этого на первый взгляд частного факта? Солдат верит своим командирам и политическим руководителям, верит в своих товарищей, с которыми ему идти в разведку или в атаку. Иначе зачем бы ему стремиться в свою часть. Кроме того, он и сам вел себя в боях достойно. Трус искал бы другой части, шел бы туда, где нет свидетелей его малодушия. Нерадивый солдат, не любимый товарищами, тоже не станет рваться к ним.

Так, может быть, это особая рота, куда тянет людей? Нет. От края до края всего советско-германского фронта, во всех медсанбатах Вооруженных Сил СССР мы слышали: хочу в свою часть! Свою роту, полк, дивизию люди считали особыми, самыми лучшими, в полном смысле слова родными. Выходит, из «особых» частей состояла вся наша армия.

Вспоминается другой факт, еще более разительный. Тоже шло наступление, войска грузились в эшелоны, а я решил заглянуть в госпиталь. В первой палате было человек тридцать, в основном ходячие. Я простился с ними, сказал, что мы идем дальше бить фашистов, пусть выздоравливают побыстрее и догоняют. Все заговорили разом: догонят обязательно. В следующей палате лежали тяжелораненые. Врач предупредил, что первый справа, лейтенант, обречен. Газовую гангрену уже не остановить. Я подошел к нему. Красивые вьющиеся черные волосы, черные брови, голубые глаза на смертельно горящем лице. Спросил, нет ли у него просьб или пожеланий.

— Есть, товарищ полковник, есть. Похлопочите, чтоб меня, если не помру, направили в свою часть.

Ответил ему не сразу. Сдержав волнение, сказал, что обязательно похлопочу, пусть не беспокоится. Спросил, в какой части он воевал, как был ранен. Уже попрощавшись, пошел было, но услышал:

— Выходит, не похлопочете, товарищ полковник?

— Как же, обязательно...

— Так вы же не записали моей фамилии.

И снова не мог ответить ему сразу. Выручила сестра.

— А вот я записываю,— показала она листок бумаги.— И фамилию, и звание, и номер части. Видите?

Я протянул руку за листком, на котором прочитал: «Пора уходить». Быстро пряча ее в планшет, взглянул на лейтенанта. Он улыбался. Комок подступил к горлу. За время войны не раз я слышал эти слова: «Хочу в свою часть». Но никогда не забыть мне лейтенанта с его таким невоенным словом «похлопочите» и строптивного солдата на Сухумском шоссе.

Какие же это богатыри духа! Какая неброская, но неистребимая любовь к Родине, какая жажда защитить ее, нисколько не думая о собственной жизни. Потрясла даже не сама просьба солдата, а то, как он ее выражает. Не кичась своим геройством, а словно бы оправдываясь, прося о чем-то сугубо личном, частном, ему одному надобном.

Что мог я ответить солдату на обочине пыльной дороги? По всем уставам, по законам воинской дисциплины он был виновен. Не может на войне каждый сам себе выбирать место службы. Не может уволиться «по собственному желанию» и перейти на другое место. Следуя законам, я обязан был послать его для прохождения службы туда, куда он имел направление. Но я медлил.

— Что же с вами делать?— спросил солдата, действительно не зная, как поступить.

— Так отправьте в мою часть, товарищ командир. Мне же в партию вступать! Тот раз не успел оформиться, в госпиталь попал, теперь и заявление подал, так опять проклятый фриц зацепил. А у них,— снова кивнул на сержанта,— меня и не знает никто.

Эти слова решили мои последние сомнения. Попросил адъютанта записать его фамилию и номера обеих воинских частей. Солдату пообещал: не позже чем завтра будет приказ о его откомандировании. А сейчас надо идти с сержантом — нарушить приказ никто не имеет права. По приказу и вернется к своим. Солдат не мог скрыть, да и не скрывал своей радости. Подтянулся, выпрямился, лихо козырнул:

— Разрешите идти?

Снова и снова убеждаешься, как прав был В. И. Ленин, указывая на огромное значение связи с массами, общения с рабочими, крестьянами, солдатами. Сколько серьезных, масштабных выводов было сде-

лано в результате встреч и бесед с бойцами на привале, на отдыхе, на боевых позициях. Так было и после той встречи в госпитале и случайной беседы с солдатом на Сухумском шоссе. Я, конечно, сдержал данное обещание. Но, кроме того, было принято решение: после выписки из госпиталей по мере возможности посылать людей в свои части.

11 февраля 1944 года был для меня горьким днем. Я отправлял в Москву тяжело больного командарма. Медики сказали: надежд немного. Спустя десять дней Константин Николаевич Леселидзе умер.

На фронте людей узнаешь очень быстро, там сразу видно, кто чего стоит. Леселидзе был одним из талантливых полководцев, олицетворявших лучшие черты советского человека. Суровый и беспощадный к врагам, добрый и мягкий с друзьями, человек чести, человек слова, человек острого ума, жизнелюбивый и храбрый — таким остался в памяти мой боевой друг и соратник Константин Леселидзе.

О дальнейшем можно много рассказывать, можно написать целую книгу, потому что тысячи километров дорог и долгие месяцы войны были еще впереди. Но сегодня мне одно хотелось бы подчеркнуть еще раз: память о Малой земле, закалка и опыт Малой земли сопутствовали мне и моим боевым друзьям до последнего выстрела. К порыву, отчаянной храбрости, патриотизму бойцов прибавились хладнокровие, зрелость, расчет, умение воевать, и все это, вместе взятое, привело нас к победе.

С жестокими боями, освобождая села и города, прошли мы по землям Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской и других областей Украины и подступили к Карпатам. Тут, используя естественные преграды, фашисты построили мощную линию обороны «Арпад». Но не было уже преград, которых не могла бы преодолеть Советская Армия. Используя опыт боев в горах Кавказа, мы форсировали карпатские перевалы, взломали, казалось бы, неприступную линию вражеской обороны.

Теперь политработники поистине не знали ни дня, ни ночи. Шли бои, и ни на минуту не прекращалась партийно-политическая работа в войсках. Вместе с тем надо было помочь местным товарищам, коммунистам, вышедшим из подполья, налаживать новую жизнь. Одно за другим проходили крупные политические мероприятия: партийная конференция, профсоюзный съезд, молодежная, женская конференции. Атмосфера свободы пробудила к политической активности все население Закарпатской Украины. Оно встречало нас как братьев-освободителей. Повсюду создавались Народные комитеты, готовился их первый съезд. Присутствуя затем на съезде, я видел, с каким огромным энтузиазмом было принято историческое решение о воссоединении Закарпатья с родным народом.

Трудно забыть ликование, с каким встретили наши войска народы Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии. В освобождении этих стран вместе с другими соединениями участвовала и славная 18-я десантная армия. Вот где политическую работу невозможно было переоценить. Десятилетиями клеветали на нашу партию империалисты. Десятилетиями вдалбливались в головы народов чудовищные небылицы о нашей жизни, о наших людях. И вот советский человек пришел в Европу освободителем. Важно было ничем не уронить этой высокой гуманной миссии, и наши воины ее не уронили. Повсюду в них видели бескорыстных, полных благородства, гуманных и справедливых, опаленных войной людей.

В тяжелейшем 1941 году мы верили, что победа придет. Теперь мы знали: до нее остались считанные дни. Всем ходом событий мы были к ней подготовлены. И все-таки когда она наконец наступила, радость оказалась ошеломляющей. Никто еще, по-моему, не выразил

словом всей глубины этой радости. И я тоже бессилён рассказать обо всем, что переполнило наши сердца 9 мая 1945 года. Скажу только: этот день стал счастливейшим днем в моей жизни.

Для нашей 18-й десантной армии последний день войны наступил, правда, несколько позже — 12 мая. Уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а мы еще добивали на территории Чехословакии остатки сопротивлявшегося врага.

Не забыть мне и великий акт торжества — парад на Красной площади в честь победы. С радостью и гордостью я прочитал приказ о том, что комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта назначается начальник политуправления фронта генерал Брежнев. Как дорогую реликвию храню и по сей день саблю, с которой шел на парад вместе с командованием во главе нашего сводного полка.

Так сбылась и моя мечта дойти до победы — это была мечта миллионов советских солдат, которые не только стояли насмерть, защищая свою землю, но и с честью пронесли Знамя Победы по трудным дорогам войны и водрузили его в Берлине над рейхстагом.

* * *

Наша победа — это высокий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической Родины, показала всесилие коммунистических идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма — это все доподлинно так. Но пусть будет мир, потому что он очень нужен советским людям, да и всем честным людям земли.

До последнего дня мы хоронили верных товарищей, на всем пути видели следы фашистских зверств, встречали плачущих матерей, безутешных вдов, голодных сирот. И если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил: быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда.

Счастлив политик, счастлив государственный деятель, когда может всегда говорить то, что он действительно думает, делать то, что он действительно считает необходимым, добиваться того, во что он действительно верит. Когда мы выдвигали Программу мира, выступали на многих международных встречах с инициативами, направленными на устранение угрозы войны, то я делал то, добивался того, говорил о том, во что как коммунист глубоко и до конца верю.

Это, пожалуй, и есть главный вывод, который вынес я из опыта великой войны.



ДОЛГ



ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО

Устав

Не хнычь, солдат, от уставного вопроса.
Устав — не мед. И солонь сперва
его скупой, тяжеловесной прозы
бесстрастные и ясные слова.

Но что тебе, усталому, вначале
та истина, что где-то под огнем
его статьи с победами сличали
и жизнями расписывались в нем?!

Но дни идут. Встают и вянут травы.
И постепенно различаешь ты
за буквою, за буднями устава
гармонии суровые черты.

Есть пластика в естественности жеста
и музыка в прицельности огня.
Есть в наших мышцах образ совершенства,
когда им повинуется броня.

Прекрасна точность командирской фразы,
стремительно направленной в полет:
двуострая ответственность приказа
раздваиваться слову не дает,—

и ты встаешь. Поёшь. Стреляешь. Роешь
саперною лопатой шар земной,
и стоишь ты того, чего ты стоишь
по беспощадной мерке уставной.

И сам не замечая перемены,
выходишь ты из прежнего юнца,
как статуя из каменного плена
под острыми ударами резца.

.

О чем молчат ненастной порою
два дерева, два тополя во мгле?

Об облаке, летящем над землею?
О путнике, идущем по земле?

О том, что осень листья отлистала
и скоро станут сумерки белы?
О времени, что кольцами вращало
в тугие волокнистые стволы?

Они на память повторяют снова
потерянные в списках имена
разведчика ефрейтора Петрова,
наводчика сержанта Кузьмина.

Давно землю стали их шинели,
давно догрохотал неравный бой,—
но больно тополям, что не успели
они тогда прикрыть солдат собой.

Перед дорогой темень раздвигая,
по горизонту движутся огни...
О чем молчат деревья, засыпая?
А может быть, о нас молчат они?

И мерят убежденно и сурово
и наши дни, и наши имена
бесстрашием ефрейтора Петрова
и прямою сержанта Кузьмина...

..*

Сосновый край. Гнездовище озона.
Как молоды мы были, черт возьми!
Тугая тишина запретной зоны.
Армейский быт. Подъемы до восьми.

По вечерам, подобные забаве,
таинственные приступы хандры,
когда находишь в строевом уставе
записку от влюбленной медсестры.

Над нашим лесом аисты летали.
Густели хаты дальнего села.
И помнили старшинские медали
истории державные дела.

История... Ты в нашем представленьи
командовала с вышки смотровой
оттаиваньем и оледененьем
многострадальной карты мировой.

Откуда знать, пока тротил крылатый
не запоет и не качнет весы,
что в нас самих, отсчитывая даты,
уже стучат истории часы?!

Что по ее прямому предписанию,
согласному с приказом старшины,
нам ночью доверяется к охране
лесной квадрат всемирной тишины.

Что, близостью к истории возвысясь,
покусывая ручку, как школяр,
наш ротный писарь, штатный летописец,
ведет на нас взысканий формуляр...

Уже планета электронным ухом
к шуршанью звезд была устремлена.
На борозде, пробитой Звездным Плугом,
уже всходили наши имена.

Но нам еще казалось время личным,
и, заглушая звездные миры,
смущенно пахли мылом земляничным
загадочные руки медсестры...

СВЕТЛАНА ГЕРШАНОВА

Ветеранам

Как вам живется, ветераны,
На той земле, что вы спасли,
Где за годами,
Как за горами,
Война теряется вдали?
А жизнь — не скатерть-самобранка,
А жизнь не заводь — быстрина,
И редки орденские планки,
И только в праздник — ордена.
С годами — реже, слишком редко
Вдруг заведете разговор,
Кто всю войну прошел в разведке,
А кто — пехота, кто — сапер.
Вы с нами рядом,
С нами рядом,
Но только вдруг в толпе людей
Остановлюсь пред вашим взглядом,
Как перед совестью своей.
Склонюсь пред тем, как вы вершили
Ваш общий путь и каждый свой,
Пред вашей верой нерушимой,
Пред вашей дружбой фронтовой.
Мы — вашей плоти, вашей крови,
Вы нам давали имена,
Когда над нашим изголовьем
Внезапно грянула война.
Мы вскормлены годами теми,
И я еще сказать хочу,
Что непростое наше время
Нам тоже будет по плечу.

ЮЛИЯ ДРУНИНА

Памяти Сергея Орлова

Ты умер, как жил,—
На бегу, на лету,
С портфелем в руке,
С сигаретой во рту.
Наверно, в последнем
Секундном аду
Увидел себя
В сорок третьем году,
В пылающем танке,
В ревущем огне
И, падая, понял:
Убит на войне...

Кто-то тихо шептал твоё имя,
Кто-то выдохнул: «Значит, судьба...»
Холод лба под губами моими,
Смертный холод высокого лба.
Я не верю ни в черта, ни в бога,
Но молилась о чуде в тот час...
Что ж ты сделал, Сережа, Серега,—
Самый смелый и добрый из нас?
Как ты дал себя смерти осилить,
До зимы далеко не дойдя?..
Провожала поэта Россия
Ледяными слезами дождя.
Осень шла в наступление люто —
Вот-вот бросит на кладбище снег.
От прощального грома салюта
Лишь не вздрогнул один человек...

Нет, я никак поверить не могу,
Что ты на том — нездешнем берегу,
Куда слова мои не долетят,
И даже матери молящий взгляд,
И даже вскрик отчаянный жены
Теперь к тебе пробиться не вольны...

А я все так же, так же, видит бог,
Хватаю трубку, услыжав звонок,—
Как будто бы из черной пустоты
Вдруг позвонить на Землю
Можешь ты...

ИГОРЬ ИВАНОВ

Командировка

В сорок четвертом — всем на диво —
 Я с фронта в глубочайший тыл
 По приказанию комдива
 Командирован срочно был.
 Такое счастье мне простится,
 Перед друзьями нет вины...
 Я дома побывал, в столице,
 Потом объехал полстраны.
 Два первых дня тянулись долго —
 Наш поезд лязгал, ныл, кряхтел...
 Но только вырвался за Волгу —
 Он как на крыльях полетел.
 И на какой-то остановке
 К окну я пыльному прирос,
 Из царства светомаскировки
 Нас к свету вынес паровоз!
 И мил мне стал седой кондуктор,
 И каждый спутник стал мне мил.
 ...В Миассе, получив продукты,
 На все купе их разделил...
 Делился радостью со всеми.
 Уральский ветер бил мне в грудь.
 Но сердце помнило все время,
 Что есть еще обратный путь.

М. КАБАКОВ

Море

И все же тебе благодарен
 За то, что не канул на дно,
 За то, что влюбился, как парень,
 Которому море дано,
 Который ходил по торосам
 От Колы до устья Оби,
 На траверзе Канина Носа
 Ловил позывные любви.
 Я думал:
 Ему не явиться.
 Я в мелочи скучные влез...
 Ты в платице яркого ситца
 В июне спустилась с небес.
 И ветер рванул, как бывало,
 И чуб растрепал смоляной!
 И грохот девятого вала
 Я вновь услышал за спиной.
 Как будто я снова на базах
 И гул корабельный не стих...
 Спасибо
 За небо в алмазах,
 Ты тоже увидела их!

Подлодка

Ты улыбаешься растерянно,
 Ты так устала за полгода...
 И равновесие потеряно,
 Но это только до похода.
 Энергией распада бешеной
 От нас зеленый мир отрезан.
 На лодке все уравновешено:
 И наши души
 И железо.
 А что поделаешь?
 Профессия,
 Над головою —
 Мегатонны.
 Мы различаем равновесие,
 Как в чистом поле перезвоны.
 Беда,
 Когда оно нарушено,
 Еще страшнее, если в целом.
 Не оттого ли даль прослушана
 И день и ночь следят прицелы?

БОРИС КУНЯЕВ

Бессмертье

В декабре 1941 года в Коктебельской бухте
 был высажен морской десант.

Те парни не читали о Волошине,
 Не знали его книг, его картин.
 Горячие свинцовые горошины
 Ударили с заснеженных вершин.

Вода казалась черной и бездонною,
 Кинжалами прожекторы из тьмы.
 Огромными базарными бидонами
 Гудели киммерийские холмы.

На море не зароешься, не спрячешься.
 Земля под сапогами у врагов.
 И тыкались щенятами незрячими
 Пять шлюпок у пологих берегов.

А пулемет крутые волны вспарывал,
 Дырявил бескозырки и тела.
 Отсвечивала скифскими пожарами
 Нависшая над бухтою скала.

По горло уходили в кипень водную,
 Пластались, как пушинки ковыля...
 Земля, земля, какая ты холодная!
 Какая ты горячая, земля!

Как крепость, весь снегами запыленный,
 Как гвардии искусства рядовой,
 Собою заслонял их дом Волошина,
 Россия заслоняла их собой.

Простые парни, смуглые и русые,
 Под ветра рев и минометный бой
 Не дрогнули, не сдались и не трусили,—
 Делились кровью с матерью землей.

А снег лежал забытыми конвертами.
 Не тронет материнская рука...
 Простые парни — смертные, бессмертные —
 Остались в Коктебеле на века.

Портреты

Не забуду знойное лето.
 Каску, брошенную на меже.
 Я рисую для женщин портреты
 Сыновей, братьев, мужей.

Не сносив гимнастерки солдата,
 В подмосковном родном селе,
 Я тогда малевал плакаты,
 Чтобы жизнь была веселей.

Никакой я не художник.
 Вдруг явились, как страшный суд:
 «Нарисуй, говорят, ты можешь,
 Наших, тех, что домой не придут!»

Многих карточки не сохранились.
 И просила в слезах жена:
 «Нарисуй его, сделай милость,
 Чтобы память в детях жила!»

Я живых тех бойцов не видел.
 Незнакомы мне губы, глаза.
 Только как мне женщин обидеть?
 В просьбе этой — как отказать?

Помолчав, задаю вопросы.
 И жена создает портрет:
 «Белобрысый был и курносый.
 Воевать ушел в двадцать лет.

Верховодил лучшей бригадой.
 Трижды ездил в область на слет.
 Над усами две родинки рядом.
 Брови, словно колосья, вразлет...»

Я писал в полный рост солдата,
 Грудь в медалях и бровь дугой.
 Зная, что все детали святы,—
 Пару родинок над губой.

Чтобы был боевее и строже,
 Рядом танк и рубеж огневой.
 Вся деревня шептала: «Похожий!»
 А жена вздохнула: «Живой!»

В краснозвездных пилотках, в касках
 Рисовал я героев легко.
 Самых ярких и сочных красок
 Не жалел на своих земляков.

Красовались старшины, сержанты,
 Два полковника и генерал.
 Недостаток знаний, таланта
 Я любовью своей возмещал...

Не тускнеют гранитные плиты.
 Помнит павших планета вся...
 Те портреты солдат убитых
 До сих пор в деревнях висят.

СЕРГЕЙ КУРГАНОВ

Победа

Ты не знаешь, что такое тишина.
 Это место, где кончается война.
 Это миг, когда уже не слышно выстрелов.
 Это то, что я не выпросил, а выстрадал.

Ты запомни, что такое тишина.

Это ставшие ненужными окопы,
 Это взгляды напрямик, без перископа.
 Это зримая изменчивость вещей,—
 Та внезапная ненадобность траншей.

Твердо помни, что такое тишина.

Это запахи, не порченные порохом.
 Это трав невыжженных шорохи.
 Щебетанье сойки — тишина.
 Грохоты на стройке — тишина.

Поколенья пусть ее наследуют
 И, как мы, зовут ее —
 Победою.

Н. РУДОЙ

..*

Строители в солдаты уходили:
 В строй провожал их сорок первый год.
 Фундаментов немало заложили,
 До стен и окон не дошел черед.
 Нелегкое, суровое задание
 Дала солдатам Родина сама...
 Фундаменты томились в ожиданьи
 Строителей, оставивших дома.

.

Откуда здесь пожухлая трава,
 Когда над нею мая синева?
 Откуда у деревьев желтизна,
 Когда еще не кончилась весна?
 Здесь проходил рубеж передовой,
 И опалил их дым пороховой.

ВЛАДИМИР САПРОНОВ

Мне снится война

Мне снится война по ночам.
 Все чаще, настойчивей снится.
 Пылает сосна, как свеча,
 И падают мертвые птицы.
 Срезает колосья свинец —
 И смерть нависает над пашней.
 И вдруг — возникает отец!
 С ним — дядя, в гражданскую павший!
 — В атаку! —
 И, словно прибой,
 «Ура» покатилося с откоса.
 — Отец!
 А когда же домой? —
 Кричу я вослед безголосо.—
 Доколь на беленой стене
 Висеть тебе в траурной раме?
 Доколь еще длиться войне?
 Доколь еще вдовствовать маме?
 И ты, дядя Вася, скажи,
 Ответь, комиссар белозубый:
 Коль вновь ты воюешь за жизнь,
 То кто ж кулачем был зарублен? —
 Вдруг яркая вспышка огня —
 И все исчезает куда-то.
 ...Рассвет.
 Со стены на меня
 Безмолвно
 Глядят два солдата.

ВИКТОР ФЕДОТОВ

.

По врагу стреляли первыми
 с воздуха штурмовики,
 их атаки были верными,
 нам длиннее марш-броски.

Наступали все стремительней
 и из боя рвались в бой.

По поддня у истребителей
в небе цели ни одной.

Пункты щерились опорные,
в них все щели на засов,
там атаки шли упорные
и по нескольку часов.

Пушки грохали набатом,
долго землю била дрожь...
Вспоминали мы с комбатом
дальний бой, родную рожь.

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКАШИН

Вводная

...Но цель занятий
помнил взводный.
И на бегу
среди степи
я по его
прицельной вводной
«убит»
и выбыл из цепи.
Иду немного в отдалении:
и жив,
и цел,
и невредим.
Слежу за тем,
как в отделении
нашелся новый
командир,
как он досадно
ошибается,
мотострелков
отводит вспять,
мне виновато
улыбается
и ошибается опять.
Взвод пропылен,
жарой пропитан,
отброшен к травам
межевым.
...Обидно это —
быть убитым.
Совета не подашь
живым.

Сложность

Учебный бой —
фрагмент войны
на карте
малого формата.

В меня
с противной стороны
не целятся
из автомата.
Мишеням поднятым —
редеть.
Но есть
единственная сложность:
в бою учебном
одолееть
его фанерную

условность.

Чтоб вектор боя
не был ровным:
во фронт,
во фланг,
ползком,
рывком!
Чтоб роспись
за расход патронов,
как на развалинах
шттыком.

* * *

Степь не пашу,
не строю города.
Веду огонь,
патронов не жалея.
Но в том, что в мире
стало потеплее,
есть градус
и солдатского труда.

* * *

А в Эльбе
горькая вода,
не окунешь с устатку
руки.

...Лежат чужие города
по обе стороны
разлуки.

Наверно,
с марьиных лугов
на сено иван-чай
скосили.

Дождусь
попутных облаков
и передам поклон
России.

КОНСТАНТИН ПИШКАН

Мне говорят...

Мне говорят: «Опять война!
Лишенья, дым белесый...
В строках должна быть тишина,
А в тишине — березы».

Но я не чувствую вины —
Война мое наследство.
Мне полномочия даны
Договорить за детство.

Про боль и прах концлагерей
Договорить за павших.
И про слезу седых детей
Из синих глаз запавших.

Судьбою мне права даны —
Определен в полпреды,
Чтоб мерить мерою войны
И радости и беды.

Те полномочья и права
Я, как любовь к отчизне,
Ношу, пока душа жива,
В себе — как чьи-то жизни.

СЕРГЕЙ АЛИХАНОВ

Армейскому поэту

Нет, не в садах блистательных лица,
Не среди статуй в мраморных венках,
А в белорусских сумрачных лесах,
От взрывов и от выкриков немея,
Среди окопов, касок, голодухи
Как партизанка бледная в треухе
К тебе являлась муза...

Мчались дни,
Но ни божественной Овидиевой речи,
Ни откровений Гёте, ни Парни
Ты не слышал. Взвалив мешок на плечи,
Ты нес картошку. Нес ее и пел.
Поэзия твоя под артобстрел,
Как роща беззащитная, попала.
Ее бежали тени и зверье.
В ней все обломано и все растет сначала,
И только небо видно сквозь нее.



ЮРИЙ ПИЛЯР

★

ЗАБЫТЬ ПРОШЛОЕ

Роман

Глава первая

1

Второй час шло заседание, выступал третий или четвертый оратор, а Покатилов никак не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего. Он в Брукхаузене, в конференц-зале бывшей комендатуры концлагеря, он на сессии Международного комитета бывших узников, здесь, в предгорьях Альп, на том самом месте...

— Спасибо. Мерси.— Он взял чашечку кофе, затянулся сигаретой.

Самым поразительным было то, что бывшие смертники, товарищи по совместным страданиям и борьбе в годы войны, кажется, разучились понимать друг друга. Собственно, затем он, Константин Николаевич Покатилов, в прошлом тоже узник Брукхаузена, и приехал сюда, чтобы попытаться выяснить, из-за чего несогласие у них. Старые антифашисты, многие из которых были участниками Сопротивления в оккупированных странах, а затем членами подпольной интернациональной организации в концлагере, теперь, двадцать лет спустя, длинно и не очень вразумительно дискутируют о том, что считать главной задачей деятельности Международного комитета Брукхаузена...

— Нет, пока все понимаю. Спасибо, Галя.

Переводчица, похоже, волновалась не меньше его. Когда он прилетел в Вену, в аэропорту его встретили советник по вопросам культуры из советского посольства и эта синеглазая девушка с коротким прямым носиком, практикантка Института иностранных языков. Работа с профессором Покатиловым на сессии — ее первая самостоятельная работа, а она, по ее словам, не совсем готова, не знает специфической терминологии.

— Я хорошо знаю эту терминологию, не беспокойтесь. Советую кратко конспектировать выступления, вообразите, что вы на лекции.

Он попробовал ободряюще улыбнуться ей, но улыбки не получилось. Ладно, сказал он себе, не в том суть. Неужели этот седой краснолицый человек за столом президиума, Генрих Дамбахер, — тот Генрих? Шрам на правой щеке от того Генриха. Острые черные глаза от того. Только полноват для того Генриха. И седой...

Они не успели к открытию. Вошли в зал, когда аплодисментами провожали с трибуны тучного господина в зеленой тужурке, украшенной какими-то значками. Худенькая женщина, вероятно служащая

секретариата, бесшумно провела их за столик, на котором стояла плексигласовая табличка «UdSSR». Заглянув в программу, Покатилов узнал, что сессию приветствовал от имени провинциальных властей земельный советник доктор-инженер Хюбель. Вместе со всеми они похлопали земельному советнику и стали слушать доклад генерального секретаря Международного комитета доктора Дамбахера, а программе почему-то означенный как реферат. После Дамбахера выступил представитель Франции, фамилию его Покатилов не разобрал, а в лицо не помнил, возможно, никогда и не видел его, — невысокий, черный, большоголовый. Теперь речь держал представитель чехословацкого объединения брукхаузенцев Вальтер Урбанек, он говорил по-немецки с характерным чешским акцентом — тянул гласные. Его Покатилов тоже не помнил.

Неужели, кроме Генриха, нет никого из старых знакомых? Покатилов украдкой поглядывал то на соседей, то на сидящих в президиуме. Да и Генрих все-таки очень мало похож на того Генриха. Рядом с ним немец или австриец, представлявший слово докладчику, — лицо знакомо, видел его когда-то, а где и когда видел? Лицо крупное, белое, несколько женственное... Разве сразу вспомнишь?

И вообще разве мыслимо вот так — из машины и в зал заседаний. Он, запыхавшись, успел только подбежать к лагерным воротам, над которыми некогда висел каменный орел со свастикой в когтях... Аппельплац был пуст. Уцелевшие кое-где зеленые бараки потемнели и будто сжались. Серое здание крематория с зарешеченными окнами и массивной трубой, казалось, наполовину ушло в землю... Они крепко запаздывали, и переводчица смотрела на него встревоженными глазами. Посольская машина, развернувшись у ворот и прощально посигналив, покатила с их чемоданами в городок, в гастхауз, а они скорым шагом устремились в помещение бывшей лагерной комендатуры...

Попробуй уйми дрожь, прикажи так не колотиться сердцу. Попробуй справишься с собой, вернувшись в Брукхаузен через два десятилетия! Сидим в конференц-зале бывшей комендатуры, где эсэсовцы планировали массовые убийства, где составлялись списки тех, кого потом подвергали пыткам, где считали доходы от продажи человеческих волос и кремационного пепла... Как же тут можно спорить о том, в чем должна заключаться главная задача деятельности Международного комитета бывших узников! В чем же еще как не в борьбе против старого врага, который, увы, не исчез вместе с крушением Гитлера?

В тихом светлом особняке на Кропоткинской улице прославленный герой Отечественной войны, занимавший пост ответственного секретаря Комитета ветеранов войны, с минуту молчал, после того как они поздоровались и сели за полированный стол друг против друга.

— Как бы вы, Константин Николаевич, посмотрели на то, если бы мы предложили вам поехать за границу на сессию Международного комитета Брукхаузена? — был его первый вопрос к Покатилову.

Покатилов ответил, что у него веснами, как всегда, прибавляется работы в университете — предэкзаменационный период; кроме того, он считает себя не вполне подходящей фигурой для такой поездки: и здоровье неважное и не помнит он уже почти никого из бывших узников-иностранцев, не говоря уж о том, что есть советские товарищи из числа брукхаузенцев куда более достойные, чем он, Покатилов.

— Понимаете ли, — сказал ответственный секретарь, которого последние слова Покатилова, по-видимому, нимало не смутили, напротив, вроде чем-то даже понравились ему, — дело в данном случае не в том, кто более, кто менее достоин... Кстати, несколько лет назад мы

по просьбе вашего военкомата интересовались подробностями вашего пребывания в концлагере и находим, что вы как раз один из достойных... Дело сейчас в том, что нужен человек, который сумел бы в короткий срок разобраться, что происходит в Международном комитете Брукхаузена.

Он сообщил, что недавно пришло письмо от генерального секретаря брукхаузенского комитета Дамбахера, в котором тот просил изучить вопрос о возможности вступления советской ветеранской организации в члены Международного комитета и с этой целью направить в середине апреля своего представителя на очередную сессию. Далее ответственный секретарь Комитета ветеранов сказал, что советская организация уже сотрудничает с Международным лагерным комитетом Маутхаузена и комитетом Освенцима, но как быть с Брукхаузенем, пока не решено: есть сведения, что внутри брукхаузенского комитета идет острая борьба и перевес, как это ни печально, не на стороне активных антифашистов, а на стороне пацифистов. Вопрос стоит так: можно ли надеяться, что со временем комитет Брукхаузена займет более твердую позицию в борьбе за мир; или некоторые бывшие узники из капиталистических стран настолько устали, а может быть, в какой-то части своей и переродились, что не желают больше участвовать в политической борьбе... Покатилов попросил дать ему сутки на размышление. На следующее утро, несмотря на возражения жены, он позвонил в Комитет ветеранов войны и сказал, что согласен поехать...

Попробуй уйми дрожь и поверь, что это не сон, а явь, когда Генрих заметил и, должно быть, узнал его, Покатилова. Попробуй справиться с душливым комом, вставшим в горле, когда в нарушение всех правил Генрих покинул председательское кресло, Генрих с непропорционально короткими руками, с острыми, черными, влажно заблестевшими глазами, заспешил по проходу к столу с табличкой «UdSSR», и он, Покатилов, шагнул из-за своего стола навстречу тому Генриху, председателю подпольного интернационального комитета.

2

Генриха тоже била дрожь. Покатилов чувствовал это, пока они, крепко обнявшись и закрыв глаза, стояли в нешироком проходе меж столиков. Почему так действуют эти самые первые минуты встречи? Ведь еще ничего не сказали друг другу, ничего не вспомнили, а вот наваливается какая-то тяжелая горячая волна и несет. Так было дома, когда после многолетней разлуки случалось встретиться с товарищами по несчастью, так вышло и тут: под мягкой тканью пиджака, отдающего трубочным табаком, дрожала спина Генриха, дрожали прижатые к ней руки Покатилова, и все, что чувствовал он, Покатилов, чувствовал и Генрих, и оба это отчетливо знали.

— Ну хорошо,— пробормотал наконец Генрих по-немецки, отстранился, сверкнул в улыбке мокрыми глазами и повторил: — Хорошо. Я рад, что это именно ты.

И побежал, чуть согнув коротковатые руки перед собой, обратно к столу президиума. Покатилов сел, но, увидев заблестевшие глаза переводчицы и заметив, что она хлопает в ладоши, вдруг услышал, что хлопает весь зал, вновь поднялся, охватил взглядом всех сразу, уловил идущее к нему со всех сторон тепло, и радость прихлынула к его сердцу. Он понял, что бывшие узники-иностранцы все помнят. Он сцепил пальцы над головой, потряс ими и снова сел.

Ощущение нереальности происходящего начало исчезать. Даже дрожь как будто поунялась.

— Константин Николаевич, будете участвовать в работе редакционной комиссии? Спрашивает председатель...

— В качестве наблюдателя.

— Тогда, пожалуйста, поднимите руку. Как другие,— сказала переводчица.

Покатилов поднял руку.

— Гут,— произнес председательствующий Генрих.— А теперь, дорогие друзья (он говорил по-немецки), перерыв до шестнадцати часов. Сейчас все едем на автобусе в гастхауз, там местные власти дают обед в честь гостей — иностранных делегатов.

— Косттрегер!¹ — выкрикнул кто-то, в зале засмеялись, зашумели и стали подниматься со своих мест.

Слегка пошатываясь, вышел Покатилов вместе с переводчицей из конференц-зала. Перед комендатурой на площадке, выложенной светлыми каменными плитами, их поджидали Генрих Дамбахер, большоголовый невысокий француз и австриец или немец со знакомым несколько женственным лицом.

— Жорж Насье — заместитель генерального секретаря, Франц Яначек — казначей комитета,— представил их Покатилову Генрих.

Покатилов назвал их и пожал им руки.

— Знаю тебя, знаю,— вдруг взволнованно проговорил на ломаном русском языке Яначек.— Работал в шрайбштубе, кеды ты... кеды тебя заарестовали эсэсманы на блоке одиннадцать...

— Ты был лагершрайбер-два? Ты чех?

— Нет чех. Австрияк.

— А ты? — повернулся Покатилов к французу.— На каком блоке был ты? — спросил он по-немецки.

— Нихт ферштеен,— рассмеялся, плутовато блестя широко расставленными черными глазами, Насье.— Па компри... Блок ахт,— все же ответил он, хотел сказать еще что-то, помычал, подыскивая немецкие слова, и махнул безнадежно рукой.

— После восьмого блока Жорж около года работал во внешней команде, потом его вернули в центральный лагерь,— ответил за него Генрих.

— Я могу переводить и с французского,— напомнила о себе скромно стоявшая в сторонке Галя.

В темном джерсовом пальто, в лакированных туфельках, она выглядела так, точно сошла со страницы иллюстрированного женского журнала. И все сразу повернулись к ней, а Насье даже галантно шаркнул ножкой.

— Извините, Галя,— сказал Покатилов.

Он представил ей своих товарищей по лагерю, а потом подумал, что, пожалуй, уместнее было бы ее, девушку-переводчицу, представить им, немолодым людям, к тому же руководителям Международного комитета.

— Однако автобус нас ждет, все уже в сборе,— с улыбкой сказал Генрих.— Идемте, дети мои.— И тронул Покатилова за локоть.— Мы с тобой, Константин, должны о многом говорить.

— Непременно, Генрих.

Перед открытой дверцей сияющего стеклами автобуса, глубоко погрузив руки в карманы плаща и явно нервничая, прохаживался грузноватый человек с расплюснутым носом боксера.

— Морис! — крикнул Покатилов.

¹ Доставщики еды (нем.).

Человек усмехнулся и дважды быстро как бы сплюнул.

— Анри,— глухо сказал он.— Гардебуа.

— Гардебуа,— повторил Покатилов.— Прости, Анри. Здравствуй, Анри!

И опять, крепко обнявшись и зажмурив глаза, стояли они несколько секунд в полном безмолвии, ощущая лишь, как дрожит что-то внутри, в самой глубине, и несет куда-то тяжелая жаркая волна...

В автобусе сели рядом. В автобусе было шумно. Все шутили, смеялись, и Покатилов не понимал, как они могут... Длиннолицый, в летах уже бельгиец, приехавший вместе с женой, бывшей узницей Равенсбрюка, а затем Брукхаузена, миловидной розовощекой особой, встал, чтобы выбросить окурок в окно, а когда обернулся, на его месте возле его жены восседал австриец Франц Яначек.

— В чем дело? — спросил бельгиец.

«Когда-то я его видел»,— мелькнуло у Покатилова.

— Ты, Шарль, вернулся слишком поздно.— Яначек театрально закатил глаза и порывистым движением простер руки к миловидной бельгийке.

— Мари, ты успела полюбить этого агрессора?

— Уи²,— пропела Мари, и стали видны ямочки на ее щеках.

— О времена, о нравы! — простонал Шарль.

Автобус, замедлив ход, разворачивался на перекрестке, где раньше кончалась центральная улица эсэсовского городка (теперь на месте эсэсовских казарм торчали серые глыбы фундамента) и одна дорога уходила к спуску в каменоломню, другая вела к шлагбауму и в город. Впрочем, шлагбаума теперь тоже не было, Покатилов заметил это еще утром, когда в посольской «Волге» на предельной скорости мчался к лагерю... Огромная яма заброшенной каменоломни была пуста, и нежно зеленели кусты и проклюнувшаяся травка на ровном квадрате, где когда-то лепились друг к другу бараки лагерного лазарета.

— Яначек, не обижай дедушку Шарля.— Резкий, с веселыми нотками голос принадлежал Генриху.

Взрыв смеха слегка ударил по нервам.

— Мари, вернись к любящему мужу,— молил Шарль.

— Уи,— мяукнула Мари.

— А как же я? — возмутился Яначек.— Мари, ты клялась, что обожаешь меня!

— Уи.

Опять смех.

Та дорога. Та, по которой их первый раз гнали в Брукхаузен. Рычали и повизгивали псы, голубело небо, кричали, подгоняя ослабевших, конвоиры-эсэсовцы, тупо и коротко стучали удары прикладами. Они знали тогда, что их ведут на смерть. Но они представления не имели, что мучительная агония может длиться два года...

Комфортабельный автобус с бывшими узниками бесшумно катил по асфальту под уклон. Серое небо, мелкая листва подроста обочь дороги, частые серебристые крапины дождя на стекле.

— А ты, Генрих, тоже ответишь мне,— ворчал бельгиец.

— А за что я?

— За дедушку...

Утром, миновав железнодорожный мост через Дунай, Покатилов успел рассмотреть сквозь сетку дождя, что здание вокзала осталось прежним, сменилась только вывеска «Брукхаузен»: тогда была готика — это почему-то врезалось в память,— теперь латинский шрифт.

² Да (франц.)

Вокзал тогда выглядел необыкновенно чистеньким, аккуратным. Верно, в то утро светило солнце.

Внезапно он все понял. Все сидевшие в этом автобусе, все, кроме него, после войны бывали в Брукхаузене. Приезжали на торжественно-траурные манифестации, на заседания Международного комитета, а возможно, и ради того только, чтобы поклониться праху замученных. Острота встречи с прошлым была для них позади.

— Анри,— сказал Покатилов, положив ладонь товарищу на колено,— сколько раз ты приезжал сюда, в Брукхаузен, после освобождения? Сколько раз?

Гардебуа грустно посмотрел на него и покачал головой.

— Нет. Не в том штука. Им не очень весело. Это они так.. — Он говорил медленно, с трудом подбирая немецкие слова.— Ты живешь в Москве?

— Последние восемнадцать лет в Москве. А ты в Париже?

— Я всегда жил в Париже. И до войны.

— Я помню, ты рассказывал. По-моему, до войны ты был шофером. И чемпионом по боксу.

— Да. Это до войны. Теперь я есть, я имею.. как это сказать по-немецки?.. небольшой спортклуб.

— Небольшой капиталист? — пошутил Покатилов.— Ты голлист, социалист, анархист?

Гардебуа часто поморгал и дважды быстро вроде бы сплюнул.

— Я не состою ни в какой партии. Я генеральный секретарь французской ассоциации Брукхаузена. Ты женат?

— Да.

— У меня сын и дочка. Я три раза был с ними здесь, привозил сюда. Я ничего не забыл.

— Это хорошо, Анри. О чем же вы здесь, на сессии, спорите?

— Не понимаю. О чем мы.. что? — Гардебуа достал из кармана пиджака новенькое, желтой кожи портмоне и показал Покатилову фотокарточку. Мальчик лет двенадцати, плотный, немного курносый, в облике которого явственно проступали черты Гардебуа, держал за руку курчавую девчушку в ажурном платьице и белых гольфах; они стояли на лужайке рядом с длинным гоночным автомобилем.— Это Полетта и Луи,— объяснил Гардебуа.— Ты что спросил?

— Потом,— сказал Покатилов, разглядывая снимок.— Хорошие дети у тебя. Я очень рад, что встретился с тобой, Анри.

— Да,— сказал Анри.— Я тоже очень рад. Я хотел бы о многом побеседовать с тобой. Я часто вспоминал тебя. Я вижу, что ты живешь хорошо. Что ты делаешь в Москве?

— Преподаю математику в университете.

Автобус, сделав крутой поворот, выехал на мощенную булыжником мрачноватую городскую площадь, в центре которой возвышалась чугунная ваза фонтана. В конце сбегающих вниз проулков меж глухих стен домов поблескивала грязно-бурая колышущаяся масса Дуная.

К концу пути балагуры утомонились. Бельгиец Шарль снова сидел подле своей ветреной Мари, Франц Яначек и Генрих — на переднем диванчике у выхода. Переводчица Галя увлеченно разговаривала по-французски с крупноголовым цыганистым Насье, остальные кто курил, лениво поглядывая в окна, кто откровенно клевал носом.

Когда автобус остановился, Яначек, изображая из себя некоего гига-распорядителя, объявил:

— Милые дамы и господа, в вашем распоряжении пятнадцать минут. Поднимитесь в свои комнаты, помойте руки и ровно в тринадцать часов будьте в банкетном зале гостхауза. Шарль, к тебе обращаюсь персонально. Пожалуйста, отложи свои объяснения с Мари на более позднее время и постарайся выглядеть повеселее...

— Яволь.

— ...хотя бы во имя высших интересов комитета, который заинтересован в поддержании добрых отношений с провинциальной административной. А теперь, пожалуйста, поживее выметайтесь из автобуса. Лос! Раус!

И невольно подпадая под этот, очевидно, принятый здесь в обиходе шуточный тон, Покатилов прыгнул на мокрый булыжник и протянул руку показавшейся в открытой дверце Гале.

— Вы не скучали с этим... Насье?

— Мне надо пользоваться такой возможностью — практиковаться сразу во французском и в немецком,— с живостью ответила она.

Генрих в черном элегантно пальто, черной шляпе, желтых перчатках походил скорее на отставного дипломата, чем на скромного адвоката, бывшего шцубундовца и комиссара одной из испанских интербригад.

— Вы еще не видели своих номеров, дети мои? Идемте, я провожу вас.

Комната Покатилова была просторной, с квадратной постелью, овальным столом и никелированной вешалкой-стойкой рядом с дверью.

— Это не Париж, апартаментов здесь нет,— сказал Генрих.— Но, надеюсь, тебе будет не так уж неудобно. Приводи себя в порядок, внизу договоримся о встрече.

— Момент, Генрих.— Покатилов извлек из толстой записной книжки отпечатанную на бланке Комитета ветеранов войны бумагу, в которой говорилось, что доктор наук, профессор Константин Николаевич Покатилов направляется на сессию Международного комитета Брукхаузена в качестве наблюдателя.

— Все-таки только наблюдателя?— спросил заметно огорченный Генрих.

— Пока, во всяком случае.

— А ты доктор и профессор?! — Генрих снова улыбнулся.— Рад за тебя и поздравляю.

Покатилов умылся, сменил сорочку, раздвинул шторы на окне. За окном темнел Дунай. Царапнула сердце всплывшая в памяти картина, даже не картина — только мысль о ней. Мысль о том, что чувствовал он, идя с товарищами под конвоем эсэсовцев по улочке Брукхаузена тогда: рядом блестела светлая, в солнечной чешуе полоса воды и был момент, когда ему хотелось броситься в реку...

В дверь постучали. Это была Галя. Нарядное, в обтяжку, серое платье, белые туфли. Он поймал на себе ее вопросительный взгляд.

— Мы не опаздываем, Константин Николаевич?

— Сейчас без двух минут,— ответил он.

В банкетном зале этажом ниже мерцала в электрическом свете дубовая обшивка стен, пахло жареным луком. Столы, накрытые жесткими белыми скатертями, были составлены в форме буквы «п». На почетном месте расположились незнакомые, ярко одетые люди; в центре группы Покатилов заметил тучную фигуру представителя провинциального самоуправления Хюбеля, который утром приветствовал открытие сессии, и седую голову Генриха Дамбахера. Яначек, бегающий по залу и мешающий хозяину с сыном, облачен в белые куртки,

заканчивать сервировку стола, рассаживал делегатов. По-прежнему слышались разноязычные шутки и смех.

— А-а, герр профессор, и вы, фрейлейн! Мне приказано представить вас как особо уважаемых гостей.

Яначек потащил их к группе красочно одетых господ во главе с земельным советником. Яначек находил, кажется, особенное удовольствие в том, что каждому в отдельности говорил одно и то же:

— Представитель Советского Союза профессор, доктор Покатилов. — И после небольшой паузы: — Личный секретарь господина профессора фрейлейн Виноградова.

В ответ раздавалось:

— Очень приятно познакомиться. Ландесрат Хюбель... Мое почтение, фрейлейн.

— Весьма польщен. Оберрегирунгсрат... Здравствуйте.

— Я счастлив. Амтсрат...

— Коммерсант с дипломом, бургомистр Брукхаузена...

Наконец Покатилова с переводчицей усадили у торца главного стола. Хюбель с бокалом в руке еще раз сердечно приветствовал высокочтимых господ зарубежных делегатов, а также своих земляков господина надворного советника доктора Генриха Дамбахера и коммерц-советника, референта федерального министерства финансов господина Франца Яначека. В заключение спича он сказал прочувствованно:

— Вы пережили подлинный ад. Я желаю вам забыть прошлое, все ужасы и кошмары, чтобы они не омрачали ваш нынешний день, я желаю вам устойчивого счастья, которое вы безусловно заслужили более чем кто-либо.

В ответном слове Генрих поблагодарил провинциальные власти, лично господина земельного советника доктора-инженера Хюбеля и всех присутствующих здесь представителей местного самоуправления за их неизменное, можно сказать, традиционное радушие и гостеприимство. Он ни словом не обмолвился насчет высказанного Хюбелем пожелания забыть прошлое, и это несколько покорило Покатилова.

Выпили по бокалу легкого светлого вина и принялись за суп, без хлеба, конечно. Затем принесли салат, обильное жаркое и к нему опять бокал сухого вина — за счет провинциального совета, о чем с доверительной улыбкой сообщил делегатам хозяин гастхауза. На десерт подали мороженое, потом кофе и крохотную рюмку мятного ликера — все за счет провинциальных властей.

Покатилов ел,пил, поглядывая искоса то на местных должностных лиц, которые тоже ели и пили, как заметил он, с завидным аппетитом; то на переводчицу, которая почти ничего не пила и очень мало ела; то на Генриха, лицо которого наливалось склеротической краснотой; то на симпатичную чету бельгийцев — Шарля и Мари; то на белорозового австрийца Яначека, на сдержанного чеха Урбанека, на выразительно жестикулирующего француза Насье, на меланхоличного Анри Гардебуа — его, Покатилова, близкого товарища по пережитому.

— Ханс Сандерс...

Перед столом стоял очень знакомый человек с багровыми щеками, с бесцветными навывкате глазами.

— ...контролер соседнего цеха.

Вспомнил. Молодой голландец, работавший вместе с ним, Покатиловым, в лагерных мастерских техническим контролером. Очень спокойный, даже чуть флегматичный парень, у которого, как он сам однажды признался, отец был банкиром, богачом, но страшным скрягой. Месяца за три до освобождения Брукхаузена его в числе других голландцев и скандинавов куда-то увезли из центрального лагеря.

— Сервус, Ханс. Я рад, что ты жив.

Кто-то, подойдя сзади, положил Покатилову руку на плечо. Покатилов обернулся. Небольшого роста, в очках, с чуть приметными рябинами на бледном лице человек глядел на него молча и не мигая, и было видно, как дрожит его сухонькая нижняя челюсть.

— Неужели Богдан? — Покатилов вместе со стулом резко отодвинулся от стола.

Маленький санитар, самоотверженный Богдан, столько раз выручавший из беды Степана Ивановича Решина и его, Костю, когда они вместе находились на шестом блоке в лагерном лазарете... Порывисто обнялись. Богдан не выдержав плакал.

— Дети, дети мои! — кричал со своего места по-немецки Генрих. — У нас еще будет время, мы продолжим это после ужина. А сейчас все на автобус, дети!

— Вислоцкий жив? — спросил Покатилов.

— Не... — Богдан сдернул запотевшие очки, улыбнулся. — Человеке! Никогда не узнал бы в таком важном товарище того Костю... Вислоцкий уж неживой. Был у нас после войны вице-министром здравоохранения и социального обеспечения.

— Жалко... А ты, Богдан, что делаешь? Кто ты теперь?

— Я есть председатель ревизионной комиссии польского союза борцов... Есть старший бухгалтер.

— Дети мои, все на автобус! — кричал из-за своего опустевшего стола Генрих.

Официальные лица за минуту до того сочли благоразумным исчезнуть незаметно, по-английски.

— Лос! Раус! — кричал Яначек. — Работать! Арбайтен! Травайе! Працовать! Абер шнель!

— Нам надо обязательно подробно поговорить, Богдан, — сказал Покатилов.

— Так. Обязательно, Костя.

Еще два старых знакомых, подумал Покатилов. Один очень близкий: Богдан.

4

В конференц-зале бывшей лагерной комендатуры продолжалась общая дискуссия. Делегат от Федеративной Республики Германии, широкоскулый, с взлохмаченными волосами, Лео Гайер говорил о том, что их, западных немцев, многое связывает с товарищами по Брукхаузену из других стран.

— Бывшие заключенные гитлеровских концлагерей — немцы, — говорил Гайер, — разделяют тревогу мировой общественности, когда ответственные лица из нашего правительства заявляют: «Мы не можем отказаться от германских земель, отторгнутых от фатерланда в результате военного поражения».

«По-моему, в лагере он был сапожником. Работал в шустерай. Наверняка знал баденмайстера Эмиля, а возможно, и Шлегеля. Живы ли они? Надо потом подойти к Гайеру спросить... Но кто же он сам-то, Гайер: коммунист, социал-демократ, христианский социалист? Лицо у него хорошее — рабочего человека», — думал Покатилов, машинально по давней привычке испещряя чистую страницу блокнота знаками плюс и минус.

— Разумеется, среди должностных лиц и общественных деятелей в Федеративной Республике не все реваншисты, — уверенно и вместе с тем вроде бесстрастно продолжал Гайер, встряхивая кудрями, — у нас немало и здравомыслящих людей. Например, некоторые руково-

дители молодежных организаций по предложению наших товарищей — бывших хефтлингов³ устраивают ознакомительные поездки молодежи в Освенцим, в Дахау, сюда, в Брукхаузен. В органах юстиции много бывших нацистов, но есть и честные демократы. Так, один из прокуроров в Дортмунде этой весной демонстрировал диапозитивы с изображением нацистских зверств в концлагерях Штутгоф и Нейенгамме...

Делегаты слушали Гайера с особенным вниманием. Все — Покатилов в этом был уверен, — все отдавали себе отчет, что именно там, на западе, зреет сейчас новая угроза военного пожара. Именно там — пока только там — требовали изменения государственных границ, только там (не считая старых фашистских режимов на Пиренейском полуострове) была под запретом коммунистическая партия, только там, в Федеративной Республике, можно было столкнуться на улице или, того хуже, в правительственных учреждениях, в полиции, в судебной палате с каким-нибудь бывшим оберштурмфюрером СС... Однако к чему клонит речь Лео Гайер? Кто он — боец или соглашатель?

— В своей работе мы опираемся на все прогрессивные силы и стараемся влиять на них. Мы издаем бюллетень, в котором рассказываем, что делает наше объединение и что делает Международный комитет Брукхаузена. Мы устраиваем для молодежи доклады на тему «От прошлого — к настоящему и будущему», — говорил Гайер ровным голосом, и Покатилов поймал себя на том, что начинает терять интерес к его выступлению, как вдруг после паузы с волнением, пробившимся наружу, Гайер сказал: — Мы нуждаемся в вашей помощи, дорогие камрады, дорогие друзья. Наш Международный комитет должен в определенном смысле стать тем, чем он был в концлагерном подполье: боевым органом интернациональной солидарности антифашистов. Нельзя забывать о клятве, данной нами в апреле сорок пятого на лагерном апельплаце. Забыть эту клятву — значит, предать мертвых...

Нет, Гайер, конечно, настоящий антифашист. Но неужели здесь обсуждается и этот вопрос — оставаться или не оставаться верным той клятве?

Переводчица добросовестно конспектировала выступления, писала сразу по-русски, немного склонив голову набок и приоткрыв рот, как усердная студентка-первокурсница на лекции. Покатилов потушил недокуренную сигарету. Надо вечером прочитать ее записи. Что говорил с трибуны Насье, он не знает; Урбанека тоже невнимательно слушал, возможно, поэтому ему показалось, что заключительные события в лагере чехословацкий делегат трактовал произвольно. Да и в докладе Генриха следует тщательнее разобраться. Может быть, отложить разговоры со старыми друзьями на завтра?

Рука его набросала подряд три знака минус. Он поморщился. Черт побери, что же это творится! Он, Константин Покатилов, просто Костя, бывший хефтлинг, бывший смертник, в полной мере познавший здесь, в Брукхаузене, и голод и пытки, через двадцать лет снова очутившись на этой земле, среди товарищей по несчастью, интересуется только тем, кто о чем говорит, кто какой ориентации придерживается? Нет, конечно! Его интересует все, что касается старых товарищей, вся их жизнь...

И все-таки он хочет прежде всего понять, что заставляет этих людей из разных стран собираться вместе (этих людей, усмехнулся он,—

³ Заключенных.

«братьев» должно бы говорить!), собираться и произносить здесь нарядно с хорошими и правильными весьма странные речи. Да, странные, потому что делегат из Люксембурга, толстый, одышливый и, вероятно, очень больной, только что сказал, что главное, чем должен заняться Международный комитет, это взять на учет всех бывших политзаключенных, которые не получили от правительства Федеративной Республики возмещения за понесенные ими убытки в годы войны, и в самые короткие сроки добиться выплаты компенсации.

Над кафедрой уже возвышалось тяжелое, с приплюснутым носом лицо Анри Гардебуа, и перед мысленным взором Покатилова пронеслось солнечное апрельское утро, дощатая трибуна, сооруженная напротив крематория, длинная костлявая фигура его друга Гардебуа, произносившего с этой трибуны на аппельплаце слово «клянемся»...

— Переводите вслух, Галя. Сумеете с французского?

— Попробую. Он говорит... наша организация, или ассоциация, существует со дня освобождения. Главная цель ее деятельности — объединить всех бывших депортированных, то есть сосланных или заключенных, не знаю, как правильно, Брукхаузена независимо от их социального положения и политических взглядов... для того чтобы чтить память погибших, помогать морально и материально выжившим, добиваться наказания нацистских преступников... С этой целью, говорит он, мы организуем встречи оставшихся в живых бывших узников, принимаем участие в траурных торжествах в честь памяти погибших, каждый год устраиваем пелеринаж, то есть... странствование, паломничество в Брукхаузен... — Вслед за Гардебуа Галя произнесла «Брукхаузен» на французский лад, с ударением на последнем слоге; ее голос от волнения чуть-чуть дрожал. — Говорит, стараемся участвовать в общей борьбе, рассказываем о Брукхаузене. Продали на пять миллионов старых франков брошюр и открыток о концлагере... Когда во Францию приезжают немецкие туристы, мы показываем им места, где в период второй мировой войны нацисты совершали злодеяния. Во всей этой работе мы едины, говорит он... Мы, говорит, требуем, чтобы Федеративная Республика Германии возместила убытки бывшим депортированным, требуем наказать эсэсовских преступников, и не только непосредственных исполнителей зверских расправ, то есть палачей, но и их руководителей... руководителей этих казней... Но мы против антинемецкой кампании. Не надо смешивать преступников и честных людей... В работе нашей ассоциации принимают участие и члены семей погибших, которые тоже выступают за счастье, свободу и мир. Мы считаем, чтобы сохранить единство бывших депортированных в международном масштабе, в условиях, когда наш континент разделен на два враждебных блока, нам надо избегать всего, что нас разъединяет, и стремиться к тому, в чем мы едины... а для этого не увлекаться политикой. Такова, на наш взгляд, должна быть ориентация и нашего Международного комитета.

— Вот тебе и на,— пробормотал Покатилов, провожая взглядом грузноватую фигуру старого друга, направлявшегося от кафедры к своему рабочему столику.

— Я плохо переводила? — спросила Галя.

— Нет, отлично, я о другом,— хмуро ответил Покатилов, думая, что теперь и ему придется поспорить с Гардебуа и, может быть, с Насье и Генрихом... А ведь так хотелось сперва просто по-человечески пообщаться со старыми товарищами, узнать, чем они занимались после войны, как их здоровье, возникали ли у них те житейские и психологические проблемы, с которыми пришлось столкнуться ему, Покатилову, после возвращения из концлагеря.

Глава вторая

1

Через три года после возвращения из Брукхаузена, в июне 1948 года, сдав в МГУ зачеты и экзамены за первый курс, студент механико-математического факультета Покатилов зашел в университетскую поликлинику. Лечащий врач, хорошенькая тридцатилетняя женщина-терапевт, вначале посмеялась, когда он пожаловался на плохой сон, посоветовала побольше гулять, побольше, поактивнее заниматься физкультурой, вообще дружить с водой, солнцем, со спортивной площадкой. «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» Он не принял ее жизнерадостно-игривого тона. Солнце, воздух и вода ему не помогли. Услышав об этом, женщина-терапевт почему-то обиделась и отвела его к невропатологу Ипполиту Петровичу, сухощавому бритоголовому старику.

— Что значит, по-вашему, плохой сон? — спросил доктор.

— Да снится всякая дрянь, — сказал Покатилов. — Просыпаюсь ночью по пять, шесть раз, а то и больше... и не высыпаюсь, конечно.

— Что же именно снится?

Покатилов помолчал. До сих пор ни товарищам по курсу, ни тем более малознакомым людям он не говорил, что почти два года провел в фашистском концлагере. Зачем? Многие сокурсники были демобилизованными солдатами или офицерами, тоже всякого навидались в войну. Да и не привык с непрошеными откровенностями лезть к другим.

— Так что же? — повторил бритоголовый старик-невропатолог.

— Война, немцы... Валерьянку на ночь, может, принимать?

— Был на оккупированной территории? — не спуская с него глаз, выражение которых из-за блеска окуляров разобрать было трудно, спросил доктор, и Покатилов вспомнил, что этот старик давал ребятам-фронтовикам справки, освобождавшие от занятий по физкультуре, и ребята называли его с симпатией по имени-отчеству — Ипполит Петрович.

— Я был двадцать месяцев... точнее, шестьсот семьдесят семь дней заключенным концлагеря Брукхаузен. За три дня до освобождения меня кололи... запускали иглу под ногти. — И Покатилов показал врачу левую руку с белыми узелками шрамов на кончиках большого, указательного и среднего пальцев. Он сам с некоторым удивлением и неудовольствием заметил, что его вытянутая рука дрожит.

— Понимаю, — сказал Ипполит Петрович, поймал его руку и быстро пожал.

Это было так неожиданно, что Покатилов не ответил на пожатие. И ему нестерпимо захотелось курить.

Ипполит Петрович, встав, распахнул окно, за которым в солнечном свете блестела резная зелень кустов акации, вынул из тяжелого серебряного портсигара папиросу и жадно задымил.

В кабинет без стука упругой походкой вошла светленькая голенастая медсестра. У нее были красивые голубые глаза, темные тонкие брови, а нос картошечкой.

— Пусть подождут, — ворчливо сказал Ипполит Петрович.

Однако едва сестра, сооротив гримаску, повернула обратно, он потушил папиросу о доньшко стеклянной пепельницы и снова сел за стол. Он снял пенсне, открыл историю болезни Покатилова и стал что-то записывать бисерным почерком, без нужды, как тому показалось, часто макая перо в фиолетовые чернила и шумно посапывая.

— Константин Николаевич,— проговорил он через минуту,— чтобы я смог вам помочь, мне надо очень подробно знать всю вашу жизнь день за днем... в немецком концлагере. Потом я вам все объясню. А покамест прошу поверить на слово, что это крайне необходимо, чтобы вернуть вам нормальный сон... полноценный, спокойный сон и, следовательно, возможность продолжать учиться в университете.

— Так серьезно, доктор?

— К сожалению, да. Вам угрожает истощение нервной системы. Я с вами откровенен, потому что вы, судя по всему, человек мужественный. И я хочу вам помочь. Я видел Освенцим в октябре сорок четвертого, сразу после того как наши войска освободили лагерь. Страшно было. Груды трупов, которые не успели сжечь. Женщины с детьми, фантастически истощенные, у детей на полосатых куртках тоже были нашиты номера с красными треугольниками. Ужасно! А лагерные склады с детскими ботиночками, детской одеждой, то, что осталось после уничтожения людей в газовых камерах!.. Поношенные детские ботиночки. Хотелось взять автомат и убивать подряд всех немцев. Такая была реакция. Мне лично было стыдно возвращаться в госпиталь. Я тогда был хирургом. Капитаном медицинской службы. Думал — только на передовой, да, именно только стреляя в упор, можно воздать, да. Потом у нас лечилось несколько освобожденных. Страшно, страшно. А вы когда же умудрились попасть в плен? Такой молодой...

— Я не был пленным. Немцы меня арестовали на Псковщине в сорок втором. Тогда наша подпольная организация устроила побег военнопленных. Я был оставлен по заданию райкома, но немцы, к счастью, не знали этого. Меня схватили и упрятали в тот самый лагерь, откуда бежали... как и многих других гражданских лиц... под видом пойманного пленного. Немцам-то, в общем, было наплевать, кто мы — гражданские или военные, лишь бы сошлось число.

В кабинет опять без стука вошла беленькая длинноногая медсестра.

— Сейчас, Вера, сейчас.

— Главный врач вызывает.

— Иду... Константин Николаевич, даю вам две недели срока. За это время вы должны подробнейшим образом описать все, что пережили в войну, и особенно эти... пытки в Брукхаузене. Через две недели придете на прием, лучше к концу дня. Вера, познакомь студента Покатилова с моим расписанием. Я должен срочно уйти, а то на меня снова будут вешать всех собак. Договорились, Константин Николаевич? Все вам ясно? До свидания.

Ипполит Петрович засуетился, сунул под мышку потрепанную папку с медицинскими картами и убежал, а медсестра Вера, поведив пальчиком по настольному стеклу, под которым белел какой-то график, сказала, на какое число он должен записаться к Ипполиту Петровичу.

— Спасибо большое,— пробурчал Покатилов, чувствуя, что не может заставить себя отвести взгляда от ее мягко очерченного лица.

— Неужели вы пытки перенесли у немцев? — вдруг спросила она, густо заалев.

— Вам-то какое дело, девушка? — с раздражением ответил Покатилов, вытащил из брючного кармана мятую пачку папирос и не прощаясь вышел.

Ему отчаянно хотелось курить и было досадно, что Ипполит Петрович, фронтовик, капитан медицинской службы, тушуетя перед своим начальством, и еще более досадно, что ни с того ни с сего был груб с такой славной девушкой-медсестрой.

Раздражение его было вызвано и тем, что врач, заспешив, не поинтересовался, может ли он, Покатилов, теперь, по окончании сессии, целых две недели сидеть в городе. А он определенно не мог. Не мог, во-первых, потому, что на днях в общежитии начинался ремонт и об этом комендант предупредил студентов, которые по той или иной причине не торопились с отъездом на каникулы. Во-вторых, он уже извещил о дне приезда сестру, жившую под Вологдой. Но, может быть, махнуть рукой на распоряжение врача и уехать? Тем более что родной деревенский воздух, парное коровье молоко, привычная домашняя обстановка всегда целительно действовали на него...

Частыми затяжками докуривая вторую папиросу, он представил себе старенькую кушетку, застланную домотканым коврикком-дольником, на которой обычно спал, приезжая к сестре, вспомнил тенистую лесную тропу, по которой прошлым летом ходил купаться на быструю светлую Моржегу, и почувствовал, как защемило сердце. Хочу домой, сказал он себе и вернулся в прохладный полутемный вестибюль поликлиники.

Кабинет невропатолога был заперт. В окошечке регистратуры ему ответили, что Ипполита Петровича сегодня больше не будет. Он разыскал светленькую голенастую Веру и, преодолевая смущение, которое особенно возрастало оттого, что сестра тоже смутилась, завидев его, сказал, что хотел бы отложить до осени посещение Ипполита Петровича.

— Вы иногородний? — робко, очевидно боясь, что снова рассердит его, спросила она. — Вам жить негде?

— Я живу в общежитии на Стромынке, но у нас с первого июля начинается ремонт... Хотя, конечно, можно было бы попробовать договориться с комендантом, одно место, я думаю, он нашел бы. — В эту минуту ему почему-то уже не так хотелось уезжать; впрочем, он знал почему: из-за этой девушки, будь она неладна. — Знаете что, — заговорил он торопясь, — если я успею написать то, что велел Ипполит Петрович, за неделю или дней за десять, вы сможете переписать меня к нему на прием поближе?

— Смогу, — сказала она радостно.

— Вы сегодня вечером свободны?

Она слегка замялась: должно быть, была несвободна. Он помрачнел:

— Не пугайтесь, я пошутил.

— Я собиралась в Ленинку, я готовлюсь в Первый медицинский. Если бы часов в девять... — И она снова густо заалела.

«Ну, влип, — подумал Покатилов. — И в самый неподходящий момент».

— В девять у выхода из метро «Библиотека Ленина», — предложил он, ощущая сухость во рту и в гортани.

— Хорошо. — И она, пылая до корней волос, стянутых на затылке в тугую жгут косы, некрасиво отводя взгляд в сторону, побежала прочь, исчезла.

«Что за глупость, — говорил он себе, шагая через слепящий солнцем двор, — что за чепуха, что за бред! На кой мне это свидание, ну, не свидание — встреча, одна сатана, как ни назови. Ведь зарекался: пока не кончу университет, никаких таких делишек...» «А почему — делишек? — возмущенно произнес внутри него другой голос. — Дружи, черт побери, встречайся по-человечески. Девка-то хорошая, вон как краснеет, готовится к экзаменам... Да знаю я, что ты меня убеждаешь, знаю, чем всегда это кончается». И почувствовав, что в лицо ударила кровь,

свернул в тень, постоял с минуту, успокаиваясь, а потом размашисто зашагал в сторону метро «Библиотека имени Ленина».

Ни до войны, ни в войну он не знал женщин, хотя с шестнадцати лет мечтал о любви. Даже в Брукхаузене, когда однажды проститутка из лагерного борделя, предназначенного для надсмотрщиков, сказала ему, прислонясь к белому зарешеченному оконцу: «Ты ладный парень» («Ладный или бравый?— размышлял он после, как будто это имело какое-то значение.— *Du bist ein braver Kerl...*»),— услышав эти слова, произнесенные волнующе высоким мелодичным голосом, он замер и с неделю потом, перед тем как заснуть на своих узких жестких нарах у окна, вызывал в воображении этот волшебный голос и видел в зарешеченном оконце белый лобик, окаймленный блестящей челкой. Тогда ему было девятнадцать, он работал в лагерной каменоломне и был членом подпольной антифашистской организации.

А через год, уже после освобождения, служа солдатом в медико-санитарном батальоне, стоявшем в маленьком городке на реке Огрже в Чехословакии, он впервые «пал». Он неизменно говорил себе про тот случай — «пал», потому что произошло его первое интимное сближение с женщиной не так, как, по его представлениям, оно должно было произойти: без объяснения в любви, без ощущения того высокого счастья, которое должно было явиться в момент объяснения. Раз знойным июльским утром старшая медсестра Валя позвала его купаться. Случилось все неожиданно и как бы помимо его воли. То есть по его воле и желанию — он предчувствовал, что это должно произойти, когда она, сдав дежурство, пригласила его купаться, — но момент, как ему показалось, выбрала она и даже подтолкнула и приободрила его. Валя разделась до трусиков и лифчика, глянула на него своими смелыми насмешливыми глазами, потом повернулась спиной и, сведя лопатки вместе, попросила расстегнуть верхнюю пуговку. В его мыслях горячечно пронеслось, что надо бы подхватить ее на руки — так описывалось во всех романах, — и он ее подхватил, чтобы, как в романах, осыпать счастливое лицо поцелуями и произнести какую-то клятву, но она, опередив его, поймала его пересохшие губы своим быстрым горячим ртом и увлекла за собой на мягкую пахучую траву...

Через неделю, когда он совершенно потерял голову от «любви» и решил сделать Вале формальное предложение, его перевели служить в отдельную караульную роту. Он был в отчаянии, но Валя и тут проявила командирскую волю: привезла ему в часть чеходанчик с гражданским барахлом — костюм, сорочку, носки; после демобилизации, мол, пригодится — и литровую банку с трофейным смальцем, чтобы окончательно поправился после своего злосчастного Брукхаузена. А затем объявила, что на днях уезжает домой, в Ростов-на-Дону, где ее ждет довоенный друг, можно сказать, муж, всплакнула, посмеялась и исчезла из его жизни. Запомнился тонкий, будто иглой царапнули, шрамик на подбородке — след осколочного ранения — и белая солдатская медаль на темно-зеленой диагоналевой гимнастерке.

Два года он загорал в отдельной караульной роте, дослужился до младшего сержанта, получил новый комсомольский билет (старый был зарыт на Псковщине во время полицейской облавы), удостоился трех благодарностей за образцовое несение службы и успехи в боевой и политической подготовке, а в любви ему не везло. Не было у него, как у других, легкой, дерзкой хватки, слишком вежливо и долго знакомился, ждал, когда вспыхнет чувство. Товарищей за молниеносные победы не осуждал, но сам так не мог: казалось — не по-людски...

И опять «падение». Встречая Новый год, двумя сокурсниками в многоэтажном доме на Арбате, далеко за полночь был уложен спать по соседству с молоденькой девушкой-продавщицей. Сокурсники, по-

смеиваясь, тоже укладывались спать в той же тесной комнатке не-вдалеке от своих подружек. Было неловко, мутно, к счастью, девушка тотчас уснула. Вскоре, не заметив как, уснул и он, а когда проснулся, она, прижавшись к нему, с любопытством разглядывала его, и деваться было некуда.

3

«Я же дал себе зарок не допускать больше подобного безобразия», — в смятении думал он, вспомнив мутную новогоднюю ночь в арбатском доме. И снова внутренний голос решительно возразил: «Почему должно быть безобразие? Не допускай. Да с Верой — так, кажется, ее зовут — этого и не может быть».

В общежитии было непривычно пусто, пахло дезинфекцией, по коридорам стелились сквозняки. Сосед по койке Ванечка — это он был устройтелем новогодней пирушки — заколачивал фанерный ящик, набитый доверху пакетами с пшеном.

— А ты что не собираешься в путь-дорожку? — Ванечка, улыбаясь, вынул изо рта светлый гвоздик и бросил молоток на постель, заправленную полинялым байковым одеялом. — Заболел, что ли? Вид у тебя, парень, какой-то смурый.

В войну он служил на флоте и, как большинство демобилизованных матросов, носил сильно расклешенные брюки, а под рубахой тельняшку, уже застиранную до дыр и штопаную-перештопаную.

— Мне, Ваня, придется еще дней десять припухать в Москве. Буду лечить бессонницу.

— Это правильно. Перестанешь кричать по ночам. Курево есть? Они уселись друг против друга и задымили.

— Не знаю, разрешит комендант остаться в комнате...

— Поставь флакон красенького — разрешит.

— Ненавижу подношения.

— Сам ненавижу. — Ванечка засмеялся, блеснув молочно-белыми, как у младенца, зубами. — Может, пойдешь в арбатский дом на фатеру? Дуся и накормит и напоит... Ладно, не играй бровью, это я для юмора. Хочешь, поговорю о тебе с комендантом? Он мужичок хоть и себе на уме, но земляк, а это, как понимаешь, немаловажный фактор.

— Поговори, Ваня. — У Покатилова внезапно прояснело на душе. Он растянулся на постели, задрал ноги на спинку кровати, и сообщил весело: — А я, Ванечка, кажется, влюбился.

— Наш Костя, кажется, влюбился, — звучным тенором пропел Ванечка и сказал: — Этого не может быть.

— Иду к девяти на свидание.

— А как с бессонницей? Хотя если это у тебя и правда любовь — бессонница пройдет. Как рукой снимет. А она-то кто? — Ванечка улыбнулся во весь рот и глядел на Покатилова не мигая сияющими глазами. — А свадьба когда? — Он тоже закинул ноги в разбитых ботинках на спинку кровати и повернул к Покатилову ярко-румяное курносое лицо.

Таким он и запомнился Покатилову на всю жизнь. Кажется, многое ли связывало их: спали на соседних койках одну зиму, худо ли, хорошо ли — вместе встретили Новый год да июньским полднем перед отъездом Вани на летние каникулы поговорили по душам... Пройдут годы, и образ соседа по комнате в общежитии будет частенько являться ему, и он в своем воображении будет видеть его таким, каким тот был — задрал на спинку кровати ноги и повернув к Покатилову лицо, краснощекое, с синими щелочками глаз, с добрым, бескорыстным интересом к его жизни, к его вспыхнувшей любви и желанием помочь

ему... Смерть ли товарища, последовавшая вскоре, повинна тут? И только ли смерть?

— Чует мое сердце — женишься, — говорил Ваня, беззаботно посмеиваясь. — Я у тебя на свадьбе буду шафером. Договорились?.. Ты вообще-то кто?

— Как это кто? В каком смысле?

— Мать у тебя во время войны померла, отец за год до войны. Сестра учительствует под Вологдой. Так? Пехота, младший сержант, демобилизован весной сорок седьмого. Комсомолец. Отличник учебы, заработал бессонницу на почве усердных академических занятий. В войну был под немцем... Как ты под немца-то попал, если ты вологодский?

— Сестра работала на Псковщине до войны, а я у нее жил после смерти отца. Немцы высадили десант в той местности шестого июля.

— Партизанил?

— Был членом подпольной комсомольской организации, потом три года разные лагеря, последний — концлагерь Брукхаузен.

— Не слышал. Я служил на Северном флоте, два раза тонул, три раза лежал в госпитале. Я счастливый. — И Ванечка, особенно весело рассмеявшись, спустил ноги на пол и вновь взялся за молоток. — С командантом договорюсь насчет тебя, не беспокойся. Как-никак земляк, шарьинский, мне пока ни в чем не отказывал. Так что лечись и женись, а хошь — сперва женись, а потом лечись, поскольку многие наши недомогания проистекают от отсутствия женской ласки.

— Верно, Ванюша, все верно. А я сейчас попробую вздремнуть...

И он, к удивлению своему, ощутил, как сладкой тяжестью налились веки и вязкая истома побежала по телу.

Без четверти девять, свежесбрившийся, начищенный, наглаженный, прохаживался он перед стеклянным фасадом метро «Библиотека имени Ленина». Вера, по всей вероятности, должна была появиться со стороны улицы Фрунзе — там ближе вход в читалку, — но могла появиться и с противоположной стороны, от Моховой, могла внезапно возникнуть перед ним, выйдя в толпе пассажиров из метро.

Дойдя до угла, обращенного к Моховой, он останавливался, приглаживал ладонью темный вихор на макушке и снова несцешно вышагивал к другому углу, с удовольствием кося взглядом на свое отражение в стекле: в светлом костюме (в том самом, трофейном, подаренном на прощанье Валеи), в сверкающих туфлях, с модным крошечным узелком галстука. Денди. Пусть денди. К его смуглому лицу и черным волосам так идет эта белая рубашка, а застегнутый на одну пуговицу пиджак, как принято выражаться, подчеркивает спортивную осанку, натренированные турником мышцы плечевого пояса... Неужто ему, молодому парню, и покрасоваться маленько нельзя, тем более что он ведь теперь студент второго — уже второго — курса!

И он опять вышагивал своими крепкими ногами перед фасадом метро, прижимал ладонью упрямый вихор на макушке, любовался видневшимся наискосок зеленым шпилем с рубиновой звездой, на золотых гранях которой бродило солнце, вдыхал пахнущий асфальтом и бензиновым дымком воздух и чувствовал себя бесконечно здоровым и счастливым.

Без пяти девять он начал ощущать легонькое беспокойство, без трех минут кольнула горькая, но вполне правдоподобная мысль: «А вдруг не придет, передумает?» — без одной минуты девять понял, что не придет.

Он немедленно закурил и стал еще зорче поглядывать то в сторону улицы Фрунзе, то в сторону Моховой, и в то же время ни на секунду не выпуская из поля зрения пассажиров, выходящих из метро.

Ровно в девять он обреченно вздохнул и увидел перед собой неведомо откуда взявшуюся девушку, отдаленно похожую на ту беленькую медсестру Веру, в которую он мгновенно и в самый неподходящий момент влюбился и с которой условился о встрече.

Если бы знали умные, хорошие парни, сколько душевной энергии и физических сил тратит девушка, собираясь на свидание! Особенно на первое, которое по какой-либо небрежности ее — она интуитивно понимает это — может оказаться и последним. И особенно если парень люб. И чаще всего с неопытными девушками случается так, что, готовясь к первому свиданию, они отчаянно уродуют себя, без нужды подкрашиваясь и наряжаясь, как, будучи в нормальном состоянии духа, никогда не нарядились бы, то есть до потери собственного лица, утраты того отличного от других выражения, которое только и привлекло внимание и симпатию. «Боже мой! — пронеслось в мыслях Покатилова. — Она же совершенно не такая. Не та, что была утром. Или утром не разглядел как следует?..»

— Добрый вечер, — сказал он, насильственно улыбаясь, и тотчас заметил, что будто тень упала на ее лицо.

— Добрый вечер, — улыбнулась и она одними неумело подкрашенными губами, озадаченно вглядываясь в него, словно стараясь понять, что же ему теперь не нравится в ней.

«Ладно, сходим в кино, кукла размалеванная, — подумал он и усмехнулся. — Влюбился, женюсь, свадьба! Дубина я стоеросовая...»

— Вы «Андалузские ночи» смотрели? — спросил он.

Она покачала головой с таким видом, что, мол, нет, а в общем, мне все равно, какой ты меня находишь, страдать не будем.

— А где идет?

— В парке Горького, в летнем кинотеатре. Поехали?

Он и сам почувствовал свою небрежность и то, что в этой небрежности было что-то нехорошее. В конце концов, решил он, девка-то ни в чем не виновата, сам назначил ей свидание. «Ну и хорошо, — сказал он себе с облегчением, — сходим в кино, и точка. И никаких обязательств, никаких проблем». И ему сразу стало просто с ней. Он взял ее за руку и повел к троллейбусной остановке.

В троллейбусе они сели у открытого окна. Машина, набирая скорость после плавного поворота на развилке, помчалась по прямой к Большому Каменному мосту. В окнах слева поплыл зеленый холм Кремля с его золотистыми дворцами, золотыми крестами и куполами, с алым стягом, летящим в лучах солнца над зданием Верховного Совета. Справа синеватой рябью сверкнула Москва-река с белым трамвайчиком, убегающим в сторону Крымского моста, с острокрылыми чайками, то вдруг возникающими, то бесследно исчезающими в дымчатом мареве над водой. Потом возникла темная громада дома на набережной, зазеленел железной крышей, заблестел стеклами каменный куб кинотеатра «Ударник»...

Пока неслись по мосту, будто выкупались в речной свежести; напряжение спало, раздражение прошло.

— Вы давно работаете в нашей поликлинике? — спросил он, чувствуя теперь и доброжелательность к этой девушке и понятное любопытство к тому, что касалось ее.

— С осени. Как только завалила математику на приемных экзаменах в институт, — ответила она охотно.

— По-моему, я видел вас, когда мы проходили первый медосмотр. В сентябре или в октябре. А на чем срезались?

— Бином Ньютона. Очень возможно, что и видели, мне ваше лицо тоже знакомо. Вы ведь с мехмата? — спросила она, все более становясь похожей на себя. И не дожидаясь ответа, еще спросила: — Почему вы пошли на математический?

— Я люблю логику, — сказал он, радостно улыбаясь. — Люблю гармонию. Математика — это ведь и музыка и архитектура, это и Кремль, и Крымский мост, и даже полет чайки...

— По-моему, вам больше подошел бы филфак.

— Не скажите. А чем вас привлекла медицина? Кстати, кем вы собираетесь стать — терапевтом, хирургом, окулистом? Или детским врачом?

— Невропатологом, — сказала она, доверчиво глядя на него.

— Понятия не имею, с чем это едят, — улыбался он. — Правда, с сегодняшнего утра знаю, что невропатологи лечат бессонницу, точнее — плохой сон.

— Разве учение академика Павлова не проходили?

— Где?

— В школе. Условные и безусловные рефлексы. Первая и вторая сигнальные системы.

— Так это было еще до войны... Что вы! Все давно забыто и пере-забыто.

— А мне кажется, забыть можно только то, что непонятно...

Постепенно он все больше узнавал в ней ту, утреннюю Веру.

— А я, по-моему, до сих пор не представился вам. Пожалуйста, извините... Костя, — сказал он и протянул ей руку (а как же иначе?).

— Вера, — ответила она, знакомо краснея, и, дотронувшись до его ладони холодными пальцами, скороговоркой прибавила: — Я по вашей медкарточке узнала, что вас зовут Костя. Просто случайно упал взгляд...

— Я тоже слышал, что вас называли Верой, но так уж полагается, — улыбаясь, говорил он.

— Называть свое имя и пожимать друг другу руку?

— Между прочим, еще древние вкладывали в рукопожатие символический смысл.

— Рука моя свободна от оружия, ты можешь не бояться меня...

— И доверять мне...

Они, кажется, уже шутили, и Покатилов чувствовал, как возвращается к нему веселый подъем духа, а к ней — ее утренняя непосредственность.

Сшли у главного входа в парк. Билеты на вечерние сеансы были распроданы, он взял в окошечке два входных билета.

— Может быть, купим с рук, — сказал он.

Но и с рук возле кинотеатра билетов купить не удалось. «Андалузские ночи» пользовались успехом.

— Что будем делать, Вера? Пойдем потанцуем, на лодке покатаемся или постоим у Москвы-реки?

— Постоим. Я не люблю здешней танцверанды.

— Я тоже не люблю.

Вечер был тихий, солнечный, но не жаркий.

— И мороженого не люблю, — сказала она и потянула его прочь от синего ящика на гремящих колесиках. — Вернее, люблю, но у меня бывает ангина.

— И у меня она бывает, — сказал он обрадованно. — Давайте тогда ходить по парку и разговаривать.

— Давайте.

— Если хотите, возьмите меня под руку,— предложил он.

— Как вы догадались, что я этого хочу?

— Не «вы», а «ты», то есть я, один... догадался.

— Не быстро?

И он опять понял ее.

— По-моему, чем быстрее, тем лучше, лишь бы естественно. А кроме того, мы вроде выяснили, что знакомы с осени прошлого года. Не так уж мало.

Она кивнула. Глаза посерьезнели.

— Расскажите, Костя, о себе. Расскажи,— поправилась она.— Какие ты перенес пытки.

Неожиданно он смутился.

— Вера, я очень боюсь об этом рассказывать. Боюсь, что не сумею рассказать так, чтобы создалось правильное представление. Очень боюсь фальши. И потом, наверно, надо рассказывать все, с самого начала и очень подробно, понадобится много времени...

— Костя,— сказала она,— пожалуйста. Я хочу знать. Тебя фашисты пытали? Я объясню, почему меня это так интересует. Мы очень пострадали в войну. Отец погиб в ополчении в сорок первом. Убит под Наро-Фоминском. В сорок втором убит брат Коля. Вначале была обычная похоронка, ровно через год после извещения об отце. А весной сорок третьего к нам заехал бывший командир Коли. Возвращался из госпитала. И показал газету. Мама хранит эту газету... Командир сказал, что Коля был тяжело ранен, когда находился в разведке, и попал в руки фашистов. Его пытали. Ужас что делали... жгли раскаленным железом. Ничего им не сказал. Об этом написали в красноармейской газете. С тех пор мама плачет по ночам. Сделалась раздражительной какой-то, даже недоброй иногда. Я из-за нее и невропатологом стать решила.— Вера посмотрела Покатилову в глаза.— Я все думаю: может ли обыкновенный человек выдержать пытку?

5

— Может. Я тебе скажу почему. Только сначала вот что: ты с этой целью решила со мной встретиться, чтобы расспросить меня о пытках?

— Нет,— сказала она твердо.— Не для этого. Мне это трудно объяснить, почему...

— Тогда пошли из парка. Давай выйдем здесь, на Большую Калужскую.

Он уже не видел ни белых лебедей, скользивших по пруду вблизи кафе-поплавка, не ощущал соблазнительных ароматов шашлычной, не слышал, как острили перед микрофоном на подмостках Зеленого театра Шуров и Рыкунин. Солнце только опустилось за насыпь окружной железной дороги, и ряды лип в Нескучном саду тонули в зыбких сумерках.

— Надо бы как-то разделить эти два потока. Война, пытки, борьба — это одно. Наша встреча, почему мы вдруг решили встретиться — другое,— сказал он.

— Я понимаю. Но так уж переплелось.

— Поедем ко мне в общежитие.

— Далекое. И поздно. Если хочешь — зайдем к нам. Мама на ночном дежурстве.

И его и ее — он чувствовал это — трепала нервная лихорадка, когда они садились в троллейбус и потом, сойдя у Зубовской площади, шагали к ее дому, когда вошли в темный теплый подъезд, подня-

лись по широкой лестнице на третий этаж и особенно когда, отомкнув плоским ключиком дверь квартиры, она пропустила его в темь передней, в домовитую устоявшуюся атмосферу старого жилья. Вера торопливо открыла дверь своей комнаты, преувеличенно громко сказала:

— Проходи, пожалуйста.

Щелкнула выключателем, подвела к столу, накрытому льняной скатертью.

— Садись, кури. Я приготовлю чай.

«Эти два потока несовместимы,— подумал он.— Я ничего не смогу рассказывать о прошлом, пока меня будет донимать э т о. Одно из двух. Во всяком случае, место для разговора о прошлом выбрано неудачно». Как в тумане видел он перед собой старинный буфет, просторный диван с высокой спинкой, шишкинский пейзаж в массивной позолоченной раме; у окна — миниатюрный письменный стол на резных ножках, над ним несколько фотографий.

— Вера,— сдавленно сказал он, когда она появилась со вскипевшим чайником.— Вера...— повторил он и встал, борясь с собой.

— Я знаю, о чем ты думаешь,— быстро сказала она, не подымая глаз.— Не уходи. Хочешь, расплету косу?

— Это, наверно, чудовищно,— бормотал он,— это, может быть, подло, но это выше моих сил, я не могу ни о чем другом думать, глядя на тебя...

— А я — на тебя,— еле слышно произнесла она.

...Они лежали на диване обессиленные, потрясенные стремительностью того, что совершилось.

— Вот и дождалась своего принца,— воспаленно шептала она.— Ты у меня первый, ты будешь и последний. Я тебя никогда не разлюблю.

— И я.

В комнате горел свет, за незапертой дверью в передней раздавались чьи-то обыденные голоса.

— Это безумие? Да? Пусть безумие. Я тебя люблю.

— И я тебя люблю,— шептал он.— И я тебя никогда не разлюблю.

— Я утром как увидела тебя, так и поняла сразу, что — судьба. Знаешь почему? У тебя все написано на лице. Вся твоя горячая душа. И на меня еще никто так не смотрел... Я дура? Да? Но ты ни о чем не беспокойся, ни о чем таком не думай. Я тебя буду любить, только тебя, а ты, если тебе это надо, можешь чувствовать себя свободным.

— Ты моя жена, и я не хочу быть свободным...

«Как хорошо, как спокойно,— думал он потом, отдыхая.— Как все несомненно и правильно. Она моя жена, я ее муж, и теперь главное не допустить никакой фальши».

— Вера, ты понимаешь, что стала моей женой? Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Что скажет твоя мама, когда узнает? Как ее зовут?

— Любовь Петровна.— Вера несколько принужденно рассмеялась.— Я понимаю, что стала твоей женой, а ты стал моим мужем, а мама, боюсь, не сразу поймет.

— Не согласится? Кем она работает?

— Детский врач. Она в Филатовской работает. У нас в роду по материнской линии почти все врачи. Вот и Ипполит Петрович... Он, между прочим, брат мамы, мой дядька...

— Я догадался, что вы родственники. Так что мама?...

— Будет, конечно, потрясена. Не говори ей хотя бы, что у нас все в один день. Не все верят в чудеса.

— А ты решишь?

— А ты?

— Самая большая правда всегда в исключительном,— убежденно сказал он.— Когда во время ареста меня лупили эсэсовцы, я думал, что это кошмарный сон и я проснусь. Кстати, ощущение боли, после того как достигало какого-то порога, пропадало. Не чудо разве? А когда ударили иглой под ноготь, потерял сознание. Опять спасся. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Порядочный человек, если он физически здоров и не пал духом, может выдержать пытку. Он терпит боль, пока может, а когда уже не в силах, теряет сознание...

— Брат был очень хороший парень, и как сын хороший и вообще весь в отца. Наш отец... он работал на метрострое... в сентябре срок первого отказался от брони, добровольно вступил в Московскую коммунистическую... А кто твои родители?

— Отец был агроном, селекционер. Мать воспитывала нас пятерых. Теперь нас двое — сестра-учительница и я.

— А сестра не будет против, что женишься?

— Конечно, нет. А потом, я женился уже.

Она благодарно, горячо поцеловала его.

— Мне надо привести себя в порядок. Отвернись... Безумие, безумие,— твердила она.— Дверь не заперта, свет горит. Ты фаталист?

— Немного.

— Я так и думала. Если хочешь — оставайся до утра,— добавила она с чисто женской самоотверженностью, потому что — он об этом не мог знать — ей было не только приятно, но и больно и странно.— Оставайся, а еще лучше будет, если я маму подготовлю. Давай пожалею мою маму.

— Мне не очень хочется жалеть, но если ты так хочешь... Утром я приеду к тебе на работу, и мы договоримся обо всем. Я успею на метро? Который час?

Было без четверти двенадцать. Он с трудом уговорил не прожогать его.

Слегка кружилась голова, и он не чувствовал своего тела. Кажется, стал невесомым. На душе было тихо, хорошо. И только не проходило удивление: как стремительно все свершилось!

Глава третья

1

Ровно в восемнадцать часов Генрих объявил об окончании вечернего заседания. Увидев, как все раскованно заулыбались, Показитов подумал, что люди с возрастом не меняются, меняется только их оболочка, а в глубинной сути своей они остаются школьниками, школярами, которые всегда рады звонку на перемену.

Француз Насье кубариком вылетел из-за стола президиума и, весело тараторя, устремился к бельгийской чете. Мари оживленно щебетала, повернувшись к Гардебуа, а Шарль, ее муж, тянул ее за руку к выходу, похоже, сгорая от желания поскорее выбраться из бывшей комендатуры на волю.

— Дамы и господа, уважаемые друзья, напоминаю, что с семи до восьми в гостхаузе нас ждет ужин. К ужину каждый делегат получит бесплотно на выбор четверть литра вина, бутылку пива или один лимонад,— объявил казначей комитета Франц Яначек, продолжая изображать заботливого гида-распорядителя.

И все еще шире заулыбались, зашумели и в беспорядке двинулись к выходной двери.

Покатилов тронул переводчицу за рукав.

— Галя, я исчезну часа на два, вы, пожалуйста, не тревожьтесь. Если спросит Генрих или кто-нибудь из друзей — в девять я буду у себя в комнате.

— А как же ужин?

— Это, конечно, серьезный вопрос. Придется сегодня обойтись без четверти литра вина, одного пива или лимонада на выбор... У меня есть кое-какие московские припасы, не беспокойтесь.

Он выскользнул через боковую дверь в комнату секретариата, а оттуда, не замеченный никем, на улицу и через проходную вошел в лагерь.

За спиной из-за железных ворот доносились голоса товарищей, спешивших к автобусу, потом стало слышно, как громче зарокотал мотор и автобус тронулся. Покатилов стоял у каменной стены, прижавшись затылком к прохладной шершавой поверхности и прижмурив веки. Когда все стихло, открыл глаза.

Вот он, Брукхаузен, а вернее — остаток Брукхаузена, то, что не уничтожило время. Асфальт потрескался, потускнел, несколько уцелевших барачков осело, крематорий как будто врос наполовину в землю. «Мертва твоя труба, крематорий, — какое это великое благо, что она мертва! Ржавеет колючая проволока, натянутая на белые головки изоляционных катушек, — как хорошо, что она ржавеет! А вот и мой одиннадцатый блок, и дорожка, по которой волокли меня, полуживого, в бункер на допрос, и сам бункер, укрытый серыми крематорскими стенами, с окном, схваченным железной паучьей решеткой. Облупилась зловещая серая краска на прутьях решетки — и прутья съест ржавчина, дайте срок!»

Перед крематорием, там, где в середине апреля сорок пятого года была воздвигнута трибуна, с которой Генрих, Иван Михайлович, Вислоцкий, Гардебуа произносили слова клятвы, стоял памятник. Темная фигура узника с выброшенными вперед руками, кулаки гневно сжаты... «Что мы могли этими руками? Не много. Вся семилетняя история Брукхаузена, несмотря на сопротивление лучших, — это кровь, дым, ужас и снова кровь. Так почему же двадцать лет тянуло меня на это место? Почему сейчас я едва держусь на ногах, едва справляюсь с собой, чтобы не упасть на этот темный потрескавшийся асфальт, не прижаться к нему щекой, как к родимой могиле, не захлебнуться в рыданиях? Что здесь было важного для души человеческой на протяжении тех семи лет, на протяжении моих двух лет, отчего так тянуло меня сюда во вторую половину жизни?..»

Покатилов отер слезы, боязливо оглянулся и пошел за баню, потом по гладким каменным плитам вдоль гранитной стены — к крематорию. Вначале шел быстрым шагом, затем побежал... Вот три ступеньки, ведущие вниз, вот железные двери, открывающиеся со скрежетом, вот полутемное помещение с фотографиями погибших, венками, лентами, развешанными по стенам, справа — печи, слева — ступеньки наверх, на второй этаж, где находилась лагерная тюрьма, «арест» с его камерами-бункерами и комнатой следователя.

Вот она, эта комната! Затхлая каменная коробка с бетонными полами, с зарешеченным окном. Стола нет, железного кресла, к которому привязывали, тоже нет. Но ведь стены те же, решетка на окне та же. Они-то помнят, как это было!

...Мне показалось, что они собираются вывихнуть мне в запястье руку, сломать пальцы, и я ждал удара раскаленной иглой под ноготь и изо всех сил стискивал пальцы в кулак. Но когда, ломая руку, они стали явно одолевать, я закричал: «Папа!» — я это помню. Еще я пом

ню длинную т р о й н у ю боль и вкрадчивый голос гестаповца с усиками: «Сколько тебе заплатил Флинк?» Нет, вкрадчивый голос был раньше, а боль потом. И была странная мысль: «Какое они имеют право?» И была безмолвная мольба, обращенная к Ивану Михайловичу и ребятам: «Спасайте, выручайте!» Но это тоже до. А огромная т р о й н а я боль была венцом всего. После нее сознание отключилось, потухло. словно в электрической лампочке перегорел волосок.

Боже праведный, и я снова здесь?!

2

— Может быть, принести кофе, Константин Николаевич?

— Спасибо, Галя, не надо, я хочу поговорить со своим другом Анри с глазу на глаз. Переводчик нам не понадобится. Если можно, оставьте ваши сегодняшние конспекты, я их просмотрю перед сном.

— Хорошо.

— Спать поздно ложитесь?

— Если я не нужна — сегодня лягу пораньше, устала. В одиннадцать.

— Ну, пожалуйста. Спокойной ночи, Галя, — сказал Покатилов, беря у нее тетрадь в клеенчатой обложке. — Извини, Анри, — прибавил он по-немецки, повернувшись к Гардебуа, который сидел в кресле у стола и не сводил внимательного, как у глухонемого, взгляда с Покатилова и переводчицы.

Гардебуа был в домашнем костюме: стеганая куртка, такого же материала брюки с заглаженной стрелкой, мягкие, без каблуков туфли. На безымянном пальце поблескивал перстень. Рядом на столе темнела подарочная пузатая бутылка мартеля, которую он принес с собой.

— Выпьешь водки? — спросил Покатилов.

Гардебуа потряс головой и как будто сплюнул.

— Вина. Чуть-чуть.

Покатилов достал из стенного шкафа бутылку «мукузани».

— Хочу понять тебя, Анри... Хотел бы, — поправился он. — Понять эволюцию твоих взглядов в послевоенные годы. — Он вопросительно взглянул на товарища.

— О, пожалуйста! Пожалуста, — попробовал Гардебуа произнести русское слово.

— Но вначале скажи, как у тебя со здоровьем и вообще как жил эти годы?

— О!.. («Сколько же оттенков этого «о» у французов», — подумал Покатилов.) Я хотел спросить тебя о том же, — улыбнулся Гардебуа. Улыбка красила его: желтоватое, с расплюснутым боксерским носом лицо добрело, молодело. — У меня, в общем, все было хорошо. В общем. Осенью сорок пятого я женился на дочери своего спортивного шефа. Во время оккупации тесть содержал явочную квартиру. Он был храбрым человеком, несмотря на свою... как это выразиться... свою... свое... Ну, он не был бедным.

— Был?

— Он умер через полгода после того, как мы с Люси поженились. С того времени я хозяин, или, это все равно, владелец, небольшого спортклуба, которого... который мы получили по наследству...

Гардебуа объяснялся по-немецки свободнее, чем днем, — у него, видимо «развязывался» язык — и все-таки приходилось напрягать внимание, чтобы понять его

— Да, я слушаю тебя, Анри.

— Но... если бы не жена, я, наверно, давно бы вылетел в трубу. Но Люси знает дело. Благодаря ей наш клуб приносит кое-какие доходы.

— В Брукхаузене я считал тебя коммунистом.

— О?.. Половину прибыли мы перечисляем французской ассоциации Брукхаузена.

— Ты генеральный секретарь ассоциации?

— Уже десять лет. Десять.— Гардебуа маленькими глотками допил вино, поморгал, обдумывая что-то.— Я хотел бы тоже узнать...

— Как у тебя с нервами, Анри?

Гардебуа поднял на Покатилова глаза, понимаяюще усмехнулся.

— Как утверждает наш диагностический центр в Париже, все бывшие заключенные нацистских концлагерей страдают прогрессирующей астенией. Я не исключение. А ты?

Покатилов вздохнул.

— Здоровье — дерьмо, шайзе,— добавил Гардебуа; он потер лицо жесткими ладонями, голос его стал ниже и глуше.— В пятьдесят пятом во французских газетах появилась заметка о полковнике Кукушкине. Перепечатка из западногерманской газеты, не помню ее названия. Один немецкий офицер, который вернулся из русского плена, из Сибири, рассказал, что встречался в сибирском заключении с Кукушкиным. Он его называл Героем Советского Союза и руководителем вооруженных формирований узников в Брукхаузене. Это правда?

— Не совсем. Руководитель формирований — правда, ты это знаешь не хуже меня. Герой Советского Союза — к сожалению, этого почетного звания Кукушкину никогда не присваивали. А насчет Сибири — нет. Неправда.— Покатилов порылся в бумажнике и положил на стол перед Гардебуа три фотографии.— Вот, можешь убедиться... Кукушкин с июня сорок шестого по март пятьдесят шестого работал начальником отделения крупного виноградарского совхоза в Херсонской области. Это недалеко от Черного моря, приблизительно в ста километрах от Одессы...

— Одесса? А, Одесса,— покивал головой Гардебуа.

— С пятьдесят шестого он директор этого совхоза, крупного сельскохозяйственного предприятия. Понимаешь? Вот погляди...

И они стали рассматривать фотографии. На одной Кукушкин был снят в полный рост возле калитки палисадника, на фоне белой украинской хаты, в темном, довоенного фасона пиджаке, в пестрой рубашке без галстука; на его худощавом, с выпирающим подбородком лице еще лежал отсвет пережитого в Брукхаузене: взгляд насторожен, губы крепко сомкнуты. На оборотной стороне рукою Ивана Михайловича было написано: «Через полгода после возвращения с немецкого «курорта». Родная Херсонщина. 16.10.45». На второй фотокарточке Кукушкин выглядел моложе: в светлом костюме, с орденскими планками, аккуратно причесанный, улыбающийся. На обороте стояла только дата: «9.5.57». Третья фотография запечатлела группу бывших узников, снятых на улице рядом с вывеской «Советский комитет ветеранов войны»; в первом ряду в центре — Кукушкин и Покатилов.

— Ты позволишь переснять это? — спросил Гардебуа, вглядываясь в лица на последней карточке, датированной 11 апреля 1965 года.

— Конечно.

— Французская ассоциация издает небольшую газету, правильнее сказать — бюллетень. Я думаю, можно было бы поместить этот групповой портрет и твою пояснительную заметку к нему. Или твою информацию о полковнике Кукушкине...

— Прекрасная идея, Анри.

— Я внесу такое предложение на рассмотрение нашего бюро. Попытаюсь. Ивана Кукушкина помнят многие французы. И не только французы. Тебе известно, что два наших видных писателя, один католик, академик, второй коммунист, вывели Кукушкина — правда, под другим именем — в своих романах, посвященных концлагерю?

— Об одном романе я знаю. Хорошо бы, если бы ты смог прислать мне эти книги. Или прямо Кукушкину.

— Об этом еще поговорим. А теперь скажи откровенно, Констант (он произнес «Конста́нт», так он называл его иногда в Брукхаузене, при этом всякий раз пытаюсь растолковать, что означает французское слово «constant»; оно означало «постоянный», Покатилов узнал об этом уже после освобождения), скажи, Констант, — медленно повторил, супя брови, Гардебуа, — разве вы, наши русские товарищи, удовлетворены тем, как к вам относятся в вашей стране? Получаете ли вы пенсии, имеете ли военные награды, заботится ли о вас ваш департамент социального обеспечения?.. Я очень рад, что Иван Кукушкин занимает пост директора в вашем государственном сельском хозяйстве, однако на фотографии сорок пятого года он выглядит, извини меня, как арестант... Нас, французских брукхаузенцев, в сорок пятом году Франция встретила как национальных героев и мучеников...

— Всех? — Покатилов почувствовал досаду, что его старый друг как будто умышленно уводит его в сторону от главного вопроса, о котором они должны были поговорить.

Гардебуа потряс головой.

— О, не всех одинаково, потому что и в нашей среде были коллаборационисты. Но уверяю тебя, не менее половины французских брукхаузенцев удостоены чести... удостоены звания кавалера ордена Почетного легиона.

— Ясно, Анри. Я очень рад за вас, ты мне, надеюсь, веришь. И, надеюсь, поверишь, если скажу, что мы, советские граждане — бывшие узники фашистских концлагерей, гордимся, что к нам в нашей стране относятся как к фронтовикам, тем, кто прошел с боями от Сталинграда до Берлина. Это, как ты понимаешь, высшая честь. А теперь скажи...

— Позволь, Констант...

— Одну минуту, Анри. Ты, конечно, помнишь текст клятвы, принятой нами в апреле сорок пятого перед крематорием, там, где сейчас памятник. Помнишь, что это ты, ты, Анри Гардебуа, говорил с трибуны, что мы не прекратим борьбы, пока не очистим землю от фашизма, поклялся сам и вслед за тобой поклялись все французские товарищи. Ты помнишь об этом?

— Полный текст зачитывал Иван Кукушкин, но я и все французы, разумеется, считаем эту клятву своей. Мы верны клятве, Констант, — тихо сказал Гардебуа. — Чтя память погибших, организуя посещение лагеря бывшими узниками и их близкими, заботясь о сохранении лагерных сооружений и нашего скромного памятника, который всем нам очень дорог, мы не даем забыть о злодеяниях нацистов. По нашему убеждению, это лучший способ борьбы за окончательное уничтожение фашизма на земле в духе нашей клятвы.

— Почему лучший?

— Потому что он позволяет привлечь к нашей деятельности всех бывших депортированных, невзирая на их сегодняшние политические симпатии и антипатии, их религиозные и философские взгляды.

— Ты стал пацифистом, Анри?

— Во-первых, я стал старше на двадцать лет, во-вторых, послевоенная история убедила нас, что фашизм может выступать в самых

разных обличьях... Нельзя всю нашу деятельность сводить к тому, что требует Генрих: разоблачать неонацистов в Федеративной Республике и вести пропагандистскую кампанию против вооружения бундесвера.

— Разве Генрих не считает важным хранить память о погибших?

— Как дополнение к политической программе и, если угодно, как маскировку ее.

— В данном случае «маскировка» — плохое слово, Анри. И, мне кажется, несправедливое.

— Несправедливое? — На щеке Гардебуа зажглось лихорадочное пятнышко. — Ты не слушал утром его реферат?

— Я опоздал на утреннее заседание и поэтому пока не совсем разобрался в его докладе. Но ведь мы с тобой столько лет знаем Генриха как твердого, последовательного антифашиста.

— В том-то и беда, что мы по-разному понимаем, что значит быть теперь последовательным антифашистом и как лучше выполнять нашу клятву. — Гардебуа потер жесткими ладонями виски и взглянул на часы. — Уже одиннадцать... Ты успел побывать в лагере?

— Я был в крематории.

— Да, Констант, ты перенес здесь больше любого из нас, и твой максимализм можно понять. Думаю, что завтра я дам положительный ответ насчет газеты... насчет помещения твоей информации о Кукушкине, о всех советских товарищах. — Он поднялся, грузноватый, грустный. — У нас получился не счень складный разговор. Но мы еще будем обмениваться... мыслями, мнениями. Я хотел... хочу, чтобы мы правильно понимали друг друга. Спокойной ночи, Констант.

— Спокойной ночи, Анри.

3

Он раздвинул шторы и распахнул окно, чтобы проветрить комнату. В лицо толчком ударил сырой речной ветер. Перед глазами простиралась дышащая холодом мгlistая полоса Дуная, отделенная от такой же мгlistой полосы неба пунктирной линией прибрежных электрических огней. Река монотонно шумела, могучий поток воды покорно катился мимо, живое тело реки было нерасчленимо и непрерывно, как время.

«Что значит стал старше на двадцать лет? — мысленно обратился Покатилов к Гардебуа. — Разве тот француз в роговых очках, которого изувечил Пауль, исчез из нашей памяти? Разве он, твой соплеменник и товарищ, не стоит по-прежнему на солнечной пыльной площадке, прижимая окровавленную кисть к бедру, и разве Пауль, поигрывая молотом, не требует, чтобы он положил раненую руку на рельс?.. Площадка эта в чередке других событий лишь отодвинулась в глубь нашей памяти, но никуда не исчезла. В этом вся суть... Вообще жизнь человека похожа на некий коридор, по которому он идет, его шаги подобны дням, или неделям, или даже годам. И стоит только сделать усилие и оглянуться, как поймешь: то, что в твоей жизни было, навсегда осталось в тебе, в твоих нервных клетках, в коридоре твоего опыта... Там, на солнечной пыльной площадке Брукхаузена, который вошел в нас, всегда будет стоять француз с раздробленной молотом кистью руки, и будет всегда бегать с камнем на плече Шурка, и будут жить и жечь наше сердце, пока мы живы, красные звезды капель крови, падающие на камень из разбитой головы Шурки, и будет торчать на бугре, положив руку на парабеллум, белокурый эсэсовец-командофюрер, убийца француза и Шурки!..»

Покатилов постоял еще с минуту у окна, потом снял с вешалки плащ, погасил свет и вышел.

В холле на первом этаже сидели в креслах и о чем-то спорили Мари, Шарль, Яначек и голландец Ханс Сандерс.

— Продолжение пленарного заседания или начало работы редакционной комиссии? — осведомился Покатилов по-немецки.

— Прекрасно, что ты появился, — сказал Сандерс. — Как ты считаешь, имеем мы право спать здесь, в Брукхаузене?

— Мсье профессор — математик и, следовательно, рационалист, он, конечно, не поддержит нас с тобой, Ханс, — глубоким голосом произнесла Мари.

Покатилу почудился в ее словах вызов.

— Меня зовут Константин, мой номер тридцать одна тысяча девятьсот тринадцать, — приветливо сказал он ей. — А ты бывшая узница Равенсбрюка и Брукхаузена. Не так ли?

— Браво, Покатилов, — сказал Яначек.

— Да, — ответила Мари. — Кстати, Гардебуа называл тебя Константин. Это хорошо звучит по-французски. Как меня зовут, ты знаешь.

— Тебя зовут Мари, — сказал Покатилов. — Насколько я понимаю, ты с Хансом утверждаешь, что спать нам теперь в Брукхаузене нельзя.

— Абсолютно! Спать в Брукхаузене было бы преступлением. — По-немецки Мари говорила чисто, но «Брукхаузен» произносила на французский манер.

— А мне нигде так хорошо не спится, как здесь, — потягиваясь, пробормотал Яначек.

— Я здесь тоже сплю прилично, — просипел Шарль.

По-видимому, они продолжали дурачиться, а Покатилов настроился выйти на улицу, в темь, чтобы побыть наедине со своими мыслями, переварить впечатления этого дня.

— Последний раз я спал здесь ровно двадцать лет назад. Тогда я спал, — сказал он. — Можно ли и надо ли спать сегодня — я не знаю. Вероятно, все зависит от того, что предлагается взамен.

— Еще раз bravo, — усмехнулся Яначек.

— Я предлагаю сесть в автомобиль, и через час мы будем в «Мулен Руж», а желаете — в казино «Ориенталь» с сенсационной ночной программой, — заявил Сандерс. — Ты за или против, Покатилов?

— Советские люди не посещают капиталистических кабаков, — сказала Мари.

— Советские люди не закрывают глаза на язвы буржуазной цивилизации, — с усмешкой ответил Покатилов. — Но я лично хотел бы сперва убедиться, смогу ли вообще заснуть...

— Кроме того, мсье профессор еще не решил, удобно ли ему брать с собой в ночной бар личного секретаря, — продолжала Мари, глядя на Сандерса.

— Отчего ты так агрессивна, Мари? — улыбаясь, спросил Шарль.

— Ты прав, Покатилов, я на твоём месте тоже ни на один час не расставалась бы с такой очаровательной помощницей, — расхохотался Яначек.

— Вы болтуны, — проворчал Сандерс. — И лентяи. Идемте ко мне и выпьем по рюмке коньяка.

— Я уверена, что московские профессора не пьют коньяк, — сказала Мари.

— Я смогу сварить кофе, — предложил Яначек.

— Так куда мы двинем вначале — в «Мулен Руж», к Яначеку или ко мне? — спросил Сандерс.

— Вначале я хотел бы немного проветриться, — объяснил Покатилов. — Какой номер твоей комнаты, Ханс?

— Тринадцать. Яначек, ты в шестой?

- В пятой.
- Мы с Мари в седьмой,— обрадованно сообщил Шарль.
- Я во второй,— сказал Покатилов.

Он шел по пустынной, тускло освещенной улочке Брукхаузена и размышлял о превратностях судьбы. Могли в свои юные годы вообразить сын амстердамского банкира Ханс Сандерс, что когда-нибудь очутится в нацистском концентрационном лагере и свьппе года будет вкалывать в каменоломне рядом с польскими партизанами и французскими подпольщиками, спать по соседству с немецким богословом, стоять за брюквенной похлебкой в одной очереди с русскими пленными? В странном, пестром мире, каким был фашистский концлагерь, беспощадно проявлялось подлинное лицо каждого: эгоисты подчас становились помощниками палачей, честные, но слабые отчаивались и нередко кончали с собой, честные и сильные искали себе подобных и объединялись для борьбы. Покатилову припомнилась монография французского профессора католика Мишеля де Буара «Маутхаузен». Буар, старый маутхаузенец, в своем исследовании признал, что ни одна организация Сопротивления в гитлеровских концлагерях не родилась вне влияния коммунистов и не развивалась без их активного участия.

Действительно, во главе подпольного интернационального комитета в Брукхаузене стояли коммунисты Генрих Дамбахер и Иван Михайлович Кукушкин, лазаретную организацию возглавляли тоже коммунисты — Вислоцкий и Шлегель. Однако, как и в других концлагерях, во внутрилагерном антифашистском Сопротивлении участвовали и не коммунисты, но обязательно честные, мужественные люди. Таковыми были и Анри Гардебуа и Ханс Сандерс. Могли ли они совершенно перемениться за эти два десятилетия? Судя по первому впечатлению, они переменились. Но неужели тихие неприятности или, наоборот, житейское благополучие мирных двадцати лет начисто вытравили из сознания и сердец то, что было добыто таким трудным опытом в лагере смерти?.. А что делал в лагере Шарль? А эта вертушка Мари?

Тусклая, мощенная булыжником улочка кончилась. Впереди чернела скалистая стена заброшенного каменного карьера. Покатилов закурил сигарету, и тут ему померещилось, будто впереди в темноте прошуршал гравий под чьими-то осторожными шагами. «Призрак Фогеля»,— с усмешкой подумал он, заставил себя, не ускоряя шага, дойти до первой гранитной глыбы и неторопливо обогнуть ее. Затем не оборачиваясь он вернулся на слабо освещенную улочку.

4

Когда он возвратился в гастхауз, в холле было пусто. За стойкой в деревянном кресле сидел старик в шапочке велосипедиста и тасовал карты. Свет от настольной лампы падал на нижнюю часть его лица с раздвоенным подбородком.

— Добрый вечер,— сказал Покатилов.

— Уже ночь,— ответил старик, обнажив в улыбке мертвые, вставные зубы.— Господин профессор, вероятно, впервые здесь после освобождения...

— Откуда вы знаете меня?

— Я знаю вас еще по той жизни. Вы были тогда юношей, да, да. Я знал и русского профессора Решина, впоследствии погибшего, и его убийцу оберштурмфюрера Трюбера, главного врача. Меня зовут Герберт, я был привратником на спецблоке.

— Герберт? — повторил пораженный Покатилов.

— Да, это я.— Старик встал и приложил два пальца к целлулоидному козырьку.

«Невероятно,— пронеслось в голове Покатилова.— Он ведь тогда был стариком. Впрочем, Али-Баба тоже представлялся мне стариком, а когда в мертвецкой увидел его карточку, выяснилось, что ему не исполнилось и тридцати. Однако этот-то, Герберт, и в ту пору был, по моему, настоящим стариком. И уголовником...»

— Да, да,— произнес, опуская руку, Герберт.— Час тому назад, заступая на дежурство, я слышал, как здесь господа называли вас советским профессором, и я тотчас вспомнил вас... Да, да. Когда-то на шестом блоке мы вместе мыли полы, и я частенько предупреждал профессора Решина о приближении Трюбера. Так вы действительно с тех пор не бывали в Брукхаузене?

— Послушайте, Герберт, давайте сядем. У вас есть время? И называйте, пожалуйста, меня по имени — Константин.

— Господин старший бухгалтер Калиновски тоже просил называть его по имени. Как прежде, в лагере. Правда, мы с ним уже дважды встречались здесь.

— Кто это?

— Камрад Богдан.

— Ах, Богдан! Я еще не успел толком поговорить с ним. Он сказал, что Вислоцкий умер...

— К нашему прискорбию, да. Это был весьма почтенный и порядочный человек. Он умер сравнительно недавно. Прошу садиться. Хотите кофе? Сигарету?

— Спасибо, Герберт.— Покатилов опустился в соседнее кресло, вытащил из кармана коробку подарочных московских сигарет и протянул старику.— Возьмите это. А вы что курите? По-прежнему «драву»? — Он поднес ему огонек зажигалки, прикурил сам и спросил: — Каким образом вы оказались здесь, в гастхаузе городка Брукхаузен, двадцать лет спустя после освобождения?

— Вы не забыли эту старинную тирольскую песню? «У меня больше нет родителей, их давно прибрал бог. Нет ни брата, ни сестры — все мертвы».

Старик дребезжащим тенорком спел этот куплет, и перед Покатиловым проплыла картина: вечер, душный спертый воздух карантинного барака, блоковой Вилли, курносый садист, сидит в кружке немцев-больных на верхнем ярусе нар и сильным чистым голосом выводит: «Ich habe keine Eltern mehr, sie sind schon längst beim Gott...» Затем кидается избивать тех, кто, по его мнению, недостаточно громко аплодирует....

— Да,— помолчав, продолжал Герберт,— после войны в моем городке в бывшей провинции Обердонау не осталось в живых никого из моей родни, и я вернулся в Брукхаузен. Заниматься мелкой спекуляцией не хотелось — ведь нацистский концлагерь и мне открыл глаза на многое,— хлопотать о приобретении профессии в сорок лет было поздно, и я решил податься снова в лагерь в надежде, что мои знания истории Брукхаузена сгодятся на что-нибудь. В то время здесь была советская зона, лагерные постройки сохранялись как вещественное доказательство нацистских злодеяний. Брукхаузен уже и тогда посещали паломники из разных стран. Короче, меня взяли служить ночным сторожем, положили сносное жалованье, и я почувствовал себя человеком. Днем я иногда сопровождал важных туристов, выступал в роли гида, порой мне перепадали чаевые от богатых господ из Италии и Франции, которые приезжали на место гибели своих родственников. Так прошло десять лет, я обзавелся домиком, клочком земли. Но в пятьдесят пятом советские войска покинули наши места.

Через полгода здешние нацисты выжили меня с моей должности в лагере, а затем и из дома. Вдруг объявился законный владелец этого строения, бывший цивильный мастер каменоломни, между прочим тоже нацист. Я вновь вынужден был искать работу...

— Печальный финал. А лагерные бараки все были целы до пятидесяти пятого? — спросил Покатилов.

— Все было цело за исключением трех эсэсовских казарм, кантины и политического отдела, которые сгорели в апреле сорок пятого, когда хефтлиинги вели бой с эсэсовским гарнизоном. А в пятьдесят шестом здешние нацисты принялись растаскивать лагерные постройки, несмотря на строжайший запрет провинциальных властей. И всё бы растащили, если бы не вмешался господин надворный советник доктор Дамбахер.

— Генрих?

— Да, господин доктор Генрих Дамбахер. Он от имени Международного комитета Брукхаузена потребовал восстановить должность сторожа-хранителя и усилить полицейский надзор за территорией прежнего лагеря. Только благодаря настойчивости господина доктора был восстановлен порядок...

— Вы вернулись на должность сторожа?

— У меня был длительный приступ радикулита, и взяли другого. Но господин Дамбахер вскоре рекомендовал меня на службу в этот гастхауз, хозяин его — честный католик, инвалид войны — предоставил мне каморку и постоянную работу... Вот так-то, дорогой камрад господин профессор Покатилов. А отчего вы ни разу не побывали здесь за минувшие двадцать лет? Разве вас не тянуло сюда, как тянет всех бывших хефтлиингов Брукхаузена?

— Тянуло, Герберт, очень тянуло. Между прочим, чем вы объясняете, что всех бывших брукхаузенцев тянет сюда?

— Не только нас. Бывших заключенных Маутхаузена тянет в Маутхаузен, узников Дахау — в Дахау, бухенвальдцев — в Бухенвальд и так далее. Нельзя забыть гибель ни в чем не повинных людей. Как вы сумели прожить без этого целых два десятилетия?

— После освобождения я лежал в госпитале, потом служил в армии, после армии восемь лет... да, в общей сложности восемь лет учился в университете, в аспирантуре...

— Да, да, вы и в лагере производили впечатление весьма образованного юноши, да, да.

«Да, да», — повторил мысленно Покатилов вслед за ним и сказал вслух:

— Почти все эти годы я не принадлежал себе, а время несло с огромной скоростью.

— С чудовищной скоростью, господин профессор! В марте мне стукнуло шестьдесят, а кажется, давно ли...

— Да, дорогой Герберт, время — безжалостная штука. Но ведь и нацисты постарели. Они, наверно, уже не столь активны?

— Ах, откуда, дорогой камрад! Эти змеи обладают превосходным здоровьем, они наплодили целый выводок змеенышей, и молодые еще злее отцов. — Герберт умолк, потом вздохнул и прибавил вполголоса: — Ведь они всегда были сыты, у них всегда была крыша над головой и они не ведают тех сомнений, которые губят здоровье порядочных людей.

— Вы имеете в виду отношение нацистов к морали?

— Именно это! В тридцать девятом меня посадили в лагерь за незаконную торговлю углем, и тогда нацистские молодчики костили меня и жуликом, и люмпеном, и врагом немецкого народа, так что, поверите ли, поначалу было даже стыдно. Стыдно, пока не увидел,

как они грабят транспорты новоприбывших, как выдирают золотые коронки у мертвецов. В сравнении с эсэсовцами обыкновенные карманники, в среде которых я вырос, были сущими ангелами. Да, господин профессор, дорогой камрад. Надо жизнь прожить, чтобы понять это. Но кому теперь нужно наше понимание? А кроме того, змееныши стараются заткнуть рот всякому, кто говорит об этом, многие приличные господа тоже не одобряют подобных речей, поскольку, по их просвещенному мнению, тем самым мы, немцы и австрийцы, как бы испражняемся в свой карман. Да, да... Но я, кажется, заболтался. Уже половина первого, а завтрак в доме сервируется к восьми часам. Вам пора отдыхать.

— Как вы спите, Герберт?

— Что вы?

— Я спрашиваю, хорошо ли вы спите, нормальный ли у вас сон?

— О да! Правда, я сплю главным образом днем, но и ночами, когда свободен от дежурства, сплю тоже хорошо.

— И вам не снится лагерь?

— С тех пор как я поселился в Брукхаузене, меня перестали посещать кошмары. Лагерь я вижу во сне часто, но, слава богу, без особых ужасов. Желая и вам покойной ночи, дорогой камрад Покатилов.

5

Поднявшись к себе в комнату, он зажег настольную лампу и уселся с тетрадкой Гали в кресло. Он с удовольствием выпил бы кофе и пожалел, что не воспользовался предложением Герберта, у которого, вероятно, была электрическая плитка или кипятильник. С трудом дочитав до конца доклад-реферат Генриха Дамбахера, весьма умеренный, осторожный в формулировках, Покатилов неожиданно почувствовал, что его клонит ко сну. Благоразумнее было бы немедленно выключить свет и, раздевшись в темноте, залезть в квадратную постель под пуховое одеяло. Но привычка взяла свое: он достал чистую пижаму и направился в ванную.

Раздался чей-то деликатный стук в дверь.

— Айн момент,— сказал он и сунул пижаму под подушку.— Пожалуйста. Райн.

За дверью стояла Галя. Она держала на весу небольшой никелированный кофейник.

— Вы еще не ложились? — удивился Покатилов.

— Я переводила кое-какие печатные материалы, а потом ко мне пришли Мари с Яначekom и голландцем.

— Звали в «Мулен Руж»?

— Просили повлиять на вас, чтобы вы поехали с ними, а когда я сказала, что не могу на вас влиять, Мари затащила меня к себе и попросила передать это.— Галя кивнула на кофейник.

— А мне как раз очень хотелось кофе. Заходите, пожалуйста.

— Не поздно? — Покачиваясь на высоких каблуках, Галя прошла к столу, поставила кофейник рядом с лампой, обернулась со сконфуженной улыбкой.— Так вкусно пахнет...

— Выпейте чашечку за компанию.

— Выпила бы, а то я замерзла, но, боюсь, потом не усну. Почему они не отапливают комнаты?

— Обычно в это время здесь уже довольно тепло. Присаживайтесь и не обращайтесь внимания на беспорядок. Это следы нашей дискуссии с Гардебуа.— Покатилов сдвинул к краю стола немые стаканы.— Если боитесь пить кофе на ночь, могу предложить в виде

исключения двадцать граммов мартеля — для сугреву, как говорят у нас в Вологде. Презент моего друга Анри. Что хотите?

— Двадцать граммов в кофе. Только давайте сперва помою стаканы. Другой посуды нет?

Кофе был крепким, душистым, огненно-горячим. Ему стало жалко перебивать кофейный аромат, и он плеснул себе из сувенирной бутылки в пластмассовый стаканчик — крышку от термоса.

— Ваше здоровье, фрейлейн. Прозит! — пошутил он, приподняв стаканчик. — Сейчас отогреете душу французским напитком, наденете русские шерстяные носки — и под немецкую перину. Есть с собой шерстяные носки?

Галя утвердительно качнула головой, глядя на него большими, чутьочку воспаленными глазами.

— Константин Николаевич, Яначек говорил, что перед освобождением в апреле сорок пятого года вас пытали в крематории. Это верно?

«Когда-то что-то подобное уже было со мной», — подумал он усталое и, пересилив себя, улыбнулся.

— Раз говорил Яначек, значит, верно. Он человек положительный, хотя и не доктор и даже не инженер. Вы заметили, как ценятся здесь эти звания? Например, доктор-инженер Хюбель...

Галя не сводила с него широко раскрытых глаз, смотревших слегка недоверчиво.

— Мари называет вас героем Брукхаузена... Почему же советник по культуре не предупредил меня об этом?

— Мари преувеличивает. Она все время подтрунивает надо мной. Интересно, они все-таки уехали?

— По-моему, нет. Кажется, голландец уснул. Он что, с горя пьет?

— Скорее по привычке. Сандерс — выходец из богатой семьи. А вообще вам может показаться, что мои товарищи слишком часто прикладываются к рюмке... Минутку, Галя. Во-первых, здесь, как и во Франции и в Италии, к еде принято подавать молодое виноградное вино — вроде нашего кваса. Во-вторых, на приемах, как известно, то-сты приносятся с бокалом в руке. Таков ритуал...

— Я знаю это, Константин Николаевич. Я хотела спросить о другом... Неужели этот голландец, Сандерс, тоже был членом подпольной организации?

— Он был храбрый парень. Он тайно портил детали крыла «мессершмитта» в лагерных механических мастерских, где заставляли работать заключенных.

— Выходец из богатой семьи?

— В Брукхаузене нас объединяла общая цель: сопротивляться, вредить фашистам чем только возможно и, конечно, не дать уничтожить себя... В том-то и состоит наша с вами, Галя, задача: понять, остался ли прежний антифашистский дух у таких товарищей, как Гардебуба, Сандерс, Яначек, могут ли и хотят ли они по-настоящему продолжать борьбу против старого врага.

— Понятно. Хотя для меня, откровенно, все это как кино. Такое идейное... Вообще-то я не очень люблю про войну.

— А про что любите?

— Про жизнь... Сложные человеческие отношения. Любовь. Это интересно. А война, подполье — тут все как-то прямолинейно. Вы меня, конечно, извините, может быть, я не так понимаю... Можно еще кофе?

— Конечно, конечно.— Покатилов встал, вынул из чемодана коробку конфет.— Выпейте еще кофе и не забудьте про шерстяные носки.

Она улыбнулась чуть пристыженно и тоже встала.

— Кофейник и конфеты возьмите с собой,— сказал он и подумал: «Вот еще горе мне... «прямолинейно!»»

Он проводил ее до порога, выкурил в ванной сигарету, переделся и лег в прохладную постель.

...Они неслышно выступили из темноты и начали приближаться к нему. То ли он забыл запереть на ночь дверь, то ли они проникли через открытое окно, когда проветривалась комната. «Это же международный скандал»,— шевельнулось в голове, и по тому, что мысль была непривычно вялой, он почти обрадованно заключил, что у него очередной кошмар. Надо было встряхнуть головой, надо было скинуть с себя одеяло, надо... И хотя он уже понимал, что это обыкновенный кошмар, и понимал, что надо сделать, чтобы проснуться, кошмар потому и назывался кошмаром, что избавиться от него было практически невозможно. Он хотел вскочить и как будто вскочил, но в то же время продолжал неподвижно лежать в постели где-то то ли на восьмом блоке лазарета, то ли в студенческом общежитии. Эсэсовцы остановились в трех шагах от него. «Ударю ногами в живот первого, кто бросится на меня, потом будет легче,— мелькнуло в уме.— Потом свалюсь на пол и очнусь... Давайте, гады!»— закричал он, и ему показалось, что он услышал свой голос, долетевший до него из какой-то иной сферы.— Давай!»— крикнул он опять.

Но его уже кто-то цепко держал. Кто-то невидимый подобрался сзади и обхватил его громадными обезьяньими руками, облапил со спины, просунув одну руку между ног, вторую между подушкой и шеей через плечо и сцепив железные пальцы на животе. Хватка была мертвой, и все-таки надо было вырываться. Только сопротивляясь можно было спастись — он это знал. Он начал работать ногами и кричать. Он почувствовал, что обливается холодным потом и что голос его все отчетливее прорывается к нему из той сферы. «Ничего,— сказал он себе,— добужусь. Но откуда, дьявол возьми, я знаю эти длинные цепкие руки?... Фаремба! — закричал он с ужасом, вспомнив черную скалистую стену заброшенного карьера.— Оберкапо штайнбруха Фаремба... Я попался ему!»

— Кошмар,— пробормотал он, с облегчением вздыхая и чувствуя, как спадает пелена удушья.— Как хорошо, что только кошмар!

Он поднялся, покурив, умылся и снова улегся под неудобное пуховое одеяло.

Глава четвертая

1

Сразу после свадьбы Покатилов с Верой переехали за город, в дом к знакомому путевому обходчику-старикю. Крохотный мезонин, «теремок», как его окрестила Вера, который они сняли до конца лета, выходил дверью на чердак, где хозяин складывал сено с приусадебного участка. В разгар июльского зноя, когда жара не спадала даже в ночные часы, они перебирались спать на сено, источавшее легкий сладкий дух. Никогда прежде ни он, ни она не высыпались так быстро.

Просьпались на заре. В один и тот же час над их головами на сером бруске стропил появлялась пробившаяся сквозь щель розовая по-

леска. Он открывал глаза, видел рядом по-детски умиротворенное лицо спящей Веры, осторожно извлекал из ее спутанных волос сухую травинку и вновь зажмурился, прислушиваясь к нарастающему гулу сердца. В ту же минуту пробуждалась она и чмокала его в шею сонными губами... Через полчаса они спускались в сад, делали зарядку, затем, пока Вера готовила завтрак, он носил из колодца воду, наполнял двадцативедерную бочку доверху.

И все было радостью. Он взял на себя роль ее репетитора, и ему было радостно, сидя за столом под черемухой, растолковывать ей смысл формул и теорем, показывать, как сложное экономно расчлениется на простое.

Радостно было вместе с ней чистить картошку, ходить на станцию за хлебом и за керосином, радостно незаметно махнуть на электричке в Москву и вдруг выложить к вечернему чаю кулек ее любимой фруктовой пастилы.

Радостно сопровождать ее на консультации, а после и на экзамены, радостно видеть, как она проникается уверенностью, вдвойне радостно праздновать победу, когда в одно прекрасное утро они увидели ее фамилию в списке, вывешенном в освещенной части вестибюля института.

Радостью была их поездка на север, к сестре, в милый лесной край его детства...

И уже начинало казаться, что все тяжелые испытания остались в прошлом, отступили навсегда.

В средних числах сентября, получив студенческий билет, Вера упросила мать испечь традиционный яблочный пирог и устроить чаепитие, на которое как ближайший родственник был позван и Ипполит Петрович. На исходе нешумного семейного пиршества в квартиру позвонили. Вошел Иван Михайлович Кукушкин, улыбающийся, с букетом гладиолусов. Он приехал в Москву в командировку и, понятно, не мог не навестить друга, не поздравить его (о своей женитЬбе Покатилов написал ему еще в июле). Весь остаток вечера друзья вспоминали о Брукхаузене, и теща Любовь Петровна, немного старомодная, когда-то, видимо, красивая, до срока увядшая женщина, трижды украдкой вставала из-за стола, комкая платочек.

И вот Покатилов опять перед Ипполитом Петровичем в его кабинете.

— Константин Николаевич, дорогой Костя, вам придется выбирать. Совместить это, увы, невозможно. Или университет, Верочка, ваше будущее, или концлагерные друзья... Понимаете, ваши встречи, разговоры, даже письма — это постоянный источник возбуждения. При всем уважении к тяжелому прошлому — нельзя, невозможно совместить...

Ипполит Петрович тоже был взволнован и то закуривал, то торопливо гасил папиросу о доньшико стеклянной пепельницы. Судя по тому, что он ни о чем не расспрашивал, Любовь Петровна уже успела доложить ему о состоянии зятя: и то, что к нему вернулась стойкая бессонница, и то, что он по ночам снова стал кричать.

— Почему бы мне не попробовать какие-нибудь снотворные пилюли, может, бром...

Ипполит Петрович не стал слушать его.

— Убить слона дробиной? В июле я рекомендовал вам действенное средство, но вы не вняли. Давайте вернемся к нему. Пишите подробные воспоминания, но только настройтесь, что это будут последние... Вспомните, наконец, все о вашем Брукхаузене, чтобы забыть — психологически очиститься.

— А я не хочу забывать. Не имею права.

— Имеете. Вы тяжело ранены. Законы божьи и человеческие освобождают таких, как вы, от ответственности за то, что происходит на поле боя после их ранения.

— Совесть не освобождает...

По-видимому, он обидел старика. Ипполит Петрович прошелся по кабинету, и, когда снова сел, от его сухопарой фигуры в белом накрахмаленном халате повеяло холодком. Он открыл его историю болезни, посапывая, обмакнул перо в чернила.

— Предупреждаю как врач: если не забудете — университета вам не кончить. И семейная жизнь, кою вы столь лихо начали нынешним летом, полетит кувырком.

— По-моему, вы пугаете меня, Ипполит Петрович.

— Нет, только предупреждаю. Так сказать, выполняю элементарный долг врача. Не расстанетесь с прошлым — последствия будут тяжелыми. Это все, что я имел сказать вам...

«Сам нервнობольной, паникер,— в сердцах думал Покатилов, притворяя за собой дверь кабинета.— Небось сговорился с сестрицей. Родственнички, называется». Он взял в раздевалке плащ, портфель с книгами и вышел в золотистый солнечный дворик.

Стоял ясный тихий день. Напротив, в Александровском саду, деревья пожелтели, но еще хранили летнюю пышность. Время от времени с ветвей срывались листья и, раскачиваясь и мельтеша пестрыми спинками, опускались на бархатисто-зеленые газоны, на огненно-алые клумбы. Небо над Кремлем было бледно-синим и невысоким, как всегда в пору бабьего лета.

Покатилов побрел к метро, продолжая размышлять о категорическом требовании Ипполита Петровича. Безусловно, кое-что он с удовольствием забыл бы. Например, допрос в крематории. Или работу в штрафной команде. Но от него хотели, чтобы он забыл все — и злодейства и борьбу против злодейства. В сущности, просьба новых родственников сводилась к тому, чтобы он прекратил переписку с Кукушкиным и Виктором Переходько, своими самыми близкими товарищами по Брукхаузену, и оставил попытки разыскать семью Решина.

Конечно, было очень неловко, что он опять стал кричать, неловко прежде всего перед Любовью Петровной: ведь они жили в одной комнате. Вера, правда, держалась молодцом. Она осторожно будила его, успокаивала. Утром, если мать начинала ворчать, старалась разрядить атмосферу шуткой. «А может, нам с Верой надо снять где-нибудь комнату? Как чудесно жили мы вдвоем в теремке... На мою и ее стипендии могли бы питаться, а триста рублей, которые обещала посылать сестра, платить за жилье», — подумал он, останавливаясь у застекленного фасада метро «Библиотека имени Ленина», там, где всего три месяца назад он ожидал встречи с Верой, их первой встречи.

2

Он решил поехать на Большую Пироговскую. Вера освобождалась через час, он подождет ее в садике напротив института, потом они пойдут домой пешком и дорогой поговорят.

— Никак Покатилов?

Перед ним как из-под земли возник комендант общежития на Стромьинке Снегирев, немолодой, невысокий, с крупными, отчего-то всегда печальными глазами.

— Привет, Василий Степанович. Как поживаете?

— Мы-то поживаем. А вот твой бывший сосед по койке Ванюша, мой землячок, приказал долго жить.

— Что за глупая шутка...

— Вот гляди, мамаша прислала телеграмму.

Разговаривая, они отошли в сторонку. Казалось нелепым, невероятным, что в двадцать пять лет можно умереть от рака легких. Показавшись вновь вспомнился новогодний вечер на Арбате, сияющее румяное лицо Ивана, русые колечки надо лбом и то, как он летел вприпрыжку по кругу, лихо вскрикивая и заражая всех неистовым весельем. Вспомнился их последний разговор в общежитии, его душевное участие в делах Покатилова, пророчество насчет скорой женитьбы.

— Так-то, друг,— произнес комендант печально.— Такова жизнь наша. Сегодня гость, а завтра на погост. Так что бери от жизни все, не откладывая на будущее. Радуйся, что есть теперь своя жилплощадь, постоянная прописка, молоденькая жена под боком.

Он тряхнул руку Покатилову и, нахлобучив кепку на глаза, зашагал к университету: в административно-хозяйственном отделе его ожидала очередная выволочка за беспорядок в общежитии.

Непривычное чувство уныния охватило Покатилова. Оказывалось, не на войне — в этой спокойной мирной действительности на человека могло безнаказанно напасть чудовище (разве рак не чудовище?) и на виду у всех сожрать. Веселый здоровяк, морячок, которого миновали немецкие снаряды и пули, которого не сумела поглотить студенческая морская глыба, умер теплым сентябрьским днем в районной больничке от внезапно прорезавшейся болезни, с которой пока не может справиться медицина всего мира... И получается, что надо жить так, как если бы тебе оставалось жить день или даже час. То есть? Но тут-то люди и расходятся во мнениях. Что бы я стал делать, если бы мне сказали, что умру через час?

Он сидел на скамейке перед строгим серым зданием мединститута, машинально следил за выходной дверью главного корпуса, стараясь не прозевать Веру, и думал, что человеку, по сути, всю жизнь приходится искать ответ на этот вопрос. Причем найденный ответ в одну пору жизни отнюдь не избавляет от необходимости думать над ним в последующем. Чем бы я стал заниматься, если бы узнал, что через час меня не будет?

Золотая осень полыхала и здесь. Желтые, багряные, лимонно-зеленые кроны тополей и лип на бульваре купались в чистом солнечном свете. Как и в Александровском саду, по временам отделялись подсохшие листья и, раскачиваясь в воздухе, плыли к земле, уже покрытой шуршащим настилом. «Имею ли я моральное право мучить других своим недугом?..»

Он увидел Веру издали, и опять она представилась ему мало похожей на себя. До того мало похожей, что защемило сердце. В пыльнике, с материнским портфелем, спускалась она по лестнице с двумя девушками и парнем в очках, очевидно сокурсниками. Вера с загадочным видом рассказывала что-то, а девушки и парень, поворачиваясь к ней, так и покатывались со смеху. У нее уже не было косы (она подстриглась накануне свадьбы) и не было прежней милой девчоночьей угловатости, наоборот, в движениях проступила округлость и основательность. Он окликнул ее. Вера, сразу переменившись в лице, повернула к нему.

— Что стряслось, Костя? Что?

Он взял ее, как всегда, холодные руки в свои.

— Умер от рака мой товарищ по университету. Двадцати пяти годков. Сгорел за три месяца. Между прочим, хотел быть шафером на нашей свадьбе.

Она покачала головой.

— Фу! Я думала, что-нибудь с мамой. Или Ипполит Петрович говорил каких-нибудь неприятностей... Ты был у него?

Да, она, пожалуй, очень изменилась. Странно, что он только сейчас это заметил.

— Ипполит Петрович ничего нового не сказал.

— Неужели на тебя так подействовала смерть товарища? — спросила она с искренним изумлением.

— Ах, Вера! Нельзя же думать только о себе.

— Разве я о себе?

— Ну, о маме, обо мне. Это ведь ужасно, когда в мирное время гибнут такие ребята.

— Но ты столько смертей повидал...

— К смерти нельзя привыкнуть. Если исчезает сострадание, если исчезает чувство ужаса перед гибелью себе подобного — человек перестает быть нормальным живым человеком.

Вера ухватила его под руку, коснулась лбом плеча.

— Костя, я тебя люблю и маму люблю. А того товарища я и в глаза не видывала, хоть он и собирался быть у нас шафером. Умом мне жалко, как всякого молодого, который погибает. А сердцем действительно равнодушна. Что я могу поделать с собой?

— Хорошо, что ты хоть прямо говоришь об этом, Вера. Я всегда ценил в тебе искренность, поэтому тоже хочу...

Прохожие оглядывались на них.

— Потихе,— попросила Вера.

— ...поэтому я хочу тебе тоже прямо сказать, что не нахожу возможным и не желаю больше мучить твою маму.

Она приостановилась, быстро, встревоженно заглянула ему в лицо.

— Костя, что ты выдумываешь?

— Давай снимем комнату, Вера. Я не могу быть источником вечного беспокойства Любови Петровны. Она из-за меня не высыпается, становится еще более раздражительной, дальше так нельзя.

— Чем будем платить за комнату? У нас нет денег.

— Сестра обещала посылать по триста рублей, ты знаешь.

— Я не понимаю, почему так сразу. Давай покажемся невропатологу в районной поликлинике. Или, может быть, я сумею договориться, чтобы тебя проконсультировали в нашем институте. Зачем обижать маму, она этого не заслужила, она хорошо относится к тебе. Мама не сможет без меня, все-таки я у нее одна. И мне без нее будет тоскливо... Кстати, тебе письмо из Харькова. Утром вынула из ящика.— Она расстегнула портфель и, покопавшись в нем, отдала Покатилову тоненький конверт.

— Почему — кстати? — спросил он, взглянув на обратный адрес. Письмо было от Виктора Переходько.— Почему — кстати?

Вера замялась.

— Ну, потому... тебе же тоскливо без твоих близких? Вот я и сказала по ассоциации.

— Странная ассоциация.— Он убрал письмо в карман.— Так что — мне записаться к районному врачу?

Она смущенно кивнула.

— Постарайся только попасть на вторую половину дня, часов на пять или на шесть. После лекций я могла бы пойти вместе с тобой на прием.

Замешательство Веры было вызвано тем, что она сперва хотела утаить от мужа это письмо...

Любовь Петровна с ее ведома некоторое время назад обратилась к друзьям Покатилова с просьбой прекратить с зятем переписку. Ссылаясь на заключение невропатолога, она писала, что зятю угрожает истощение нервной системы и, значит, инвалидность, если он не вычеркнет из памяти то, что им всем пришлось пережить в Брукхаузене. Она просила понять ее материнскую тревогу, говорила, что Костя очень способный молодой человек, что он блестяще закончил первый курс, но что теперь, на втором курсе, он может сорваться и тогда его жизнь и жизнь ее дочери будут искалечены. В конце письма она умоляла не сообщать зятю о ее просьбе, продиктованной заботой о его здоровье, и сделать так, чтобы переписка с ним заглохла. Она подчеркивала, что сознает всю жестокость своей просьбы, но веря в истинную дружбу бывших узников, в интересах прежде всего самого зятя и, конечно, ради счастья единственной дочери не могла поступить иначе...

Придя домой, Покатилов сел за маленький письменный стол к окну и вскрыл конверт. Виктор писал:

«Здравствуй, Костя! Вот и начался новый учебный год, у тебя — в твоём великолепном МГУ, у меня — в скромном автодорожном институте. Итак, продолжаем грызть гранит науки и планомерно продвигаться к её сверкающим вершинам? Я думаю, что мы молодцы, и все бы хорошо, если бы «альпийский курорт» не начал вылезать нам боком. Верись, иной раз посижу над книгой всего с час и бросаю из-за нуднейшей головной боли. Врач сказал, что надо больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе, не волноваться, спать не менее восьми часов и т. д. и т. п. Все, конечно, очень правильно и трогательно. И ещё получил один совет, сугубо индивидуальный: «Избегать неприятных воспоминаний». Представляешь?

А теперь очень важная, прямо потрясающая новость. Тот, кого мы принимали за профессора Решина, в действительности был не Решин. Настоящий Решин — известный медик — погиб во время эвакуации из Днепрпетровска в июле сорок первого года. Почему наш Решин взял себе чужое имя, можно лишь строить догадки. Но одно несомненно: погибший в Брукхаузене наш старший товарищ тоже был медиком и, главное, замечательным человеком. Конечно, тебе это известно лучше других. А узнал я, что настоящий Решин погиб, от своего лечащего врача — ученика настоящего Решина и свидетеля его гибели в санитарном эшелоне в сорок первом году.

Вот такие-то новости, брат. Будем надеяться, что когда-нибудь все тайное станет явным. А пока — туман. Хотя и теперь ясно, что поиски семьи Решина надо прекратить, поскольку того, настоящего, мы не знали.

Как твоя семейная жизнь? Как взаимоотношения с женой, с тещей? Костя, я тебя очень прошу не пренебрегать советами врачей, особенно при лечении бессонницы. Ведь полноценный сон — это единственный отдых для мозга. Как же ты одолеешь свои математические премудрости, когда у тебя систематически бывают кошмары (об этом мне написал Иван Михайлович), что, конечно, и неудивительно после пережитого «на прекрасном голубом Дунае».

Желаю тебе бодрости, сил, полного благополучия.

Твой харьковский братишка Виктор.

Р. С. Не беспокойся, если буду писать немного пореже. Огромные задания по сопромату и машиностроительному черчению поглощают все время. В. П.».

В сильнейшем волнении Покатилов палил папиросу за папиросой. «Насколько можно верить тому, что сообщил Виктор о Решине, не путает ли чего-нибудь его врач? Ведь потому профессор Решин и очутился в немецком лагере, что ему не удалось эвакуироваться. Могло статься, что тот врач, ученик Степана Ивановича, во время обстрела или бомбежки эшелона и почти неизбежной при этом панике посчитал раненного или контуженного Решина убитым, подобные истории, говорят, случались и на фронте. Врачу, должно быть молодому человеку, удалось добраться до своих, а старик Решин попал в лапы врага. Если бы наш Решин не был настоящим Решиним, то он не просил бы меня разыскать после войны его семью, рассказать близким, как он погиб. А его завет никогда не забывать об увиденном и пережитом в Брукхаузене? Нет, тут что-то неладно...» Он вырвал из общей тетради листок и стал писать ответ.

— Костя, ужинать.— Властный, с хрипотцой голос тещи как молоточком ударил по голове.

— Сейчас.

— Ты обещал не курить перед едой.

— Сейчас... Я пишу письмо.

— Надо отвыкать от вредных привычек.

Он поднял голову. Любовь Петровна, поджав губы на болезненном, чуть одутловатом лице, расставляла тарелки.

— Извините, Любовь Петровна.

Он потушил папиросу и открыл форточку.

— А вот это тоже следовало спросить,— сказала она.

— Что спросить?

— Можно ли открывать форточку. Закрой сейчас же.

Он закрыл.

— Не надо, дружок, пренебрегать старым добрым правилом: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

— Зачем вы придираетесь ко мне? — очень тихо спросил он.— Вы же сами курите и всегда открываете форточку.

— Я придираюсь?!

— Мама, не надо,— сказала, входя в комнату с суповой кастрюлей, Вера.— Костя, извинись перед мамой.

Он посмотрел долгим взглядом на бледную, как папиросная бумага, тещу, на жену, покрасневшую пятнами.

— Это я-то придираюсь к нему... к нему, который бесцеремонно вторгся в семью...

— Мама, что ты говоришь! — Вера бросилась к ней, обняла и бережно повела к дивану.— Мамочка, успокойся. Я тебе накапаю вальерьянки. Костя, принеси воды.

— ...который соблазнил чистую девочку...

— Мама! Костя!

Он сгреб со столика свои бумаги, схватил портфель с тетрадями и книгами, со стены в темном углу за шкафом плащ и вышел из комнаты. За спиной слышался ознобно-жесткий голос тещи, призывавшей на его голову страшные кары, и растерянный, жалкий лепет Веры:

— Мама, зачем ты так, мама, мамочка!

«Какое падение, какая деградация! — думал он, сбегая по полутемной лестнице.— Разве мог я вообразить тогда, когда был... вместе с Решиним, с Богданом... мог ли вообразить, что пять лет спустя.. бу-

ду ругаться с тещей, вернее, буду ругаем и меня будут оскорблять какие-то нервные женщины!»

Он пересек под носом у постового милиционера улицу и вскочил на ходу в трамвай. Через пять минут голубой поезд метро мчал его от станции «Дворец Советов» к «Сокольникам», туда, где, плавно спускаясь к синей Яузе, протянулась знакомая Стромынка.

4

Покатилов сидел в неудобной холостяцкой комнате коменданта Василия Степановича Снегирева, помещавшегося тут же, при общежитии, пил чай из граненого стакана и рассказывал о Брукхаузене. Василий Степанович, в тапках на босу ногу, в шелковой сорочке на выпуск, слушал его как-то странно, вроде бы вполслуха, и ничем не выражал своего отношения к услышанному. И как-то странно, без всякой связи с тем, о чем говорил Покатилов, едва тот умолк, сам стал рассказывать историю знакомства с земляком Ваней, о том, какой это был сердечный человек и как ошеломило его, Василия Степановича, известие о скоропостижной кончине Ванюши.

— Выпить бы надо за светлую память,— печально заключил он,— да худо нынче с грошами. Надо бежать от вас, студентов, вы народ нищий. Зовут меня заведовать общежитием грузчиков в Старых Черемушках, там коменданту все же перепадает кое-что сверх оклада. Но привык к вам, чертям. Вот и Ваню, редкого человека, встретил здесь.

— У меня есть тридцатка, Василий Степанович,— сказал Покатилов,— позавчера была стипендия. Если не возражаешь, возьму красненького, настроение у меня подходящее...

В дверь робко постучали.

— Портвейна,— уточнил комендант.— Давай... Кто там? — крикнул он недовольно.

Вошла Вера, тщательно причесанная, с напудренным носом и заплаканными глазами.

— Здравствуйте.

Судя по ее виду, ей нелегко было войти сюда и выдавить из себя это «здравствуйте».

— Здравствуйте. Вы по какому вопросу, девушка?

— Это моя жена,— сказал Покатилов.— Ладно, Василий Степанович, придется в другой раз.

Но в Василии Степановиче уже пробудилось существо, которое было сильнее его. И, уступая ему, он широко и чуть смущенно улыбнулся.

— Очень приятно, как говорится. Василий Степанович.— И протянул Вере крепкую короткопалую руку.— Ты давай, Константин, сходи куда надумал, а мы с ними,— он сконфуженно кивнул на Веру,— покамест побеседуем, может, я чем и схожусь, я ведь человек с немалыми житейскими связями... Вас как звать-то?

— Вера.

— Прошу чувствовать себя как дома, Верочка. Присаживайтесь, побеседуем, посоветуемся.

«Может, и впрямь посоветует, где комнату снять»,— подумал Покатилов, топя по коридору к выходу.

Когда полчаса спустя он вернулся из магазина, Вера перемыла всю посуду, протерла мочалкой с мылом клеенку и пыталась накрыть стол на три персоны. Василий Степанович тоже участвовал в подготовке трапезы: резал на тумбочке хлеб, вскрыл банку быч-

ков в томате, достал начатую пачку сахара-рафинада. В то же время он ни на минуту не переставал говорить. В такой форме выразилось его приятное возбуждение, связанное с близким приемом «красенького» и присутствием молодой женщины.

Разлили по чашкам портвейн, выпили, закусили колбаской.

— Вот, Василий Степанович, посоветуйте как более опытный человек,— сказала Вера.

— Конечно, молодым лучше жить отдельно от родителей,— тотчас наставительно загудел комендант.— Молодые подерутся, а через час, глядишь, опять милуются, и опять у них мир да любовь. А тещу или, допустим, теще западет досада в душу, и, бывает, надолго. Поэтому лучше жить врозь.. Если, конечно, позволяют средства.

«О господи! — думал Покатилов.— Разве для того я ушел от Любови Петровны, чтобы вновь выслушивать эти пошлости?»

— Ты где был в войну, Василий Степанович?

— Как это где? — чуточку застеснялся опять комендант.— Где большинство. Воевал.

— Скажи, пожалуйста, тебе никогда не приходило в голову, что на фронте или в партизанском движении люди были дружнее, лучше, чем на гражданке?

— В чем-то лучше, в чем-то хуже. Это смотря по обстоятельствам. В мирной жизни другой век прожил бы честным человеком, а на фронт попал — сделался дезертир. Это как надо понимать?

— Значит, он в душе всегда был дезертир,— сказала Вера.

— Да в том-то и фокус, Верочка, что не всегда. Он очень хороший был работник на гражданке, и семьянин, и общественник, и все такое. А вот привезли на фронт, попал первый раз под обстрел и оплошал человек, потерял себя. Был такой знакомый у меня, из одного поселка, заведующий сельпо. Кое-как дотерпел до конца обстрела, стошнило, правда, бедолагу, а к вечеру исчез из подразделения. Только на третьи или четвертые сутки привели его к нам обратно. Судили, конечно, и расстреляли перед строем. Чтобы другим было неповадно. Что, конечно, и правильно... А в мирное время был уважаемый всеми товарищ. Весь поселок называл его не иначе как по имени-отчеству. Как это можно рассудить?

— Вера права,— не глядя на жену, сказал Покатилов.— Он и в мирное время предал бы в трудную минуту. Сколько случаев дезертирства было у вас в подразделении?

— Больше не было. Один пытался к немцам перебежать, так его свои же бойцы и кокнули, подстрелили на нейтралке. Конечно, я могу сказать лишь за те три недели, пока находился в стрелковом батальоне. Между прочим, лично у меня в отделении все были мировые ребята, сибиряки. Исключительные, можно сказать. Меня в голову ранило тогда под Ржевом, а то с такими ребятами, будь моя воля, ни за что не расстался бы до конца войны. Надежные люди.

— Никого из них, Василий Степанович, не встречал после войны?

Комендант коротко вздохнул.

— Одного встречал. Тут, правда, получилась маленькая осечка. Толик его звали, Анатолий. Перед демобилизацией я служил в железнодорожных войсках. И представляете, однажды — дело было в Котласе — кричат мне из арестантского вагона: «Эй, сержант!» Подымаю глаза, а за крестом в окошке лицо Толика. Этот Толик мне подо Ржевом жизнь спас, геройский был парень, немного, правда, жуковатый. Я ему и говорю: «За что тебя, Толик?» Дело-то было уже в конце мая или в начале июня сорок пятого. Он отвечает: «Немца задавил машиной. Попал, зараза, под колеса. Теперь из-за

него придется пять лет уголек рубать в Заполярье». «Пьяный был, что ли?» — «Не пьяный, а выпивши, девятого мая произошел случай». — «А машина чья?» — «Командира дивизии. Меня в сорок третьем после ранения назначили к нему шофером. Два года возил хозяина...» Ну, поговорил я с Толей по-хорошему, а потом он давай приставать, чтобы я ему махорки передал в окно. Махорки или папирос, не помню. Я, конечно, на незаконное дело не пошел. Дружба дружбой, а служба службой. Нельзя.

— Неужели ему не мог помочь командир дивизии? — спросила Вера.

— Закон-то, Верочка, выше командира дивизии. Да и не в том существо вопроса. Несчастный случай есть несчастный случай. Никто от него не застрахован. Плохо, что он, Толик то есть, задавил невинного человека и его же обозвал заразой. В этом случае, Константин, твоя, конечно, правда. На фронте Толя был лучше. Ведь собой жертвовал, защищая командира... Вот как все мудро в жизни!.. Ну а сам-то как поступил бы сейчас, если бы мог взглянуть на себя нынешнего, скажем, из того же сорок третьего года?

— Ты насчет чего?

— Да мне Вера рассказала, как тебя обидела ихняя мамаша... Что тебе надлежит делать по тем меркам?

Покатилов комически-торжественно подал Вере руку. «Рука моя свободна от оружия...» Василий Степанович удовлетворенно крякнул.

— Ну вот. И мамашу ейную на первый раз надо простить. А обидит в другой раз — найдем в общежитии местечко. Что-нибудь да придумаем. Как-нибудь. Ваниного друга с женой не оставляю в беде, не предаю, — прибавил он прочувствованно, и его повлажневшие глаза снова стали печальны. — Во имя памяти Ванюши. Я добра не забываю.

5

Это была их первая размолвка и первое, а потому особенно радостное примирение.

Из общежития до метро они шли в обнимку, и когда по дороге попадался открытый подъезд, он заводил ее туда «на секундочку» и целовал. В душе он уже простил Любовь Петровну, простил, а значит, забыл ее нападки и забыл, что Вера не заступилась за него, хотя мать была явно не права. Однако радуясь восстановлению согласия, Покатилов не мог не сознавать, что причины для конфликта в семье остались.

Было около десяти. Вечер туманный, тихий. Лишь на площади против метро скрежетали на стрелках трамваи.

— Я не сомневаюсь, что Любовь Петровна мне желает добра. — говорил он, стараясь идти с Верой в ногу, — хочет, чтобы у ее дочери был здоровый муж. И здоровый и образованный, с университетским дипломом. Это все понятно. Но ведь, надеюсь, она не хочет, чтобы я поступал против совести?

— Костя, я тут полностью на твоей стороне. Я тебя и полюбила за то, что ты принципиальный... в хорошем смысле. Но давай попробуем на минутку встать на мамину точку зрения. Ведь как она рассуждает? Над всеми нами пронеслась страшная буря, чума, которая унесла миллионы жизней. Теперь Гитлер уничтожен, фашизм разгромлен. Значит, люди, которые пришли с войной, бывшие войны, должны как можно скорее вернуться к нормальной жизни, понимаешь — нормальной! Должны учиться, работать, рожать детей...

— Прости, Верочка, ты о себе?

— Нет, Котя. (В минуты нежности она называла его Котя.) Мы с тобой родим сына, когда кончим учиться. Ты не против?

— Конечно, не против. Хотя рационализм в этом вопросе мне не очень по сердцу.

— Я же медик, Котя... Так вот мама страстно мечтает, чтобы у дочери, а следовательно, и у зятя была во всех отношениях достойная жизнь.

— Что она подразумевает?

— Трудовая жизнь. Это прежде всего. Я врач, ты преподаватель математики. У нас интересная работа. Придя домой, мы делимся новостями, советуемся, потом быстро ужинаем — и в консерваторию... мы будем покупать абонементы, это дешевле. А дома нас будет ждать сынок, сероглазый, серьезный, как папа, с таким же мужественным характером и в то же время такой же мягкий, как его мама. А с сыном кто вечерами остается? Моя мама, совсем старенькая, пенсионерка. Но она очень опытный педиатр, и поэтому наш Глебушка... Тебе нравится имя Глеб?

— Лучше Мстислав.

— ...наш Слава или Глебушка — это мы еще решим — всегда здоровенький, веселый... Вот о чем мечтает моя мама! И разве есть в этом что-нибудь зазорное? Разве не за такую жизнь люди воевали на фронте или действовали в нашем брукхаузенском подполье?

— Погоди, Вера, это твой вопрос или мамин?

— Мамин. Но и мой тоже.

Он остановился, достал папироску, глубоко затянулся.

— Такой жизни у нас с тобой, Вера, не будет никогда.

— Почему?

— И ты это знала с самого начала. С самой первой минуты нашего знакомства.

— Но почему?

— Такой жизни вообще не может быть у людей моей судьбы.

— Не понимаю. Я тебя третий раз спрашиваю — почему?

— Да потому что не так быстро, как вам кажется, как хотелось бы, зарастают раны на теле и исцеляются души... Все же вы очень слабо представляете себе, очень приблизительно, что это было такое — фашистские концлагеря.

— Конкретнее ты можешь?

— Могу. Люди моей судьбы... они чаще всего искалечены физически, а некоторые и духовно. Понимаешь?.. Мы до конца своих дней будем вздрагивать при виде серо-зеленой униформы, если даже в кино увидим. Всегда будем помнить погибших ребят, рядом с которыми шли под пули или под палку палача. Мы будем, пока не умрем, бороться по ночам с кошмарами, потому что наш мозг был наяву отравлен кошмарами. Мы, выжившие, будем всегда любить друг друга, потому что наше духовное, наше идейное братство святее, чем кровное братство, чем родственные связи. Мы не вышли и, боюсь, до гробовой доски не выйдем из атмосферы борьбы, крематориев, и это до некоторой степени тоже плата за общую победу, победу над фашизмом... Можно ли любить нас таких, хотя бы уважать, считаться с нашими ушибами, физическими и моральными?

Он бросил окурок под ноги и взглянул на жену. В ее глазах стояли слезы.

— Значит, все, что я говорила про Глеба, про консерваторию, не для нас с тобой, так?

— Да, не для нас. Во всяком случае, не для меня.

Она сняла его руку со своего плеча.

— Неправда. Ты все преувеличиваешь. Ты сгущаешь краски. Сколько людей вернулись из плена и живут нормальной человеческой жизнью...

— Я таких, Вера, не знаю. То есть снаружи, если глядеть со стороны, они, возможно, и живут, по твоему определению, нормальной жизнью, а внутри — то, что скрыто от посторонних глаз, — не может быть легко, не может.

— Я тебя сама буду лечить. Врачевать твою душу, твой сон. Я любовью своей тебя буду лечить, Котя. Я тебя очень люблю, Котя. Я хочу родить тебе сына, и он тоже своей нежностью, своей беззащитностью тебя будет лечить. Ты ведь не оставишь нас?

Движимый встречным благодарным чувством и стремлением успокоить и не замечая, что начинает противоречить себе, он сказал:

— Не будем, Верочка, драматизировать положение. Я уверен, что никакого истощения нервной системы у меня нет и не предвидится. И знаешь, между прочим, почему? Потому что я женился на тебе. Кстати, внушил мне эту мысль — о необходимости на тебе жениться, вернее, укрепил меня в ней — тот самый Ваня, о котором я тебе говорил, земляк коменданта. Память о нем мне теперь особенно дорога. И еще хочу сказать... это только для тебя. За два года пребывания в Брукхаузене я убедился, что человек может гораздо больше, чем принято думать. В каждом из нас есть огромный запас прочности, громадный резерв сил. Надо только суметь добраться до этого резерва.

— Как, Котя? Я хочу любой ценой...

— Не надо любой ценой. Сделай так, чтобы я никогда не сомневался в твоей готовности быть всегда со мной, в радости и в печали... всегда, до конца...

Глава пятая

1

В семь утра Покатилов был уже на ногах. Он принял теплый душ, побрился и сел к столу, чтобы на свежую голову прочитать доклад Генриха Дамбахера. Но не добрался и до середины его, как в комнату вошел сам Генрих, благоухающий чистотой, с безупречно причесанными блестящими седыми волосами.

— Я ждал тебя целый вечер, — вместо приветствия сказал он с укором.

— Я был в лагере, Генрих. Потом ко мне пришел Анри Гардебуа. А потом было уже поздно. Но, как видишь, я штудирую твой реферат. — Покатилов показал на тонкие листки с машинописным текстом, скрепленные металлической скобочкой. — Некоторые твои формулировки, честно говоря, мне кажутся расплывчатыми. Возможно, потому, что я не совсем хорошо владею немецким.

— Именно насчет формулировок я и хотел с тобой потолковать в первую очередь. — Генрих сразу взял деловой тон и даже глянул на часы, словно собираясь приступить к юридической консультации или начать защитительную речь в суде. — Ты, конечно, знаешь, что наша организация объединяет брукхаузенцев как из социалистических, так и из капиталистических стран. Среди наших товарищей из западных стран есть не только коммунисты, но и либеральные монархисты вроде Сандерса, социалисты, как Насье, голлисты, как твой друг Гардебуа, хотя формально он и числится беспартийным, представители буржуазных слоев... тот же Яначек, скажем, или бель-

гийская чета. И если мы в комитете хотим говорить от имени всех, нам необходимо искать приемлемые для всех формулировки. Это проблема проблем. Конечно, в принципиальных вопросах формулировки при всей их гибкости должны быть достаточно определенными. Иначе, как понимаешь, участие коммунистов — наше участие — в работе комитета потеряло бы смысл, и мы не делаем из этого секрета. Да, мы открыто говорим об этом товарищам по лагерю — не коммунистам. Я имею в виду вопросы борьбы за мир, за разоружение, против возрождения милитаризма, реваншизма. И тут меня как генерального секретаря постоянно подстерегают опасности... Я всегда должен быть готов к тому, что Гардебуа и Насье набросятся на меня с упреками, что я занял одностороннюю и резкую позицию, а Урбанек и Калиновски, наоборот, заявят, что моя позиция слаба.

Лицо Генриха, чуть попорченное шрамом, осветилось иронической улыбкой. Его, должно быть, не очень беспокоили опасности подобного рода: ведь он добросовестно искал «приемлемое для всех». Как это, в общем, не вышло с обликом того, прежнего Генриха, вожака концлагерного подполья!

— Что же ты отвечаешь Богдану и Вацлаву?

Точно ожидая этого вопроса, Генрих заученным движением оратора разжал пальцы, стиснутые в кулак.

— Я говорю, что как руководитель комитета не имею права не считаться с фактом, что наша организация объединяет всех — от крайне правых до крайне левых... То же самое я объясню и французским товарищам, но особого понимания с их стороны не встречаю. Они думают, что я на все сто процентов должен разделять их точку зрения и не учитывать мнения других.

Покатилов помолчал, раздумывая.

— Гардебуа жаловался, что ты стремишься свести всю деятельность комитета к разоблачению неонацистов, к пропагандистской кампании против вооружения бундесвера и что твой призыв хранить память о погибших — это лишь маскировка...

— Да, якобы маскировка какой-то особой коммунистической программы. Он об этом и мне не раз заявлял. Теперь ты представляешь всю сложность наших отношений?

— Анри говорил, вы расходитесь и в понимании того, что значит быть последовательным антифашистом в наши дни. Он убежден, что лучший способ бороться с возрождением фашизма — сохранять материальные свидетельства...

— Знаю. Но этого мало. Мало!

— Я намекнул Анри, что нахожу его позицию пацифистской.

Черные, острого разреза глаза Генриха задорно блеснули.

— Дорогой друг, пацифизм — ругательное слово только в среде коммунистов. Гардебуа вполне устраивает, чтобы его называли пацифистом.

— И все-таки, Генрих, мне кажется, Анри Гардебуа остался честным антифашистом. Мне кажется, ваши расхождения касаются главным образом... тактических вопросов.

— Нет! — Генрих открытой ладонью будто оттолкнул что-то от себя. — В основе лежат глубокие идеологические разногласия, хотя спорим мы действительно главным образом о тактике. Согласись, однако, что если руководствоваться девизом «единство любой ценой», на чем настаивают Насье и Гардебуа, можно запросто опуститься до идеологических компромиссов. Насье и Гардебуа под предлогом укрепления единства готовы совсем отказаться от любой политической деятельности. Они хотели бы свести всю нашу работу... нашего комитета к встречам, собраниям в памятные дни, соору-

жению мемориалов, преследованию нацистских преступников и прочей деятельности, обращенной в прошлое. Почему в прошлое? Да потому что игнорируются вопросы современной политики, точнее — те ее аспекты, которые связаны с идеями движения Сопротивления...

Опытный юрист, Генрих умело развенчивал позицию своих оппонентов, говорил уверенно, складно, и Покатилова неожиданно уколола досада: ведь он, Генрих, за целые сутки так и не удосужился или не счел нужным спросить его, Покатилова, старого близкого товарища по лагерю, ни о здоровье, ни о семье... Но не в этой ли его одержимости общим делом проглядывает тот, прежний Генрих?

— Опасность аполитизма в среде брукхаузенцев, мой милый, еще и в том, что наши противники — антикоммунисты изо всех сил стараются нейтрализовать организации участников Сопротивления, в том числе организации бывших узников, более того — мобилизовать их против социалистических стран, — горячо говорил он. — И ты, Константин, должен это тоже учесть, анализируя обстановку в комитете. Именно: цель наших врагов — не допустить, чтобы в западных странах организации борцов Сопротивления влияли на политику своих правительств, пресекать всеми доступными им средствами такие попытки.

2

В половине десятого, продолжая разговаривать, они спустились в опустевшую уже столовую. Генрих повел Покатилова к окну, они сели за крепкий квадратный стол с выскобленной добела столешницей. И тотчас возле них выросла фигура Герберта, одетого в официантскую куртку.

— Доброе утро, ваши превосходительства, высокочтимые камрады! — торжественно и вместе с тем радушно произнес он и при этом слегка прищелкнул каблуками. — Для вас, господин генеральный секретарь, завтрак сервирован в кабинете хозяина. Но если угодно...

— Да, Герберт, угодно. Пожалуйста, принесите все сюда и впредь подавайте только сюда, как всем, — поморщившись, сказал Генрих и обернулся к Покатилову. — Я не вижу твоей помощницы...

— Фрейлейн позавтракала полчаса назад и поднялась в свою комнату, — доложил Герберт. — Вам, господин профессор, чай или кофе?

— Чай.

— Чай с лимоном?

— Просто чай.

— Итак, два чая и все прочее как всем, — почтительно наклонив голову, проговорил Герберт и поспешил на кухню, бормоча под нос: — Как всем..

— Жертва буржуазных предрассудков, — усмехнулся Генрих, за-талкивая угол салфетки за отворот пиджака. — Вот уже десять лет пытаюсь втолковать ему, что генеральный секретарь и генерал — это не одно и то же...

— Я вчера разговаривал с ним. Он говорит, что обязан тебе этим своим местом в гастхаузе.

— Он был образцовым караульным наших лагерных строений. Но потом его выжили здешние реакционеры под предводительством... как ты думаешь, кого? Сына Фогеля.

— Сына гауптшарфюрера? Того самого?

— Папаша за содеянные им зверства был приговорен к повешению в числе других сорока главных палачей Брукхаузена. А отпрыск

его Виллибальд — он владелец фермы в окрестностях лагеря — процветает. Сын потерял на Восточном фронте глаз, зато сберег голову, которая, по моим данным, превосходит своей изворотливостью голову повешенного гауптшарфюрера.

Герберт принес на подносе высокий чайник, горшок со сливками, плетеную корзинку с булочками.

— Я желаю вам, дорогие камрады, прекрасного аппетита.

— Спасибо, Герберт, — по-русски сказал Покатилов.

— Как поживает Виллибальд Фогель? — спросил Генрих.

— Как поживает Виллибальд Фогель? — спросил Генрих.

— В апреле, когда начали радиофицировать конференц-зал коммандатуры, этот малопочтенный господин уехал к старшей дочери в Линц и, говорят, намерен оставаться там до конца работы нашего конгресса. Мне лично это не совсем нравится, господин генеральный секретарь.

— Отчего?

— Это чуть-чуть смахивает на то, когда преступник старается обеспечить себе алиби.

— Не думаю, чтобы тут было что-то криминальное. Впрочем, если вы возьмете на эти три дня под наблюдение его дружков — на всякий случай, — будет совсем неплохо. Кель? ⁴

— Яволь.

«Они здесь не так далеко ушли от прошлого, как брукхаузенцы в других странах, — подумал Покатилов. — Может быть, поэтому у них меньше комплексов. Они и спят и не теряют аппетита. Радиация концлагеря, засевшая в наших костях, вероятно, тем сильнее разрушает здоровье бывших узников, чем больше они хотят забыть о нем».

— А вот и фрейлейн товарищ Виноградова, — сказал Генрих, улыбнулся и помахал рукой показавшейся в дверях Гале.

Автобус ждал их на обычном месте, возле узорной чугунной вазы фонтана. Все делегаты были в сборе, и, как всегда, в автобусе раздавались шутки, хохот. Сегодня особенно перепадало Насье. Большоголовый, с черными живыми глазами, он, оказывается, славился своей рассеянностью. В прошлом году в Сан-Ремо Насье забыл в отеле портфель с документами и хватился его только на полпути к Парижу. Накануне нынешней сессии он успел напутать что-то с рассылкой почты, вследствие чего бывшие узники из Федеративной Республики Германии получили бандероли, предназначенные для югославских товарищей, а представитель Люксембурга сделался обладателем личного послания Насье к брукхаузенцам-грекам. Об этом со сдержанной улыбкой поведал Покатилову Гардебуа.

— Послушай, Жорж, — привлекая общее внимание, отчетливо говорил Франц Яначек, — я прошу подарить мне на память фотографию, где ты снят с Люси в оранжерее.

— В какой оранжерее? У меня нет никакой оранжереи, — добродушно оборонялся Насье, коверкая немецкие слова.

— Мой милый, ты уже забыл, что вчера за ужином показывал мне, Шарлю и Мари этот прелестный снимок. Ты вместе с Люси в оранжерее.

— Жорж, нехорошо отрекаться, — сказала Мари. — Се не пабьен, Жорж.

— Разумеется, — ласково прибавил Шарль.

— О-о! — вскипел Насье. — Этот коварный гунн, этот старый лагерный бандит Яначек, кажется, спер у меня редкую фотографию.

⁴ Кидет? (Нем., диалект.)

И он под общей смех полез в карман за бумажником, но, вытаскивая его, зацепил авторучку и уронил ее, а когда наклонился, чтобы поднять ее с пола, из нагрудного кармана у него выскользнули очки. Насье окончательно рассвирепел, распахнул пиджак и начал обмахивать лицо платком.

— Не следует так волноваться, Жорж, все равно теперь тебе ничего не поможет. Твой снимок с Люси в домашней оранжерее отослан в Париж к мадам Насье как доказательство твоей супружеской неверности.

— Какая Люси? — озадаченно спросил Насье.

В этом, по-видимому, и состояла цель розыгрыша. Яначеков ловко отвлек его внимание словом «оранжерее», а на слово «Люси» Насье сперва никак не реагировал.

— Какая Люси? Мадам Гардебуа?!

Грянул хохот. Автобус плавно тронулся и покатил в гору по асфальту мимо черных елей, отсыревших после ночного дождя.

3

В редакционную комиссию, образованную на вчерашнем пленарном заседании, кроме Вальтера Урбанека и Богдана Калиновски — представителей социалистических стран, — вошли Жорж Насье, Ханс Сандерс, Шарль ван Стейн и Лео Гайер. Покатилова включили по его просьбе в качестве наблюдателя. Редакционная комиссия должна была выработать текст резолюции, провозглашающей основные политические требования комитета. Перед началом заседания комиссии Генрих сказал Покатилову, что считает эту работу самой трудной, но и самой важной. Одна из трудностей заключалась в том, что по статуту все коллективно выработанные на сессии документы должны были приниматься единогласно. Вопросы, вызывавшие чье-либо возражение, снимались. Этот принцип единогласия и обеспечивал, по словам Генриха, практическое единство членов комитета. Председателем комиссии по предложению генерального секретаря был утвержден Лео Гайер.

— Уважаемые друзья, — сказал Гайер, сев во главе стола, за которым когда-то лагерфюрер Майер проводил инструктивные совещания командфюреров и блокфюреров, — есть ли у кого-нибудь готовый проект резолюции, который мы могли бы взять за основу для обсуждения?

Готового проекта ни у кого не было.

— Тогда прошу выступать с формулировкой тезисов, которые мы затем обсудим и в приемлемой форме включим в текст. Камрад Насье, ты хорошо понимаешь меня?

— Сложные места мне будет переводить на французский камрад ван Стейн, — ответил Насье.

— Камрад Покатилов, не затруднительно ли для тебя понимание немецкого?

— Все хорошо, — сказал Покатилов. Он решил разок обойтись без переводчицы, послал ее на заседание комиссии, посвященное работе с молодежью, чтобы знать, о чем там будут говорить. — В крайнем случае мне поможет камрад Калиновски. — Покатилов взглянул на Богдана, молчаливого, внутренне напряженного, с отчетливыми припухлостями под глазами, и подумал, что Богдан, вероятно, в обиде на него за то, что он до сих пор не нашел времени для их доверительной беседы. — Поможешь, Богдан?

— Так.

— Кто желает сделать какое-либо заявление? — спросил Гайер. — Нет? В соответствии с нашими правилами предоставляю слово в алфавитном порядке... Представитель Бельгии муниципальный советник ван Стейн.

Шарль, коренастый, длиннолицый, с массивным обручальным кольцом на пухлом пальце, встал и поклонился председательствующему.

— Я полагаю, — начал он высоким сипловатым голосом, — что у многих на память прекрасное рождественское послание папы Павла Шестого, особенно та часть, в которой он призывает всех ответственных государственных деятелей не жалеть усилий в борьбе за мир. Мне кажется, мы поступим правильно, если в тексте нашей итоговой резолюции упомянем о призыве папы Павла Шестого. Это придаст вес нашим собственным высказываниям в пользу мира и вызовет симпатию и доверие к ним со стороны бывших узников-католиков и не только бывших узников. Далее я считаю важным подчеркнуть в нашем итоговом документе, что в вопросах поддержания мира и международного сотрудничества, равно как и в вопросах борьбы против тех, кто нарушает мир и согласие между народами, мы, бывшие узники Брукхаузена, едины, несмотря на то, что исповедуем разные веры и придерживаемся различных политических убеждений. — Шарль снова поклонился председательствующему и сел.

Принесли в маленьких чашечках кофе. Все отхлебнули по глотку и потянулись к сигаретам.

— Следующим по алфавиту должен выступать представитель ФРГ, — сказал Гайер. — Поскольку на меня возложены обязанности председателя, свое выступление как представитель страны я хотел бы перенести на конец. Согласны ли с этим члены комиссии?

— Согласен, — сказал Шарль.

— Добже, — произнес Богдан.

— Бон, — кивнул Насье.

— Слово имеет представитель Голландии государственный служащий камрад Сандерс.

Сандерс сегодня выглядел вялым, апатичным. Лицо казалось обрюзгшим, взгляд отрешенным, устремленным в себя. Он только что закурил сигару и, медленно пуская кольца дыма, сказал, не поднимаясь со стула:

— Меня нынче плохо держат ноги. Хронический артрит. Могут ли я, господин председатель, говорить сидя?

— Пожалуйста.

— Господин председатель, господа члены комиссии, уважаемые камрады. Мы не выполнили бы своего долга перед погибшими, если бы смирились с тем, что многие эсэсовские палачи до сих пор пребывают на свободе. В нашей резолюции должно быть внятно сказано, что мы требуем розыска и наказания всех без исключения нацистских преступников и что мы решительно выступаем против применения закона о сроке давности в отношении нацистских злодеяний. — Сандерс пыхнул сизоватым дымком, помолчал и прибавил: — Это не месть. Мы только хотим, чтобы наш мир покоился на фундаменте справедливости и правопорядка, утверждающего, что ни одно преступление не должно оставаться безнаказанным. По-моему, это важно отметить и в воспитательных целях, имея в виду интересы молодого поколения. — Он вновь пыхнул дымком и умолк.

— У тебя все, камрад Сандерс? — спросил Гайер.

— Все, — ответил Сандерс и подавленно вздохнул. Было такое впечатление, что он чего-то недоговорил и это мучит его.

— Представитель Франции редактор бюллетеня камрад Насье.

Насье тотчас поднялся на свои короткие сильные ноги, надел очки, достал из нагрудного кармана листок, сплошь исписанный красными чернилами, и быстро заговорил по-французски.

— Момент, момент, камрад Насье,— прервал его Гайер.— Здесь не все знают французский. Ты желаешь говорить непременно по-французски?

— Уи.

— Шарль, пардон... Камрад ван Стейн, ты переведешь нам камрада Насье?

— Охотно. Камрад Насье сказал, что во вступительной части резолюции, поскольку она принимается накануне двадцатилетия со дня нашего освобождения, необходимо... что?

Насье метнул недовольный взгляд на Сандерса, пустившего ему под нос струю дыма, и выпалил следующую очередь французских слов, которые Шарль принялся переводить на немецкий:

— ...напомнить, что мы обрели свободу в апреле сорок пятого благодаря героической борьбе антигитлеровской коалиции и в первую голову благодаря действиям Красной Армии. Надо сказать, опять-таки учитывая юбилейную дату, что наш комитет возник как преемник подпольного интернационального комитета, в котором действовали в полном единстве антифашисты разных стран и наций, что мы поклялись хранить это единство во имя достижения наших высших целей... Каких целей? — обратился Шарль к Насье и что-то прибавил по-французски.

— А-а! — раздраженно произнес Насье, но тут же рассмеялся и выпустил очередную обойму своих слов.

— ...прежде всего братства и солидарности между народами. Свободы и достоинства личности. Полной ликвидации остатков гитлеровского фашизма. За мир во всем мире... Мерси.

— Мерси я сказал Шарлю за его перевод,— разъяснил Насье по-немецки, заглянул в бумажку и опустил ее на свое место.

— Ты ничего не забыл, Жорж? — сумрачно усмехнулся Сандерс. Гайер постучал карандашом о стол.

— Представитель Польши старший бухгалтер камрад Калиновски.

— Уважаемые коллеги, польское объединение брукхаузенцев, делегируя меня на настоящую сессию, просило обратить ваше внимание на следующий момент, который, по нашему мнению, должен найти отражение в основном документе.— Богдан порылся в карманах, вынул какую-то газету, потом не разворачивая стал судорожно засовывать ее обратно в карман.— Следующий момент...

Он сказал, что Международный комитет не имеет права обойти молчанием деятельность западногерманской милитаристской печати, которая ведет открытую враждебную пропаганду против социалистических стран, против всех антифашистских сил. Так, «Германская солдатская газета» выступает с постоянными нападениями на народную Польшу, клеветнически утверждая, что на польской земле живут «убийцы» немцев. «Германский солдатский календарь» восхваляет участие нацистов в войне против республиканской Испании и ратует за новый аншлюс. Ежемесячник «Обвинение» нагло пишет, что в нацистских концентрационных лагерях не было никаких газовых камер, что их соорудили после окончания войны союзники, чтобы очернить немецкий народ. Богдан заявил, что если резолюция осудит подобные провокационные выступления милитаристской печати, то он поддержит предложения камрада ван Стейна и камрада Насье.

— Представитель Чехословакии учитель истории камрад Урбанек.

Урбанек страдальчески наморщил высокий лоб и сказал, что его крайне волнует проблема молодежи и что, хотя комиссия по работе с молодежью представит на утверждение сессии свою резолюцию, он считает необходимым коснуться этой проблемы и в политической резолюции.

— Суть в том, — внезапно возвысил он голос, произнося немецкие слова по-чешски певуче, — что смертность среди бывших узников гитлеровских концлагерей возрастает год от года и уже сегодня надо думать, в чьи руки перейдет наше интернациональное антифашистское знамя. Как вы знаете, в западных странах в школьных учебниках все более сокращается объем сведений, посвященных второй мировой войне, причем сведения эти часто бывают неполными или грубо тенденциозными. В то же время книжные рынки Федеративной Республики и ряда других западных стран наводнены потоком псевдоисторической литературы. Современная западногерманская историография фальсифицирует события минувшей войны, террористические действия, совершенные гитлеровскими войсками. Поражение вермахта она пытается объяснить так называемыми субъективными и случайными факторами. Дешевые брошюры, которые в миллионах экземпляров издаются милитаристскими и реваншистскими организациями, восхваляют преступные акции гитлеровского рейха. Вместе с тем эти брошюры оскорбляют участников движения Сопротивления, партизан — вы только вдумайтесь в это! — по гестаповскому образцу называют бандитами, а славянские народы — народами низшей расы. Они настолько обнаглели, что требуют отторжения от Чехословацкой Социалистической Республики ее западных земель, в свое время аннексированных Гитлером. Мы обязаны громко заявить, что учащаяся молодежь на Западе, прежде всего в ФРГ, сознательно отравляется ядом исторической лжи, милитаризма и реваншизма.

4

Когда Урбанек сел, Покатилов обвел взглядом лица товарищей. У него было такое ощущение, что все-таки не сказано что-то очень важное, может быть главное. Более всего его удивила сдержанность Богдана, он ожидал, что старый друг выступит куда решительнее. Он посмотрел на Гайера. Тот по-своему расценил его взгляд.

— Представитель Советского Союза, присутствующий на сессии в качестве наблюдателя, камрад Покатилов.

Покатилов помедлил с полминуты. Ему хотелось поделиться тем, что наболело на сердце, и он опасался, что его прямые и откровенные слова будут восприняты как попытка давления.

— Уважаемый камрад председатель, уважаемые члены комиссии. Вам предстоит выработать текст серьезного политического документа. С этим документом будет знакомиться общественность всех стран, по нему будут судить о политической и нравственной позиции международного сообщества бывших узников Брукхаузена, более того — всех бывших узников нацистских концлагерей. Не желая ни в малейшей мере влиять на вашу оценку важнейших событий в мире, событий, имеющих прямое отношение к нашему прошлому, я хотел бы выразить уверенность, что вы ничего не забыли, и хотел бы от всей души пожелать успеха в вашей ответственной работе.

Он заметил, как после этих слов спало напряжение с болезненного лица Богдана, как мелькнула живая искра в глазах Сандерса и как, удовлетворенно покачивая головой, вытянул ноги под столом Гайер.

— Спасибо, камрад Покатилов. Теперь позвольте, уважаемые камрады, доложить точку зрения западногерманского объединения на то, что необходимо сказать в общеполитической резолюции. Вчера я уже говорил о нашей деятельности и наших тревогах, о том, что наш старый враг фашизм жив. В этом плане я считаю необходимым дополнить информацию, сделанную камрадом Урбанеком. Это факт, например, что бундесвер, в котором тон задают бывшие нацистские генералы, в настоящий момент самая сильная армия в НАТО. Это факт, что за критику милитаристского и реваншистского курса страны у нас подвергся преследованию профессор Голо Манн, сын всемирно известного писателя Томаса Манна. В то же время у нас широко предоставляют трибуну американскому реакционному историку Хогану, который, выступая с публичными лекциями о второй мировой войне, пытается оправдать Гитлера. Это факт, что во главе министерства по делам перемещенных лиц — министерства реваншистов, как его у нас именуют, — долго стоял военный преступник Ганс Крюгер, а после разоблачения Крюгера его министерский портфель перенял Эрнст Леммер, в прошлом активный пропагандист третьего рейха, берлинский корреспондент ряда зарубежных пронацистских газет.

Отметив, что брукхаузенцы ФРГ своей главной задачей считают борьбу против милитаризма и неонацизма, питающих фашистские организации во многих странах, Гайер поддержал предложение Урбанека включить в итоговый документ призыв ко всем бывшим узникам работать с учащейся молодежью, чтобы открыть ей глаза на правду.

— Я кончил как делегат, — объявил Гайер. — Как председательствующий вношу предложение сделать получасовой перерыв. Попробую, исходя из ваших выступлений, набросать черновой текст проекта резолюции.

«Молодец», — подумал Покатилов.

Оставив Гайера одного в бывшем кабинете лагерфюрера, члены комиссии вышли в коридор. Из соседней комнаты с белой дверью доносился гул голосов: там заседала комиссия по работе с молодежью. По коридору разливался крепкий бодрящий аромат свежесваренного кофе.

— Богдан, не сердись, я вчера два часа провел в крематории, а когда вернулся, меня в комнате ждал Гардебуа, — сказал Покатилов, взяв Богдана Калиновски под руку.

— Человече! — укоризненно ответил тот. — Мог прийти ко мне в двенадцать, в час, в три часа ночи. Мы приехали сюда не для того, чтобы спать. Не виделись двадцать лет. Или забыл блок шесть?

— Ребята, — возбужденно сказал по-немецки Сандерс, — я припрятал в буфете бутылку арманьяка. Предлагаю употребить по двадцать граммов, я угощаю. Насье?

— Уи.

— Шарль?

— С превеликим.

— Констант?

— Давай.

— Урбанек?

— Йо.

— Калиновски?

— Можно.

Озираясь, как хефтлинги перед проверкой, на цыпочках гуськом направились они к угловой комнате, где одна из служащих варила на электрической плитке кофе. Сандерс забрал у нее свою бутылку и стал разливать по кофейным чашечкам остро пахнущую яблоками, янтарного цвета жидкость. За спиной голландца неожиданно выросла вальяжная фигура Яначека.

— Агуа! — запоздало произнес Шарль, подавая сигнал тревоги.

— Вы, проклятые старые бандиты! — осклабился Яначек, приотворяя за собой дверь туалета, где громко бурлила вода. — Вы, большевистские изверги, подлые каторжники, порочные сластолюбцы! Вот как вы работаете!.. Немедленно мне двойную порцию!

— Тс, — прижал палец к губам Сандерс. — Представляешь, мы вышли глотнуть кофе, пока Лео набрасывает проект...

— Сочиняет приемлемое для всех? Помогай ему бог! — Яначек принял из рук Сандерса чашечку, выплеснул содержимое в рот, прижмурился. Когда несколько секунд спустя он открыл глаза, лицо его светилось покоем. — Спасибо, братцы. Как казначей, я запишу эту бутылку «кофе» в статью «прочие расходы» комитета. Цецилия! — официальным тоном проговорил он, обратясь через головы друзей к служащей. — Цецилия, пожалуйста, запишите выпитое этими господами на мой служебный счет.

— Франц, ты поступишь гораздо справедливее, если выдашь мне соответствующую сумму наличными, — скромно сказал Сандерс, глядя Яначеку в глаза. — За этот «кофе» я выложил десять долларов из собственного кармана.

— Пять долларов. Ты получишь денежное пособие после обеда, Ханс.

— До обеда, милый Франц. Сейчас, немедленно.

— Ты, Ханс, старая каналья, голландский пират, презренный колонизатор. — Яначек извлек из кошелька зеленую бумажку и сунул Сандерсу. — Агуа, — вдруг испуганно прошептал он.

Покатился оглянувшись. В противоположном конце коридора возле приоткрытой белой двери стоял Генрих Дамбахер.

— Руэ! — сказал Генрих голосом старшины одиннадцатого блока.

— А теперь исчезните отсюда. Фершвинден! — свирепоскомандовал Яначек, подражая самому себе, каким он был двадцать лет назад — неприступный лагершрайбер-два и вместе с тем один из тайных руководителей интернационального подполья.

5

Через полчаса они вновь сидели за столом лагерфюрера. Гайер, отодвинув в сторону чашечку с двадцатью граммами, которую ему доставил Ханс, сортировал листки, исписанные крупным ясным почерком. В уголке рта у него торчала потухшая сигарета, и он поглядывал на дверь, точно кого-то ждал.

— Уважаемые члены комиссии, — сказал он, положив окурок на край пепельницы, — разрешите огласить черновой проект документа. Я буду читать медленно. Если покажется что-то непонятным — остановите, я повторю. Камрад ван Стейн и камрад Калиновски, пожалуйста, переводите по мере надобности. Вы готовы?

— Пожалуйста, — сказал Богдан по-русски.

— Силь ву пле, — произнес Шарль.

После этого все дружно закурили.

— «Двадцать лет назад, — стал читать Гайер, — шестнадцатого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года, благодаря объединенной борьбе антигитлеровской коалиции и в особенности благодаря героическим действиям Красной Армии, а также усилиям внутрилагерного антифашистского Сопротивления распахнулись ворота концлагеря Брукхаузен и десятки тысяч жертв нацистского террора обрели свободу. В те великие дни бывшие узники, граждане почти всех европейских государств, собравшись на аппельплаце, поклялись: «В память о пролитой народами крови, в память о миллионах наших братьев, замученных эсэсовскими убийцами, мы клянемся, что не прекратим борьбы, пока не очистим землю от фашизма». Помня об этой клятве, о братской солидарности, родившейся в недрах концлагеря, несмотря на различия в мировоззрении, оставшиеся в живых узники — делегаты из Бельгии, Федеративной Республики Германии, Голландии, Франции, Люксембурга, Польши, Австрии, Чехословакии, объединенные в Международном комитете Брукхаузена, на его торжественной сессии шестнадцатого — восемнадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят пятого года вынуждены обратить внимание мировой общественности на явления и тенденции, опасные для дела мира и свободы. — Гайер мельком взглянул на Насье и продолжал: — Это факт, что в Федеративной Республике Германии вновь создана могущественная армия, где основные командные посты занимают гитлеровские генералы. Это факт...»

Текст резолюции, в общем, напоминал газетную передовицу о борьбе за мир, против возрождения милитаризма и фашизма. Но если дома, читая подобную статью за утренним чаем, Покатилов воспринимал сходные формулировки и выражения как нечто несомненно правильное и тем не менее достаточно умозрительное, то здесь, сейчас он остро почувствовал, что за каждой такой фразой стоит сама жизнь.

Проект, как он заметил, содержал все те мысли и положения, которые высказывались членами комиссии в начале заседания, но, сбитые в одно целое, они обрели большую активность. Можно было лишь подивиться способностям Гайера, сумевшего за столь короткое время сотворить этот документ.

Кончив читать, Гайер похлопал себя скомканным платком по заблестевшему от пота лицу и сказал:

— Прошу вносить поправки, уточнения. Прошу брать слово в том же порядке...

— Нехорошо, — сказал по-немецки Насье. — Нихт гут.

— Представитель Бельгии камрад ван Стейн, — сказал Гайер.

— Поскольку наше предложение в отношении рождественского послания папы Павла Шестого учтено, в целом проект резолюции для бельгийцев приемлем, — немного унылым голосом произнес Шарль. — Я только думаю, что критика официальной политики Федеративной Республики слишком резка. Первый абзац, который начинается словами «это факт...», надо смягчить.

— Уи! — крикнул Насье и прибавил по-немецки: — Так нельзя, Лео.

Гайер почеркал что-то карандашом в черновике и сказал:

— Представитель Голландии камрад Сандерс.

— Меня, в общем, удовлетворяет текст резолюции, хотя в отношении преследования военных преступников можно было бы выразиться энергичнее. Я бы сформулировал это место так: «Комитет решительно протестует против всех попыток отпустить грехи кровавым нацистским убийцам». — Лицо Сандерса опять потемнело, он схватил лежавший на дне пепельницы остаток сигары, щелкнул ма-

ленькой серебряной зажигалкой.— С критикой оборонительной программы правительства Федеративной Республики я тоже не совсем согласен...

— Оборонительной программы? — глухо спросил Урбанек.— Не хочешь ли ты, Ханс, убедить нас, что на Федеративную Республику кто-то собирается нападать?

Гайер обвел чертой какие-то слова на своем листке и невозмутимо сказал:

— Представитель Франции камрад Насье.

Насье преобразился. От его былой гасконской живости не осталось и следа. Крупное лицо, кисти рук словно застыли. Он заговорил медленно и отчетливо, и Шарль вслед за ним стал переводить:

— Наши резолюции лишь тогда чего-нибудь стоят, когда они появляются на страницах большой прессы. Я хочу сказать, что мы только в том случае достигнем цели, если наш документ прочтут миллионы людей, а не десяток бывших хефтлингов, активистов нашей организации, как случалось прежде, после чего резолюция обычно подшивалась к делу и всеми забывалась. Следовательно, мы должны найти такие формулировки, подобрать такие термины, которые не испугали бы редакторов массовых газет...

— А я заявляю, что многие формулировки слишком общи. Я могу процитировать слова из выступления министра по делам перемещенных лиц, то есть члена правительства Федеративной Республики, который, по существу, требовал отторжения бывшей Судетской области от Чехословакии! — вскричал Вальтер Урбанек, подняв брови.

— Замечание камрада Урбанека ни в малейшей степени не опровергает моего утверждения,— быстро произнес Шарль, переводя Насье.— Одно из двух. Или — или. Или мы примем предложенный проект и даже ужесточим его, как требует Вальтер, но тогда нашу резолюцию придется подшить к делу. Или будем сообща терпеливо искать...

— Камрад Насье, сформулируй свое предложение,— сказал Гайер.

— Я предлагаю выразиться так...— перевел Шарль слова Насье и выжидающе уставился на него.— Это факт, заявляет французский делегат, а не я,— добавил Шарль от себя,— это факт, что, исходя из высказываний определенных влиятельных лиц в Федеративной Республике Германии, в этой стране популяризируются лишь те теории и положения, которые, помимо оправдания виновников второй мировой войны, могут только способствовать росту нежелательных настроений... Такова формулировка камрада Насье, я ни при чем,— добавил от себя Шарль с несколько смущенной улыбкой.

Глава шестая

1

В сентябре 1958 года только что утвержденный в степени доктора математических наук Константин Николаевич Покатилов был приглашен в райвоенкомат по месту жительства. Начальник одного из отделов, немолодой подполковник с эмблемами танкиста, положил перед ним какую-то бумагу.

— Прочтите,— сказал он.

Покатилов увидел, как, должно быть, непроизвольно дернулись мускулы на правой половине лица подполковника, в то время как

левая, в глянцево-бледных латках пересаженной кожи (вероятно, горел в танке), оставалась неподвижной.

В верхнем углу желтого конторского листа кудрявым писарским почерком было начертано: «Районному военному комиссару г. Москвы старшина запаса Снегирев Василий Степанович»; затем левее и ниже печатными буквами вразбивку — «Р а п о р т». Далее шло: «Настоящим докладываю, что награжденный в прошлом году по Вашему представлению орденом Красной Звезды офицер запаса научной работник Покатилов Константин Николаевич является подозрительной личностью, нуждается в дополнительной проверке, в силу чего прошу принять меры к изъятию у него правительственной награды. Одновременно убедительно прошу ходатайствовать о награждении меня орденом «Отечественная война I ст.». Основание: я был действительно ранен и контужен, работая во фронтовой пекарне, однако, несмотря на мои неоднократные заявления, до сих пор не получил ни одной боевой награды, о чем имею необходимые документы. В части вышеупомянутого гражданина Покатилова К. Н. считаю своим долгом доложить нижеследующие известные мне факты...»

Сперва с чувством удивления и даже интереса, к которому лишь в незначительной степени примешивалась досада, а потом с возрастающим негодованием и возмущением прочитал Покатилов, что симпатичнейший Василий Степанович в бытность свою комендантом студенческого общежития, оказывается, взял на карандаш его единственный рассказ о Брукхаузене, приглядывался к нему, расспрашивал о нем однокурсников, чтобы спустя десять лет, забыв клятвенные уверения в дружбе, в верности памяти земляка Вани, написать этот гнусный «рапорт», клевету на него, Покатилова. И для чего? По-видимому, для того чтобы попытаться припугнуть работников военкомата, сделать их уступчивее в отношении его, Снегирева, честолюбивых домогательств.

— Вам не кажется, товарищ подполковник, что просьба Снегирева наградить его орденом доказывает, как бы поточнее выразиться... корыстный интерес заявителя? — сказал Покатилов сумрачно и отодвинул от себя желтую бумагу.

Подполковник кинул заявление Снегирева в ящик стола, энергично повернул ключ.

— И корыстный интерес и ограниченность ума, но это не имеет прямого касательства к делу, товарищ Покатилов. Мы в свое время представляли вас к правительственной награде, основываясь как на наших собственных материалах, так и на материалах ходатайства ваших товарищей, в первую очередь полковника Кукушкина. Вопрос сейчас заключается в том, достаточно ли ответственно мы, работники военкомата, подошли к вашему наградному делу. Нам придется давать объяснения. Поэтому просим помочь нам...

— Почему бы вам не обратиться за помощью в компетентные организации?

— Потому что, повторяю, речь идет о том, насколько обоснованно мы вас выдвинули. А не о том, честный вы советский человек или нет.

— Позвольте, товарищ подполковник. Снегирев вам прямо пишет, что гражданин Покатилов в годы войны работал в Германии на авиационном заводе Мессершмитта, занимал высокий пост контролера и что не своего человека фашисты не поставили бы на руководящую должность. Так, по-моему, сформулировано в заявлении? «Руководящую»?..

— Да, но ведь Снегирев как раз просит это проверить.

— Кроме того, заявитель обращает ваше внимание на то, что гражданин Покатилов, находясь на излечении в немецком лазарете, помогал профессору Решину и эсэсовскому врачу ставить медицинские опыты на живых людях, военнопленных разных наций, и что поэтому Решина и Покатилова надо просто-напросто судить как военных преступников...

— Ну, мы здесь тоже не дураки! — озлился вдруг подполковник и приложил большой палец к конвульсивно дернувшейся щеке. — Нам-то хорошо известно, что вы в этот период времени были узником фашистского лагеря смерти Брукхаузен.

— Между прочим, и среди узников встречались прохвосты. И даже изменники...

— Вы имеете в виду бывших власовцев?

— Под конец войны часть власовцев и легионеров, желая очиститься перед народом, повернула оружие против фашистов. Вы об этом, конечно, слышали. Кое-кому из них удалось перебежать к партизанам, и такие, говорят, неплохо дрались. А другие не успели или не сумели, были арестованы гестаповцами и отправлены в концлагерь. Они составляли ничтожную долю в общей массе узников — советских граждан, но все-таки попадались. Так что один только факт, что в то время я был узником фашистского лагеря смерти, в полном объеме не снимает обвинений. Вы ведь это тоже понимаете.

— Нам точно известно, что вы к власовцам не имели никакого отношения.

— Тогда я не очень понимаю, товарищ подполковник, чего вы хотите от меня, — сказал Покатилов мрачно. — Вам же известно и другое. Известно, что в сорок пятом году я прошел госпроверку, после чего служил в армии, восстановлен в комсомоле, известно, что два года назад мне была оказана высокая честь — я был принят в члены партии. Работа, которую я выполняю в университете, помимо преподавательской, имеет народнохозяйственное значение. Из всего этого легко сделать вывод, что советская власть до сих пор не сомневалась во мне. Если же теперь появились какие-то, с вашей точки зрения, новые, неизвестные факты, касающиеся моего пребывания в фашистской неволе и характеризующие меня не с лучшей стороны, то, мне кажется, проверкой этих фактов должны заняться только и исключительно компетентные органы.

— Мы могли бы поступить и так, — сказал подполковник. — Может быть, так и поступим, если не сумеем собственными силами доказать, что у нас в позапрошлом году имелись достаточно веские основания для представления вас к правительственной награде. Но почему вы не хотите помочь нам, мне непонятно. По-моему, у вас нет причин обижаться на райвоенкомат. Мы-то вас ни в чем не обвиняем. Больше того, не верим, я лично, например, не верю ни слову этой птицы... Если уж говорить совершенно откровенно, мы обязаны дать заключение по заявлению Снегирева, привести убедительные аргументы, что он оклеветал вас. Деликатность положения состоит в том, что формально на этой стадии разбирательства я не имел права знакомить вас с заявлением... лишнее доказательство, что я вам верю. Мы могли вызвать вас и предложить, чтобы вы в письменном виде подробно осветили все моменты вашего нахождения в концлагере Брукхаузен. Но зачем нам играть в прятки, когда контрольные органы не имеют к вам претензий. Я вам доверяю и поэтому объяснил, чем вызвана наша просьба. Напишите нам детально о своем пребывании в концлагере и сделайте упор на те пункты, на которых останавливается этот клеветник, то есть что вы никаким контролером не были и не имеете никакого отношения к

медицинским опытам, которые проводили фашисты над пленными.— Подполковник открыл пачку «Казбека» и дружески протянул через стол Покатилову.

— Спасибо. Я курю сигареты,— сухо сказал Покатилов.— Я был техническим контролером на одном из вспомогательных предприятий Мессершмитта в концлагере Брукхаузен, и я имел отношение к опытам, которые проводил эсэсовский врач над заключенными.

Что-то в мгновение ока изменилось в лице подполковника. Он неловко, как будто с усилием опустил глаза.

— Но вы, я надеюсь...

— В обоих случаях я действовал по заданию подпольной организации. Но не так-то просто тринадцать лет спустя восстановить в памяти детали и найти свидетелей. К тому же часть свидетелей — зарубежные антифашисты.

Подполковник удрученно помолчал, потом, поднявшись, сказал, глядя куда-то мимо Покатилова:

— Так я все же попрошу вас осветить свое нахождение в фашистском концлагере как можно подробнее. Желательно, чтобы вы указали фамилии и адреса советских и иностранных граждан, с которыми там поддерживали контакты. Всего хорошего...

2

Была еще одна трудность, о которой он не сказал подполковнику. К стыду Покатилова, у него в последние годы разладились отношения с ближайшими товарищами по Брукхаузену Иваном Михайловичем Кукушкиным и Виктором Переходько.

Правда, они продолжали обмениваться поздравительными открытками накануне праздников и знали друг о друге главное: живь, более или менее здоров. Но постепенно перестали писать друг другу письма, сперва обстоятельные, с рассказом о заботах, житейских планах, радостях и горестях, о которых обычно сообщают друг другу близкие люди, а после и такие, что пишутся накоротке, когда выпадает свободная минута; затем письма и вовсе уступили место открыткам — поздравляю, желаю, живу без перемен. С годами прекратились и те большей частью нечаянные наезды друзей к Покатилову в Москву, которые всякий раз превращались для них в радостный праздник. Иногда он себя спрашивал: что происходит? куда пропал Виктор? и неужели у Ивана Михайловича за целый год не было возможности выбраться в Москву? или я так замотался, что опять не ответил на письмо письмом, а ограничился открыткой (такой случай был в апреле 1954 года), и Иван Михайлович обиделся?..

Он по-прежнему не знал, что Любовь Петровна неоднократно просила Кукушкина и Переходько оставить ее зятя в покое.

Он склонен был винить себя в охлаждении отношений с товарищами, и он был отчасти повинен в том, как повинны были и друзья, внимавшие заклинаниям его тещи-врача. Играла роль и житейская суета и заботы быстротекущего времени...

А время было удивительным. Научно-техническая революция, которая взбудоражила весь мир десятилетие спустя, в середине пятидесятых годов рождалась в тиши кабинетов в форме фундаментальных открытий в редких разделах математики. То, что в сорок седьмом году, когда Покатилов был принят на механико-математический факультет, лишь брезжило и некоторым ученым-философам представлялось идеалистической чепухой, стало убедительной и несомненной реальностью. Получила права гражданства кибернетика.

Наиболее абстрактные с прежней точки зрения направления математической мысли — топология, функциональный анализ, современные алгебраические теории — оказались абсолютно необходимы и для расчета конструкции космических кораблей и для расшифровки неизвестных писем.

Мечтая при поступлении в университет о том, чтобы сделаться со временем хорошим учителем, Покатилов и в мыслях не держал, что на третьем курсе увлечется математической логикой и что, получив диплом, будет именоваться специалистом в области логического синтаксиса, изучающего формальное строение логических исчислений. Еще в меньшей мере мог предполагать, что его кандидатская и вслед за ней докторская диссертации помогут решить один из узловых вопросов при конструировании важного кибернетического устройства.

Свой успех в науке Покатилов объяснял стечением особо благоприятных обстоятельств и был, как и раньше, уверен, что его истинное призвание — педагогическая деятельность. Но и чтение лекций студентам — дело, которому он отдавался со всей страстью души, — в последние годы не могло затушевывать чувства горечи, являющегося к нему; когда вспоминал Ивана Михайловича или Виктора. Теперь бывало, что и его письма оставались без ответа, и он ловил себя на том, что порой не столько тревожится, сколько досадует. Правда, переехав на новую квартиру в двенадцатизатяжный дом на Ломоносовском проспекте, он в сумахоте с месяц не сообщал друзьям нового адреса. А затем семью постигло тяжкое испытание: в старой комнате на Зубовской скоропостижно скончалась Любовь Петровна.

Вера, безмерно привязанная к матери, высохла от горя. Она называла себя эгоисткой, неблагодарной дочерью и однажды призналась мужу, что если бы не было того рокового июньского вечера, то она вряд ли вышла бы за него. Ведь мама — дело прошлое — была против их брака и смирилась только потому, что тем вечером произошло непоправимое. По словам Веры, Любовь Петровна больше всего боялась, что зятю из-за его сложной биографии станут совать палки в колеса и что поэтому у дочери будет трудная жизнь. Но она, мол, искренне тревожилась и за его здоровье. Словом, она, по убеждению Веры, была горячая, самоотверженная мать. Это убеждение, вероятно, и помешало Вере сказать мужу, что Любовь Петровна сделала все от нее зависящее, чтобы испортить его отношения с товарищами по войне.

3

В доме на Ломоносовском Покатиловы занимали двухкомнатную квартиру. Окна обеих комнат выходили во двор, где беспрерывно шли какие-то земляные работы. Целые дни с утра до вечера стучали отбойные молотки и посреди двора вырастали бровки черно-рыжей земли. Затем земля исчезала и появлялись оранжевые машины, которые разглаживали огромными барабанами-катками мерцавшую на солнце и отдававшую нефтью свежую полосу асфальта. И не успевала затвердеть эта полоса, похожая на черную бархатную заплату; как вновь показывались рабочие в брезентовых куртках, с отбойными молотками, снова металлический треск и грохот компрессорной машины, подававшей сжатый воздух, снова вырастали бровки земли, и опять через некоторое время начинали бегать взад-вперед оранжевые машины, разглаживая новую свежую полосу асфальта.

Как-то не выдержав шума, длившегося с короткими перерывами сутки, Покатилов пошел в жэк и спросил начальника конторы, давнишнего своего знакомого Василия Степановича Снегирева, почему, ремонтируя, например, трубу теплоэлектроцентрали, нельзя заодно проверить и, если необходимо, починить расположенную рядом водопроводную трубу или, скажем, прокладку телефонного кабеля. Василий Степанович, всегда почитавший себя в известном смысле начальником своих жильцов, слегка обиделся на кандидата наук Покатилова за этот вопрос и разъяснил, что каждое ведомство, будь то связисты, водопроводчики, электрики или газовики, производит профилактические осмотры и ремонт соответствующих объектов согласно своему графику, к которому жэк не причастен. Тогда Покатилов прямо пожаловался, что из-за непрекращающегося грохота и треска под окнами невозможно ни работать, ни отдыхать; он уж не говорит о том, что пускаются на ветер государственные средства. Снегирев, копя обиду в душе, возразил, что государственные средства — это, дескать, забота самих ведомств, поскольку у них своя смета и свои ревизоры, а вообще — можете, мол, написать, Константин Николаевич, в Моссовет, ваше полное право.

Василий Степанович тем более был задет этой, по его мнению, несправедливой претензией, короче — придижкой, что его бывший студент словно бы выговаривал ему, руководителю конторы, в присутствии подчиненной, молодой, недавно разведенной бухгалтерши. Покатилов, которому через несколько дней предстояла защита докторской диссертации, ушел, в сердцах хлопнув дверью, а Василий Степанович, усмехаясь и глядя на бухгалтершу печальными глазами, сказал, что всю жизнь делает людям добро, но благодарности не видит: забывают люди хорошее, забывают, как, случалось, кормил и поил их комендант студенческого общежития Василий Степанович...

Вернувшись из военкомата домой, Покатилов увидел в окно черную квадратную вывеску жэка и вспомнил о том инциденте со Снегиревым. Похоже, что Снегирев своим заявлением в военкомат не только вымогал награду, но и мстил ему, Покатилову, за неприятный разговор в конторе.

Он позвонил в поликлинику, где работала жена. Ему ответили, что Вера Всеволодовна на приеме, освободится через час. Он налил себе из термоса кофе, закурил, попытался собраться с мыслями. К сожалению, математическая логика имела весьма отдаленное отношение к логике житейской. Житейское, как он не раз убеждался, сложнее абстрактного. И все-таки ему надо безотлагательно вникнуть в ситуацию и наметить правильную последовательность действий.

«Прежде всего попробуем отбросить эмоции. Попробуем абстрагироваться. Человек А сказал человеку Б, что я, Константин Николаевич Покатилов, вел себя, мягко выражаясь, недостойно во время войны. Человек Б просит опровергнуть сказанное про меня человеком А, причем я пока не должен обращаться за помощью в специальные организации, и я согласился с этим, чтобы не нанести морального ущерба человеку Б. Опровергнуть сказанное человеком А в заданных условиях я могу только посредством свидетельских показаний, в первую очередь человека С и человека Д... Да, в этом все дело. Очень неловко просить помощи у Ивана Михайловича, после того как я даже не пригласил его на защиту докторской. А ведь то, что меня наградили боевым орденом, его забота. С Виктором проще: он сверстник, он скорее простит. А перед Иваном Михайловичем стыдно. Подумаешь, замотался, подумаешь, головные боли, у кого их нет, подумаешь!.. Стыдно, стыдно. Нет уж, лучше пусть подполковнику сделают **внуше-**

ние (а за что, собственно? Не за что, но это другой вопрос), так пусть уж лучше он немного пострадает, чем позориться перед Иваном Михайловичем. Нет, не гоже. Я забыл товарищей, я и должен за это расплачиваться. Я, а не тот подполковник. Пусть мне будет стыдно перед друзьями. Виноват перед ними — значит, виноват. Надо об этом честно сказать им... Вот тебе и без эмоций. Тем житейское и сложно, что оно все сплетено из эмоций».

В передней зазвонил телефон.

— Слушаю,— сказал Покатилов.

— Костя, ты звонил мне? — У жены был искусно поставленный голос врача, умеющего воздействовать словом.— Плохо себя чувствуешь?

— Получил из военкомата задание написать о прошлом.

— Кляуза?

— Нет, а в общем — да. Когда приедешь?

— Сейчас.

Он немедленно успокоился. В сущности, ему и не следовало так волноваться. Никто же не выражает сомнений, что он был узником Брукхаузена. А раз так, значит, исключается домысел, что он в это же время будто по своей воле «работал в Германии на заводе Мессершмитта, занимая высокий пост контролера», как написал Снегирев. Он сам, Покатилов, был не прав, когда сказал военкоматскому подполковнику, что это не доказательство. Это как раз доказательство. «Другое дело — и тут нужны подтверждения,— что я по заданию Ивана Михайловича использовал должность низового технического контролера, по сути бракера-приемщика, для организации выпуска деталей со скрытым браком. Ведь как мы решили портить носовую нервюру номер три со стальной накладкой?.. Все подробности этого отлично знает Виктор. Если бы еще можно было раздобыть свидетельство Анри Гардебуа или Джованни Готта! А Иван Михайлович как член интернационального комитета и военный руководитель подполья потом утвердил наше решение. Об этом, правда кратко, он упоминал в письме горвоенкому, своему бывшему сослуживцу. А тот факт, что я был арестован и подвергнут пыткам? Иван Михайлович и об этом написал, назвав мое поведение геройским. Геройское не геройское, а ведь никто из подпольщиков тогда не был арестован, никто не пострадал: ни Виктор, ни Гардебуа, ни Готт... Это разве не доказательство?»

Он вздохнул и лег ничком на кушетку.

«Что же, в крайнем случае напишу во Францию, в Париж. Попрошу французскую организацию бывших узников разыскать Анри Гардебуа и передать ему мое письмо. Лишь бы он был жив. Потом напишу в Рим и попрошу итальянцев поискать Джованни Готта... То же и с борьбой в лагерьном лазарете. Напишу в Чехословакию Зденеку Штыхлеру — его имя как заместителя министра здравоохранения иногда мелькает в газетах; напишу в Польшу Вислоцкому — тоже, кажется, вице-министр — и Богдану, если жив... А как фамилия Богдана? Не помню. Ну все равно, обращаюсь к Штыхлеру и Вислоцкому».

Вера Всеволодовна прошла вначале на кухню — он это слышал,— разгрузила хозяйственную сумку, спрятала в холодильник масло и молоко, затем долго, как это умеют делать только врачи, мыла теплой водой с мылом руки в ванной и лишь после этого появилась в комна-

те мужа. Вера Всеволодовна сохранила девичью статью, однако лицо с черточками морщин возле глаз и немного повядшими губами выдавало возраст. Ипполит Петрович, единственная ее родня, усиленно рекомендовал племяннице есть натощак сырую морковь и умываться на ночь снятым молоком. Подруги недвусмысленно намекали, что пора к косметологу. Один Покатилов не видел никаких перемен в наружности жены и, как прежде, считал ее красавицей. Она неизменно оказывала на него умиротворяющее, седативное, как она выражалась, действие.

Вера Всеволодовна присела к мужу на кушетку бочком — опять так, как это делают только врачи, — свежая, спокойная, и сказала: — Ну?

Он ей передал в лицах разговор с подполковником, пересказал дословно, в чем его обвинили и какова была реакция подполковника, когда он, Покатилов, сообщил, что был в Брукхаузене и санитаром и контролером. Не назвал жене только имени обвинителя. Она тотчас это заметила.

— Кто написал телегу, Костя?

— Разве так уж важно — кто?

— Зная кто — легче бороться. Если это твой солагерник — большего подонка нельзя представить.

— Почему?

— Да потому что он пытается сыграть на том, что работники военкомата не знают и не обязаны знать всех тонкостей вашего концлагерного существования. «Контролер заводов Мессершмитта» — ведь это звучит бог знает как грозно! Так и видится некто с моноклемом или в черном мундире со свастикой. Или утверждение, что помогал ставить медицинские опыты на живых людях... Да будь это правдой, тебя как военного преступника повесить мало!

— А если это писал человек, не имеющий никакого отношения к Брукхаузену?

— Все равно подлец, потому что в формулировках чувствуется предвзятость... Кто-нибудь из однокурсников, с которым ты откровенничал? Черная зависть?

— У нас на мехмате таких не было.

— На тебя написал Снегирев, бывший твой комендант. Ты делилась с ним воспоминаниями. А это такой тип!.. Я тебе не говорила, не хотела расстраивать. Он мне еще тогда предлагал стать его любовницей, называл себя вторым Распутиным...

Как ни удручен был Покатилов — рассмеялся.

— Снегирев — Распутин. Это, конечно, здорово... Но что посоветуешь, Вера?

— А что сам решил?

Он сказал, что, с его точки зрения, лучше бы всего обратиться к товарищам по Брукхаузену из Франции и Италии, попросить их написать воспоминания, как они вредили врагу в лагерных мастерских Мессершмитта и кто был главным организатором этого вредительства. Польские и чешские товарищи могли бы рассказать, как мешал опытам эсэсовского врача изувера Трюбера политзаключенный профессор Решин, член подпольной организации лазарета, и как он погиб, защищая больных. Что до него, Покатилова, то он помогал Решину чем мог, пока не перевели работать в мертвецкую. Кроме чехов и поляков, об этом знает старый немецкий коммунист Шлегель.

Вера Всеволодовна, подумав, ласково сказала:

— Надо было тебе, Костя, послушаться Ипполита Петровича и написать обо всем этом еще десять лет назад. Теперь он мог бы продемонстрировать твои записки как документ... Но чего нет, того нет.

Ты напишешь очень спокойно подробные воспоминания о своей работе в концлагерных мастерских и в концлагерном лазарете и назовешь свидетелей, советских граждан.

— Но многих уже нет в живых. О других вообще не знаю ничего.

— Твое дело — объективно рассказать о прошлом и назвать людей, Кукушкина и Переходько, конечно, первыми. На заграничных антифашистов я бы пока не ссыалась.

— А это почему?

— Откуда ты знаешь, чем они занимались после войны и кто они теперь?

— Вера, честные, мужественные люди, какими они были в войну в концлагере, не могут стать бесчестными в мирное время.

— Ты сам не раз говорил, что тогда люди были самоотверженнее...

— Нет, нет, Вера, тут ты ошибаешься. — Покатилов замахал руками и сел, спустив ноги с кушетки.

— Хорошо, Котя. Они остались благородными и мужественными — так, по крайней мере, должно быть. Но тем более не следует обращаться к ним за помощью. Во-первых, они могут подумать совсем неладное... что тебя кто-то преследует, а во-вторых, и необходимости особой нет в зарубежных свидетельствах. Достаточно, я убеждена, назвать наших, своих товарищей. Ведь ты, проходя госпроверку, говорил обо всем этом?

— Понимаешь, военкомату нужно иметь свою информацию. Работники райвоенкомата должны доказать, что представляли меня не с бухты-барахты.

— Напиши обстоятельно, и все будет в порядке... Но до чего же грязный тип этот Снегирев!

Вера Всеволодовна энергично поднялась и отправилась на кухню готовить ужин, а Покатилов зажег настольную лампу с зеленым абажуром.

Он писал до ужина, и после ужина, и потом до утра не сомкнул глаз, несмотря на сильное снотворное, которое дала на ночь жена.

5

Ночью он опять думал о том, как нехорошо обошелся с Иваном Михайловичем, не пригласив его на свое торжество — защиту докторской диссертации, как вообще нехорошо, некрасиво вел себя все последние годы, став ученым, хотя именно в эти годы товарищи хлопотали, чтобы он был отмечен боевой наградой, и как особенно стыдно, что вспомнил о друзьях лишь тогда, когда пришла беда. В сущности, он забыл прошлое, отступился от самого высокого, и клевета Снегирева невольно дала ему это ощутить. Нет, за себя лично он мало беспокоится, все-таки всю войну он был на виду у своих и на Псковщине и в Брукхаузене. Но сумеет ли он теперь постоять за их общую правду, он, отступник?.. Вот отчего мутит душу и ломит в висках и затылке.

Так он размышлял, ворочаясь с боку на бок ночь напролет, а утром в половине восьмого — было воскресенье — раздался длинный прерывистый телефонный звонок.

— Это Иван Михайлович, — сказал он жене.

Действительно звонил Иван Михайлович Кукушкин. Звучащий издали, из механических глубин дальней проводной связи, голос его тем не менее был чистым, приветливым и чуточку шутивым, как всегда, когда они разговаривали наедине.

— Не удивляешься моему звонку? — спросил он, поздоровавшись и посетовав на стариковскую бессонницу, которая не щадит даже в выходные дни.

— Удивляюсь. Только что думал о тебе, и вот...

— Телепатия. Как здоровье?

— Хорошо. А у тебя?

— Тоже хорошо... Знаешь, что предлагаю? Возьми на недельку отпуск за свой счет и приезжай ко мне на поздние сорта винограда. Я тебя вмиг поправлю...

— Не отпустят.

— Сообрази. Не розумишь? Пусть жена-врач выпишет бюллетень. Передай ей трубочку.

— Погоди, Иван Михайлович.

— Приказываю.

И хотя «приказываю» было, конечно же, шутливым, Покатилов немедленно передал трубку Вере Всеволодовне, которая стояла рядом в накинутом на плечи халатике.

Поразительные все же отношения были у них, у бывших хефтлингов! Минуло столько лет, а по главному счету отношения не изменились. Как был полковник Кукушкин с середины 1944 года по апрель 1945 года для девятнадцатилетнего Покатилова командиром, так по внутренней сути им и остался...

Вера Всеволодовна отчасти по женской своей природе, отчасти оттого, что в глубине души чувствовала себя виноватой перед товарищами мужа, разговаривала с Кукушкиным ненатуральным, искусственно оживленным тоном, смеялась, кокетничала и звала его в Москву в гости. Он, очевидно, в свою очередь старался быть любезным, шутил и звал ее вместе с «богоданным супругом» к себе на Херсонщину, на берег моря. Телефонистка дважды прерывала их, напоминая о времени, Кукушкин дважды продлял разговор, но вот, попрощавшись, Вера Всеволодовна отдала трубку мужу.

— Слушай, Костя, — сказал Кукушкин, — мне кажется, у тебя что-то неблагополучно. Только говори правду.

Покатилов не ответил.

— Алё!

— Один сукин сын настроил клязу в военкомат. В связи с моим наградным делом. Я вчера писал объяснение.

— Я это чувствовал. Так что — приехать?

— Ради одного этого дела не надо. Пока не вижу необходимости. А вообще можешь?

— Зовешь?

— Хочу видеть.

— Вот рассчитается совхоз с государством — приеду. Недели две дело терпит?

— Думаю, да. А главное — просто хочу видеть.

— На душе у тебя должно быть обязательно спокойно.

— Есть.

— Что Виктор? Молчит?

— Была поздравительная телеграмма. Тебе тоже редко пишет?

— Не часто. Реже, чем хотелось бы. Значит, Костя, буду у тебя не позже чем через две недели.

Целый день он был под впечатлением этого звонка. Воскресные дни Покатилов проводил по обыкновению дома, читал «Иностранную литературу» или вырезал из березовых чурбачков шахматные фигуры. И сегодня — было последнее воскресенье сентября — он дважды принимался за «Триумфальную арку» Эриха Мариа Ремарка (его раздражало, что переводчик нерусское имя Maria перевел как русское Ма-

рия; не пишем же мы, думал он, И в а н Вольфганг Гёте), проглатывал по полсотни страниц, после чего отправлялся в ванную и помогал Вере Всеволодовне, затеявшей стирку, выжимать белье; снова уходил в свою комнату, усаживался на раскладной стульчик к окну и начинал править косоугольный, с кожаной рукояткой нож, которым резал по дереву, нюхал золотистые, пахнувшие июньским лугом березовые колодочки и думал о том, что для них, брукхаузенцев, не забывать прошлое — значит прежде всего быть верными дружбе, родившейся там. «Чем иным объяснить,— размышлял он,— душевный подъем у подпольщиков, готовность пожертвовать собой во имя спасения товарища, как не обострившимся до предела чувством любви к людям, чувством, которое соединяло в себе ощущение причастности к общей борьбе против фашизма, и такую естественную потребность протянуть руку погибающему, и чистую горячую радость, когда удавалось спасти человека от смерти... Ивану Михайловичу я по гроб буду благодарен, что там, в Брукхаузене, на виду у эсэсовских постов он вернул мне гордое чувство принадлежности к справедливому миру — назвал меня «товарищ Покатиллов», с этой минуты я вновь стал членом коллектива, вновь почувствовал себя солдатом своей родины, и я никогда не должен забывать, как остро пронзило меня в тот момент ощущение счастья, хотя и чадил, распространяя окрест удушливый запах смерти, крематорий — зловещая каменная коробка, где мне еще предстояло пережить т о ».

Глава седьмая

1

В конце обеда, проходившего необычайно шумно и весело, Франц Яначек объявил, что в соответствии с культур-программой сессии делегаты приглашены в варьете «Ромашер» на праздничное представление «Звезды со всего света» — интернациональный хоровод муз, в котором принимают участие артисты десяти стран.

— Надо иметь в виду, что мы не только общественные деятели, полномочные представители объединений и ассоциаций, но и просто люди,— многозначительно добавил Яначек под общие одобрительные возгласы.

Покатиллов условился с Галей, что будет ждать ее в автобусе и что дорогой она расскажет ему о работе молодежной комиссии, возглавляемой Мари ван Стейн. Он был несколько подавлен тупиком, в который завела редакционную комиссию соглашательская позиция Насье, поэтому уклонился от дружеской болтовни за чашкой кофе, переоделся в своей комнате и тотчас сошел вниз, прихватив технический журнал на немецком языке. К его некоторому удивлению, в автобусе на предпоследнем диванчике слева, обычном его месте, сидела Мари.

— Ты не против, Констант?— Она указала ему на кресло подле себя. Пахло хорошими духами — речной кувшинкой.

Он молча поклонился и сел рядом с ней.

— Дай мне, пожалуйста, московскую сигарету.

Она уцепила длинными, перламутрово поблескивающими ногтями сигарету из его коробки. Он зажег спичку. Она прикурила и задула огонь, хотя заметила, что он тоже собирается прикурить.

— Я суеверна.

— Ты хорошо говоришь по-немецки.

— Я преподаю немецкий в университете. Мы в известной степени

коллеги, правда я филолог.— Она кинула на него взгляд исподлобья.— Я хотела бы о многом с тобой говорить, очень о многом. Мне доводилось беседовать с советскими музыкантами и учеными в Брюсселе, но, сам понимаешь, когда с человеком знакома несколько часов, это один разговор, и совсем другое, когда так, как с тобой...

— Тебя в Брукхаузен привезли в январе сорок пятого? С транспортом из Аушвица?

— Из Равенсбрюка. Нас было восемьдесят француженок и бельгиек. Тогда мне было восемнадцать.

— Вас первое время держали на карантине, на шестнадцатом блоке. Так ведь? Мы, русские, каждый вечер ходили смотреть на вас. Мне-то было уже двадцать.

Кажется, она оценила его доверительность.

— Слушай, я знаю, что у вас в политической комиссии возникли трудности. Если хочешь, я поговорю с Шарлем.

— А что может Шарль?

— О, он может многое! Наша ассоциация действует в тесном контакте с французами, кое в чем французы зависят от нас.

— Видишь ли, Мари, как бывший узник я, конечно, очень хочу, чтобы наш Международный комитет был активнее в общей борьбе... Но как представитель советской ветеранской организации я не имею соответствующих полномочий, я только наблюдатель и не собираюсь никак влиять на позицию товарищей. Верно, от их решения, очевидно, будет зависеть...

— Участие или неучастие русских в деятельности Международного комитета?

— В общем, да. Очевидно, да. Но не одно это... Я все время пытаюсь понять, что за метаморфоза произошла со взглядами и поведением старых друзей.

Мари постучала твердым перламутровым ногтем по сигарете, стряхивая пепел.

— Вы, русские, меряете других, как у вас говорят, на свой аршин. Нация, давшая миру Рублева и Достоевского, иначе воспринимает мир, чем нации Рабле и Костера. Французы и бельгийцы рационалисты, вы идеалисты.

— У нас пользуются другой шкалой оценок.

— Мне это известно. Грубо говоря, на поведение делегатов западных стран влияет то, что наши страны связаны Североатлантическим пактом. Федеративная Республика Германии — наш союзник по этому пакту. Понимаешь?

— Меньше прежнего понимаю. Разве наши товарищи-брукхаузенцы представляют здесь официальные инстанции?

— Разумеется, нет. Но...

В эту минуту в автобус ввалился дородный Франц Яначек, впрыгнул Шарль, за ним поднялись Галя, служащая Цецилия, Дамбахер, Богдан и все остальные.

— О-о! — возопил, сияя всем своим белым женственным лицом, Яначек.— Шарль, Генрих, внимание! Мадемуазель Виноградова, также внимание! Если мне не изменяют глаза, я вижу мадам ван Стейн вместе с господином профессором Покатиловым. Они были здесь одни. Они взволнованы и смущены...

— Заткнись, Яначек,— сказала Мари (она выразилась по-лагерному: «Halte Maul...»).— Вечно встречаешь не в свои дела. Папа Шарль позволил мне посидеть рядом с Константином.

— Ты в этом уверена? — робко спросил Шарль.

Яначек загоготал и, подпрыгивая ногами с толстыми ляжками,

прошел в конец салона, ущипнул Мари за плечо и очень довольный возвратился на передний диванчик.

— Я тоже хочу сидеть с красивой женщиной!— закричал, мешая немецкие и французские слова, Насье, влезший в автобус последним.— Прошу вас, мадемуазель, же ву при...— И ринулся к Гале, которая растерянно топталась в проходе, но был остановлен мускулистой рукой ван Стейна.

— Пардон, камрад Насье. Я беру мадемуазель в качестве заложницы, пока этот хищный скиф, этот неотесанный славянин не вернет мне в целостности и невредимости мою крошку Мари.— Шарль взял Галю за руку и увлек за собой на задний диванчик.

— Как в целостности?— хохотал Яначек.— Степные кочевники всегда были охочи до латинянок...

— Франц,— вдруг нежно пропела Мари,— пожалуйста не делай столько шума, мы с мсье профессором ведем идеологический диспут.

— Это правда, камрад Покатиллов?

— Я думал, представители нейтральных государств менее мнительны,— сказал Покатиллов.

— И более щедры на деньги,— мрачно вставил Сандерс, видимо вновь мучимый «жаждой».

Автобус неслышно тронулся и покатило по брусчатой, отполированной дождем мостовой. Мари задумчиво улыбалась.

— Франц — отличный парень, но повторяется. Кстати говоря, у него как у представителя нейтральной страны еще более трудное положение, чем у нас.

— Почему?

— Государственный служащий,— уклончиво ответила она.

— Я допускаю, что кое-кому из местных деятелей безразлична позиция нашего комитета в отношении политики соседней страны, им не хотелось бы раздражать соседа...

— В особенности учитывая размер инвестиций некоторых частных фирм в здешнюю экономику.

— Вот вам и ваша хваленая свобода! — не сдержался Покатиллов.

— Свободы у нас нет,— спокойно согласилась Мари.— Точнее, она существует в известных пределах. Однако не будем упрощать наших брукхаузенских проблем. Все мы обязаны помнить прошлое, и мы помним прошлое. Ты думаешь, почему Сандерс пьет? Он не может себе простить, что не пошел вместе с братом на часового.

— Когда?

— В апреле сорок третьего. Тебя когда привезли в лагерь?

— В июле.

— На третий день по прибытии Сандерса в Брукхаузен голландских заложников и английских парашютистов погнало в штайнбрух таскать камни, чтобы за этой работой убить их. Старший брат Ханса, военнопленный офицер,— они с Хансом одновременно попали в лагерь — после двухчасовой гонки, когда половина группы была истреблена, сбросил полосатую шапку, куртку и объявил, что пойдет на часового. Эсэсовцы, как помнишь, любили этот способ самоубийства заключенных. Он предложил товарищам и брату последовать его примеру. Несколько англичан и голландцев обнялись и пошли на проволоку под автоматные очереди часового...

— Я знаю несколько подобных историй,— сказал Покатиллов.— На месте Ханса я был бы теперь особенно непримирим.

— Он тоже государственный служащий и у него семья,— ответила Мари.

2

Точно в 15.30 желтый бархатный занавес, подсвеченный так, что он производил впечатление колышущейся золотистой листвы, раздвинулся. На чистенькой сцене с блестящим полом сидели музыканты в коричневых бархатных куртках, белых брюках, белых туфлях и играли что-то мягкое, убаюкивающее. Мягко поблескивало лакированное тело контрабаса, мягко светилась лысина музыканта в очках, который стоял вполоборота к залу и играл на трубе и, очевидно, управлял оркестром, матово желтел кожаный круг барабана, как будто вздыхавший, когда по нему били полированными колотушками.

И вдруг на авансцене возник огромный, пышущий здоровьем человек в элегантном светлом костюме, в очках, в фиолетовом галстуке-бабочке. Он улыбался столь широко, что были видны, казалось, все его тридцать два зуба. Оркестранты, не прекращая играть, встали, ведущий музыкант, с лысиной и в очках, повернулся в его сторону, прижимая к губам латунный цветок трубы. Огромный человек, смеясь чему-то ему одному известному, поклонился, повел снизу вверх толстой рукой и указал на лысого музыканта в очках, сказал что-то и снова засмеялся. В зале захлопали, и теперь публике поклонился ведущий музыкант.

— Это шеф оркестра Рольф Мерц. Его представил директор варьете Бернард Форманек, он пожелал нам приятного вечера,— сказал Богдан на ухо склонившемуся к нему Покатилову.

Покатилов кивнул и стал смотреть в лицо пышущего здоровьем директора, который, по-видимому, выполнял и обязанности конферансье.

— Англия. Боб Брамсон,— объявил тот.— Несмотря на юность, Боб в своем деле один из великих. Он демонстрирует традиционное зрелое жонглерское искусство, обогащенное новыми, необыкновенно сложными нюансами.

Сказав это быстро и весело, огромный Форманек удалился за кулисы в одну сторону, оркестр уплыл в другую. На сцену выбежал молодой человек, смахивающий на конторского служащего, в застегнутом на все пуговицы пиджаке, в темном галстуке и стал ловко подбрасывать в воздух и ловить разноцветные кольца. Эффект усилился, когда на сцену направили яркий сноп белого света, отчего на полотне задника выросла тень жонглера и число летающих в воздухе колец словно удвоилось.

— Шён, шён! — восхищенно повторял Яначек, сидевший по левую руку от Покатилова. Яначек был старый венец, обожавший, по словам Богдана, эстраду и каждый год угощавший зарубежных гостей брукхаузенцев подобными развлечениями.— На, Покатилов?

— Гут,— сказал Покатилов, хотя никаких «новых, необыкновенно сложных нюансов» в работе английского жонглера не заметил. Откровенно, он вообще недолюбливал это искусство, находил его монотонным, несмотря на внешнюю пестроту; кроме того, всегда побаивался неудачи: а вдруг уронит, вдруг не получится. Это действовало на нервы.

Боб исподволь ускорял темп движения и закончил тем, что, вращая по кольцу каждой ногой и держа в воздухе одновременно не менее трех колец, начал еще подкидывать головой полосатый мячик.

— Чудесно! — улыбался Яначек и опять посмотрел на Покатилова — приглашал разделить свое восхищение.

Под общие рукоплескания перед зрителями вновь возник шустрый здоровяк директор Бернард Форманек. Он снова интригующе по-

смеялся и говорил что-то недоступное для Покатилова, который не успевал схватывать смысл его слишком быстрой немецкой речи.

— О, он так шутит, ничего интересного,— сказал Богдан, когда Покатилов очередной раз наклонил к нему голову.

— На, Покатилов? — радостно вопрошал Яначек.

Чеканя слова, Форманек объявил следующий номер:

— Парагвай. Дино Гарсиа со своими прославленными парагвайцами. Этот всемирно известный экзотический квартет представляет собой единственное в своем роде зрелище, полное движения и песен в южноамериканском ритме.

«До чего ж похож на матерую щуку»,— мимолетно отметил Покатилов, увидев, как у директора варьете хитро поблескивают за стеклами очков глаза.

Парагвайцы, в национальных костюмах, с красочными шарфами, перекинутыми через плечо, все с черными усами, невысокие, востроглазые, живо и очень громко пели песни, причем трое держали в руках гитары, а четвертый подыгрывал себе на каком-то струнном инструменте, напоминающем арфу.

Богдан от души хлопал им после каждой песни. Яначек отлично поставленным голосом выкрикивал «браво» и поглядывал на Покатилова. Покатилов же начинал тяготиться, что должен хотя бы из вежливости выражать какие-то знаки одобрения, невзирая на то, что и квартет парагвайцев он нашел весьма посредственным. У него даже мелькнула мысль, а не разыгрывает ли его Яначек, когда жирный Форманек, блестя зубами и похохатывая, объявил, что сцена отдается в распоряжение Дании: дескать, выступают удивительно многосторонние эквилибристы, ироничные, остроумные, которые, мол, покажут тяжелейшие акробатические трюки, сервированные почти без усилий.

Это «сервирт» доканало Покатилова. Ему остро захотелось курить, захотелось выйти из нарядного, как бомбоньерка, зальца в прохладное фойе и отдышаться. Как-то очень не вязалось это представление с общей серьезной настроенностью, которая, по убеждению Покатилова, владела большинством делегатов. Сдерживаясь, он краем глаза посмотрел на Богдана, сидевшего по правую руку от него. Худенькое, побитое ospой лицо Богдана излучало радость. Опять загадка... Акробаты весьма обыкновенно прыгали, кувыркались, делали из разных положений стойки на руках, и в зале хлопали им. Хлопал Богдан, хлопал Сандерс, хлопали Яначек, Гардебуа... Как можно радоваться столь примитивному, столь сомнительному действию? А может, он, Покатилов, просто привередничает, избалованный Московским цирком?..

На сцене выросли бамбуковые деревья, покачивались лианы в скрещенных голубых и фиолетовых лучах света. Форманек, захлебываясь от счастливого возбуждения, лопотал о том, что представляющие древнее импрессионистское искусство Индии Муртиль и Кристиано Кирдаль изобразят борьбу со змеей, громадным удавом,— аттракцион, который воплощает весь мистицизм Востока.

Сложив руки на груди, Покатилов стал наблюдать, как молодая женщина в розовом трико повторяет движения извивающегося удава гигантских размеров (бутафорского, конечно). Смысл представления был, по-видимому, в демонстрации уникальной гибкости тела артистки. Что до мистицизма, то он, надо полагать, должен был прочитываться в том, что удав становился добрее, когда женщина покорно повторяла его движения: то есть не сопротивляйся чудовищу, а подлаживайся под него. Странная, однако, эта борьба со змеей!

— На, Покатилов?

— Непротивление злу насилием, камрад Яначек?

— Философия Востока,— пожал плечами Яначек.

После выступления чехословацкой певицы Хелены Ирасековой, которую жизнерадостный Форманек представил как «обворожительную пражскую красавицу» («Prags bezaubernde Schönheit») и которая в самом деле прекрасно пела чешские народные песни, был объявлен перерыв. Все устремились в буфет выпить лимонада или кофе. Ханс Сандерс где-то раздобыл коктейли и расхаживал вокруг мраморного столика, потирая руки и кивком подзывая своих.

— Константин, ты должен попробовать эту детскую смесь.— Сандерс протянул Покатилову узкий стакан с плавающей сверху вишенкой и кусочками льда на дне.

Покатилов сдержанно усмехнулся.

— Ты угощаешь избирательно, Ханс?

— Яначека, во всяком случае, не собираюсь угощать.— Сандерс, отодвинув соломинку, отхлебывал напиток прямо через край.— Он каждый раз преподносит нам такую скукоту.

— Ты считаешь, что представление просто скучно?

— Пресно, как кипяченая вода. Бр! Мари, Шарль, присоединяйтесь к нам.

— Мы нацелились на кофе с пирожным,— ответил Шарль, крепко держа жену под руку.

— Я вижу, вы тоже не в восторге,— сказал им Сандерс и поймал за полу пиджака проходившего мимо Урбанека.— Вальтер, возьми стакан. За мой счет.

— Я предпочел бы взять его за счет Яначека,— проворчал Урбанек.

— Но Ирасекова все же хороша, будем справедливы,— сказал Покатилов.

— Да, она хорошо пела,— сказал Урбанек.— И все-таки Яначек свинья. Мог бы раз в год раскошелиться и на оперу. Ведь мы в Вене...

— Не думай, что Франц так прост. Ему хочется настроить всех на беззаботный лад,— заметил Сандерс.

— Зачем?— спросил Покатилов.

Сандерс замялся.

— У каждого своя философия.

Покатилов поискал глазами Галю и, не найдя ее в фойе, вернулся в зал. Галя сидела рядом с Гардебуа. Они сосредоточенно беседовали о чем-то. Покатилов молча проследовал на свое место и с нетерпением стал ждать, когда завершится наконец эта «культур-программа». При всем желании быть вежливым и самокритичным он не мог заставить себя делать вид, что получает большое удовольствие.

Зрители заняли свои кресла, бархатный занавес, переливаясь в струящемся свете, напоминал песчаное дно в неглубоком морском заливе, чуть слышно запела скрипка.

И вдруг свет погас. И вдруг в черноте вспыхнул голубой луч и на авансцене у самой рампы появилась девушка в длинной белой одежде. Музыка становилась громче, голубой свет расширялся, на ковровой дорожке в центральном проходе метрах в двадцати от сцены выросла фигура человека в цилиндре, во фраке, со старинным сверкающим ружьем.

— Внимание, Покатилов!— горячо прошептал, вцепившись в его колено, Яначек.

Голубой свет делался прозрачнее, девушка в такт музыке покачивала бедрами, свет теплел, лицо ее оживало. Раздался выстрел — с

плеч ее соскользнуло и легло у ног белое платье. Второй выстрел — девушка пританцовывала уже в купальном костюме. Еще выстрел — мелькнула скульптурная нагота, и в то же мгновение свет погас.

— На, Покатилов?

— Эффектно.— Он пригладил ладонью вихорок на затылке, а зал в это время гремел от аплодисментов.

— Гут?

— Пожалеешь, что тебе уже не двадцать...

— Сорок тоже не много, Покатилов. Ты здесь самый молодой среди нас, учти это. И по возможности не обижай дедушку Шарля Кель?

— Ну, это скорее по твоей специальности, камрад Яначек.— Покатилов, отвернувшись, посмотрел через плечо в зал. Все бывшие узники-мужчины, Мари, Галя и Цецилия улыбались и хлопали в ладоши.— Что оригинально, то оригинально, Франц,— помолчав, примирительно сказал он.— За всю историю цивилизации еще никто не додумывался раздевать женщину выстрелами из ружья.

— Стриптиз дают сверх программы только в варьете «Ромашер»,— с гордостью произнес Яначек.— Причем только в честь выдающихся гостей, прошу обратить на это особое внимание.

— Так, так,— взволнованно поддакивал Богдан.— Маш рация, Франек,— неожиданно сказал он по-польски, обращаясь к Яначеку.

— Но то певне же так,— ответил тот по-польски, но с чешской интонацией.

Отчего в памяти его вдруг всплыл тот поздний августовский вечер?.. На гулком перроне Киевского вокзала было сумеречно и пустынно, стеклянный свод гигантского перекрытия над головой казался опустившимся ночным небом, а Иван Михайлович, которого он впервые после своей женитьбы провожал на поезд «Москва — Одесса», не бывалым, тертым-перетертым полковником, военной косточкой, но маленьким, старым — пожалуй, единственный раз он представился ему таким. «Ты знаешь что,— говорил он, прохаживаясь с Покатиловым перед вагоном и напряженно шурясь,— ты знай, мужчине нужна только одна женщина. И лучше всего, когда эта женщина — жена... Ты теперь человек семейный, тебе это полезно знать. А бабники — что? Ненадежные люди». Он деланно рассмеялся и круто переменял тему. Слова запали в душу, потому что самому Ивану Михайловичу не повезло в личной жизни: жена не стала ждать его возвращения с войны...

Пышущий радостью директор и продюсер Бернард Форманек, посмеиваясь, цедил что-то потешное сквозь зубы, затем махнул рукой. На сцену вышла улыбающаяся пара — он и она, молодые, стройные, с аккордеонами, которые, подобно драгоценным камням, вспыхивали синими, белыми и оранжевыми огоньками.

— Франция. Сюзанна и Пьер Курсо. Эти юные, музыкально и драматически одаренные артисты порадуют вас своим веселым, остроумным искусством.

Они играли действительно превосходно, очаровательно улыбались друг другу и публике, притоптывали, раскланивались после каждой исполненной вещицы; их пальцы порхали по клавиатуре, порхали улыбки, блестели глаза — все как надо. Правда, ничего остроумного и в их игре Покатилов не обнаружил. У него появилось тревожное ощущение, что Форманек, эта толстая хитрая бестия, прятал за пазухой такое, что должно поразить зрителей не менее, чем стриптиз. Но почему это ощущение тревожное?

Из-за кулис выкатился оркестр во главе с лысым очкариком-трубачом. Было заметно, что музыканты очень стараются, очкарик от

усердия приплясывал; музыка в ритме марша звучала, во всяком случае, достаточно громко.

И вдруг опять все стихло. Оркестр, посаженный на вращающийся круг в полу, уплыл, Форманек, трясясь всем телом от смеха, произнес что-то невнятное, а затем выкрикнул:

— Чикассо!

И смотался за кулисы.

Перед зрителями появился мужчина средних лет, в сером костюме, с сигаретой в зубах, с аршинным карандашом в руках. Высокая, сильно накрашенная блондинка в черном купальнике, должно быть ассистентка, держала на уровне своей груди метровые листы ватмана, а мужчина стремительными движениями набрасывал углем на бумаге контуры то Эйфелевой башни, то пирамиды Хеопса, то Кёльнского собора, то статуи Свободы, то буддийской пагоды, то небоскреба Организации Объединенных Наций и над каждым рисунком выводил абрис голубя мира и слово «ja» — «да». На последнем листе Чикассо лихо и не очень точно изобразил контур кремлевской башни со звездой на острие шпиля и внизу жирными буквами начертил «nein» — «нет». В зале рассмеялись, раздались несколько хлопков, художник с ассистенткой исчез, гремел оркестр, а на сцене неслышно уже похотывал Форманек.

Покатилов встал и, не глядя ни на кого, выпел из зала.

4

На обратном пути он почти не отрывался от окна. Едва миновали рабочее предместье Вены с его старыми темно-серыми домами («Не тут ли сражались шуцбундовцы?»), как проглянуло солнце и мир словно ожил. Слева синим горбом проплыла гора Каленберг, увенчанная средневековым замком, сверкнули на повороте ажурные шпили Фортифирхи, а впереди в жиденьком золоте заката обозначилась уже волнистая линия холмов Дунайской долины.

Третий раз за свою жизнь проделывал Покатилов этот путь. В июле 1943 года в арестантском вагоне под конвоем эсэсовцев — первый раз. 16 апреля 1965 года в посольской «Волге», ощущая за спиной взволнованное дыхание переводчицы, — второй раз. И теперь, сутки с небольшим спустя, в туристском автобусе, окруженный товарищами по лагерю — иностранцами, — третий. Поистине неисповедимы пути господни!

Думал ли тогда, в Брукхаузене, кто-нибудь из них, сидящих в этом автобусе, что не только уцелеет до освобождения, но и проживет еще свыше двадцати лет? Конечно, никто не думал. Не мог подумать. Подумать об этом было равносильно тому, чтобы подписать себе смертный приговор с немедленным приведением его в исполнение. Ведь нельзя было ни на минуту терять четкого восприятия действительности: не успеешь вовремя снять шапку перед блокфюрером, проглядишь командофюрера, чуть замечтаешься — и считай пропал. В лучшем случае нещадно изобьют. Недаром девизом хефтлингов было «immer gucken» — «всегда смотреть в оба». Особенно требовалось «смотреть в оба», когда они решились на организованное тайное сопротивление. Сопротивление вернуло им чувство собственного достоинства и сознание причастности к общей борьбе. С этим сознанием легче было переносить тяготы концлагерного существования и легче драться, когда ровно двадцать лет назад они в порядке самозащиты вынуждены были вступить в последнюю отчаянную схватку с эсэсовцами. Но даже овладев цейтгаузами и вооружившись, они еще не ощущали себя спасенными. Каждый понимал в те критические часы: если не подоспеют на помощь советские войска — будет плохо, им, узникам,

своими силами не справиться с эсэсовским гарнизоном. И какое же ликование охватило лагерь, сколько было счастливых слез, когда перед железными двустворчатыми воротами остановился запыленный, горячий, с красной звездой на броне советский танк!..

Дорога петляла. Омытые закатным солнцем холмы сменялись в окне автобуса участками нежно-зеленой равнины, и в эти минуты недалеко от шоссе показывалось в белых меловых отметинах железнодорожное полотно. И опять мелькали разбросанные там и сям красные черепичные крыши крестьянских домов, пронеслись мимо сооруженные из стекла и бетона современные придорожные здания. На одном из поворотов взору открылась синеватая стена Альп, на другом повороте, в противоположной стороне — серая гладь Дуная. И снова лесистые склоны предгорий, и упругие виражи дороги, и грохот встречных грузовиков и рейсовых автобусов.

Он вспомнил, какое нетерпение охватило его вчера утром, когда «Волга» вылетела за черту Вены. Он чувствовал, что его лицо каменеет, что пальцы испрестанно ищут себе занятие: достают и прячут носовой платок, расстегивают и застегивают пиджак, смахивают с брюк соринки. Сидевший рядом посольский шофер, не поворачивая головы, спросил, узнает ли товарищ профессор места, и он сухо ответил, что не узнает.

Нет, он ничего не узнавал. Совершенно ничего. И не только потому, что в 1943 году его с товарищами везли по железной дороге и ночью (странно, отметил он вчера про себя, что это в меловых крапинах, чистенькое железнодорожное полотно было тем самым) и он лишь на рассвете тогда близко увидел эти места. Вероятно, здесь что-то изменилось в самой природе. Даже Дунай как будто стал другим — не голубым, а горы словно отодвинулись, и вся всхолмленная, в дождевой сетке долина не представлялась такой живописной, как прежде.

И все-таки было отчетливое, как физическая боль, ощущение, что он возвращается туда, где все знакомо, где все знают его и он знает всех, что еще минута, еще один виток дороги — и он увидит те камни и то небо. Когда же впереди над холодным простором реки зачернели фермы железнодорожного моста («Неужели тот самый?!»), он понял, что, несмотря на советы врачей и просьбы родственников, все это время, все двадцать лет, в нем жило затаенное, неосознанное и оттого не менее, а, пожалуй, наоборот, более сильное желание хоть раз еще повидать этот кусок многострадальной каменистой земли — Брукхаузен.

— Константин Николаевич..

Возле него стояла Галя. Она подала ему красочную открытку с видом Стефаносдома, знаменитого венского собора, построенного в XII веке.

— Что это?

— Вот, теперь все объясняются вам в любви..

— О чем вы?

Он прочитал на обороте открытки написанный по-немецки тонкими голубыми буквами текст, дословно перевел его на русский: «Дорогой Констант! Находясь на земле прекрасной Вены, мы пользуемся случаем, чтобы подтвердить Тебе наши сердечные, братские чувства, родившиеся в Брукхаузене, и наше уважение к Твоей великой стране». Первая подпись была Дамбахера черной паркеровской пастой, вторая, голубенькая, — Мари ван Стейн, затем шли подписи Шарля, Яначека, Гардебуа и остальных делегатов. Очень разные по начертанию, по цвету чернил, такие же разные, как сами люди.

— Спасибо, Галя.

Грузно поднялся с диванчика и приблизился к нему Анри Гардебуа.

— Алло, Констант. Сава?⁵

— Сава, — ответил Покатилов.

Гардебуа будто поплевал, посмотрел с грустью в окно и сказал по-немецки:

— Я переговорил с редактором нашего бюллетеня Насье. Мы напечатает твою информацию о брукхаузенцах — советских гражданах и поместим портрет полковника Ивана Кукушкина.

— Хорошо, Анри.

— Близкие друзья называют меня Кики.

— Хорошо, Кики.

5

За ужином настроение выравнилось. В конце концов, его концагерные товарищи не могут нести ответственности за то, что показали в варьете. Тем более что, как выяснилось, Яначек предварительно не ознакомился с новой программой Форманека, загипнотизированный ее названием «Звезды со всего света. Интернациональный хоровод муз». Казалось, что уж может лучше потрафить разным вкусам делегатов. Об этом Покатилову сказал Лео Гайер. Какую-то долю вины Яначек все же брал на себя и, очевидно, пытался загладить ее, ибо ничем иным нельзя было объяснить его внезапную щедрость. Ужинающим объявили, что дополнительно к обычным порциям пива, вина или лимонада — на выбор — к столу будет подано еще по четверти литра красного вина из собственных подвалов хозяина гастхауза. Вино целебно. Его можно пить всем, включая страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, каковых здесь большинство. Дополнительное вино дается за счет господина коммерц-советника камрада Франца Яначека.

— Камрад коммерц-советник сегодня развил бурную деятельность, — сказал Покатилов. — К чему бы это?

— Франц считает, что мы должны хорошо прожить остаток своих дней. И пусть Брукхаузен помогает нам в этом! — Богдан поднял наполненную рюмку.

— Слушай, замечал ли Вислоцкий, что ты ворует спирт? — спросил Покатилов.

— Человеке! Он едва не попал в штрафную из-за того спирта. Спасло, что аптекарь... помнишь эту рыжую скотину унтер-шарфюрера Грюна? Не помнишь?.. Грюн решил, что доктор Вислоцкий брал спирт для себя. Пить. Но, конечно, немножко помогало, что я захватил кое-какие приходные документы. Але бардзо⁶ дерзко мы путали расчеты этого, холера ясна, вурдалака Трюбера! — Богдан повернул конопатенькое, с зарумянившимися щеками лицо к Гале и, по своему обыкновению, перед тем как перейти на русскую речь, несколько секунд помолчал. — Офицер СС Трюбер, главный врач ревира, хотел доказать, что хефтлинги могут жить на лагерном порционе больше времени, если их держать под страхом смерти. Он придумал такой срок для жизни — семь месяцев. После семи месяцев люди должны были умирать. Но наша подпольная группа в лазарете доставала для этих людей, для этих хефтлингов, — они были заперты на шестом блоке — немного еды, и люди не умирали..

— Трюбера тоже повесили? — спросил Покатилов.

⁵ Можется? (Франц., жарг.)

⁶ Однако очень (польск.).

— Умер два года назад у себя дома в Кёльне. В сорок шестом американский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы. Але в сорок восьмом уже был на свободе. Германские товарищи требовали нового процесса, собрали много новых свидетельств против него. Товарищ Вислоцкий официально писал прокурору Кёльна. Но там в юстиции командуют прежние нацисты. Они не захотели... Ты, Костя, посылал в Кёльн свидетельство о Трюбере?

— В сорок восьмом я был еще студентом. Тогда до меня не доходили такие новости, как процесс над Трюбером.

— Я должен сказать, что один из трюберовских пациентов, итальянский священник, выпустил в пятьдесят пятом книгу о Брукхаузене. Он там сердечно пишет о профессоре Решине и его помощнике, молодом русском санитаре, вспоминает, как этот молодой русский иногда отдавал свою порцию еды больным, в том числе один раз и ему, падре Ганжеро. Правда, имени его он не запомнил. Ты, Костя, не имеешь той книги?

— Простите, как называется книга?— сказала Галя, до той поры не проронившая за столом ни слова.

— «Брукхаузен. Воспоминания депортированного». На итальянском языке. Товарищка розумеет по-итальянски?— Богдан с присущей большинству поляков галантностью повернулся к Гале и, задавая вопрос, чуть наклонил голову.

— К сожалению, нет,— ответила она,— но я нашла бы переводчика.

— Возможно, я достану для товарища профессора Покатилова один экземпляр этой книги в Варшаве и пришлю в Москву заказной бандеролью. И тогда товарищка, наверно, будет иметь возможность ознакомиться с той книгой.

— Уму непостижимо!— сказала Галя.— Когда ехали сегодня в Вену, Гардебуа всю дорогу рассказывал мне, как один русский комсомолец, рискуя головой, портил детали в лагерных мастерских. Сейчас выясняется, что тот же русский — несколько раньше, очевидно,— помогал спасать больных в лагерном лазарете...

— Но то все есть правда, и надо немножко выпить за это,— улыбаясь, сказал Богдан и наполнил рюмки терпким красным вином из «собственных подвалов» хозяина дома.

— Теперь понятно, почему мадам ван Стейн равнодушна к товарищу профессору.

— Полно вам, Галя,— сказал Покатилов.— Тут о любом можно писать книгу. Вот ваш сосед — Богдан Калиновски, бывший санитар в приемной старшего врача Вислоцкого. Сколько прекрасных людей он спас от гибели на том же шестом блоке ревира! Воровал казенный спирт и выменивал на него у уголовников хлеб, который потом распределялся среди политзаключенных-дистрофиков. Или Гардебуа. Глядя на него сейчас, конечно, трудно поверить, что это был совершенно неистовый товарищ. А ведь Анри Гардебуа настоял, чтобы мы портили... причем в возрастающих масштабах портили ответственные детали самолетного крыла. В той опасной работе принимал участие и Сандерс... тоже трудно поверить, правда? Яначек в лагерной канцелярии, в шрайбштубе, перетасовывал учетные карточки заключенных так, чтобы можно было включить наших ослабевших или пожилых товарищей, которые могли быстро погибнуть в каменоломне, в какую-нибудь малоприметную или «легкую» рабочую команду вроде команды прачечной или сапожной мастерской. Понимаете? Если бы эсэсовцы только даже заподозрили его в подобной деятельности...

— Чай? Кофе?— спросил сын хозяина Алоиз, который сегодня сервировал ужин.

— Мне чай,— сказал Покатилов.

— Кофе.— Богдан засмеялся.— Пора, как говорят по-русски, закругляться.

— А что делал в лагере Шарль?— спросил Покатилов.— Я с ним не был знаком, хотя, наверно, и виделся не раз, лицо помню...

— Шарль работал в штайнбрухе, в насосной. Вначале носил камни, как все, потом, когда стал получать посылки из дома, Фаремба перевел его работать в компрессорную. Знаешь, там на горе была будка?

— Он что — из состоятельной семьи?

— То не знаю. Теперь он имеет акции в радиотехнической компании в Брюсселе, но много денег дает в свою ассоциацию и в наш Международный комитет. В войну был офицер, был в Сопротивлении. У него есть высшая военная награда Бельгии. Ты, Костя, также имеешь военную награду?

— Орден Красной Звезды. А как Мари попала в концлагерь? Она же тогда была совсем девочкой.

— Мари помогала прятать советских военнопленных, которые бежали из концлагерей,— сказала Галя.

— Из лагерей для военнопленных, вероятно,— сказал Покатилов.

— Разве это не одно и то же?

Покатилов и Богдан переглянулись.

— Нет, товарищца,— сказал Богдан.— Между этими вариациями лагерей есть очень великая разница. В лагерях военнопленных у гефангенов было свое имя и фамилия, в концлагерях имени не было, только номер и червонный винкель. Мерси,— сказал он Алоизу, беря из его рук кофе.— Убивали, правда же, и там и там, но в концлагерях много больше. В концлагерях забито десять миллионов людей. Из пятидесяти миллионов убитых во вторую мировую войну десять миллионов замордовано в нацистских лагерях. Каждый пятый — в концлагере. Товарищке известна та цифра?

К Покатилову подошел Генрих Дамбахер:

— Прошу ко мне в комнату к девяти часам. Богдан, разумеется, тоже.— И, наклонившись, тихо добавил:— Будем разговаривать с Насье.

Глава восьмая

1

К вечеру того воскресного сентябрьского дня, когда в Москву звонил Кукушкин, Покатилов почувствовал какой-то странный озноб. В квартире было тепло, батареи уже протапливались; да он и не ощущал холода, просто где-то в глубине его возникла мелкая дрожь и распостранялась по всему телу. Одновременно он отметил скованность в движениях и вялость в мыслях, какую-то общую заторможенность.

Ничего не сказав о своем состоянии Вере Всеволодовне, которая, закончив стирку и развесив сушиться белье, прилегла отдохнуть, он оделся и вышел во двор. Он был убежден, что большая часть всевозможных недомоганий у работников умственного труда происходит от их малоподвижного образа жизни, оттого, что перестали ходить и, естественно, недобирают кислорода, столь необходимого для деятельности мозга. И поэтому, пересиливая себя, он бодрым шагом направился к относительно тихому Университетскому проспекту, чтобы затем, не доходя до Вернадского, свернуть налево и по Ломоносовскому вернуться домой.

Это был выверенный маршрут его вечерних прогулок, хороший еще и тем, что, следуя им, он проводил на улице ровно час и совершал три левых поворота... Не зная сам почему — иногда подтрунивая над собой по этому поводу, — Покатилов любил левые повороты и не любил правых, на экран или на сцену смотрел только слева направо (и, соответственно, покупал билеты с местами только в левой половине зрительного зала), постоянно просил жену стать или сесть по левую руку от него («Вера, я воспринимаю тебя, только когда ты слева»), в подъезд своего дома входил, направляясь обязательно с левой от двери стороны. Столь же безотчетно любил цифры 3, 7, 9, а по тринадцатым числам каждого месяца не начинал никаких серьезных дел... Если бы ему сказали, что это суеверие, он с искренним недоумением пожал бы плечами. Он не был суеверен. Просто ему нравились одни числа и не нравились другие, нравились прямые линии и определенные направления движения — слева направо, — не нравились кривые линии и направления справа налево. Он любил синий и белый цвета и не любил оранжевый, любил полевую ромашку и не переносил садовую.

...После второго поворота он почувствовал, что на лице проступает холодная испарина, третий поворот сделал и вышел на Ломоносовский, почти теряя сознание. Ему показалось, что минула вечность, прежде чем он достиг своего подъезда и с левой стороны вошел в дверь. В нем все дрожало, каждая жилочка, ноги еле сгибались, язык не ворочался. Только в силу выработанного автоматизма ему удалось ступить в лифт, нажать третью кнопку и через минуту нажать кнопку звонка у своей двери, расположенной, к счастью, слева при выходе из лифта.

Он увидел, как отхлынула кровь от лица жены, открывшей дверь: Он хотел сказать ей, что хочет лечь, и сказал это, сделав над собой огромное усилие. Единственно ради того, чтобы не пугать жену, он снова напряг всю волю и повесил на вешалку плащ и положил на полку шляпу. Удивляясь своему состоянию — непонятному ознобу и общей заторможенности — и думая только о том, чтобы не очень пугать Веру, пошел в свою комнату, а Вера с белым, как бумага, лицом, растерянная, будто она и не врач, став с левой стороны, поддерживала его под левую руку и потом, когда он опустился на кушетку, спросила шепотом:

— Что с тобой, Костя?

— Окно, — произнес он сухими губами почти беззвучно, и она побежала распахивать окно в комнате.

— Сердце, — сказал он (или только подумал, что сказал) и обессиленно закрыл глаза.

Он не видел, но каким-то образом уловил, что Вера Всеволодовна уже справилась с первоначальной растерянностью. И как же это было хорошо, что она мгновенно угадывала его желания! У него замерзли ноги, и едва он успел отдать себе в этом отчет, как под ногами очутилась горячая грелка, а сверху легло толстое верблюжье одеяло. У него вроде переставало биться сердце, он весь был охвачен какой-то тошнотворной слабостью, такой, что моментами его тащило как в пропасть, куда-то влево и вниз. Вера Всеволодовна сделала ему укол, и он через некоторое время почувствовал, что безумно, безумно устал и хочет спать. Под его головой уже покоилась любимая подушка, квадратная, не мягкая, а когда вдруг шевельнулась мысль-желание: «Горячий чай со смородиной» — кажется, в ту же секунду как по мановению волшебной палочки у рта появился горячий край кружки с обжигающим, пахнущим смородиновым листом, кисло-сладким и чуть горячим чаем.

Потом он проглотил таблетку и, должно быть, спал, но и во сне, если это был сон, чувствовал, что где-то рядом затаилась тошнотворная слабость, готовая снова потянуть его влево, потащить в головокружильный темный колодец. Он слышал, как Вера Всеволодовна разговаривала по телефону, немного удивлялся, что голос у нее опять дрожащий и испуганный, различал отдельные слова — «Ипполит Петрович», «вегетатика», «явления острой сердечной недостаточности». И вновь она колола его, и вновь он начинал понимать, что безумно, безумно устал, и что смерть рядом — стоит лишь повернуться на левый бок, — и как хорошо было бы уснуть. И как страшно навек потерять Веру с этой синей комнатой, с этими книгами на стеллажах, с отцовской бронзовой чернильницей, с теплой головой веселого мальчика — сына, который в последние годы все чаще являлся ему в мечтах...

Он утратил ощущение времени, не знал, день на дворе или ночь. Вокруг него шла какая-то работа, кто-то невидимый, но от этого не менее реальный рыл черные колодцы — в изголовье, в ногах, справа и слева от него. Порой откуда-то снизу тянуло погребным холодком, и на душу, еле теплившуюся в теле, ложилась великая тоска. Он собирал все силы, стряхивал с себя что-то и тогда видел Веру, сидевшую рядом. В другой раз он, к изумлению своему, увидел в кресле, придвинутом к кушетке, Ипполита Петровича. В следующий раз — ночью это было или днем, он не мог бы сказать, — перед ним суетилось несколько белых халатов. Это был особенно трудный момент для него. Кругом понарыли уже столько колодцев, что рябило в глазах. И всюду грядки черно-рыжей земли. И каток, лоснящийся, тяжелый, то и дело с грохотом проносился у самой головы. И женщины в оранжевых жилетах, орудуя совковыми лопатами («Los! Schneller!»⁷ — сверкнуло раз в мыслях), мостили дорожку из мерцающего горячего асфальта к его кушетке. И кто-то с печальными глазами, сидя за рулем катка, все ближе к нему направлял грохочущую машину. И удушливо тянуло холодком, и летели холодные искры вместе с клубами черного крематорского дыма, и чья-то равнодушная рука подбиралась к горлу. Ему захотелось непременно попрощаться с Верой, потому что она вот-вот должна была исчезнуть, он сделал очередное сверхусилие над собой и тогда-то увидел несколько белых халатов.

— Вера...

— Я здесь.

Два дрожащих глаза, как два полушария на карте мира, склонились над ним. Глаза-полушария с синими полями морей умоляли не уходить. Грохотал каток, мельтешили в воздухе железные лопаты, мостя к нему дорожку, но Вера ни за что не хотела отпускать его, он понял это по ее взгляду и решил совершить невозможное — остаться.

2

Выздоровливал медленно. Первые дни у его постели попеременно дежурили Вера Всеволодовна и Ипполит Петрович, который сразу высказался против того, чтобы больного госпитализировать. Покой и покой — вот что, по его мнению, больше всего нужно для такого пациента, как Константин Николаевич. Он об этом сказал и племяннице и лечащему врачу из университетской поликлиники. И хотя Ипполит Петрович третий год находился на пенсии, с ним согласились:

⁷ Пошел! Быстрее! (Нем)

Покатилов был его давним пациентом. Через неделю, когда картина заболевания стала достаточно ясной, Ипполит Петрович так говорил больному, вглядываясь в его лицо и время от времени украдкой поглядывая на часы:

— Вы, Константин Николаевич, родились под счастливой звездой. У вас был не апоплексический удар, а спазм сосудов головного мозга, как совершенно правильно диагностировала Вера. Или лучше сказать — преходящее нарушение мозгового кровообращения, вот так. Правда, отдать богу душу вы могли очень даже свободно, и... все могло случиться, не будь рядом жены-невропатолога. Не могу в связи с этим не поделиться одним общим соображением. В наш век людей надо лечить радостью. Наряду с обычной терапией и в дополнение к ней прописывать радость, как прописывают хорошее лекарство. Радостное, то есть нормальное человеческое настроение можно создавать, в частности, путем устранения неприятностей из жизни больного. И об этом должна печься медицина и может много сделать, если ей будет доверено, например, распределение путевок в санатории, решение жилищных проблем... Только и исключительно в интересах возвращения человека к активному труду! Разве это не задача здравоохранения? В свое время вы не оценили моей настоятельной рекомендации подробно написать о пережитом в Брукхаузене. Думаю, вам жить бы легче, если бы вы это исполнили. Психоанализ, Константин Николаевич, позволите заметить, не такая уж глупая вещь. Не надо представлять психоанализ как панацею. Но в вашем-то случае очень полезно было бы обнажить корень — пережитое в Брукхаузене, рассмотреть его при свете дня как бы со стороны, а затем спрятать в книжный шкаф, положить подальше на полку... Кстати, три дня назад я отнес в военкомат ваше объяснительное письмо, попутно как бывший лечащий врач гражданина Снегирева рекомендовал подполковнику, кому вы адресовали объяснительную записку, обратиться в психоневрологический диспансер с официальным запросом относительно состояния здоровья одного гражданина. Так вот утром, перед тем как поехать к вам, я звонил подполковнику. Он мне, во-первых, сказал, что Снегирев — параноик, правда дееспособный... ну я-то об этом давно знал; а во-вторых, ваше письмо во всех отношениях удовлетворило военкомат. Подполковник просил передать вам привет и пожелание скорейшей поправки.

«Успокаивает», — подумал Покатилов и сказал:

— Сп-пасибо.

— Дома вы пробудете, вероятно, не более пяти-шести недель. Локальное кровоизлияние у вас все же было, какие-то участки правого полушария головного мозга пострадали, соответственно пострадала левая половина тела, часть лица, рука, нога, очень, правда, незначительно. Но будете постепенно восстанавливать функции и восстановите без остаточных явлений вне всякого сомнения. Это единая точка зрения трех врачей, наблюдавших вас, и я уполномочен сказать вам об этом. По праву старшего. И еще потому, что один из врачей — ваша жена, а мужья не любят, как правило, слушать жен. Что вам можно и что пока нельзя? Можно все, что доставляет радость. Поставьте рядом транзисторный приемник и слушайте хорошую музыку. Чайковского, Моцарта, Прокофьева. Перечитайте Пушкина, Тютчева. Резать по дереву будет пока трудно, а неудача раздражает, посему отложите до поры это занятие. С Верой не спорьте. Она не только умный врач, но и самый преданный вам человек на свете. Что еще? Вера советовалась, следует ли писать о вашей болезни Ивану Михайловичу Кукушкину. Вы ведь звали его в гости, правда? И он обещал приехать через две недели... Мое мнение таково. Пусть Вера напишет

ему, что с военкоматом все уладилось, но что клевета негодяя едва не стоила вам жизни. Это не преувеличение...

— Н-нет,— попытался улыбнуться Покатилов и чуть наискось кивнул головой.—Н-не...

— Я и говорю—не преувеличение. Так?

Покатилов снова кивнул.

— Засим, поскольку встреча с другом теперь уже не будет омрачена наветом, она желательна...

— Р-ра-достна...— вставил Покатилов и сам почувствовал, что его рот искривлен.

— Вопрос курения. Будете курить... Сейчас у вас нет желания курить, это естественно. А потом появится, и будете, как всегда. Не злоупотребляя, конечно. Причем пачка сигарет должна всегда находиться под руками. Никакого запрета нет. Вы в любой момент можете закурить. Но когда особенно приспичит, попробуйте сказать себе: «Я могу закурить, но сделаю это чуть погодя, немного отдохну». Этот нехитрый прием позволит вдвое сократить количество выкуриваемых сигарет. Кроме того, обзаведитесь мундштучком. Ведь желание курить наполовину состоит из желания подержать в губах папироску, пососать ее... Теперь вижу, что вы устали, и могу сообщить, что вы слушали меня ровно пятьдесят минут. Академический час. Поздравляю вас с этим, Константин Николаевич, так как дело явно пошло на поправку.

3

Он лежал и думал о том, что не согласится ни на какие паллиативы. Наивная и трогательная попытка Ипполита Петровича изобразить дело таким образом, будто у него все вдруг стало хорошо, все образовалось, не только не успокаивала, но, напротив, вызвала потребность трезво взглянуть на свое нынешнее положение и шире — на всю свою теперешнюю жизнь со всеми ее общественными и личными заботами.

Пятый год он читал лекции в университете, и читал успешно — он это знал,— потому что любил свой предмет, любил объяснять и постоянно совершенствовался в искусстве преподавания. Когда его избрали в местком и поручили вести жилищно-бытовой сектор, он дотошно обследовал коммунальные квартиры, в которых ютились тогда еще многие преподаватели и сотрудники, писал петиции в ректорат, ходил на прием к заместителю председателя райсовета. Через два года коммунисты факультета единогласно решили принять его в кандидаты, а затем и в члены партии. Он серьезно и добросовестно относился к новым высоким обязанностям, изучал теорию, больше прежнего работал на кафедре. Докторскую диссертацию писал в основном вечерами да в выходные дни, значительно углубив идеи, заявленные в кандидатской диссертации. Бывал с женой на театральных премьерах, в концертах, на художественных выставках, ходил в гости к своим коллегам, хлебосольно и радушно принимал гостей у себя.

Он ревниво читал все, что появлялось в печати о страданиях и борьбе советских людей в гитлеровских концлагерях, и возмущался, когда бойкие очеркисты, стараясь опередить друг друга и не потрудясь изучить материал, писали, очевидно, в погоне за сенсацией о каких-то повсеместных победоносных восстаниях узников. Да и сами бывшие узники в некоторых книгах рассказывали почему-то не столько о фашистских зверствах, голоде, холоде, массовых убийствах, сколько о подпольной борьбе, не понимая, видимо, что их скромную борьбу можно было оценить по достоинству только в том случае, если читатель ясно представлял себе, что фашистский лагерь был эдом...

Словом, по всем, как говорят математики, параметрам он жил вроде бы правильной, нравственной жизнью. Но именно «вроде бы». Подсознательно он все время испытывал чувство неудовлетворенности и даже вины, словно взял в долг деньги и забыл, у кого взял.

«Чего недоставало мне в моей общественной жизни в эти последние тринадцать лет? — размышлял он после ухода Ипполита Петровича, лежа с закрытыми глазами.— Недоставало настоящей страсти, убежденности, что я занимаюсь тем делом, которое никто, кроме меня, не делает. Разве можно было жить так размеренно, так благополучно, когда за плечами двухлетняя гитлеровская каторга?.. На берегах Рейна, в верховьях моего Дуная возрождается нацистская идеология, воссоздается первоклассная армия во главе с теми же офицерами и генералами — фашистами. Это известно всем, кто читает газеты или слушает радио. Но многим ли известно, что каждый фашист, будь это рядовой эсэсовец или генерал вермахта, не человек? Нет, не животное, не зверь, а именно не человек!.. Можно написать десятки исторических исследований и трактатов о фашистских лагерях, о карательных отрядах, о зондеркомандах, о Гитлере и его окружении, но не понять главного: человечеству грозит смертельная опасность, пока на земле существуют фашисты — не люди. Практическая опасность тут в том, что неонацистская верхушка бундесвера может спровоцировать военный конфликт в центре Европы, в который неизбежно будут вовлечены великие державы. Не людям наплевать, если в новой войне спорит уже не пятьдесят, а пятьсот миллионов жизней. Им лишь бы снова заполучить власть, лишь бы снова наслаждаться истреблением людей. И вот в чем, собственно, наш опыт — опыт бывших узников. Мы точно знаем, что фашистам доставляет физическое наслаждение мучить, не просто убивать, но пытать, начиная с пощечины, порки, затем истязаний с кровопусканием и завершая сладострастным заглядыванием в глаза агонизирующей жертве. Мы-то это знаем, мы это видели, испытали на собственной шкуре. У нас нет иллюзий на этот счет. Мы твердо уверены, что ничего человеческого у фашистов нет, что фашизм подобен болезнетворному вирусу, внедряющемуся в живую клетку и принимающему ее облик. В то, что фашист не человек, никто, кроме узников гитлеровских концлагерей, до конца поверить не может. «Все-таки не родились же они убийцами, все-таки должны же быть в них хоть искра человечности» — вот страшное заблуждение миллионов людей, не испытавших на себе изуверства фашистов... Так в чем же наш долг, долг бывших узников Брукхаузена, перед своим народом? Тут и думать нечего. Не забывать о том, что с нами было, и рассказывать правду о пережитом. В этом долг наш и перед живыми и перед погибшими.

...Забыл, забыл. Как горько и стыдно! И лишь очутившись внезапно у могильной черты осознал. Стыдно. И горько. Недаром все время ныла душа. Разве я выполнил клятву, принятую в Брукхаузене? Не выполнил. А завещание Решина?.. Мало было навести справки и узнать, что семья Степана Ивановича погибла в оккупированном Днепрпетровске; надо было вытрясти душу из того шкурника-врача, который бросил под бомбежкой своего учителя-старика. Не вытряс. Махнул рукой. Вот почему мне тяжело. Вот почему неловко чувствую себя перед Иваном Михайловичем. Вот почему мне даже показалось, что в борьбе с жуликом Снегиревым я не сумею доказать правду. Ведь у нас все еще мало знают о гитлеровских концлагерях — концентрированном выражении сути фашизма. А кто виноват? И я, в частности. Мы, бывшие узники, и уцелели-то, может быть, только для того, чтобы рассказывать людям об Освенциме, Бухенвальде, Брукхаузене. Вот для чего я должен писать воспоминания. Не ради поправки здоровья, не

ради спокойного сна — подобные цели всегда как-то мало меня вдохновляли. Писать, потому что это надо людям. И немедленно. Писать, пока еще жив. Используя каждую оставшуюся в моем распоряжении минуту...»

Он протянул руку, нащупал в изголовье тетрадь в кожаном переплете, куда заносил отдельные мысли, нашарил карандаш и, стараясь сосредоточиться, вновь прикрыл глаза...

4

И опять перед ним то ясное июльское утро. Голубеет небо, блестят серебряные нити рельсов, висят в отдалении в воздухе сияющие вершины гор. Они, новоприбывшие, построены в две шеренги возле чистенького вокзала. Напротив на площади — чистенький вместительный автобус. Из него выскакивают долговязые молодые солдаты и, посмеиваясь, направляются к их строю. Посмеивается гестаповский офицер с черными усиками, который сопровождал их арестантский вагон. Вопреки всему почему-то верится в хорошее.

И вопреки всему душа открыта для прекрасного.

Кажется: прекрасен прозрачный воздух, прохлада безлюдной улочки, игрушечные дома с разноцветными наличниками и чисто вымытыми стеклами окон, с красными островерхими крышами — точно-точно как в сказках Андерсена! А ведь уже пускали в ход приклады винтовок долговязые парни с изображением черепа на серо-зеленых пилотках, и уже повизгивают возбужденно по бокам колонны сторожевые овчарки, которых конвоиры ведут на длинных сыромятных поводках, и уже тревожно зеленеет впереди лес, где их, невольников, может быть, через несколько минут расстреляют.

И река, огромная, полноводная, в искрах утреннего солнца, прекрасна. И просто не верится, что можно оттолкнуть конвоира и ухнуть с берега в эту красоту. «Прыгнем, Степан Иванович?» — шепчет он идущему рядом Решину, шепчет и не верит, что их пристрелят, хотя именно для этого он и предлагает броситься в реку: попытка к бегству — тоже борьба, а в борьбе, говорят, легче умирать. Седой старичок доктор Решин отрицательно качает головой: не хочет. Знал бы он, что менее чем через год главный врач лагерного лазарета Трюбер прикажет отправить его в душегубку!..

И ели прекрасны. Величественные, с глянцевыми темно-зелеными лапами. Меж стрелчатых вершин беззаботно сияет небо. Прекрасен сыроватый аромат хвои и легкий запах лесных трав. Даже асфальт дороги — чистое синеватое покрытие — кажется прекрасным. Отчего? Ведь уже рычат, хрипло лают и рвутся с поводков овчарки, и не устают кричать «schneller!» эсэсовский унтер — начальник здешнего конвоя, и опять стучат приклады, обрушиваясь на наши спины, а мы бежим дальше, и все начинает представляться какой-то безумной игрой: кругом прекрасный трепетно-живой мир, а в середине — разъяренные псы и парни с серебряными черепами на пилотках, здоровенные парни, вооруженные винтовками, с криками «schneller!» гонят изможденных, обрванных людей бегом вверх по дороге, сами бегут, тяжело топая коваными сапогами, и заставляют бежать нас, задыхающихся от изнеможения, готовых вот-вот рухнуть... Отчего же лично нас так ненавидят эти рослые парни, отчего распалаяют они в себе такую лютую злобу против нас?

...И вновь передо мной каменоломня — дымная холодная чаша. На дне ее кружатся с камнями на плечах живые скелеты — грузят желез-

ные вагонетки. За скелетами-заключенными надзирают, поигрывая резиновыми палками, капо-уголовники. За уголовниками присматривает обер-капо — знаменитый силезский бандит-интеллектуал Фаремба в черной фуражке и с ножом за голенищем сапога. За теми и другим наблюдают эсэсовцы-командофюреры, щеголеватые, немногословные и вроде чуть насмешливые, вооруженные парабеллумами. Общий надзор осуществляет главный охранник каменоломни Фогель, субъект с узкой физиономией, длинной тонкой талией, на пояском ремне которого красуется желтая лакированная кобура, где спрятан бельгийский браунинг.

Господи боже, как же мы боялись Фогеля! При случайной встрече с ним в каменоломне у нас леденело сердце, рука, как рычаг, срывала с головы шапку, подбородок сам собой вздергивался и поворачивался в его сторону, тощие ноги стремительно переходили на церемониальный шаг... Длинное, как редька, лицо, приклеенные по бокам носа немного наискосок глаза — нечеловечьи глаза, можно голову дать на отсечение, нечеловечьи! — высокий, визгливый, парализующий волю голос. И эта тонкая длинная талия, и почти игрушечная ярко-желтая кобура на поясе, и этот миниатюрный браунинг...

Каждая нечаянная встреча с Фогелем на работе или во время раздачи обеденной похлебki могла стать роковой. Затаись, хефтлинг, обратись в автомат, отхлопай своими деревяшками по утрамбованной земле мимо его сатанинских глаз. Пронесет? Не пронесет?..

— Halt! — визжит Фогель, и мы останавливаемся. — Promenade?⁸ — острит он, вихляя передним колесом велосипеда (он целый день шныряет по каменоломне на велосипеде). — Steine tragen!⁹ — приказывает он старшему нашей группы Петренко, под руководством которого мы разгружали вагоны, а сейчас возвращаемся в мастерские.

И Петренко взваливает на себя первый попавшийся камень — серую гранитную плиту килограммов на тридцать. И с побелевшим лицом начинает носить ее по кругу.

— Laufen!¹⁰ — взвизгивает длиннорожий дьявол, кружа на велосипеде. — Schneller! — И с легким треском расстегивает кобуру...

Тринадцать лет будет искать своего без вести пропавшего сына старая украинская женщина, писать разным людям письма, обивать пороги учреждений, тринадцать лет медленным огнем тоски будет гореть ее материнское сердце. Где ее хлопчик? Где Петро? И если сложил он на той войне голову, то где, в каких краях, на какой стороне, чтобы можно было приехать, упасть на его могилу, изойти горькими светлыми слезами.

Но не найти матери святой солдатской могилы, не избыть до конца дней своих великой тоски по сыну, по Петру, как до гробовой доски не унять своего горя другим матерям, потерявшим близких в преисподней фашистского лагеря. Свидетельствую: я своими глазами видел, как Фогель ни за что ни про что застрелил Петра Петренко, уроженца Полтавы, доброго мужественного человека, я своими глазами видел, как Фогель убивал охотничьим тирольским ножом узников-югославов, работавших в брукхаузенской каменоломне...

Это были до крайности истощенные люди, и они работали почему-то обнаженными до пояса. Грудная клетка у них выпирала, как ребристый барабан. Живот провален, тонкая пленка шершавой кожи едва загоразивала внутренности. Непонятно было, на чем держатся их брюки. И непонятно, как они поднимают своими искривленными

⁸ Стой! Прогуливаетесь?

⁹ Камни носить!

¹⁰ Бегом!

руками-костями двухпудовые, с острыми гранями, поблескивающие кварцем серые брукхаузенские камни... Миодраг, молодой сербский партизан, мой товарищ по лагерному лазарету, был одним из них. Фогель вонзил ему нож в запавший живот, когда Миодраг нес камень. Миодраг упал на светлый гравий, и камень остался лежать на нем. Фогель неторопливо вытер о полосатые брюки влажно-красное, с желобком лезвие ножа, вскочил на велосипед и покатил, проворно вращая педали, к бурому холму, где стоял его кирпичный, с высоким фронтоном домик.

...И опять передо мной длинный дощатый барак с цементным полом, столы с тисками и электродрелями, массивный клепальный станок. На отдельном столе у окна светокопии чертежей — так называемые синьки. Синьки носовых и хвостовых нервюр, стальной накладки и еще одной детали, название которой я не могу точно перевести на русский: «schubblech» — что-то вроде «выдвижная жестянка». Этот шубблех не дает мне покоя. Соединенный с накладкой и носовой нервюрой номер три, он образует, как это видно из чертежа, в готовой плоскости гнездо, куда «Мессершмитт-109» во время полета втягивает колеса. Насколько я в состоянии разобраться, это чрезвычайно ответственный узел: шасси убирается, и вдруг при посадке истребитель не может выпустить его, так как колеса застревают в гнезде. У «Мессершмитта-109» большая посадочная скорость. Не высвободив колеса, он не сможет сесть, он обязательно разобьется.

Я поднимаю от чертежей глаза. На клепальном станке работает Виктор. Он нажимает деревянной подошвой на педаль, из отвесного хобота станка с шипением выползает блестящий стержень и придавливает кончик железной заклепки. Виктор скрепляет стальную накладку с носовой нервюрой номер три.

Возле клепального станка над тисками склонился семнадцатилетний парижанин Робер. У него частенько ломаются сверла, и ему за это крепко влетает от нашего капо уголовного Зумпфа. Рядом с Робером его дружок Мишель. Мишелю особенно достается и от капо и от гражданских немцев-мастеров: он все время путает сверла. По другую сторону стола напротив Мишеля — мой приятель и сверстник поляк Франек. Он тоже буравит накладку и тоже ломает сверла, а когда разъяренный Зумпф сует ему кулаком в лицо, норовя разбить нос или губы в кровь, высокомерно молчит, бледнеет, но молчит — не оправдывается.

Сегодня ровно месяц, как мы, согнанные из каменоломни узники, работаем в лагерных авиационных мастерских. Гражданские мастера, обучающие нас слесарному делу, все заметнее нервничают, кричат, некоторые научились драться: вероятно, начальство требует продукции, а ее пока ничтожно мало...

Серьезный Робер и смешливый Мишель (оба французские комсомольцы) кладут на мой, бракера-приемщика, стол готовые детали. Я прошу их не уходить, беру красный мелок и перечеркиваю почти все заклепки. На одной из нервюр пишу слово «Ausschuß» («брак»): на ней просверлены отверстия большего, чем полагается, диаметра. Я старательно вывожу крупные красные буквы и чувствую за своей спиной учащенное дыхание обер-мастера Флинка.

— Что такое? Почему вы опять наставили кресты? — по-немецки спрашивает он меня.

— Господин обер-мастер, заклепки не годятся.

— Почему не годятся, сакрамент нох маль?

— Убедитесь сами: эти головки расплющены, а вот слишком высоки, вот треснули.

— Сами вы треснули, сакрамент нох маль! Заклепки хороши.

— Заклепки плохи. Господин обер-контролер не пропустит такую работу...

Упоминание о «господине обер-контролере» действует: обер-мастер хватает в охапку исчерканные красным нервюры и, бранясь, тащит на переделку. Следом, тихонько посмеиваясь, бредут Робер и Мишель. Теперь наказать их нельзя: обер-мастер сам сказал в их присутствии, что заклепки хороши, — я для того и задержал ребят у своего стола, — и уж если следует кого наказывать, то, конечно, не их, а учителей — цивильных мастеров.

Это моя новая тактика, одобренная Иваном Михайловичем: как можно больше браковать. Мастера бесятся, Зумпф ярится, а я бракую. Ставлю на заклепках крестики, иногда пишу «Ausschuß».

Испорченную нервюру бросаю на пол, десяток сделанных безупречно (работа самих мастеров) складываю на столе. В цех заходит розоволицый господин в светлом плаще, в ворсистой шляпе с перышком. Я живо вскакиваю с табурета.

— Молодой человек из хорошего дома («Von Guthausen», — острит он)? Как дела?

У меня руки по швам: я уж заметил, что он весьма неравнодушен к внешним знакам внимания.

— Все в порядке, господин обер-контролер!

На его лице короткая улыбочка. Он небрежно ворочает с боку на бок готовые детали, одобрительно кивает.

— А это? — Он указывает на испорченную нервюру.

Я мигом поднимаю ее с пола.

— Брак, господин обер-контролер.

— Брак?

— Так точно, господин обер-контролер! — Я пытаюсь изобразить на своем лице тоже короткую улыбочку и повторяю: — Брак.

Он внимательно осматривает нервюру.

— Однако вы строги. Впрочем, действуйте в том же духе. Кель?

— Кель, господин обер-контролер.

Он усмехается и, шурша плащом, уходит. Сейчас он отправится во второй цех, где бракером-приемщиком голландец Ханс Сандерс. Теперь очередь Ханса дрожать... Ясно, что, пока обер-контролер как-то доверяет нам, мы можем без особого риска возвращать на переделку почти всю продукцию, изготовленную хефтлигами. Но ясно и то, что долго так длиться не может. Мастера бушуют, нашим людям все труднее притворяться неумеющими и непонимающими, а мне и Хансу браковать все подряд. Еще две-три недели такого труда — и нас всех объявят саботажниками.

Снова разглядываю чертежи.

— Круце фикс! — долетает до меня возмущенный возглас обер-мастера. — Опять не то сверло взяли. Вы понимаете, вы, дубовая башка («Holzkopf»), что накладка не будет держаться на нервюре с такими дырами!

Мишель почтительно вскидывает подбородок — строит из себя отупевшего от муштры и побоев дистрофика — и в то же время косит беспокойным взглядом в сторону Зумпфа, которому известны многие наши уловки. Когда обер-мастер, всунув в его дрель нужное сверло, скрывается на другом конце цеха, я забираю у Мишеля испорченную нервюру.

В обеденный перерыв я совещаюсь с Виктором. Может ли он соединить на клепальном станке стальную накладку с этой вот нервюрой, у которой насверлены такие дыры? Он отвечает, что если постарается, то сможет: конечно, прочность соединения будет близка к нулю,

поскольку шляпка заклепки едва прикроет отверстие... Почему я об этом спрашиваю?

Мы сидим на рабочем столе — верстаке, усыпанном мелкой дюралевой крошкой. В цехе пусто: выпив шпинатную похлебку, люди вышли погреться на скупое осеннее солнышко. Я смотрю Виктору в глаза, строгие, слегка настороженные.

— Помнишь, как погиб Шурка Каменщик?

— Пытался свалить камень на Пауля. А что? На что намекаешь?

— Если стальная накладка оторвется от нервюры, — спрашиваю я чуть слышно, — сможет ли тогда «мессер» при посадке выпустить шасси, как твое мнение?

Виктор, смекнув, нервозно покусывает губы.

— Я тоже думал об этом. А ты представляешь, что с нами будет, если попадемся?..

Глава девятая

1

Утреннее пленарное заседание началось с отчета казначея. Франц Яначек, как всегда в ослепительно белой сорочке, с ослепительно белыми зубами на женственно-белом лице, бодро взошел на кафедру, надел очки с тонкими золотыми дужками, с улыбкой кивнул кому-то в зале, достал из кожаной папки листок бумаги лимонного цвета и весело произнес:

— Кассаберихт...

— Пожалуйста, переведите, Галя, — сказал Покатилов, приготовясь записывать.

— Финансовый отчет за период с шестнадцатого апреля шестьдесят четвертого года, сессия в Сан-Ремо, по восемнадцатое апреля шестьдесят пятого, сессия в Брукхаузене, — принялась переводить Галя, слово в слово идя за Яначеком, читавшим бумагу с тем добродушно-снихождительным видом, какой обычно бывает у взрослых, играющих по просьбе детей в их детскую игру.

Яначека можно было понять: сложить четырехзначные числа, которыми выражались суммы членских взносов национальных организаций и которые составляли, вероятно, главную статью дохода Международного комитета, было под силу и ученику четвертого класса. Но вот он начал перечислять новые суммы, вдвое и втрое превосходившие размер членских взносов, однако выражение его лица несколько не изменилось. Он продолжал чтение с тем же видом добродушного и снисхождительного дяди, который согласился поиграть с ребятишками в детскую игру. Тут уж просвечивала какая-то фальшивинка. Речь шла о добровольных пожертвованиях частных лиц, бывших узников из Бельгии, Австрии, Франции. И хотя имена жертвователей, должно быть, не полагалось оглашать, было бы натуральнее, если бы Яначек сообщил о поступлениях такого рода серьезно, без пошловатых ужимок. «А не здесь ли собака зарыта? Не здесь ли одна из причин усобиц в комитете?» — мелькнуло в уме у Покатилова. Он подчеркнул слова «пожертвования частных лиц» и поставил знак вопроса.

Тем временем Яначек бойко отчитался в расходах, назвал наличную сумму остатка, поклонился, снял очки. Председательствующий Генрих спросил, есть ли вопросы к казначею. Делегат из Люксембурга, толстый, одышливый, сказал что-то по-французски, и Галя перевела:

— Вношу предложение утвердить.

— Прошу голосовать, — сказал Генрих. — Кто за?

Все сидящие за столиками подняли руки.

— Спасибо,— сказал Генрих.

Яначек вновь по-приятельски кивнул кому-то в зале и вернулся за стол президиума, где, уткнувшись в делегатский блокнот, что-то торопливо писал сумрачно-сосредоточенный Насье.

«Неужели и в комитете тон могут задавать те, кто больше платит?» — подумал Покатилов и сам устыдился своей мнительности. И хотя ему было совестно думать, что его товарищами, бывшими узниками, могут руководить какие-то иные побуждения, кроме идейных, в памяти невольно всплыли различные намеки и высказывания, услышанные за эти неполных три дня, о том, что Насье в материальном отношении зависит от Гардебуа и оба они до некоторой степени от Шарля; что государственный служащий Сандерс боится потерять службу, потому что жалованье для него — единственный источник существования; что другой государственный служащий, Яначек, дрожит перед местными властями, будто бы взявшими на себя постоянную оплату сторожа-смотрителя бывшего лагеря, а также часть расходов по пребыванию в Брукхаузене иностранных делегатов.

— Предоставляю слово нашему старому другу и боевому товарищу по Сопротивлению профессору Константину Покатилову,— перевела с немецкого Галя, хотя это объявление председательствующего не нуждалось в переводе.

2

Он поднялся на кафедру, чувствуя, как и в первый день по прибытии на сессию, тепло, которое волнами шло к нему из зала. Сразу прекратились разговоры, шуршанье бумаг, бряканье ложек и чашки. Он увидел за третьим столиком справа Анри Гардебуа, грузного, часто мигающего, а впереди, поближе к трибуне,— розовощекую, в светлом клетчатом костюме Мари рядом с Шарлем, который зачем-то снимал с пальца и опять надевал тяжелый перстень; увидел уже боковым зрением Богдана, Сандерса и сказал:

— Товарищи... Просто «товарищи»,— повторил он тихо, повернувшись к Гале, стоявшей сбоку с раскрытым блокнотом, и та, кивнув, перевела это слово на немецкий. Он мимоходом отметил, что Мари улыбнулась и приветственно похлопала в ладоши, а Шарль оставил в покое перстень с темным камнем прямоугольной формы («Форма гранитного блока, который вытесывали штайнмец»,— подумалось Покатилову).— Если бы двадцать лет назад кто-нибудь из нас сказал, что в апреле шестьдесят пятого мы соберемся вместе здесь, в бывшей резиденции лагерфюрера, то тогда такого ясновидца назвали бы фантазером, а мой коллега профессор Мишель де Буар несомненно имел бы еще один повод посетовать на излишний оптимизм некоторых хефтлингов...

Он подождал, пока Галя переведет сказанное на немецкий и вслед затем под одобрительное «браво, браво», произнесенное Жоржем Насье, на французский, и продолжал, с удовлетворением ощущая ту проникновенную тишину, которая свидетельствовала, что ему первой же фразой удалось зацепить внимание слушателей:

— И вот мы с вами здесь. Это ли не блистательное подтверждение правоты исторического оптимизма?.. Ну, скажите «блистательное» или «яркое»,— шепнул он Гале, когда она запнулась на слове «блистательное», и мысленно одобрил ее выбор: «выдающееся», «herorragende».— Мы в самом деле здесь, граждане независимых государств, сидим в бывшей комендатуре бывшего концлагеря Брукхаузен и свободно обсуждаем наши проблемы, мы, добрые товарищи и соратники,

все такие же, я верю, смелые и честные, искренние и простые, все те же... только разве немного постаревшие...

Последние слова его, призванные обеспечить, как говорят лекторы, «эффект снижения», были мгновенно оценены Мари, которая вновь заплодировала, едва Галя закончила перевод на немецкий.

— Позвольте мне от всего сердца приветствовать вас по поручению Советского комитета ветеранов войны, от имени своих товарищей-брукхаузенцев — советских граждан и от себя лично...

«Что дальше? Может быть, припомнить какой-нибудь случай из того времени? Это было бы так естественно. Встречаясь между собой, бывшие узники всегда рассказывают друг другу о прошлом — часто и то, что им всем хорошо известно, — не могут не рассказывать. Какая-то сила, более сильная, чем мы сами, побуждает нас вновь и вновь возвращаться к тем дням. Видно, так уж устроен человек, что чем больше испытаний выпадает на его долю в молодости, тем неодолимее в зрелые годы потребность делиться пережитым. Эту потребность можно объяснить действием универсального закона сохранения равновесия, но главное, я убежден, требованиями растревоженной совести нашей...»

— Константин Николаевич, — шепотом произнесла Галя.

Он с доверием посмотрел в зал. Он стал говорить о своем понимании жгучих проблем современного мира, и ему вспомнилась земля, которую он увидел с борта самолета, когда летел из Москвы в Вену. С высоты семи с половиной тысяч метров земля казалась прекрасной. Черные и изумрудные прямоугольники пашен, темно-зеленые щетки хвойных лесов, синие жилочки рек и речушек пересекались светлыми линиями железнодорожных путей, шоссежных дорог. То тут, то там четкими геометрическими фигурами проступали города и поселки, прочерченные тонкими линейками улиц. В утреннем мареве белели храмы, белели хатки, кое-где над кровлями висели белые спирали дымов. Уютно, прибрано было в тот ранний час на земле, возделанной натруженными человеческими руками.

А ведь это была та земля, по которой дважды на его памяти прокатился огненный вал сражений. Горели дома, обугливались деревья, заброшенные поля покрывались сыпью бомбовых и артиллерийских воронок. Душно, смрадно было окрест. Лилась кровь. Лились слезы детей и старух. Топились печи лагерных крематориев, и небо казалось загороженным симметричными рядами колючей проволоки... Как же, повидав все это, не считать борьбу за мир своим высшим долгом?

Галя быстро и четко переводила его на немецкий, потом помедленнее, пользуясь благосклонной подсказкой Генриха, на французский. Покатилов продолжал:

— Мы, бывшие узники Брукхаузена, граждане различных европейских государств, — численно сравнительно небольшая группа. Я хотел бы, чтобы мы все поверили в то, что, объединенные в национальные ассоциации и наш Международный комитет, мы представляем собой силу, которая может серьезно влиять на события. Каким образом?

«Да, каким образом? — повторил он мысленно. — Конечно, надо рассказывать людям, молодежи о Брукхаузене, о том, что было, без этого нельзя понять глубинную античеловеческую сущность фашизма, причину его живучести. Организовывать посещения лагеря, писать статьи, воспоминания, сооружать памятники — безусловно, это само собой...»

— Прежде всего участвовать всеми доступными нам средствами в формировании общественного мнения... Скажите «конструировании» или «образовании», выразитесь так, — подсказал он негромко Гале. —

Ведь к нашему слову, слову людей, переживших нацистский ад, прислушиваются, наш горький опыт, наша борьба и наши страдания, перенесенные с достоинством, создали нам такой моральный авторитет, который никто не вправе игнорировать.— Он выждал немного, поглядывая на Гаю, глубоко вздохнул и сказал:— Надеюсь, я не нарушу статуса наблюдателя, если призову вас, дорогие друзья, при всем различии наших политических и философских убеждений без устали работать в духе нашей общей клятвы, во имя того, что в одинаковой степени дорого всем нам: отстаивать и укреплять мир на земле, справедливый мир, в котором не должно быть места фашизму.

Галя прилежно переводила, а он смотрел на взволнованные лица Гардебуа, Сандерса, Богдана и думал: «Да, память людей, к счастью, жива. И она не исчезнет так скоро и после нашей смерти. Она закреплена в строках книг, в бронзе монументов, в гранитных стенах Брукгаузена в назидание потомкам».

— Я хочу,— сказал он,— закончить тем, с чего начал: выражением удовлетворения, что мы собрались на юбилейное заседание здесь, в бывшей комендатуре поверженного концлагеря. В этом мне видится добрый символ — символ грядущего окончательного торжества разума, мира и жизни на земле.

3

Его проводили с трибуны аплодисментами, и тотчас Генрих объявил, что слово имеет председатель комиссии по работе с молодежью Мари ван Стейн. Мари легко вскочила из-за стола и, быстро перебирая ногами в маленьких белых туфлях, подошла к кафедре, улыбнулась и сказала по-немецки:

— Прежде чем огласить проект письма, которое наша комиссия предлагает направить в различные национальные и международные организации, я хотела бы высказать несколько суждений общего порядка... Нужно ли переводить на французский язык? — весело спросила она, обратясь к президиуму.

— О да, Мари, это желательно. Если тебе нетрудно — пожалуйста,— сказал Генрих и покивал седой головой.

И Мари непринужденно перевела себя на французский, после чего многие сидящие за столиками тоже закивали ей: давай, мол, говори что хочешь.

— Наш советский товарищ — не знаю, сознает это он сам или нет,— одним уже фактом своего присутствия на этой сессии, своим нравственным отношением к нашему общему прошлому и нашему долгу заставил кое-кого из нас, западных делегатов, взглянуть на себя и на наши сегодняшние проблемы глазами узников апреля сорок пятого года.

Мари, сделав паузу, стала говорить то же по-французски. Покатиллов заметил, что Насье, не отрываясь от бумаг, пожал плечами, Гардебуа, поблескивая зеленоватыми глазами, учащенно поплеывал, Шарль потупился, лицо его было растерянно, Сандерс приподнял брови и монотонно, но довольно громко твердил:

— Уи. Уи.

— Ведь мы постепенно начали уподобляться тем умеренным буржуа, которые регулярно посещают богослужения, регулярно исповедуются своему священнику и полагают, что этого достаточно, чтобы стать праведником... Мне стыдно, что мы говорим вполголоса о том, о чем надо кричать на весь мир, мы слишком часто идем на компромисс со своей совестью, и происходит это оттого, что мы забываем

прошлое... Как это ни парадоксально, бывая здесь, в Брукхаузене, чуть не ежедневно, все-таки забываем. Я благодарна нашему советскому другу камраду Покатилову, нашему Константу, за то, что он помог мне вновь почувствовать себя той, прежней, той девчонкой...

— Мари! — укоризненно прохрипел за своим столиком Шарль.

— Ах, Шарль! — Мари вскинула голову. — Мы были тогда лучше, смелее, мы боролись с нацистами, боролись за свободу Бельгии, за свободу всех народов и во имя этой цели готовы были пожертвовать собой. Ты сам не раз признавался, что в войну был более мужественным, чем теперь, чем когда ты сидишь в своем бюро в кресле муниципального советника...

— Мари, Мари, — по-отечески сдерживающим тоном произнес Генрих. — Ты во многом права, Мари, у нас будет еще время поговорить и об этом, ну а теперь прошу тебя огласить текст письма.

Генрих поставил на бортик трибуны стакан с водой. Она глотнула, улыбнулась, поправила прическу.

Покатилов закурил.

Письмо, которое стала читать Мари, было интересно тем, что выдвигало смелую идею организации встречи бывших узников — борцов Сопротивления с представителями разных молодежных движений Европы в день очередной годовщины освобождения Брукхаузена. В ходе встречи предлагалось провести большую дискуссию на тему «Вторая мировая война и проблема непреодолимости прошлого», устроить лекции, семинары, выставки фотодокументов и книг.

— «Изучая этот вопрос, — высоким, чуть напряженным голосом читала Мари по-немецки, — мы предварительно связались с некоторыми объединениями Сопротивления и молодежными союзами, и повсюду наша идея нашла одобрение. Сейчас мы направляем письмо всем заинтересованным ассоциациям участников Сопротивления, с одной стороны, и различным молодежным организациям — с другой...»

Покатилов внезапно ощутил чувство жалости. Голос Мари казался таким одиноким. Казалось, ей надо было столько сказать, столько выразить, и она не надеялась, что сможет выразить все что хотелось, помимо того правильного и важного, что заключали в себе вслух произносимые слова официального текста.

— «Еще раз просим сообщить ваше мнение и конкретные предложения по затронутым вопросам. Заверяем вас, господа, в нашем глубоком уважении... Доктор Генрих Дамбахер, генеральный секретарь. Магистр Мари ван Стейн, председатель молодежной комиссии».

Она снова поправила прическу и, готовясь читать идентичный текст на французском языке, пригубила из стакана воды.

4

— Предоставляю слово председателю редакционной комиссии камраду Гайеру, — сказал Генрих, после того как письмо по молодежному вопросу было утверждено и Мари вернулась на свое место.

Покатилов внимательно посмотрел на Генриха. Лицо Генриха было буднично, спокойно, пожалуй, немного угрюмо; шрам на щеке усиливал выражение угрюмости. Насье, не отрываясь от блокнота, по-прежнему что-то писал; казалось, все, что происходит на трибуне и в зале, уже не интересует его. Яначек, подперев кулаком подбородок, ласково глядел в зал, время от времени кому-то подмигивал, потом наклонялся к Насье и шептал ему на ухо, на что Насье, занятый своим делом, никак не реагировал... Урбанек, поставив локти на стол и соединив пальцы козырьком над глазами, словно загоразивался от рез-

кого света. Богдан прижался впалой грудью к столу, а его руки, свешенные меж коленей — сбоку это было видно, — быстро крутили шариковую ручку. Гардебуа, откинув голову, с печальным бесстрашием взирал на то, как Гайер, поднявшись на трибуну, надевает очки. «Чем они все недовольны? Или это кажется? Может быть, просто устали?» — подумал Покатилов, хотел закурить, но во рту был тяжелый никотиновый перегар, и он отодвинул от себя сигареты.

— Переводите, Галя. Это главный итоговый документ.

— Нам дадут по экземпляру обе резолюции, я договорилась в секретариате. Можно, я закурю?

Покатилов недоуменно дернул плечом.

— Пожалуйста. Все-таки переводите.

У Гайера лицо было усталым и, как у Генриха, немного угрюмым. Он читал медленно, и перевод Гали скорее мешал, чем помогал Покатилову вникать в содержание. Начало резолюции было вроде таким, как в проекте, предложенном вчера Гайером на комиссии, только поблаговзвучнее и, вероятно, совершеннее стилистически.

— Это факт, — переводила Галя, — что... исходя из установок определенных... влиятельных кругов Федеративной Республики Германии... в этой стране распространяются лишь те теории и положения, которые... помимо оправдания нацистских виновников прошлой войны... могут способствовать росту нежелательных настроений... Это факт...

Покатилов почувствовал горечь в душе. Итак, прошла обтекаемая формулировка Насье. Он только слегка подправил ее, вставив слово «нацистских» перед словами «виновников прошлой войны». Не помог и вчерашний откровенный разговор в кругу старых лагерных товарищей-коммунистов. Обидно.

— ...Международный комитет Брукхаузена призывает все национальные ассоциации... проводить конференции, устраивать выставки на тему... пока не поздно... новым посягательствам... наивысшее благо человечества, — долетали до него обрывки фраз, произносимых Галей.

«Конечно, люди есть люди, — подумал Покатилов. — Шарль давит на Насье. Кто-то давит и на Шарля. Конечно, в странах НАТО небезопасно бороться против милитаризма и называть истинных виновников существующей напряженности в мире. Но ведь мы не совсем обыкновенные люди, мы опытные и сильные».

— ...Международный комитет... рождественское послание папы Павла Шестого... различных общественных организаций в Федеративной Республике... фестивали, разнообразные публикации... чтить память погибших...

«Наверно, надо все трезво оценить, взвесить все за и против, прежде чем сделать окончательный вывод, — думал он. — Нельзя поддаваться настроению... Видимо, и здесь, в комитете, в очень специфической форме идет классовая борьба, здесь тоже есть последовательные борцы и есть реформисты. При всей прямолинейности вывод этот представляется мне пока — предварительно — наиболее убедительным».

— ...никогда не повторится фашизм... никогда не повторится Брукхаузен.

За столиками и в президиуме захлопали. Покатилов тоже похлопал.

— Кто против? Нет? Резолюция принимается, — говорила Галя, переводя Дамбахера.

Гайер пятерней откинул назад кудри и положил на стол против Насье бумагу с текстом резолюции. Должно быть, Насье будет устраивать ее публикацию в «большой» прессе.

«Трудно, очень трудно делать окончательные выводы. Тем более что я, Покатилов, человек заинтересованный. Вероятно, даже в урезанном виде эта резолюция будет воспринята общественностью Запада как протест бывших узников гитлеровских концлагерей против возрождения фашизма и милитаризма. И если это так, то существование Международного комитета Брукхаузена оправдано. Горечь же оттого, что я ожидал от своих старых товарищей большей последовательности, большей страстности».

— Повестка дня исчерпана. Дорогие друзья, прежде чем объявить о закрытии сессии, предоставляю еще раз — однако в последний раз! — слово для информации Францу Яначеку.

— Высококочтимые дамы и господа, камрады, — затараторил Яначек, пребывающий, как и ранее, в отличном расположении духа. — Мне доставляет величайшее удовольствие передать вам приглашение на торжественный прием, который устраивает сегодня в вашу честь в замке Шёненберг провинциальное правительство. В пятнадцать часов, следовательно вскоре после нашего обеда, на обычное место у гасхауза будет подан специальный автобус... — В зале возбужденно зашумели, и Яначек с улыбкой поднял руку. — И самое, самое последнее... Мы напряженно и, как я нахожу, плодотворно трудились три дня («Не забыть отдать Анри статейку об Иване Михайловиче», — подумал Покатилов, вытаскивая из папки листки, исписанные четким, почти каллиграфическим почерком), работали в поте лица и за недостатком времени почти не видели лагерь, — продолжал весело Яначек. — Поэтому возникла идея задержаться в Брукхаузене до завтрашнего полдня, с тем чтобы утренние часы посвятить осмотру особо памятных мест, а около двенадцати вместе поехать в Вену, а оттуда, как обычно, по домам. Идея не содержит в себе ничего императивного, и тот, кто спешит... — Гул оживленных голосов и одобрительных реплик на разных языках заглушил конец фразы. — Прекрасно! — воскликнул Яначек. — А сейчас в автобус и обедать. Лос!

Генрих положил короткую сильную руку на плечо Яначеку и под общий смех усадил его на стул.

— Дорогие и милые друзья и товарищи, я сердечно благодарю вас за ваш труд и объявляю брукхаузенскую сессию закрытой.

— Шнеллер! — закричал опять Яначек и, выбежав из-за стола президиума, захлопал в ладоши.

В зале несколько минут не смолкали горячие аплодисменты.

5

В автобусе он снова сел рядом с Мари, и всю дорогу до Шёненберга они вспоминали о лагере. Мари рассказала, что она с группой французенок с февраля сорок пятого работала в команде washerай, загружала полуистлевшим полосатым бельем стиральные машины. К ним в прачечную часто заходил по своим делам русский электрик Иван. Может быть, Констант был знаком с ним? Нет, не слесарь котельной, уточнила Мари, а именно электрик, он в сорок первом был тяжело ранен на фронте и попал в плен, немолодой уже, то есть немолодым, конечно, он казался тогда. Как, разве Констант тоже приходил иногда в прачечную? Возможно, что она, Мари, и путает, возможно, Иван был слесарь. Ей кажется, что она смутно помнит Константа по тем временам. Несомненно, что они виделись. Она была самой юной среди своих подруг. Он был тоже самый юный среди русских подпольщиков? Она даже уверена, что теперь припоминает его, скорее всего она видела его вместе с Иваном...

Кукушкиным? Так, может, этот электрик или слесарь Иван и был тем знаменитым полковником Кукушкиным, который потом командовал боевыми подразделениями хефтлингов? К сожалению, в конце марта она попала с флегмонозной ангиной на ревир, а оттуда сразу после освобождения ее увезли на автобусе Международного Красного Креста в Швейцарию...

Им было интересно и радостно вспоминать. Но почему радостно?

— А вот и Шёненберг,— с ноткой грусти возвестила Мари, показав в окно на старинный замок, возвышавшийся на макушке лесистой горы.

У крепостных ворот гостей встречал тучный ландесрат Хюбель. Он повел группу через пустынный двор к дому, по парадной лестнице ввел в огромный зал, украшенный белыми мраморными статуями и зеркалами. Здесь навстречу гостям вышел облаченный в черный костюм старый человек с умным властным лицом. Его сопровождали румяный офицер и седой господин с хитрой улыбкой. К старому человеку все начали подходить и здороваться, причем Генрих подробно представлял ему каждого брукхаузенца. Потом все стали в полукруг, и старый человек — глава провинциального правительства,— чуть щуря умные глаза, произнес короткую речь. Он сказал, что считает нейтралитет своей страны наивысшим благом для ее народа, и выразил уверенность, что в недалеком будущем дело мира победит на всей земле, что никогда не повторится то, что гости пережили в войне здесь, на берегах Дуная. Все зааплодировали. Хозяин взял с поданного ему подноса золотистый бокал с вином, и гости взяли такие же бокалы с этого же подноса, который держал на вытянутой руке одетый в строгую униформу молодой человек.

— Ваше здоровье, господа! Желая, чтобы вас нигде и никогда не преследовали кошмары прошлого.

Все выпили, затем Генрих Дамбахер произнес ответную речь:

— Ваше превосходительство! Господа члены земельного совета! От имени наших зарубежных гостей, представителей брукхаузенских организаций десяти европейских государств, сердечно благодарю за все сказанное вами, за понимание наших проблем. Вопросы, которые волнуют нас, бывших узников, не могут не волновать и ваше превосходительство, поскольку вы на себе испытали произвол нацистского режима. И мы по достоинству оценили ваше сердечное пожелание. Вместе с тем не могу не отметить, что нам нередко приходится слышать как будто аналогичные пожелания, которые нас всегда тревожат. Я имею в виду призывы забыть прошлое. На первый взгляд эти призывы продиктованы гуманным чувством и, казалось бы, отвечают евангельскому завету о всепрощении. На самом деле они антигуманны и нечеловеколюбивы, ибо забвение нашего прошлого — тяжелого урока нацистских концлагерей — увело бы человечество от осознания того, что в нашу эпоху превращает человека в зверя и, следовательно, в чем состоит главная опасность для свободы и достоинства личности. Забыть наше прошлое означало бы, кроме того, забыть и хорошее в прошлом, забыть высокие взлеты человеческого духа, братства, самопожертвования, высокой любви, которые проявлялись у узников перед лицом насильственной смерти, и забывать это так же аморально, как забывать наших погибших. Наконец, мы просто физически не можем забыть. Благоприобретенные в Брукхаузене болезни не дают забыть. И то обстоятельство, что мы не можем забыть ужасов прошлого, не наша вина, не оттого, что мы будто бы мстительны. Слишком велик был заряд зла, чтобы его яд мог рассосаться за жизнь одного поколения. Радиация фашизма продолжает действовать, разрушая нас.

Я прошу поднять бокалы за здоровье нашего камрада — его превосходительства!

— То есть великий дипломат наш Генрих,— восхищенно прошептал Богдан, чокаясь с Покатиловым.

— А по-моему, он говорил без всякой дипломатии.

— Великий дипломат, Костя, проще тебя, есть тот, кто знает, когда что лучше говорить, что не говорить. Этот старый человек тоже болен, как и мы, нацисты два года держали его в каменице, то значит в тюрьме.— Худенькое, в оспинах лицо Богдана быстро розовело от вина.

Он взял с подноса еще два бокала.

Группа гостей между тем распалась на группки, люди вели непринужденный, не скованный никаким протоколом разговор.

К Покатилову с Богданом подошел Гайер.

— На месте Генриха я бы обязательно подчеркнул, что забыть прошлое — это предать не только погибших, но и тех, кто останется после нас. Я лично свой долг вижу прежде всего в том, чтобы указывать новым поколениям на социальные истоки нацистских злодеяний.

— Если бы все люди знали эти истоки, фашизма давно не было бы,— сказал Покатилов.— Кстати, товарищ Гайер, все собираюсь спросить тебя... Ты был знаком с баденмайстером Эмилем?

Широкое лицо Гайера дрогнуло.

— Он умер в конце сорок пятого. Семь лет концлагерей. Язвенное прободение желудка.

— А с Отто Шлегелем?

— Я его ученик и горжусь этим,— ответил Гайер.— Ты был другом Шлегеля в Брукхаузене, я знаю.

— Что с ним?

— Кровоизлияние в мозг. Десять лет нацистских тюрем и лагерей. Скончался в пятьдесят втором. Кукушкин здоров?

— Относительно. Как все мы,— сказал Покатилов и крепко пожал протянутую ему Гайером руку.

— Людям надо прощать как можно больше, не таить зла на сердце, забывать обиды,— говорил стоявший по соседству с Покатиловым чех Урбанек, деликатно придерживая под локоть Мари.— Нельзя лишь забывать того зла, которое есть не случайный огрех, а продуманная система. Люди, исповедующие фашизм, по моему глубочайшему убеждению, уже не люди, а человекоподобные...

— Дорогая фрейлейн Виноградова,— вещал поблизости Яначек, картинно покачиваясь на полных ногах,— жить для других — это и значит наилучшим образом жить для себя: о собственных бедах забываешь. Вот почему даже в концлагере, когда удавалось спровадить на ревер какого-нибудь хефтлинга с пометкой «особая обработка» и тем самым избавить человека от угрозы расстрела, я чувствовал себя счастливым... Так и теперь. Забывать о том, что смысл и счастье жизни в служении людям, значит обеднять себя, утратить ту священную радость, которая делает человека человеком... Я никогда не забывал прошлого, психологически не выходил из него, может быть, поэтому я всегда здоров и весел...

— О бывших узниках принято думать, что они железные, что им ничего не страшно,— говорил Урбанек.— Пагубная ошибка. Пребывание в концлагере дало нам лишь кое-какие дополнительные знания о природе человека и тонко развитое чувство, позволяющее безошибочно определять, где опасность. От мелких драк мы просто уходим...

«Каждый ведет свой монолог»,— подумал Покатилов.

— Эгоистические интересы монополий требуют предать забвению прошлое, и это требование прямо или опосредствованно ощущает на себе каждый из нас... каждый западный брукхаузенец,— говорил Гайер.

— В каждом человеке надо видеть своего брата,— говорила Мари.— Тогда мы видели, и это давало нам силу переносить страдания и помогать друг другу. Вот почему нас тянет в Брукхаузен, вот почему мы не можем не вспоминать. Тогда мы были настоящими людьми. Теперь, увы...

— Прагматики утверждают, милая фрейлейн Виноградова, что наш мир — это рынок, на котором торгуют все и всем... С другой стороны, если посмотреть объективно, происходит известная девальвация вечных ценностей... Строго говоря, убеждений у большинства современных людей нет, есть лишь предрасположение к добру или злу. При благоприятных условиях...

— Тогда все мы были фактически пролетариями и нас связывала солидарность. Теперь вновь классовые раздоры. Нельзя механически переносить то наше состояние в сегодняшний день. Неизбежен крах таких попыток.

— ...и еще я думаю, Вальтер, что бороться за счастье людей — это делать самое удобное богу дело. В минуту истинного счастья человек сливается в душе с создателем...

Двое молодых людей в строгой униформе принесли в миниатюрных рюмках ликер и чашечки с кофе. Богдан проглотил кофе, вытер рот и сказал:

— Ты, Костя, разберешься вот когда. Когда поймешь... Есть жизнь. Выше жизни ничего нет. То najważнейшая мудрость. Один человек хочет жить и делает то, что дает средства для жизни: пинензы, кушать и так далее. Другой так само хочет жить и иметь что кушать, иметь пинензы, чтобы детей учить, доктору платить... Но то так! Мы, Костя, больные люди, мы честные люди. Мы не хотим фашизма, не хотим милитаризма, мы выступаем против войны. Но мы и сами хотели бы немножко жить. Мы, я мыслю, заслужили право спокойно жить.

— Я с тобой не согласен, Богдан,— сказал Покатилов.— Есть жизнь и жизнь...

Глава десятая

1

Утро занималось светлое, тихое. Впервые за последние три дня заголубело небо. Над Дунаем висел туман, вблизи было заметно, что он клубится, но чем дальше от глаз, тем плотнее и неподвижнее казался он; в излучине, там, где всходило солнце, полоса тумана была ярко-алой, как артериальная кровь.

Миновав пустынную улочку на окраине города, Покатилов углубился в заброшенный карьер, затем, держась старой узкоколейной ветки, повернул на север. Он лишь раз, двадцать один год назад, проходил этим путем: как-то всю их команду во главе с Зумпфом в срочном порядке погнали из каменоломни на Дунай грузить щебенкой баржу... Он опять ничего не узнавал — вероятно, потому, что, как и два десятилетия назад, дорога тянулась по склонам однообразных холмов, поросших букovým лесом. И все-таки сердце остро стучало, будто он спешил на свидание со своей юностью.

Гранитная чаша каменоломни засквозила меж стволов с неожиданной стороны. Он не сразу сообразил, что лесная тропа вывела

его к той вершине, где когда-то был расположен лагерный лазарет. Он догадался об этом, только увидев остатки опорной башни канатной дороги: башня стояла всего в пятидесяти шагах от колючей ограды лазарета. Когда отобранные для душегубки больные под командой Броскова накинулись на охрану и, разоружив ее, вырвались за пределы лагеря, несколько заключенных напали на эсэсовский пост возле этой башни. Здесь они и сложили свои головы. Где-то здесь неподалеку нашли потом и тело Решина... По крутой стежке, перебарывая головокружение, Покатилов поднялся наверх и вновь не узнал места.

Пологая квадратная площадка, на которой кучились бараки лагерного лазарета — ревира, заросла ольхой, орешником. Первые лучи солнца, брызнувшие из приречного тумана, багряным светом зажгли мелкую, в холодной росе листву. Чувствуя, что его прохватывает нервная дрожь, он побрел в тот угол, где, по его расчетам, находился шестой блок — там совершил свой последний подвиг Степан Иванович, — и вдруг стал как вкопанный. На невысоком бугре, покрытом свежей травкой, ничком лежал Богдан, и спина его с остро выпирающими лопатками тряслась от беззвучного плача.

Тихонько, чтобы не потревожить друга, Покатилов попятился, постоял с закрытыми глазами там, где был его блок (дистрофия, желудочно-кишечные заболевания, рожа), и по той же крутой стежке мимо развалин опорной башни начал спускаться в каменоломню...

И снова кустарник и молодые деревца — ольха, осина. Было что-то глубоко оскорбительное в том, что на дне каменного котлована, где пролито столько человеческой крови, пышно разросся боярышник. Осинки толпились меж замшелых гранитных глыб — тех глыб. Почему особенно горько, что осинки? А ведь тут поблизости — да, именно тут, недалеко от центрального холма — Фогель застрелил Петренко; тут, только немного поближе к лестнице, Фогель заколол тирольским ножом Миодрага; тут ежедневно, ежечасно кто-нибудь, истощенный и обессиленный, умирал, оттого что уже не мог, не в состоянии был взвалить на себя проклятый камень...

Медленно, радуясь, что нет никого поблизости, взбирался Покатилов по лестнице из ста семидесяти семи ступеней. Он подобрал внизу небольшой, на полпуда кругляк и нес его на левом плече. Он радовался, что кругом безлюдно и никто не видит, как он тащит эту символическую ношу, и никто не видит, что его лицо заливают слезы... Он едва донес камень до верхней площадки, свалил, тяжело дыша, себе под ноги, вытер пот со лба, поднял голову. Метрах в тридцати от него, где когда-то торчала колючая проволока рабочей зоны оцепления и где обычно прохаживался часовой-автоматчик, на белом валуне сидел Сандерс, сторбившийся, сникший; вероятно, здесь расстреляли его брата, а он — можно ли осуждать его за это? — не последовал за ним на добровольную смерть, «на часового».

Не оглядываясь Покатилов пошел по скользкому булыжнику, влажному от оседающего тумана, туда, где работала штрафная команда Пауля и где трое бывших десятиклассников, Виктор, Олег и он, Костя, поклялись дать Паулю бой, если тот тронет хоть одного из них... На площадке, у самой кромки хвойного леса, вдоль которой некогда прогуливались охранники, поджидая, когда Пауль или Цыган погонят к ним очередную жертву, стоял Гардебуа. Он сильно сутулился, дергал головой и как бы поплевывал. И хотя лицо его было обращено к Покатилову, он не видел Покатилова, не воспринимал его. Покатилов зажмурился и снова вроде ощутил кисло-

ватый запах порохового дыма и песок на зубах, увидел яркие звезды каплей крови на сером граните, над которым склонился Шурка Каменщик в свои предсмертные минуты, проглотил горячий ком, подступивший к горлу, и тронулся дальше, к старым каштанам, где однажды во время воздушной тревоги командофюрер стрелял в них, штрафников, сбившихся по его приказу в кучу и лежавших плащмя на земле...

Горько и сладко. Отчего же сладко? Оттого что остался жив? Не оттого. Здесь, над этой землей, долго, долго — он верит в это вопреки всему! — будут проливаться очистительные слезы, ибо здесь гибли люди, муками своими и стойкостью своей доказавшие, что человек может преодолеть в себе страх смерти, когда он воодушевлен высокой идеей.

Он потоптался под каштанами, подернутыми зеленым туманцем новорожденной листвы, все здесь узнавая, и двинулся вверх, к лагерным воротам.

Внутри лагеря было еще сумеречно, сыро. Лишь верхушка массивной трубы красновато отсвечивала в лучах восходящего солнца. Медленным шагом он обогнул крематорий, вытянулся по стойке «смирно» перед изваянием узника, тонкие руки которого были выброшены вперед, а непропорционально большие кулаки гневно сжаты, и вдруг почувствовал, как пронизывает его холодком, покалывает иголочками, — то, что он испытал на этом месте двадцать лет назад, вновь наваливалось на него.

2

...Они пинают меня сапогами, бьют в голову и живот, и мне ничего не остается, как попытаться свалить кого-нибудь из них на пол; если это удастся, я его, гада, задушу!.. Мелькают сапоги, пахнет ваксой, меня жгут со всех сторон огоньки ударов, меня катают по полу, комкают, бросают, переворачивают, жаркий туман в моих глазах, моей голове, толчки, качания, огоньки, крики, меня мнут, засовывают в мясорубку, сейчас все кончится...

Сажу в железном кресле ни живой ни мертвый. Сон это или явь — тоже невозможно разобрать. В голове звенит, во рту все слиплось и ссохлось; опять суют под нос едкую струю нашатырного спирта... Я сажу, вроде слегка покачиваюсь и с удивлением вижу перед собой физиономию с усиками. Это физиономия офицера-гестаповца, который сопровождал арестантский вагон, когда нас везли в Брукхаузен. Меня еще неприятно поразило, что он так чисто говорит по-русски. Он-то как очутился здесь?

Облачко рассеивается, и я вижу стол, на столе револьвер, стальную дубинку, стакан с водой. Над столом окно, схваченное железной решеткой. Зябко, страшно.

А может, это кошмарный сон? Может, все-таки я незаметно для себя уснул в шлафзале и это все только снится — и наш провал, и арест, и то, что я не успел, выполняя инструкцию, вскрыть себе сонную артерию, когда они пришли за мной? Как мне вырваться из этого мучительного сна? Надо, чтобы он застрелил меня?

— Хочешь пить?

Да, я хочу пить. У меня во рту какая-то ссохшаяся глина. Я дрожащей рукой подношу стакан к разбитым губам, выливаю в рот холодную воду, потом швыряю стакан через стол, стараясь угодить в гестаповца. Пусть стреляет!

И снова меня бьют. Опять пол, твердый, пыльный, пахнет сапужной ваксой, огоньки ударов, голова дребезжит, в мясорубку я лезть не хочу. Надвигается спасительный жаркий туман. Слова немецких ругательств я воспринимаю уже с той стороны, куда этим дьяволам не проникнуть.

— Стоп! Довольно!

Холодная вода, которой окатывают меня, возвращает меня в камеру. Опять сижу в железном кресле и гестаповец с усиками кричит мне что-то на правильном русском языке. А я не хочу его видеть, не хочу слышать, я хочу туда, откуда меня только что вынули.

— Сволочь! Идиот! — хрипит мой голос в ответ на какой-то вопрос гестаповца. Наконец ударом ноги мне удается опрокинуть стол.

Бьют.

...Ноги мои притянуты к ножкам кресла и привязаны к ним веревкой. Руки заломлены за спину и тоже связаны повыше кистей.

— Отвечай на вопросы!

Я выплевываю остатки глины изо рта, целясь в желтую рожу с усами. Гестаповец, увернувшись, кричит в бешенстве:

— Die Nadeln!

«Die Nadeln» — это иглы, это я понимаю. Я понимаю, что сейчас будет еще тяжелей. Я понимаю, что меня будут колоть иглами, я слышал о такой пытке. Это очень трудная пытка. Может быть, самая трудная пытка...

— Покатил, последний раз предлагаю... Кто тебя рекомендовал на должность контролера в лагерные мастерские Мессершмитта?

Что? В мастерские? Мессершмитта?.. Я не смею верить услышанному. Я не смею верить своей догадке. Открылось наше вредительство? Только наше? А интернациональный комитет цел? Интернациональный комитет не провалился? Неужели Иван Михайлович не выручит меня?..

Я осторожно, насколько позволяет разбитое лицо, озираюсь по сторонам. Бетонные стены, столик с какими-то шприцами, широкая лавка, а на ней плети, у двери две эсэсовские гориллы с закатанными рукавами сидят на табуретках, отдыхают.

Сердце мое леденеет от ужаса.

— Я не знаю, кто меня рекомендовал, — выдавливаю я из себя и гляжу на черноусого гестаповского офицера, сидящего напротив за столом. Я этого действительно не знаю: может быть, Зумпф, может быть, обер-мастер Флинк; и тот и другой превьппе всего ценили в хефтлингах-иностранцах умение говорить по-немецки, а я хорошо говорил по-немецки. — Не знаю, — повторяю я, глядя в холодные, напряженно прощупывающие меня глаза следователя.

Меня все мучит эта загадка. Только ли мы в мастерских провалились? Как было бы хорошо, если только мы. Вероятно, даже только я. Ведь я по распоряжению обер-контролера синим мелом расписывался на проверенных деталях, в том числе и на тех, со скрытым браком, которые мы выпускали около трех месяцев. Видимо, по этой подписи «Покатил» и нашли меня. Я тот кончик нитки, ухватившись за который они рассчитывают размотать весь клубок. Ужас, ужас!

— Допустим, этого не знаешь, — говорит офицер, пощипывая усы. — А каковы были взаимоотношения капо Зумпфа и обер-мастера Флинка?

— Неважные.

— Что значит неважные?

— Плохие...— Я решил тянуть время. Мне надо выиграть время. Только выиграв время, я смогу рассчитывать на то, что Иван Михайлович прикажет подпольным боевым группам освободить меня.

— Точнее,— требует следователь.

Я поясняю, что Флинк бил заключенных, а капо Зумпф доказывал ему, что бить может только он, капо.

— Лжешь! — снова орет гестаповец.— Die Nadeln!

3

Когда Покатилов выходил из лагерных ворот, он увидел на повороте приближающийся знакомый автобус. Блестя стеклами, стреляя солнечными зайчиками, автобус с мягким гудом подкатил к зданию комендатуры. Шофер открыл дверцы и, спрыгнув на землю, стал помогать вытаскивать наружу огромный венок из красных роз. Сверху, спускаясь из автобуса, венок придерживал старик Герберт, одетый в темный костюм. Вслед за Гербертом сошел Яначек, велел прислонить венок к стене комендатуры, расправил ленту. На булыжный тротуар один за другим спускались Шарль, Насье, Гайер, Урбанек, болезненно полный люксембуржец, Мари, Галя и две служащие секретариата. Покатилов поздоровался со всеми за руку, посмотрел на ленту — на ней золотом было начертано: «Internationale Bruckhausenkomitee» — «Международный комитет Брукхаузена». Так вот зачем Мари вчера вечером посылала мужа в Вену!

— На одиннадцатом ты был, конечно? — подойдя к Покатилову, спросил Яначек.— Генрих там?

— В шлафзале.

— Герберт, привези, пожалуйста, Калиновски, он на своем месте,— распорядился Яначек.— Цецилия, будьте добры, поезжайте с Гербертом до поворота, посмотрите, нет ли на штрафной площадке господина Гардебуа и на обычном месте господина Сандерса. Если они еще там, пригласите их, пожалуйста, сюда.

— Полчаса назад они еще были там,— сказал Покатилов.

— Этот венок у нас сверх программы,— пояснил Яначек.— Ты, Константин, понесешь его вместе с Генрихом. Такова настоятельная просьба супругов ван Стейн...

Через час, возложив венок к подножью монумента напротив крематория и постояв там в сосредоточенном и скорбном безмолвии, все сели в автобус и в непривычной тишине поехали вниз, к гастхаузу. Наверху остался один Герберт. После внеочередного посещения лагеря делегатами он должен был запереть двери в трех уцелевших блоках и в крематории.

Алоиз вместе с шофером заканчивал погрузку вещей в автобус, а гости прощались с хозяином гастхауза, когда на улицу выбежала хозяйка и прерывающимся от волнения голосом сообщила, что господин доктора Дамбахера экстренно просит к телефону Герберт.

— Что там стряслось? — спросил Генрих.

— Пожалуйста, господин доктор, телефон ждет вас!

Яначек переглянулся с хозяином и, нахмурясь, зачем-то вытащил из кармана записную книжку. Генрих, возвратясь, уже стоял на пороге распахнутой двери дома.

— Отделение вооруженных штурмовиков в масках строем вошло в лагерь...

— Что за бред? Что за маскарад? — пробормотал, бледнея, Яначек.

— Они обгадят памятник! — фальцетом вдруг выкрикнул Генрих и, вскинув руки, побежал к автобусу. — Всем женщинам немедленно возвратиться в гастхауз, женщины, пожалуйста: вон из автобуса! Яначек, срочно звони Хюбелю, требуй, чтобы по тревоге выслали полицейский вертолет, и догоняй нас на своей машине. Быстро, в лагерь! — приказал он шоферу.

Не смея перечить, автобус покинули служащие секретариата и Галя. Однако Мари наотрез отказалась, мотивируя это тем, что она узница и, кроме того, при необходимости может стать ценным свидетелем.

— Вперед! — скомандовал водителю Генрих и припал к ветровому стеклу.

Автобус помчался в гору по той дороге, по которой на протяжении семи лет эсэсовцы гнали на погибель колонны невольников. Те же стрельчатые вершины столетних елей, то же проглядывающее сквозь хвою стеклянное небо. Впечатления трех последних дней враз поблекли.

— Мы должны предупредить их. Они решили, что мы уже уехали. Герберт попытается не подпустить их к памятнику, — не оборачиваясь отрывисто говорил Генрих.

— Он из комендатуры звонил? Они не заметили его? — спрашивал Гайер.

— Герберт полагает — нет.

— Они могут прикончить его как нежелательного свидетеля.

— Для этого они слишком трусливы, эти шкодливые коричневые ублюдки! Но они могут обгадить монумент! — оглянувшись, опять выкрикнул Генрих, гневно сверкнув глазами. — Жмите, жмите! — прибавил он, обращаясь к шоферу.

Автобус и так летел на пределе — со скоростью сто километров в час. Зелень молодой листвы, трава, темные лапы елей, пробитые солнцем, тень и свет сливались в одну сплошную черно-золотисто-зеленую массу, и временами казалось, что они несутся в длинном коридоре, похожем на прожитую жизнь.

— План наших действий, — командирским тоном произнес Генрих. — Я и Гайер вбегаем прямо в ворота, за нами в двадцати шагах следуют Шарль, Покатилов, Вацлав и ты, Метти. — Он показал пальцем на болезненно округлого люксембуржца. — Ты, Гардебуа, ты, Насье, и ты, Богдан, отрежете им отступление со стороны одиннадцатого блока. Ты, Мари, дежуришь с шофером в автобусе...

— Если понадобится, я помогу вам своими кулаками, господин доктор, я боксер, — раскатистым басом сказал молчавший доселе шофер, разрядив на момент общее нервное напряжение.

Автобус круто свернул на дорогу рядом с обрывом, под которым солнечно светилась поросшая орешником и ольхой территория бывшего лазарета, потом столь же круто вильнул направо и вырвался на прямую к лагерным воротам.

До ворот оставалось метров триста. Брусчатая лента стремительно стелилась под колеса автобуса. Все вскочили со своих мест и прильнули к стеклам, бледные и старые — сейчас это было очень заметно, — бледные, старые и больные люди.

— Стоп! — крикнул Генрих. — Итак, вперед! — скомандовал он, когда автобус, заскрежедав тормозами, остановился у самых ворот и хлопнули, раскрываясь, дверцы.

Десять бывших узников — девять мужчин и женщина — дружно бросились через проходную в лагерь.

Попытка осквернения Брукхаузенского мемориала была совершена между 10 и 10.15 утра по средневропейскому времени 19 апреля 1965 года.

Как сообщили в тот же день многие газеты и ряд радиостанций мира, одиннадцать преступников, одетых в форму гитлеровских штурмовых отрядов СА, разделившись на три группы, заложили взрывное устройство с часовым механизмом под монумент Сопротивления — бронзовую фигуру восставшего узника работы известного французского скульптора Даниэля Нориса, — взломали дверь крематория, сорвали со стены несколько венков и пытались развести огонь в одной из исправных печей. Когда на место происшествия подошла группа бывших заключенных — делегатов только что закончившегося антифашистского конгресса (по другим сообщениям — конгресса филателистов), бандиты отступили к проему в лагерьной стене и на автомобилях, которые ожидали их поблизости, скрылись в юго-западном направлении. Взрывное устройство — мину замедленного действия «СС-39» — удалось обезвредить. Никто из делегатов по счастливой случайности не пострадал.

В экстренном выпуске бюллетеня «Амикаль де Брукхаузен» случившееся квалифицировалось как очередная провокация неонацистов. Был напечатан призыв ко всем демократам и антифашистам крепить бдительность. Редакционная статья бюллетеня начиналась так: «Сегодня они оскорбляют наших мертвых, завтра будут стрелять в живых. Если мы не справимся с центробежными силами в собственных рядах, если позволим увести себя от четкого понимания, чем грозит современному человечеству возрождение эсэсовского террора, — завтра будет поздно».

Умеренная, респектабельная «Марбахер рундшау» в связи с этим писала: «Инцидент в Брукхаузене доказывает только то, что пора наконец забыть прошлое. Тотальный разгул бандитизма в наши дни настоятельно требует, чтобы юстиция сосредоточила усилия на борьбе с растущей преступностью, а не гонялась за тенями двадцатилетней давности. Нет сомнения, что и тут преодоление настоящего, то есть внимание к проблемам сегодняшнего дня, важнее, чем преодоление прошлого».

Московское радио передало интервью с членом Советского комитета ветеранов войны полковником запаса Иваном Михайловичем Кукушкиным. От лица граждан СССР — бывших узников фашистских концлагерей он выразил возмущение наглой вылазкой гитлеровских последышей и подчеркнул, что подавляющее большинство ветеранов Сопротивления из разных стран Европы, как о том, в частности, свидетельствует и драматический случай в Брукхаузене, по-прежнему надежно стоят в боевом строю.

Москва — Карловы Вары, 1977.



АЛЕКСАНДР АВДЕЕНКО

★

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО...*

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

До сих пор я говорил главным образом о себе, о своих мыслях, чувствах, переживаниях — излагал историю собственной души. Теперь буду рассказывать и о людях, с которыми свела меня судьба. Начну издалека, с аэропорта, с того дня и часа, когда я потерял из виду Людникова-младшего.

Почти все пассажиры устремились к выходу, а Валя почему-то не спешила. Смотрелась в зеркальце, причесывалась, пудрила нос. Саша стоял около нее с портфелем в одной руке и красной курткой в другой — ждал.

— Идите, я сама, — решительно сказала она.

Он повиновался. Но, сойдя на землю, остановился у трапа. Она показалась в двери — в белом свитере и черных брючках, ладная, свежая, юная. Взглянула налево и направо, потом посмотрела на небо, словно желая убедиться, хорош ли он, этот мир, в котором ей предстояло жить. Улыбнулась, довольная тем, что открылось ей с первого же взгляда, и неторопливо стала спускаться. Саша смотрел на нее и думал: «Если она левой ногой коснется земли, непременно и скоро станет моей женой».

Еще какой-нибудь час назад он и не подозревал о ее существовании. Был свободен от женских чар как ветер, ликовал по этому поводу и считал, что после того, что недавно случилось у него с Клавой, он никому не позволит закабалить себя.

Валя ступила на аэродромный бетон левой ногой. «Все, милая! Отныне твоя судьба стала моей судьбой. Но ты этого пока не знаешь».

— Валя, дайте багажный номерок, — попросил он.

— Нет, я сама...

— Я буду ждать вас на стоянке. Бежевая «Победа». Левое крыло чуть поцарапано. Номер «49-31».

Она ответила властно, несколько раздраженно:

— Нет, не ждите меня. Я сама доберусь.

По ту сторону литой чугунной решетки, ограждающей летное поле от площадки для встречающих, стояла мать Саши в белом платье, белых туфлях, сероглазая, русоволосая. Если бы ее чудные волосы не

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

были собраны на затылке в тугую солидную корону, ей нельзя было бы дать и тридцати. Саша поцеловал мать и спросил:

— Ну как ты? Как дед?

— Скучали. Ужасно.— Она внимательно-ревниво всматривалась в его лицо.— А ты?

— Тоже. Тебя и деда во сне видел...

— Да?.. Непохоже.— Она пригладила взъерошенные волосы сына, вытерла белым платочком его мокрый лоб.— Сашенька, ты какой-то сам не свой. Взбудораженный...

— Ты же знаешь, ребята прислали телеграмму! Бросил курортничать и примчался домой...

— И все?

— А что еще?

— Оглядываешься все время, кого-то высматриваешь.

Он не стал отказываться, засмеялся.

— Ну и мать! На сто метров под землей видишь! Ладно, скажу!

Я в самолете такую девушку встретил!

— Девушку? В самолете?

— Вот она!

— Где?

— Вышла из багажного отделения. С белым чемоданом, в белом свитере...

Бросил куртку матери, портфель кинул на землю — хотел бежать навстречу девушке. Татьяна Власьевна удержала его.

— Она здешняя?

— Да. То есть нет. Приехала к нам на работу после окончания института. Инженер-строитель...

Татьяна Власьевна достала из сумки очки, надела их и стала бесцеремонно рассматривать приближавшуюся девушку. Валя подошла и, даже не взглянув на нее, строго сказала ее сыну:

— Я же просила не ждать меня!

— Извините, не расслышал... Познакомьтесь. Моя мама, Валя Тополева. Внучка Ивана Павловича Тополева, нашего первостроителя...

«Познакомьтесь!»! Какое неточное для данных обстоятельств слово!

Зрелая женщина, мать взрослого сына. И юная девушка. Стоят лицом к лицу — безмолвствуют. Одна из них была красивой. Другая в полном расцвете красоты. Разведенная, брошенная мужем, возненавидевшая всех мужчин на свете, кроме своего сына. И девушка на выданье, ждущая признания ее величайших достоинств со стороны человека, лучшего из всех живущих на земле. Усталая, разочарованная Татьяна Власьевна и полная надежд Валя. Мать, которая боится, что первая встречная уведет ее единственного сына. И отважная хватчица, считающая, что ее святое право — любить и быть любимой. Мать, уверенная в том, что только одна она может по-настоящему любить свое чадо. И ее соперница, уверенная, что только одна она способна осчастливить будущего мужа... Но соперницы ли они? В их сердцах схлестнулись противоречивые чувства. Обе они одинаково надеялись и отчаивались. Искали одна в другой поддержки. И — отчуждались...

Татьяна Власьевна сняла очки, спрятала их в сумку.

— Саша сказал, что вы инженер-строитель. Я очень рада. Нашего полку, можно сказать, прибыло. Где вы хотели бы работать?

Говорила миролюбиво, почти ласково. Но на лице ее была вымученная улыбка, и она выдала ее с головой. Валя все поняла и сразу бросилась в контратаку:

— Буду работать там, куда пошлют!..

Татьяна Власьева обиженно пожала чуть полноватыми плечами, с недоумением и укором взглянула на сына. Саша нахмурился и решительно взял Валю под руку:

— Пошли.

Девушка спокойно и мягко отвела Сашину руку, ясными глазами посмотрела на его мать и сказала:

— Так нам же не по пути.

Татьяна Власьева молча повернулась и пошла к автомобильной стоянке.

— Пошли,— повторил Саша и снова взял Валю под руку.

На этот раз она не воспротивилась.

Возле старенькой, потрепанной «Победы» Сашу и Валю догнала женщина в форме связиста.

— Вы прилетели из Соколова? — спросила она Валю.— Ваша фамилия Тополева? Вам телеграмма-«молния».

— Мне?! Откуда?

— Из Москвы. Распишитесь.

Валя расписалась дрожащей рукой. Она смотрела на телеграмму, не решаясь ее прочитать.

— Посмотрите, чья подпись,— попросила она Сашу.— Мамина, да?

Он развернул телеграфный бланк, взглянул на него, улыбнулся.

— Нет, подписала не мама.

— Читайте.

— «Благословляем твои первые шаги святой земле осиротевшие друзья»,— прочитал он вслух.

Валя взяла из его рук телеграмму, сунула ее в сумку, с досадой сказала:

— Я им, барабанщикам, молнирую в таком же духе...

— А по-моему, ваши друзья хорошо сделали, что прислали телеграмму. Молодцы! Благословение друзей — доброе дело...

Саша уложил в багажник чемодан девушки и свой портфель, распахнул заднюю дверцу машины:

— Садитесь...

Татьяна Власьева, сидя за рулем «Победы», нетерпеливо и тревожно ждала, как поступит Саша: сядет ли рядом с ней или уйдет к той... дерзкой девчонке?

Саша, захлопнув заднюю дверцу, уселся на переднее сиденье. Татьяна Власьева готова была расцеловать сына за эту маленькую уступку ее ревности и тревоге...

«Победа» вырулила на проезжую часть аэропортовской площади и направилась в сторону города. Татьяна Власьева, настороженная и строгая, смотрела прямо перед собой. Всего час назад она была доброй, приветливой, великодушной, а сейчас... Даже то, что случилось в главном мартене, где работает Саша, не вывело ее из себя. Теперь же ей казалось, что ее покой, ее семейное счастье, с таким трудом завоеванное, находится под угрозой. И откуда взялась эта хищница? Надо же было ей попасть как раз на тот самолет, в котором летел Саша!

Снизу, из долины, поднимался белый, зеленый многоэтажный город, а за ним — дымный, неоглядный, многотрубный комбинат.

Въехали на широченный и длинный, без конца и края проспект. Слева и справа дома в девять, двенадцать этажей, облицованные светлой плиткой, с балконами, лоджиями. Звенит трамвай. Катятся красные автобусы. Несутся легковушки. На тротуарах многолюдно. На подстриженных лужайках бесстрашно кормится стая диких голубей. Саша оборачивается к девушке, осторожно улыбается:

— Ну как она, земля наших отцов?

— Хороша! Лучше, чем я ожидала!..

— Сейчас вы увидите проспект Гагарина. Стадион и плавательный бассейн в самом центре города. Гигантское водохранилище... Мама, красный свет! Стоп! — завопил Саша и схватил руль.

Татьяна Власьева резко затормозила. Из боковой улицы появилась автобус. «Победа» чуть было не врезалась в него.

— Что с тобой, мамочка?

— Бери, Саша, руль, а я... я сойду.

Он пересел на место водителя, а Татьяна Власьева вышла из машины и направилась к недостроенному высотному зданию. Валя строго посмотрела ей вслед и хладнокровно сказала:

— Все-таки нам с вашей матерью оказалось не по дороге.

Саша распахнул правую переднюю дверь:

— Садитесь рядом со мной. Отсюда лучше увидите город.

Она молча пересела, и «Победа» двинулась дальше к центру города. В автобусе, мимо которого они проскочили, Саша увидел вроде бы знакомое и очень удивленное лицо. «Кажется, Клава, — думал он. — Да, определенно она... Ну и что? Даже неловкости нет... Дружили и раздружились. Не я тому причиной. Другой ей приглянулся, сама призналась... Олег Хомутов с тринадцатой печи. Так себе мужик... Схватил я в цехоме у Тестова горящую путевку и рванул на горный курорт. Думал, днем и ночью страдать буду по зазнобе-изменнице. Ошибся. Переоценил. День ото дня все меньше и меньше вспоминал. Значит, что получается? Не было никакой настоящей дружбы и любви? Просто так, в силу житейских обстоятельств, как говорят материалисты, сошлись. Чужие роли до поры до времени разыгрывали. Теперь — разгримировались...»

Рано или поздно, не сегодня, так завтра Валя и Клава должны были встретиться — в гостинице, или во Дворце культуры, или еще где-нибудь.

Встретились сейчас. На Пушкинском проспекте.

Клава ехала в автобусе. С ее места у окна отлично была видна знакомая «Победа», стоявшая почему-то на перекрестке. Потом она увидела и Сашку Людникова, свалившегося с курортного неба. Не один прибыл. Усаживал рядом с собой какую-то залетную краля в белом свитерочке...

Еще за минуту до этого во всем мире не было более счастливой девушки, чем Клава. Все у нее было вроде бы хорошо: дома, на работе, с Олегом... Сашку вспоминала без всякого стыда и боли. Только с жалостью... И в одно мгновение, в считанные секунды померкли, рухнули ее радости. Так скоро утешился? Не страдал от ревности?

Доехала до ближайшей остановки. Расталкивая стоящих в проходе, выскочила из автобуса на бульвар. Села на уединенную скамью. заплакала, да недолго и скупой льются злые слезы! Не к земле они гнут человек, а выпрямляют, придают решимость, силу. Клава встала, вытерла глаза. По бульвару проходило свободное такси. Усевшись в него, она велела ехать прямо и побыстрее. В конце бульвара догнала медленно идущую «Победу». Что она задумала? Ничего. Просто хочет увидеть своими глазами, куда он повезет свою новую любовь.

— Поезжайте вслед за этой машиной, — попросила Клава таксиста. — Не обгоняйте, но и не отставайте...

Водитель с любопытством посмотрел на свою пассажирку, насмешливо спросил:

— Вы что, гражданка, сыщик из уголовного розыска? Или сотрудник Обэхэс?

— Сыщик, — буркнула Клава. — Давайте вперед и без разговоров!

— Сыщик в юбке! Чудеса!

Отменно хороша Клавдия Ивановна Шорникова, работница экспресс-лаборатории главного мартена, того самого, где работают ее отец и Сашка. Сталевары и подручные называют ее павой. Подруги завидуют ее красоте, ее всегда модным платьям, прическе и, конечно же, тому, что у нее много воздыхателей. Замужние ее боятся: как бы, чего доброго, не увела мужа.

С первого взгляда Клаве не дашь и двадцати — так она ослепительно свежа. Вглядевшись в нее, понимаешь, что ей больше двадцати пяти, что лучшее ее время уже прожито: ее не тронутые пинцетом брови часто, без всякой причины сурово сдвигаются, румяные губы ни с того ни с сего стягиваются в суровую нитку, а прекрасные бирюзовые глаза не могут сосредоточиться на чем-нибудь одном, перебегают с предмета на предмет, будто что-то ищут, будто чего-то опасаются.

Валя с интересом разглядывает людей, идущих по бульвару в тени деревьев, цветники, лужайки, красивые, один другого лучше, белостенные, с балконами, увитые зеленью дома, продовольственные и промтоварные магазины, яркие театральные афиши.

— Это улица Алексея Петрушина, коренного жителя города. До войны он сталеварил на первой печи. На той самой, где я теперь работаю. На рабочей площадке к опорной колонне прикреплена мемориальная доска с золотыми буквами. В его, Алеши, честь. Три года парень воевал счастливо. Сложил голову в Берлине за сутки до полной капитуляции гитлеровского рейха. Похоронен в Третьяковском парке. А вот его мраморный бюст!

Не выходя из остановившейся машины, Валя внимательно вглядывалась в скульптурное изображение Алексея Петрушина.

— Хорошее лицо, — сказала она. — Открытое. Честное. Умное. Настоящее лицо героя. Таким он и был?

— Точно. Замечательный был парень Алеша.

— Вы это так сказали, будто знали его.

— Что вы! Когда он работал сталеваром, меня еще и на свете не было.

Она перевела взгляд со скульптурного портрета на лицо Саши.

— Вы чем-то похожи на него...

Он не смутился, положил руку на ее руку, тихо сказал:

— Кроме всего прочего, вы еще и великодушный человек.

Она покраснела и убрала руку из-под его руки.

Поехали дальше. Замедлили ход около четырехэтажного, с колоннами здания.

— Это металлургический техникум, — сказал Саша. — Видите, как стены выщерблены? Моя работа! Три года грыз здесь гранит науки, пока получил диплом техника.

— Но вы же говорили в самолете, что учитесь на третьем курсе института.

— Закончив техникум, поступил в институт.

— И работаете сталеваром?!

— У нас на комбинате тысячи молодых специалистов, имеющих инженерные дипломы, до поры до времени вкалывают на рабочих местах горняков, доменщиков, сталеваров. Рабочего ума-разума набираются. С рабочими мозолями не потонешь ни в какой конторской прорве. И нос кверху не задерешь, когда станешь начальником... Стадион сейчас хотите посмотреть или потом?

— Я устала. Хочу отдохнуть. Отвезите меня в гостиницу.

— Через десять минут будем на месте.

И верно — не прошло и десяти минут, как Саша остановил маши-

ну у подъезда старомодного пятиэтажного здания, построенного еще в начале тридцатых годов.

— Вот и наша гостиница. «Центральная». Эпохи первой пятилетки.

Он вышел из машины, открыл дверь с правой стороны, подал Вале руку, помогая сойти на землю. Достал из багажника чемодан и повел свою подопечную в гостиницу.

В вестибюле за стеклянной перегородкой — дежурная, похожая на акулу в аквариуме. Глазами глубоководной хищницы смотрит на красивую девушку.

Валя достает паспорт, просовывает его в окошечко в перегородке:

— Есть у вас свободная комната?

— Нет и не будет в ближайшие три дня.

— А в общежитии можно устроиться?

— Общежитие на целую неделю заняли экскурсанты.

— Но где же мне ночевать? Я направлена сюда из Москвы работать.

— Как ваша фамилия? — чуть подобревшим голосом спрашивает дежурная. Берет паспорт, изучает его, изрекает неохотно: — Найдется для вас комната. Забронирована... Из Москвы забронировали.

— Из Москвы? Кто же мог забронировать?

— Не мое дело. Давайте будем оформляться. Заполняйте. — Дежурная подала ей анкету. — Номер оплачивается за три дня вперед. Согласны?

— Да, да, согласна! Могу и за целый месяц заплатить...

— Не возьму... Тут вам еще телеграмма-«молния». Вот.

Валя взглянула на Сашу, стоявшего в стороне, улыбнулась и, развернув телеграфный бланк, прочла вслух:

— «Да здравствует первый день вашей жизни легендарном заводе».

— Еще одно послание друзей? — спросил Саша.

— Я думаю, это проделки не друзей, а друга... Пети Шальникова, вашего земляка. Узнаю его почерк.

— Шальников не только мой земляк, но и приятель. Вот какое приятное совпадение: ваш друг оказался и моим другом!

Валя подошла к Саше, пожала ему руку.

— Не буду вас задерживать. До свидания. Большое спасибо.

— До свидания. До вечера! В шесть буду ждать в сквере напротив гостиницы. Покажу ночной город...

Не захотел узнать, откажется она или согласится. Быстро ушел.

Не с Валею надо было ему терять драгоценное время! И не о ней думать. Ждут его не дождутся в цехе. Там он должен был быть еще час назад!.. Однако не угрызается он совестью. И ничуть не жалеет, что потратил время на Валю...

Открыв дверцу машины, Саша увидел... Клаву! Она привычно, по-хозяйски расположилась на переднем сиденье. Туфли сняты. Ноги с голыми коленями подвернуты. Улыбается, а он с немым изумлением смотрит на нее. И не отвечает на улыбку. «Откуда взялась? — думает он. — Видела, как я провожал Валю? Ну что ж, тем лучше!»

— Здравствуй, Сашенька! С прибытием. Почему не отбил телеграмму о вылете? Почему лишился радости встретить тебя?

Он так ошеломлен ее напором, ее бесстыдством, что не находит слов для ответа.

— С прилетом, говорю, Сашенька! Как тебе отдохалось? Очистил легкие от заводской пыли и газа? Набрался сил? Пропитался горным солнцем?

Говорила и говорила. Улыбалась и улыбалась. А он — будто ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Стоял истуканом.

— Чего же ты молчишь? В рот воды набрал? А может, ты, сердешный, перегрелся на горном солнышке? Или минеральной воды опился? Да ты слышишь меня? Здравствуй, говорю!

— Здравствуй,— буркнул Саша.

— У меня есть имя. Или ты на курортном приволье его забыл? Клавой меня зовут. Клавдией.

— Не надо так. Давай поговорим по-человечески...

Она чуть не задохнулась от того, что услышала.

— По-человечески?! А я что — по-звериному с тобой до сих пор разговаривала? — Схватила Сашу за руку, втащила в машину, посадила за руль. — Включай! Поехали! Подальше от ее глаз. Кто такая? Откуда?

Он не ответил. Молча смотрел на дорогу, переключал рычаг скоростей, поворачивал руль. Квартал за кварталом, улица за улицей оставались за кормой.

— Зачем ты ее сюда привез? Какие у вас планы? Что ей от тебя надо? Чего ты от нее добиваешься?

— Помолчи, Клава! Это самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать...

— «Помолчи»! Легко сказать... — Она всхлипнула, закрыла лицо руками.

Любое испытание Саша способен выдержать, но не пытку слезами. Он сразу почувствовал себя виноватым, беспомощным, безвольным. Но, к счастью, Клава перестала плакать. Сухими, полными ненависти глазами взглянула на него, потребовала:

— Кто она? Говори!

Он ответил ей без раздражения, мягко, ласково, будто разговаривал с больным капризным ребенком:

— Человек. Такая же, как мы с тобой. Инженер-строитель. Приехала на постоянную работу. Мы познакомились в самолете. По дороге в гостиницу я показал ей город. Еще вопросы будут?

— Будут! Скажи, пожалуйста, почему ты захотел ее подвезти в гостиницу? Почему эту краля посадил рядом с собой, а не какую-нибудь старушку? Я видела, как ты перед ней мелким бесом рассыпался!.. Бесовестный ты, Сашка, и бесчестный!

Саша спокойно ее выслушал, спокойно сказал:

— Не тебе, Клавдия, произносить такие речи.

— Ты про что?

— Про то, как ты с Олегом...

Она расхохоталась:

— А ты, лопухий, поверил? Я нарочно оговорила себя. Ревность твою хотела поджечь. И любовь. Очень прохладно ты любил меня в последнее время...

Легче и легче становилось Саше от того, что Клава так разговаривала с ним. Каждое ее слово оборачивалось против нее же. Не любила она его. Держалась за него как за удобную, добротную вещь. Беснуется сейчас потому, что ее лишают привычной собственности.

— Клава, я хоть и лопухий, но зато не слепой. Своими глазами видел, как ты с Олегом крутила роман. Да и не один я был свидетелем...

— Если и крутила, то тебе же назло. Ничего настоящего у нас с ним не было. Но теперь будет. Слышишь? Будет! Он давно приглашает меня во Дворец бракосочетания.

— Я бы на твоём месте, Клавдия, принял приглашение,— сказал он.

— А куда спешить? Олег от меня никуда не уйдет, а вот ты...

— Я уже ушел от тебя. И не сегодня. Тогда еще, когда узнал про Олега...

— Ну и катись себе на здоровье! Подумаешь!.. Таких, как ты, я найду только в нашем цехе штук сто, была бы охота. Проваливай, скатертью дорога, плакать больше не буду. До свидания!

Саша резко затормозил на многолюдной Комсомольской неподалеку от центрального гастронома.

— Иди,— угрюмо сказал он.

Клава поняла, что дальше играть с огнем опасно. Прильнула к его плечу головой, умоляющим голосом проговорила:

— Прости... Сама не знаю, что говорю. В голове и сердце одно, а на языке другое. Пропаду я без тебя. Не бросай меня, Сашуня. Ревную к тебе всех, кто в юбке. И особенно эту... Понравилась она тебе? Скажи!

— Понравилась! — неожиданно для себя запальчиво ответил Саша.

Скорее по инерции, чем по необходимости, Клава спросила:

— Это правда?

— Да!

Она выскочила из машины, хлопнув дверцей так, что задрожали стекла. Побежала к магазину, чтобы побыстрее скрыться с глаз Людникова. В дверях столкнулась с пожилой сидящей женщиной — своей матерью Мариной Васильевной Шорниковой. Та отстранила дочь свободной рукой, смерила ее с ног до головы насмешливым взглядом:

— Ты что, голубушка, с цепи сорвалась?

Всю жизнь со своими и чужими Марина Васильевна разговаривает грубовато, но без злого, недостойного человека чувства. Не умеет сердиться на людей, даже когда они этого и заслуживают. И на всех хватает ее большого сердца. Люди любят ее. Нет у нее недругов. Самые языкатые бабы не сочиняют о ней небылиц. Завистливые не завидуют. Хмурые, встретившись с ней, улыбаются. Все соседки что-нибудь должны ей: кто черный перец, кто корицу, кто червонец, а она — никому ничего. Редко к кому ходит в гости, а в ее доме на улице Крылова с утра до вечера двери не закрываются. Ей шестьдесят, а она уже лет десять ходит в бабках. На улице Крылова ее чаще всего называют бабой Мариной. Это крупная, ширококостная женщина с морщинистым грубоватым лицом деревенской, никогда не отдыхавшей старой труженицы. Ни время, ни большой достаток в семье, ни долгая жизнь в городе не заставили ее поменять одежду, привычную и любимую с крестьянской молодости. На бабе Марине длинная темная юбка и кофта со сборками навыпуск. Черные, с проблесками седины волосы гладко зачесаны, разделены строгим пробором, наполовину прикрыты ситцевым неярким платком. В ушах, розовых и маленьких, как у девчонки, тяжело раскачиваются серьги с дешевыми камешками. Баба Марина малограмотная, еле-еле читает, но наделена умом и сердцем, каких не приобретешь ни в одном университете.

Клава не хотела выглядеть несчастной ни перед матерью, ни перед кем другим. Взяла себя в руки, заставила одубелые от злости губы изобразить улыбку:

— Я помочь тебе хочу, мама...

Баба Марина опустила на тротуар большую плетеную корзину, полную винных и водочных бутылок.

— От тебя жди помощи, как от козла молока. Не уваливай. Я спрашиваю, где ты была? Кто тебя вдоль и поперек исхлестал? Почему не на работе? В прогульщики записалась?

— Не беспокойся. С разрешения мастера запоздаю на час-полтора.

— Не на все мои вопросы ответила, голубушка. Я спрашиваю, кто тебя так исклевал, что перья дыбом стоят?

— Ах ты вот о чем!.. С Сашкой поссорились. Я тебе дома все расскажу...

— Все знаю наперед! Не может тебя Сашка Людников обидеть. Так что, доченька, не жалуйся: ни одному твоему слову не поверю.

— Ну и не верь! Сама скоро убедишься, какой он, твой любимчик!..

Клава хотела взять тяжелую корзину, но мать не дала.

— Не твое это дело, а мое, домохозяйское, таскать корзины. Шагай себе быстрее на работу. Иди, кому говорю!

Клава ушла. Баба Марина посмотрела ей вслед, вздохнула и раздумчиво проговорила:

— Эх, беда ты моя сладкая! С какого края тебя кусать, чем запивать — ума не приложу.

Она взяла корзину и, переваливаясь с боку на бок, поплелась к трамвайной остановке. Бежевая «Победа» бесшумно шла вдоль тротуара и остановилась как раз возле бабы Марины. Открылась дверца, из машины выскочил Саша Людников.

— Здравствуйте, Марина Васильевна!

— Ты, Сашко?! Откуда тебя черти вынесли на своих хвостах? Почто оборвал курортную жизнь?

— Неотложные дела в мартене, Марина Васильевна.

— Хорошо, коли так. Дела — это всегда хорошо. Делом человек на земле держится. Особенно ежели оно доброе. Твой-то какие?

— Недобрые, Марина Васильевна.

— Почто так? По твоей или чужой воле?

— Еще не знаю. Будем разбираться...

— Ну а с ней, с Клавдией, почто не разобрался? Чего не поделили?

— Трудный это вопрос, Марина Васильевна... — Он посмотрел на корзину с бутылками. — Что это вы столько хмельного закупили?

— Меньше никак нельзя. Гостей ждем целую ватагу. Сто рублей ухлопала на портвейны и коньяки. Чистое разорение этот юбилей.

— Какой юбилей?

— Да ты что, с луны свалился? И стар и млад знают про юбилей Шорникова. Стыдись! Кому-кому, а тебе надо раньше всех пронюхать про тот юбилей. Ты что, на курорте разве газет не читал? На вот, про светись.

Достала из корзины какую-то попку, завернутую в газету. Развернула, разгладила на груди газетный лист, протянула Саше.

— Тут все обсказано.

На первой полосе многотиражки «Металлург» напечатан портрет пышноусого, улыбающегося во весь рот сталевара в спецовке и каске, сдвинутой на затылок. Над ним крупный заголовок: «Сорокалетие трудовой деятельности старейшего сталевара, бывшего землекопа и грабаря Ивана Федоровича Шорникова». Саша вернул газету бабе Марине.

— Ради такого праздника не грешно и под чистую разориться семейству Шорниковых. Садитесь, Марина Васильевна, подвезу домой. Мне как раз надо на улицу Крылова.

— Не выдумывай! Нечего тебе делать на нашей улице. Поезжай, милый, своей дорогой, а я пойду. Поезжай, кому сказала! Да морщинам на лбу не давай волю — старят они тебя. Баской ты парень, хороший, стало быть, туз бубновый, а кралю себе выбрал не своей масти. Почто ни мычишь, ни телишься? Слышал мои уговоры?

— Слышу. Согласен с вами...

— Вот и молодчина! Ну а теперь посторонись, дозволю улицу перейти.

Саша не отступил. Схватил тяжеленную корзину, поставил в машину, а вслед за ней почти силком втащил и бабу Марину.

Тем временем Клава подошла к большому, стоквартирному, как здесь принято говорить, дому, занимавшему целый квартал, тому самому, около которого Саша высадил свою мать. Тяжело дыша, часто останавливаясь, Клава поднимается по некрутому, надежно закрепленному временному трапу.

Выше нее, на десятом этаже, стоит Татьяна Власьевна. Рядом с ней прораб и его заместитель в темных, забрызганных цементом спецовках. У обоих озабоченные, хмурые лица. Свежий ветер полощет подол синего, в белый горошек платья Татьяны Власьевны, пытается вырвать из ее рук развернутую кальку. Отсюда, с вершины недостроенного дома, далеко и хорошо видно: сотня цехов металлургического комбината, старый и новый город по обоим берегам водохранилища. Особняком рвется к небу мать гора.

Татьяна Власьевна озабочена, встревожена. Слушает и не слушает, что говорят ей прорабы.

— Нет, не могу я ваши предложения утвердить! — категорически заявляет она и отстраняет от себя кальку. — Делайте все по проекту. Никаких отступлений.

— Но мы же вам доложили, Татьяна Власьевна, — почтительно возражает прораб.

— Слышала. Недостающий гранит получите в срок. Мрамор отгружен.

— И все же я осмелюсь...

— Это не смелость, Петр Алексеевич, а перестраховка. И еще привычка иметь в резерве на всякий случай какое-то количество строительных материалов и свободные дни, чтобы в случае нужды заткнуть прорыв...

Прораб снял каску, вытер лысую потную голову.

— По одежке протягиваем ножки...

— Татьяна Власьевна, можно вас на минуту? — послышался женский голос.

Прораб, его заместитель и Людникова посмотрели вниз. Там, на площадке перед верхним звеном трапа, стояла Клава Шорникова. Выражение ее лица испугало Татьяну Власьевну. Она распрощалась со строителями и быстро спустилась к Клаве.

— Что с тобой, девочка?

Клава не отвечает. В глазах закипают слезы. Все понятно Татьяне Власьевне. Когда-то и она вот так же, отвергнутая, плакала на груди подруги...

— Успокойся. Самые лучшие мужики не стоят того, чтобы мы плакали из-за них. Ты уже виделась с Сашей?

Клава, всхлипывая, ответила:

— Виделась. И он выложил всю правду. Влюбился в другую...

— Так и заявил — «влюбился»?

— Ага!

— Не мог он тебе так сказать. Просто попутчица. Я познакомилась с ней. Встретились в самолете, поболтали и разошлись. Уверю тебя!

— Ничего вы не знаете. Я своими глазами видела, как она... завладела. Увела. Украла. Что же мне теперь делать?

И после этих слов Клавы мать Саши заколебалась: стоит ли ей вмешиваться в жизнь молодых?..

Саша доставил бабу Марину на правый берег водохранилища, где в особнячках жили главным образом ветераны комбината, его заслуженные люди. Дом Шорникова ничем не отличался от других. Низкий забор перед фасадными окнами. Небольшой фруктовый сад, огород, гараж, сарай. Только наличники на окнах не голубые, как у всех, а чисто белые. Высадив бабу Марину и отнеся хмельной груз во двор, Саша сел в машину и погнал ее в левобережную часть города.

На Кировской неподалеку от главной проходной комбината он пошел на обгон медленно идущего самосвала со щебенкой. И в этот момент из-за грузовика выскочил какой-то сумасшедший велосипедист. Если бы Саша нажал на тормоз, самосвал неминуемо врезался бы в его машину. Он повернул чуть вправо, увеличил скорость и, промчавшись мимо велосипедиста, уклонился от столкновения с грузовиком. Не растерялся и велосипедист. Бешено завертел педалями, свернул на обочину и, перелетев через руль, упал в канаву.

Саша затормозил в безопасном месте, выскочил из машины и побежал к пострадавшему. К его радости, тот поднялся, отряхнулся, шмыгнув разбитым носом и вдруг завопил:

— Са-ашка, ты ли это?

— Я, Степа! Здорово.

— Это ты, друг любезный, меня в канаву загнал?

— Хочешь отблагодарить? Не уйди я круто вправо, ты мог бы очутиться в яме размером в три аршина.

— Ты думаешь? Ну спасибо. С приездом! Как оно там, на курорте?

— Там-то хорошо, а здесь, я слышал, плохо... Ты куда это мчался как угорелый? Почему не на работе?

— Бюллетеню я, товарищ бригадир. Спешу вот в поликлинику. Нет сил работать...

— Понятно. Решил отдохнуть?

— В самую точку попал, бригадир. И завтра и послезавтра буду честным образом прохлаждаться. Баста! Степка Железняк кончил рабочую карьеру. Помнишь, откуда я пришел на завод? Прямо со школьной скамьи. И телом и душой устремился в гер-ройские, не-победимые ряды р-рабочего класса...

— Хватит декламировать! Говори конкретно, что случилось.

— Разве ты еще не знаешь?.. Объегорили старики и тебя и нас, твоих подручных. В поте лица мы варили сталь, а нас при подведении итогов положили на обе лопатки, да еще грудь придавили сапогом: не пикни, дескать, побежденный, не смей кричать «караул».

— Можешь ты просто рассказать, что произошло?

— Я же так и рассказываю. Плохо слушаешь, бригадир, уши чем-то заложены... Ты мне вот что скажи: кто из сталеваров второго мартена в этом полугодии больше всего выплавил стали? Фактически это сделал молодой сталевар Александр Людников и его молодые, пригожие, кровь с молоком подручные. Кто выполнил и перевыполнил социалистические обязательства? Опять же ты и мы, золотые твои помощники. Кто перекрыл на целых пять процентов за счет внутренних ресурсов производительность труда? Еще раз отличились мы, комсомольцы. Чья самая дешевая сталь? Наша! Кто наибольшее количество раз попадал в анализ, выдавая сталь точно по заказу? Мы, безусые рыцари старого мартена. А что пропечатано на казенной бумаге — на бумаге жюри? Первое место присудить усатому сталевару Ивану Федоровичу Шорникову. Его же, испытанного героя Шорникова, увенчать лаврами победителя в социалистическом соревновании. Ему же, почетному металлургу, почетному гражданину, первострой-

телю, ветерану труда, вручить денежную премию и знак, сделанный на Монетном дворе!

— Все? — мрачно спросил Саша.

— Могу от себя добавить. Не тебе, Людников, присуждают почетное звание лучшего сталевара, а Шорникову. Не в твою, а в его честь заиграет духовой оркестр и раздадутся аплодисменты. Все, что заработано тобой, присвоил себе твой наставник!

— Ну это ты брось, Степа. Круто загибаешь. Иван Федорович не сам себе присудил премию... Ты же знаешь, он тоже здорово работал.

— Верно, но не лучше нас с тобой. Мы из собственной шкуры вылезли. Сами себя переплюнули, а он...

— Иван Федорович перекрыл все прежние свои рекорды.

— Верно, перекрыл. Свои. Но до людниковских не дотянулся. И это ему не понравилось: грозно посмотрел на жюри и директивно внушил призвать молодых да ранних к порядку, посадить, короче говоря, в лужу!

Дурашливый Степа достиг того, к чему стремился: растравил Сашу.

— Поехали в цех! — скомандовал тот.

Запахнули в машину помятый, с вывернутым передним колесом велосипед и помчались к проходной.

Саша Людников вбегает на крутую железную лестницу, ведущую прямо с заводского центрального проспекта в цех, к тринадцати печам. Степан Железняк едва поспевает за ним.

В обоих концах цеха, южном и северном, всегда гуляет ветер. В середине жара, пекло, а тут продувной, не для слабых телом, сквозной холодок.

В гигантском, чуть ли не километровом пролете на рабочих площадках работает вторая дневная смена.

Как только Саша окунулся в жару и прохладу родного мартена, как только глотнул его прогорклого, с газком воздуха, как только до его уха донесся тревожный звон колоколов, грохот металла, как только он увидел несгораемых, непробиваемых и непромокаемых ребят в суконных куртках, касках и синих очках, колдующих у печей, он сразу почувствовал себя другим человеком. Перестал злиться, негодовать. Успокоился. Стал выше житейских мелочей. И выше самого себя такого, каким был час назад, вдали от доброго огня.

Он шел по шершавым стальным плитам рабочих площадок, вдоль фасадов печей, сквозь огненный будничный строй второй смены и чувствовал себя рабочим человеком. Пламя, бушующее во всех тринадцати мартенах, было огнем его души. Он синхронно с цеховым колоколом гудел медью и бронзой. Предупреждая об опасности, трубил в сирену вместе с электровозом. Лапы мостового заливочного крана, несущие к печи стотонный ковш с жидким чугуном, были продолжением его рук. Завалочные машины, искря электрическими разрядами, щелкая контроллерами, вторгались в печи длинными хоботами, на конце которых были мульды со скрапом. Был там же, на венчике хобота, и он, сталевар Саша, ревниво наблюдавший за тем, чтобы стальной лом ложился равномерно по всей площади плавильной ванны.

Тонкой струйкой лилась из ковша в изложницу доведенная до кондиции сваренная сталь — и Саша следил за тем, чтобы металл попадал куда надо. Каменщики футировали огнеупорным кирпичом внутренности ковшей — и Саша подавал им раствор, огнеупорные бруски, подбрасывая шуткой. Он заливал в печь чугун, пробивал лет-

ку, выдавал готовую плавку. Управлял краном и электровозом. В четыре руки, рядом со своим соседом по печи, менял вышедшую из строя огнеупорную крышку на втором окне. Пил газировку. Дымил сигаретой. Зубоскалил с девчатами, подносчицами огнеупорной глины. И отчитывался перед мастером. Смотрел на приборы и звонил по телефону начальнику шихтового двора. Обжигал лицо, выравнивая пороги печей. Брал пробу для экспресс-лаборатории. Сдавал и принимал смену. Радовался и огорчался цифрам, мелом написанным на черной доске. Праздновал и работал. Все здесь держалось его рабочими руками, и он был неотъемлемой частицей рабочего мира, рабочего братства.

Шел привычным, спокойным шагом и в то же время рвался на встречу огненной буре. Здравовался со сталеварами, с подручными. Задавал на ходу вопросы. Шутил. Смеялся. Принимал поздравления с возвращением. Интересовался новостями. И никто ему не сказал о том, что его больше всего занимало. И он оценил чуткость и деликатность товарищей. Пламя то одной, то другой печи отражалось на его лице. Он шел, лавируя между препятствиями, обычными на рабочих площадках мартена. Завалочные машины, снующие туда и сюда. Платформы со скраповыми мульдами. Чугуновозы. Низко опущенные на маслянистых тросах клешни заливочных кранов. Электровозы. Гора выломанного огнеупора. Кучи доломита. Какие-то трубы. Еще горячий, сизо оплавленный заливной желоб. Кислородные баллоны. Сварочный аппарат. Черные змеи шлангов...

Степан Железняк и здесь еле поспевал за Сашей. Наконец ухитрился догнать. Взял под руку и подвел к огромному плакату, еще пахнущему свежей клеевой краской, украшенному хвоей и кумачом.

Фанерный лист выкрашен в рембрандтовские тона — темно-коричневые, постепенно переходящие в светлые. И на этом фоне как солнечное пятно — портрет. Красивый работяга! В спецовке, в синих очках, сдвинутых на лоб. Смуглолицый. Пышноусый. С неправдоподобно белозубой улыбкой. Под портретом славянской вязью вычеканено: «Сегодня Солнечная гора отмечает сорокалетие трудовой жизни бывшего землекопа, грабаря, каменщика, бетонщика и монтажника, а ныне знатного сталевара — Ивана Федоровича Шорникова».

Саша перевел недоумевающий взгляд с плаката на своего подручного:

— Ну и что?

— Тут все законно. Пошли дальше.

Подвел к другому плакату. На нем в тех же рембрандтовских тонах изображена группа сталеваров. На первом плане тот же пышноусый улыбающийся Иван Федорович Шорников с орденами, медалями, почетными значками на груди. Внизу написано: «В первом квартале звание лучшего сталевара цеха завоевал Иван Федорович Шорников. Почетная ноша не согнула его богатырские плечи. Вперед и выше, наша гордость и слава, наш друг и отец! Там, где пройдешь ты, побываем и мы, твои последователи».

Степан Железняк осторожно толкнул локтем бригадира:

— Ну?

— Н-да... — неопределенно сказал Саша.

Легко на помине Иван Федорович Шорников. Неслышно подошел к Саше со спины, обхватив руками, защекотал шею жесткими усами.

— Здорово, Александр!

По голосу и по усам Саша понял, кто сгреб его в охалку. Освободился из объятий, приветливо сказал:

— Здравствуйте, Иван Федорович.

Степа демонстративно отошел в сторону от нежничавших соперников.

— Бросил курорт и примчался на мой праздник? Спасибо! Этого я тебе вовек не забуду.

На тыловой стороне мартена, на разливочном пролете, и малоллюднее и вроде бы скучнее, чем на фасадной. Но дважды в сутки, в момент выдачи плавки, и тут бывает весело.

В огнеупорном желобе клокотал молочно-розовый поток. Озаряя все вокруг, рассыпая миллионы искр, сталь лилась в жерло ковша. Выдавали плавку подручные Саши Людникова — коренастый смуглолицый Николай Дитятин, длинновязый, подстриженный ежиком Слава Прохоров и Андрей Грибанов, румянощекий, старательный в работе паренек. Все трое молча и серьезно смотрели на дело рук своих. В их молчании чувствовалась рабочая гордость. Да и как им не гордиться? Такие молодые, еще подручные, а уже самостоятельно варят сталь! И нисколько не хуже, чем в ту пору, когда ими командует Сашка Людников.

Степан Железняк подошел к друзьям, сообщил вполголоса:

— Прибыл Сашка! Сюда курс держит. Я уже ткнул его носом в лужу, в которую мы шлепнулись.

Вскоре показался и он, бригадир Саша Людников. В спецовке, в рукавицах и каске. Подошел к подручным, полушутя-полусерьезно гаркнул:

— Здорово, ребята! Разрешите доложить: прибыл по вашему приказанию!

— Здравствуй! Привет курортнику!

Саша из-под рукавицы посмотрел на поток стали. Лицо его стало розовым, в глазах отразился огонь.

— Дошли до меня ваши печальные новости...

— А разве они и не твои? — спросил Дитятин.

Саша повернулся лицом к своим подручным.

— Виноват, ребята, оговорился... Все мое — ваше! Все ваше — мое! Потому и бросил курортничать. Давайте думать, что предпринять. — Он обвел взглядом подручных. — Как работали, так давайте и обсудим положение — честно!

После этих его слов вспыхнуло на берегу огненной реки, под ее шорох и клекот, без трибуны и регламента собрание-«молния», страстное говорение:

— Соцсоревнование не только наше личное дело, а всеобщее, государственное, партийное... Надо с партийных позиций ударить по тем, кто любит загребать жар чужими руками!.. Кто лучше всех вкалывает и больше всех потеет на рабочем месте, тому и выдают за обеденным столом самую большую ложку! Так заведено в хорошем семействе... Я в эти треклятые три месяца вложил пять лет будущей жизни!.. Во Дворце культуры ни разу не был... Мужем себя чувствовал только по большим праздникам... Тестов, профсоюзный вождь в цеховом масштабе, целый квартал призывал нас вперед и выше, сулил золотые горы и молочные реки с кисельными берегами, а пришло время расплачиваться — показал кукиш...

Когда все отвели душу, сбили пыл и пену, Саша сказал, обращаясь к первому подручному Дитятину:

— Ну а теперь поговорим ответственно. Твое первое слово, Коля. Говори.

И Дитятин, как всегда сдержанно, деловито, сказал:

— Нам не присудили первое место, потому что оно понадобилось

штатному передовику Шорникову. Юбилейный подарок получил наш дорогой соперник и друг Иван Федорович.

— Что ты предлагаешь? — спросил Саша.

— Идти в партком! В горком! К директору комбината! В редакцию! Вот какое мое предложение.

— Ну а ты, Слава, что скажешь?

— Взять за шкуру начальника цеха и допросить с пристрастием, как все это случилось. Потом, вооружившись цифрами и данными, двинуться к директору комбината товарищу Булатову...

Дитятин не дал Прохорову до конца высказать свою мысль:

— К директору комбината, Слава, не надо ходить. Напрасный труд. Шорников и Булатов были закадычными дружками еще в первой пятилетке.

Степан Железняк коротко свистнул.

— Так, может, здесь собака и зарыта?

— И тут и там. И еще где-то...

Людников внимательно и невозмутимо слушал товарищей.

— А ты, Андрей, почему в рот воды набрал? — спросил он, поворачиваясь к Грибанову. — Свое особое мнение имеешь или как?

Степан Железняк мрачновато усмехнулся:

— Ничего он не скажет... Потому как не видит на солнце ни единого пятнышка!

— А ты за меня не рожай, Степан Степаныч. Я еще и сам плодovitый, похлеще крольчихи. — Грибанов ногтем указательного пальца выбил из пачки «Беломора» папиросу. — Могу и высказаться, если вам так приспичило. Шорников справедливо награжден. Он весь выложился в этом квартале. Так что напрасно будете звонить в колокола — никто вас не услышит.

Все молчали, глядя на Грибанова.

— Что, братцы, носы повесили? — спросил Железняк. — Расшифровываете слова Андрюхи? Я их вам живо растолкую!.. Ударник коммунистического труда, будь ниже травы, тише воды. Раз и навсегда заруби себе на носу, что ни мастер, ни главный инженер, ни начальник цеха, ни профсоюзный вождь Тестов, ни директор комбината товарищ Булатов никогда ни в чем не ошибаются! Вот как надо понимать Андрея Грибанова!

Андрей не чувствовал себя посрамленным. Уверенный в своей правоте, он сказал:

— Стыдно и противно смотреть, Степа, как ты надрывно вопишь: «Обидели! Объегорили! Задвинули!» На кого замахнулся? Кого записал в противники? Иван Федорович Шорников — старейший рабочий комбината. Наша гордость. Он стал ударником коммунистического труда еще в тридцатые годы. За свою трудовую жизнь выдал тысячи и тысячи тонн сверхплановой стали. В прошлой пятилетке здорово работал и в этой вырвался вперед!

Сталевары молчали. Даже Железняк не сразу нашелся что сказать.

Ковш на одну треть наполнился сталью. Николай Дитятин взял алюминиевую чушку, бросил ее в жерло ковша. Алюминий — самый сильный раскислитель. Сталь теперь окончательно созрела — доведена до полной кондиции.

Первым все-таки обрел дар слова Степан:

— Видали молодца? Слыхали? Нас раздевают догола среди бела дня, при всем честном народе, а нашему Андрею стыдно и больно, что мы оказываем сопротивление. Он считает, что все ладно!

Андрей Грибанов чувствовал за собой силу — многолетний авторитет Шорникова, всемогущего директора Булатова, начальника цеха

Полубоярова, профсоюзного деятеля Тестова и стенную газету «Мартеновка».

— Да, Степа, я считаю, что все ладно, когда живу по правде Ивана Федоровича Шорникова. А вот ты... не понимаю, хоть убей, кому ты подражаешь, за кем тянешься. Десять лет учился в советской школе, был пионером, стал комсомольцем, а живешь не по общей правде, а по индивидуальной, шкурной!

Степан не обиделся. Сам был мастером на подобного рода выпады.

— Слыхали? Видали? Разоблачитель! Давай-давай, Андрюшка, срывай с меня маску, развлекай родную бригаду!

Саша Людников не вмешивался в схватку молодых петухов. Ему было интересно слушать обоих, хотя симпатии его были только на одной стороне...

Иссяк стальной поток, иссякло и страстное говорение. Как вспыхнуло, так и погасло...

Погасла стальная заря в разливочном пролете, после того как выдали плавку. Посумерничало, стало прохладно.

К притихшей, насторожившейся бригаде подошел инженер Полубояров. Высокий, поджарый, с военной выправкой. Лет под пятьдесят, но молодежав. Лицо опалено огнем мартена, солнцем, ветром гор и морских просторов. Одет в рабочую, тщательно подогнанную спецовку. Обут в грубые, на толстой подошве башмаки. На голове белая каска. Из верхнего кармана куртки торчит край темного, взятого в квадратную рамку стекла. Полубояров протянул Людникову руку:

— Здравствуй. С возвращением. Как отдохнул?

Саша неопределенно пожал плечами.

— Плохо? Почему же вернулся раньше срока?

— А разве вы не догадываетесь, Николай Петрович?

Дитятин, Прохоров, Железняк и Грибанов молча смотрели на начальника, ждали, что он скажет. Полубояров тоже молчал. Достал из кармана жестянку с табаком, трубку, стал ожесточенно набивать ее душистыми волокнами «Золотого руна». Это был красноречивый намек: не желаю, дескать, распространяться на людях. И подручные сталевара поняли. Переглянулись и разошлись, оставив Людникова и Полубоярова наедине. Но и теперь Николай Петрович не спешил поделиться тем, о чем думал.

Начальник цеха и бригадир стояли над пропастью литейного двора. Там, на нижнем этаже мартена, шла привычная работа: тепловоз передвигал по рельсам платформы с пустыми, готовыми принять сталь изложницами; мостовой кран схватил за проушины ковш со сталью и понес к изложницам; сталеразливщики открыли стопор — хлынула молочно-розоватая струя; каменщики, уединившись в стороне, споро и молча выкладывали огнеупорным кирпичом внутренности холодного ковша, прямо под их мастерки по толстой резиновой трубе под давлением поступала белесая, жидкая, как сметана, огнеупорная глина.

— Правда, что Шорникову дали первое место? — спросил Саша. Дымя трубкой, Полубояров кивнул.

— Правда, что его показатели ниже показателей моей бригады?

— Немного...

— Почему же все-таки он первый, а моя бригада на втором месте? Как могло получиться такое, Николай Петрович? Как же вы, человек справедливый, честный, допустили несправедливость? Дело ведь не только в том, что это по нашей бригаде бьет. Бьет по завтрашнему дню цеха! Веру в соревнование подрывает...

— Обстоятельства могут быть сильнее меня, Александр...

— Не знаю таких обстоятельств, которые бывают сильнее людей, стоящих на принципиальных позициях!

— Пойми, Александр, я не твой противник. Жюри, присудившее первое место Шорникову, уверено, что поступило принципиально правильно.

— Где же принципиально, когда нарушен главный принцип нашей жизни — каждому по труду?

— В жюри практические люди, а не философы. Они по-житейски просто решили проблему: Людникову еще жить и жить, работать и работать, а Шорникову... В общем, я сначала был против того, чтобы Шорникову отдавать твое законное первое место, а потом... навалились на меня со всех сторон, уговорили ознаменовать производственной победой юбилей старика, его выход на пенсию — и я сдался. Вернее, даже понял, что нельзя иначе. Действительно, у тебя все впереди, а у Ивана Федоровича все позади.

Разговаривая, они перешли с тыловой, прохладной и тихой, стороны печи на фасадную — в жару, шум, многолюдье, в ослепительный свет тысячеградусного пламени, выбивающегося через пять завалочных окон. Остановились на рабочей площадке.

— Кто на вас навалился, Николай Петрович? — спросил Саша.

— Все понемногу... И больше всего вот этот...

Полубояров указал глазами на круглолицего, с румяными скулами, в пиджаке, при галстуке, но в защитной каске человека, деловито суетящегося у соседней, второй, печи, — председателя профкома Тестова.

— Бешеную энергию развивает. Готовит постамент для торжественного чествования юбиляра и лучшего сталевара... Не люблю я этого чудо-деятеля, но поддался его уговорам — проголосовал за Шорникова.

— Вопреки своей совести, да?

— Нет. Я уже тебе сказал: сомневался, но убедился, что так надо.

Вот в этом месте доверительного разговора Людников и обрадовал Полубоярова неожиданными словами:

— Ну, если надо...

— Наберись терпения, Александр, — сказал Полубояров, повеселев. — Шорников сегодня пропоет, так сказать, свою лебединую песню.

— А если я помешаю ему прокукарекать?

— Ты этого не сделаешь! Пойми, машина уже завертелась. Несдобровать тебе, если сунешь палку в маховое колесо. Ну, договорились?

Саша не ответил. Но Полубоярову достаточно было и этого. Он и не рассчитывал на полное понимание.

Уладив, как ему казалось, одно трудное дело, Полубояров взялся за другое не менее трудное. По-свойски, улыбаясь, он спросил Сашу:

— Говорят, друзей на свадьбу приглашаешь?

— На свадьбу? Кто вам сказал?

— Экая новость! Да об этом все знают.

— Кроме меня. Не собираюсь я жениться, Николай Петрович...

Полубояров недоверчиво смотрел на молодого сталевара.

— Не собираешься?

— А почему вы об этом спросили?

— Потому, дорогой мой, что от твоей женитьбы зависит моя судьба. Ты, конечно, знаешь, что мы с твоей матерью давние друзья...

— Говорите попроще, Николай Петрович. Так я скорее пойму, чего вы от меня хотите.

— Я так и сделаю... Люблю я Татьяну Власевну. И ей не безраз-

личен. Мы давно поженились бы, но... Только после твоей женитьбы Татьяна Власьевна обещала переехать ко мне...

— Так что же я, по-вашему, должен делать, Николай Петрович? — спросил Саша.

— От тебя, как видишь, зависит, чтобы мы с Татьяной Власьевной стали мужем и женой...

— Теперь я, пожалуй, понял, почему вы проголосовали против меня, — жестко сказал Саша. — Боялись, что заподозрят в покровительстве будущему пасынку!

Полубояров не ответил. Опустил голову, повернулся и пошел прочь...

...Какова природа нравственного героизма? Где его истоки? Какое временное пространство отделяет зарождение героизма от его свершения — сиюминутного подвига? И что лежит в этом пространстве? Душевная работа? Размышление? Осмысление ошибок? Самолюбие? Тщеславие? Желание достойно прожить свою жизнь? Знает ли человек, когда именно свершает героический поступок? Не из будней ли складывается его героическая жизнь? И чем больше человек чувствует себя человеком, тем яснее понимает свои права, обязанности, ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и благополучие товарищей по работе, за страну, за народ, за человечество. В капле его труда на благо других и проявлены его нравственность, его человечность...

Саша Людников направился на свое рабочее место. Подошел к печи настолько близко, что спецовка окуталась прозрачной дымкой испарений. Скулы, губы, подбородок охватило нестерпимым жаром. Но Саша терпел. Ему хотелось физической болью заглушить душевную.

В плавильной ванне все в порядке: пороги хорошие, в откосах нет прогаров, подина не нуждается в ремонтной наварке. Можно загружать скрап. И только Саша хотел подать команду машинисту завалочной машины, как тот сам понял, что пришло время действовать. Выдвижным хоботом подогнал платформы с мульдами к печи, ко всем ее окнам, и начал загрузку. Тяжелая обрезь слитков, швеллерных балок, рельсов, спрессованная сизо-синяя стружка, части комбайнов, косилок, тракторов, автомобилей, ведра, корыта, холодильники, велосипеды, утюги, кастрюли — все, что когда-то служило людям, теперь превратилось в скрап, отправлялось на переплавку, чтобы через десять часов воскреснуть в облике стали, из которой можно сделать новые тракторы, автомобили, комбайны, утюги, холодильники, кровельное железо, велосипеды. Простое, будто бы привычное превращение, но каждый раз оно завораживало Сашу, как завораживает человека творчество.

Внимательно следил он за тем, как распределялся лом по всей площади печи. Не должно быть завалов, толстых слоев в одном месте и тонких в другом. Машинист работал умело. Каждую мульду кантовал там где надо. Черные глыбы равномерно ложились на бело-голубое, бело-синеватое, чисто белое огненное ложе, надежно затянутое огнеупорной наплавленной коркой.

Постепенно скрап из черного превратился в серый. Потом пожелтел, стал малиновым и наконец растворился, растаял в массе огня, стал плавкой, пока еще сырой.

Павильон с пультом управления мартеповской печью расположен напротив завалочных окон. Тут не так жарко, шумно и беспощадно светло, как на рабочей площадке. Можно перевести дыхание после

бешеной работы, подышать прохладой, дать отдохнуть глазам, уставшим от ослепительного света, побыть одному, подумать.

Саша поднялся на капитанский мостик сталевара, проверил приборы, вытер пышущее жаром, мокрое от пота лицо, положил кисти рук на пульт управления. Перебирая черные и красные кнопки, думал свою тяжкую думу: «Кто же прав — Андрей Грибанов или все остальные ребята, Полубояров или я? Или все по-своему правы? Не может этого быть. Правда одна. Наше оно — первое место. Мы честно его заработали. Боролись за него и в этом полугодии и в течение всей нашей жизни. Самолюбие не пережиток, как думают некоторые, не родимое пятно, а строгое человеческое чувство: броня достоинства, рабочая гордость. Соревнование в природе человека. Это криница, из которой мы пьем. Будет проклят, кто замутит в ней воду!.. Первое место — наше! Не имею права отказываться от того, что принадлежит бригаде. Безнравственно в моем положении прятаться в тень. Надо воевать за правду. Воевать и победить. Отстаивая справедливость, не побоюсь вызвать весь огонь противника на себя...»

Драки еще не было, не были разведаны силы противника, а Людников уже вволю намахался кулаками. И здорово выдохся. И начал падать духом. «Так-то оно так, конечно, однако... — уныло думал он, перебирая кнопки на пульте управления. — Всякая палка о двух концах. И правда тоже: наша и не наша. Плетью обуха не перешибешь. В этих словах, как их ни охаивают, народная мудрость, горький опыт многих поколений. Безумство храбрых — это красиво звучит, но... Будь мудро скромным, Людников! Работай без шума и не требуй награды за свой труд. Не задирай нос к небу, не зарься на пьедестал, на который по праву ветерана, прославленного солдата первой пятилетки, взойдет Иван Федорович Шорников...»

И перестал размахивать кулаками Саша Людников.

Никто так не умеет влиять на нас, как мы сами. Сами себя судим беспощадным судом. Сами себе выносим приговор. Сами приводим его в исполнение.

Людников взошел на капитанский мостик сталевара борцом за справедливость, а покинул его непротивленцем злу... Капитулянтство? Что вы! В подавляющем случае оно выступает под привлекательной личиной осознанной необходимости.

Возле установки, вырабатывающей газированную воду, ни души. Саша подставил стакан под шипящую ледяную струю. Он не только утолял жажду, но и заливал чадящие головешки самолюбия. Пил и гордился, что нашел в себе силы подняться над некрасивой игрой в соревнование. Выпил один стакан, принялся за другой. И тут увидел самого милого на свете, самого родного его сердцу человека.

Небольшого роста, сухонький, с седыми висками, в старенькой каске, в несвежей спецовке, человек этот пробирался правой, менее жаркой и более свободной, стороной мартеновского цеха. Старший мастер Влас Кузьмич Людников. Родной дед Саши, его учитель, ближайший друг. Варить сталь он начал в Донбассе, когда еще не было ни на карте, ни в действительности урало-кузбасской индустрии. Коммунистом он стал, когда еще не появились на свет родители Саши. Октябрьская революция для него не история, не далекое прошлое, а исток его жизни, его детство, юность. К тому году, когда Саша родился, его дед уже сварил сотни тысяч тонн стали для Уралмаша, Челябинского тракторного и еще дюжины заводов-гигантов. Когда Саша был октябренок, его дед стал Героем Социалистического Труда.

Только три раза в году, по самым большим праздникам, он прикрепляет к пиджаку четыре ордена Ленина, золотую звездочку, три ордена Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции.

Но правительственные награды в течение всего года сохраняют свой золотой блеск на его груди. Каждому, и тому, кто не знает Власа Кузьмича, кто впервые его видит, ясно, что человек этот замечательный во всех отношениях, что он всю жизнь провел у огня мартенов. В течение сорока лет имел он дело с тысячеградусным огнем — и не сгорел, не обжегся, не попал под его власть, не превратился в стального человека. Смотрел на огонь, как орел на солнце.

Саша любил деда, гордился им. От него он впервые узнал, как всемогущ рабочий человек. Это он однажды взял Сашу за руку, повел на завод в мартеновский и сказал: «Вот, Сашок, твое рабочее место на всю жизнь».

Саша с радостью, с удивлением смотрел на деда. Переменился тот за эти две недели. Выше ростом не стал, не раздался в плечах, не помолодел. По-прежнему белым-белы виски, и все-таки — какой-то новый. Внушительно новый. Похож на великого полководца — такой же сухонький, мелколицый. Надень на деда старинный мундир с эпохетами, накинь на плечи плащ — и не отличишь от Суворова...

Дед подошел к внуку, и его губы расплзлись в доброй стариковской улыбке, обнажая широкую щербину в передних зубах. Саша засмеялся. Нет, дед совсем не похож на полководца!..

— Ты чего регочешь?

— Так... от радости, что вижу тебя. Здравствуй!

Дед отстранил его от себя, смерил с ног до головы оценивающим взглядом.

— Вот ты какой у нас шустрый да нетерпеливый: не заходя домой, на работу подался. Работа не волк, в лес не убежит.

И только после этих слов, сказанных не от души, а просто так, чтобы как-нибудь ознаменовать встречу, дед церемонно подал внуку руку и с чувством сказал:

— Здорово, Сашок! Ну как отдыхал? С пользой?

— Самую малость отдохнул. Ребята вызвали. Ты, конечно, в курсе дела...

— Я и посоветовал твоим подручным отбить телеграмму. Ну, что собираешься делать?

Саша молчал, подыскивая слова для ответа.

— Я спрашиваю, какие у тебя планы?

— А что бы ты сделал на моем месте?

— Я?.. — Дед осуждающе покачал головой. — Плохи твои дела, Влас Кузьмич. Двадцать пять лет натаскивал внука жить самостоятельно и ничего путного не добился. Эх, Сашко, Сашко! Ты же хозяином жизни стал. Все сложные вопросы обязан самостоятельно, без оглядки на дедов и отцов решать.

— Я с тобой советуюсь, дедушка.

— Не совета ждешь, а указки: делай так-то и так, а не иначе. Не жди, внучек, ничего тебе не дам. Выкручивайся сам. Бывай здоров.

— Постой, дедушка!.. Вспомнил я твою любимую поговорку: «За одного молчаливого работягу трех говорливых хвастунов дают». Ты и теперь ее любишь?

— К чему это ты?

— А к тому, что к лицу ли нам, молодым сталеварам, бузотерить, идти в атаку на членов жюри и в передовики пробиваться? Свое место должны знать.

Говорил, не кривя душой. Выкладывал то, что выстрадал, продумал.

— Пустопорожня твоя линия! — крикнул Влас Кузьмич тоненьким визгливым голосом. — Пустое соглашательство! Начальники любят

вот таких, как ты, терпеливых работяг: из вас, лопухих, безопасно и прибыльно выжимать энтузиазм!.. Ты же рабочий человек!..

Влас Кузьмич внезапно умолк: мимо в сопровождении фото- и кинокорреспондентов прошмыгнул плотный, сдобный, круглолицый, раздумывавшийся от возбуждения Тестов. Старший Людников проводил его сердитым взглядом и снова принялся распекать внука:

— Ты же, говорю, рабочий человек! От рабочего корня вся правда на советской земле произошла. Тебе есть чем гордиться. Твою рабочую гордость, твою рабочую честь топчут шорниковским каблуком, а ты... Не ждал и не гадал, что у меня вырастет такой угодливый внук. Тьфу на тебя да и только!..

Влас Кузьмич плюнул себе под ноги и засеменял прочь...

Про таких, как Людников-младший, обычно говорят: великие мастера осложняют себе и без того сложную жизнь. Я же о них скажу иначе: Людниковы осложняют себе жизнь, чтобы другим легче жилось!..

На первой печи заливали жидкий чугун. На второй, шорниковской, митинговали. В честь Ивана Федоровича. Саша внимательно следил за тем, как из восьмидесятитонного ковша, косо приподнятого мостовым заливочным краном, равномерной струей лился в печь жидкий чугун, как он соединялся с расплавленным скрапом. И еще Саша изо всех сил старался не смотреть, что происходит на соседней шорниковской печи. Изнемогал в борьбе с самим собой и ничего не добился: все видел, все слышал...

Важный, лет сорока с чем-то человек в замшевой куртке и красном свитере, в замшевых мокасынах и красных носках, с тяжелыми очками на носу стоял перед группой кинооператоров и корреспондентов и внушительно, звучным дикторским голосом говорил:

— На заводах черной металлургии, как и на других предприятиях страны, давным-давно отменены гудки. Не будем сейчас обсуждать, хорошо это или плохо. Сегодня, сейчас, сию минуту ровно в шестнадцать ноль-ноль это правило будет нарушено... Гудок долгое время был верным спутником нашего пролетариата. Будил на расвете, призывал к работе, к забастовкам, звал на баррикады...

«Хорошо, собака, говорит!» — с завистью подумал Людников-младший.

И тут же грянул забытый комбинатский ревун-бас. Морозом прохватило спину Саши. Слушал и невольно, через силу улыбался. Как славно гудит! Жаль, что его отменили! Почему не посоветовались с теми, от чьего имени и для кого гудит гудок? При его звуках и комбинат, и город, да и вся жизнь выглядят как-то по-другому — ярче, праздничней!

— Слышите?! — с пафосом воскликнул в микрофон человек в замшевой куртке. — Под этот гудок наши горняки, сталевары, доменщики, прокатчики, литейщики, электрики, слесари, токари, механики — словом, весь рабочий люд начинал и кончал рабочий день. Нет более прекрасной музыки для рабочего человека, чем эта — симфония гудка. Сегодня наш гудок воскрес, зазвучал, чтобы приветствовать Ивана Федоровича Шорникова, лучшего сталевара главного мартена, победителя в социалистическом соревновании!

Заводской ревун умолк. Диктор придвинул к себе треногу с микрофоном и продолжал:

— У подножья горы, на берегу древней реки, в когда-то безлюдных, глухих степях ныне неоглядно раскинулся город металлургов, горняков, строителей, рабочая столица великой промышленной державы, индустриальная крепость. Со дня основания комбината трудится

на нем Иван Федорович Шорников. Его по праву называют первожителем нашего города. По возрасту ему давно надо быть на пенсии, но его не отпускает от себя родная, любимая мартеновская печь. Точнее сказать, он сам не может с ней расстаться. Прирос к ней душой. Верно, Иван Федорович?

— Так оно и есть. Куда денешься? — бодро ответил Шорников.

Кинооператоры, фотокорреспонденты перевели свои объективы на него. Он смущен, не знает, куда смотреть, что делать.

Диктор после короткой паузы снова привлек к себе внимание.

— Сегодня рабочая общественность главного мартена отмечает знаменательную дату в жизни Ивана Федоровича — шестидесятилетие. День своего рождения мастер огненных дел отметил выдающимся производственным достижением: сварил наибольшее по сравнению с другими сталеварами количество стали. Победитель удостоен высокого звания — лучший сталевар главного мартена. Товарищи по работе поздравляют Ивана Федоровича с двойным праздником!..

Зазвонил колокол мостового крана. Тревожно-радостно сигнализировал электровоз. Белые полотнища пламени вырывались из печи через открытые окна. Завалочная машина лихо пронеслась по широкой колее слева направо, открыв для кинооператоров и будущих телезрителей группу рабочих, поздравляющих юбиляра. Несколько человек подхватили Шорникова на руки и со смехом, с недружными криками «ура» неловко подбросили кверху...

Все это видел и слышал Саша Людников. Видел он и кое-что другое...

Старший мастер Влас Кузьмич Людников, прислонившись спиной к железной колонне, издали невозмутимо наблюдал, как чествовали Шорникова.

Инженер Полубояров, мрачно-задумчивый, в одиночестве стоял под черными неподвижными лопастями гигантского, сейчас выключенного вентилятора и усердно набивал трубку. К тому же, что происходило в цехе, он, казалось, был непричастен.

Неподалеку от него находилась Клавдия Шорникова. Она боялась, что отец, когда наступит его очередь ораторствовать, собьется.

Командующий парадом Тестов беспокоился, хотя к этому никаких не было оснований, оглядываясь по сторонам: все ли в порядке, не нарушается ли железный сценарий праздника? В поле его зрения попал Саша Людников. Вот так сюрприз! Приехал! Да как вовремя. В ясную голову Тестова пришла счастливая мысль: пристегнуть к празднику Людникова. Правда, это не предусмотрено сценарием. Но каши маслом не испортишь. Все же на всякий случай он решил посоветоваться с Пудаловым. Береженого бог бережет.

Позади юпитеров, излучающих потоки жаркого света на съемочную площадку, стоял Пудалов, редактор комбинатской радиогазеты, в хорошо сшитом костюме, скрадывающем сильную сутулость, узколицый, с гладко зачесанными черными волосами, с белым платочком в верхнем кармане пиджака. Тестов подошел к нему и вполголоса, тоном заговорщика, сообщил важную новость:

— На своем рабочем месте появился Сашка Людников!

— Ну и что?

— Надо и его пригласить к микрофону.

— Ты гений, Тестов!

...Николай Дитятин, Слава Прохоров, Андрей Грибанов и Саша Людников забрасывали в печь хромомарганец...

Ведущий программу тем временем объявил:

— Слово имеет юбиляр. Пожалуйста, Иван Федорович!

Шорников спокойно, уверенно подошел к микрофону, откашлял-

ся, разгладил усы, достал из кармана несколько листов бумаги и начал бойко читать заготовленную речь:

— Друзья! От всей души благодарю за горячие поздравления, за сердечные приветствия и за добрые пожелания. И даю вам слово, дорогие товарищи, что постараюсь исполнить ваш наказ: жить долго и дальше работать по-коммунистически. Старый конь, как говорится, борозды не испортит!..

Оторвался от бумаги, заулыбался. Хороша была улыбка на его выветленном огнем, с пышными усами лице.

Влас Кузьмич, наблюдавший за ним второй раз за этот день, плюнул себе под ноги. Любил старик таким способом выражать свой гнев...

Спрятав под усами улыбку, Шорников продолжал:

— В первую пятилетку я прибыл сюда не в пассажирском поезде. И не в самолете прилетел. Приехал на своей рыжей кобыленке, запряженной в грабарскую телегу. Прискакал, по совести сказать, не на ударную стройку, не по зову партии и народа, не пятилетку выполнять, а длинный рубль зашибить. Пока я целковый до целкового складывал, наша землекопная артель стала бетонно-монтажной бригадой: мы вершок за вершком поднимали от земли первую домну, наряжали ее в бетон да в железо. Росла домна, рос и я, бывший сезонник, бывший землекоп, бывший мужик-пахарь...

Радиооператоры, вооружившись наушниками, бдительно контролировали звукозапись. Пудалов жестами и мимикой попросил машиниста мостового крана, чтобы тот сильнее звонил в колокол — создавал эффектный фон для речи Шорникова. Тестов наклонился к Пудалову, зашептал:

— По-моему, сразу после юбиляра должен выступить его законный наследник.

— Согласен.

Пудалов подошел к Саше:

— С приездом, дорогой!.. Поздравь старика! Ладно? Даю три минуты. Готовься, а я набросаю для тебя речугу! — Достал блокнот, авторучку и с профессиональной легкостью начал набрасывать речь.

Саша, сдвинув брови, смотрел на сутулого узколицего человека в очках и думал: «С детства знаю, что такое честность. Не был ни трусом, ни лжецом, ни подхалимом. Никого не обманул, не предал. Всегда и всем говорил правду. А теперь... что сделаю теперь?..»

Вырвав из блокнота листок, Пудалов протянул его Людникову:

— Валяй, как говорится, с богом! Я, надеюсь, угадал, что тебе хочется сказать. Поздравляю, дорогой учитель и друг... Горжусь... Желаю вам...

— По бумажке не буду выступать,— решительно заявил Людников.— Я так, по-своему...

Пудалов хлопнул Сашу по плечу:

— Что ж, рискнем! Не собьешься?

Дружные аплодисменты покрыли заключительные слова речи Шорникова. Иван Федорович вытер лоб платком, привычным жестом огладил усы. Ведущий поднес к нему микрофон.

— Иван Федорович, позвольте задать вам несколько вопросов?

— Задавайте. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!.. Извините, если чего не так сказал...

— Все так. Много ли на комбинате ваших учеников?

— Не сосчитаешь! Есть они на каждой печи, в каждой смене.

Пудалов вытолкнул вперед Сашу Людникова, подмигнул Шорникову — говори, мол, о нем!

Влас Кузьмич еще раз плюнул:

— Обезьяний цирк да и только!..

— Есть среди моих учеников такой, кто работает не то что хорошо, а, можно сказать, отлично! Сталевар Александр Людников — хоть он и молодой, а я в годах — мой соперник. В труде мы с ним соперники, а в жизни друзья. Уж который год соревнуемся. Трудно мне было в этом квартале угнаться за ним, за молодым да резвым. Думал, не мое оно, первое место, а его, моего счастливого соперника. Но когда жюри подбило все цифры, оказалось, что победил все-таки я. Нечего греха таить — обрадовался. Потом, конечно, огорчился. За своего ученика и друга огорчился. Он себя самого превзошел. На какой-нибудь волосок не дотянулся до победной черты. Я прошу вас, дорогие товарищи, поприветствовать от всей души Саню Людникова. Не победил он сегодня, но завтра все награды ему в руки!..

Напрасно Клава боялась за отца. Он и без бумажки, без подсказки со стороны превосходно сыграл роль великодушного победителя. Ведущий подошел к Саше, спросил:

— Не желаете ли вы что-нибудь сказать по поводу юбилея вашего друга-соперника?

— Желаю! — Саша взял микрофон. Начал спокойно: — Дорогой Иван Федорович! Сегодня вам сказали много добрых слов. Скажу и я. Спасибо за все хорошее, что вы сделали для меня!

Тестов был доволен началом речи Людникова. Полубояров дымил трубкой, понимающе щурил глаза: молодец, мол, Саша, разумно поступает, не лезет на рожон. Юбиляр, судя по его улыбке, тоже был доволен. Влас Кузьмич с мрачным видом слушал внука. Обескуражены были мирным тоном своего бригадира и подручные Людникова Железняк, Дитятин, Прохоров.

Как бы размышляя вслух, Саша говорил:

— Мы каждый день читаем в газетах и журналах — «счастье трудового человека»... Какое же оно, это счастье, товарищи, в чем оно и откуда родом?.. Ты живешь в свободной стране, где у власти стоит народ. На заводе, в шахте, на фабрике, в мастерской, на железной дороге, в колхозе ты можешь проявить себя настоящим человеком. Не князь ты и не граф, не известная балерина, не прославленный киноактер, а знаменит. Тебя уважают, любят, песни про тебя поют. Честный, творческий труд открыл перед тобой все дороги. Вот это и есть счастье трудового человека. Ради него наши отцы и деды Октябрьскую революцию совершили. И наш комбинат построен ради него!..

Все, кто находился на рабочей площадке второй печи, внимательно слушали Людникова. Тестов и Пудалов переглядывались, одобрительно кивали. Полубояров забыл о своей трубке. Слушал Сашу и сердцем тянулся к нему: любил умницу Сашу.

Влас Кузьмич с гордостью смотрел на внука. Ему ясно было, что тот скажет дальше!

— Мы все знаем основу закона нашей жизни — каждому по труду.— Саша повернулся к Тестову, в упор посмотрел на него.— А вот вы, товарищ, против этого закона. Свой нам подсовываете. Думаете, что счастье человек может получить только из ваших рук. И только тот имеет на него право, по-вашему, кто приглянулся вам, кто подходит под вашу мерку!

— Правильно! Молодец! — закричал Влас Кузьмич.— Это по-нашему, по-рабочему!

Дитятин, Прохоров, Железняк бешено аплодировали.

Андрей Грибанов осуждающе качал головой.

Клава закрыла лицо руками.

Пудалов сказал что-то Тестову и скомандовал съемочной группе:

— Выключайте!

— Выключайте! — сказал Саша. — Меня все равно услышат. Зачем я все это говорю? Не для того, чтобы зубами вырвать первое место. Во имя справедливости отважился испортить вам праздник!

Тестов, бледный, с трясущейся челюстью, подбежал к оратору:

— Ты с ума сошел, Людников! Собственным языком роешь себе яму!

Саша даже не взглянул на него.

— Иван Федорович, — продолжал он, — печально и больно смотреть на вас. Вы же знаете, что работали в этом квартале хуже нас. Почему же согласились на первое место? Откажитесь, пока не поздно, от всего, что на вас сегодня навесили любители барабанного боя. И без этого у вас достаточно заслуг, званий, орденов. Откажитесь, иначе совесть загрызет!

Шум. Возгласы одобрения. Странники Саши Людникова бьют в ладоши. Тестов и Пудалов растеряны.

— Я еще скажу, товарищи! — закричал Людников, дождавшись тишины. — Соревнование — святое дело для всех и каждого. В нем нельзя ни хитрить, ни ловчить. Нельзя ничего ни от кого утаивать. Никаких подтасовок, натяжек, самоуправства. Все должно быть чисто. Вот тогда это и будет называться соревнованием! Соревнование, внедряемое и опекаемое сверху, обречено на провал. Соревнование, которое начинается снизу, разгорается в пламя и охватывает всю страну. Где такое соревнование, там и хорошая работа, и сила, и правда, там коммунистический труд!

Клава Шорникова подбежала к Саше, бросила ему в лицо:

— Предатель!

Ошибался Людников-младший, когда полагал, что его выступление на празднике, устроенном в честь Шорникова, мгновенно восстановит поправленную справедливость. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...

После разразившегося в цехе скандала Тестов и Шорников вошли в кабинет начальника цеха. Передняя его стена сплошь застеклена, видны мартеновские печи и работающие около них люди. Организатор неудавшегося торжества задернул шторм на стеклянной стене и положил руку на плечо Шорникова:

— Извини, Иван Федорович, хотя и ни в чем я не виноват. Не ожидал я такой выходки от Людникова!

— А я разве ждал?! Сорок лет честным трудом, верой и правдой служу советской власти, а он... Так наплевать в душу!.. Нет, я этого не оставлю!

— Правильно!.. Но почему он против тебя выступил?

— Зависть... Это с одной стороны. А с другой — Клава. Надоела она ему, другую краю себе нашел... Он давно зацепку искал, чтобы разорвать дружбу со мной и отказаться от Клавы.

— Понятно!

— Гуляка был и его родной отец. Прижил Сашку с этой... Танькой Людниковой и бросил на произвол судьбы. Ну и сынок пошел по кривой отцовской дорожке!

Распахнулась дверь, вошел мрачный и злой Полубояров. Шорников сейчас же, поджав губы и фыркая в холеные усы, поднялся и вышел. Тестов и Полубояров выжидательно смотрели друг на друга и молчали.

— Почему безмолвствуете, Николай Петрович? Почему не даете политическую оценку безобразному событию? — спросил Тестов.

Полубояров пожал плечами:

— А что тут говорить?.. Случилось то, что должно было случиться. Я вас предупреждал, Матвей Григорьевич.

— «Предупреждал»! Ишь какой умник объявился... Вы, как я вижу, не поняли, что произошло. Политический скандал! Подрыв авторитета общественных организаций! А кто виноват? На заседании жюри вы с пеной у рта защищали этого шкурника. И ему это стало известно. По существу, вы вдохновили Людникова!

Полубояров удрученно молчал. Страдал, презирал себя, но не возражал. Тестов разошелся и уже не мог остановиться:

— Вы отлично знали, с каким настроением приехал Людников. Почему же позволили выйти на трибуну? Почему допустили его к микрофону?

Теперь Полубояров осмелился возразить Тестову:

— Это вы с Пудаловым, а не я приглашал Людникова на трибуну!

Тестов молча мечется по кабинету. Останавливается перед Полубояровым.

— Если не заставите этого щенка извиниться перед Шорниковым, рискуете остаться без партийного билета и без должности начальника цеха!.. Воздействуйте на Татьяну Власьевну, а через нее на сына. Пусть Людников завтра же, придя на работу, всенародно покается.

— Этого я вам обещать не могу...

Постучавшись, вошел Андрей Грибанов.

— Что у вас? — недовольно спросил Полубояров. — Срочное что-нибудь?

— Срочное, Николай Петрович... Прошу исключить меня из бригады Людникова. Переведите куда угодно!

Тестов радостно оживился:

— Почему исключить? В чем дело?

— Не могу с Людниковым. Бузотер. Шкурник...

— Правильно, дорогой... как тебя величают?

— Андрей Афанасьевич.

— Правильно, Андрей, очень правильно ты понял Людникова! С настоящих партийных позиций... Ну а что ты скажешь насчет его речи?

Грибанов бросил быстрый взгляд на Тестова, потом на Полубоярова — старался понять, какого ответа ждет от него начальство. Полубояров усиленно дымил трубкой, смотрел вниз, себе под ноги. Тестов поощрительно улыбался.

— Какая же это речь?! — Грибанов презрительно усмехнулся. — Лай бешеной собаки! От зависти взбесился...

— Правильно! — одобрил Тестов. — В этом все дело.

Грибанов оглянулся на дверь, снизил голос почти до шепота:

— Эта самая черная зависть чуть не довела нашу бригаду до забастовки!

— Вот как? Николай Петрович, слышите?

Полубояров не поднял головы.

— Степка Железняк притворился больным. И всех нас подбивал на симуляцию. Агитировал за то, чтобы все мы рассчитались, уехали...

Тестов подошел к Грибанову, положил ему на плечи руки:

— Спасибо, Андрей. На таких, как ты, цех держится. Можешь ты все это, что рассказал сейчас о Людникове и его друзьях, изложить на бумаге?

— Могу и на бумаге... Привычное дело для редактора «Марте-новки»...

— Вот тебе блокнот, самописки, кресло. Садись. Пиши!..

По высокому стальному виадуку, переброшенному через всю территорию комбината с востока на запад, шла толпа молодых рабочих. Цветные рубашки. Джинсы. Узкие брюки. Начищенные полуботинки. Сандалеты. Длинные, и не очень длинные, и совсем короткие волосы. Смех. Дым сигарет. Веселые восклицания. Чечетка, лихо отчеканенная на ходу...

Молодой рабочий народ возвращался с работы. Были тут Саша Людников, Коля Дитятин, Степа Железняк, Слава Прохоров. Вся бригада в сборе. Не было Андрея Грибанова.

Прошло более часа после того, как Людников выступил в цехе на митинге. Сдал смену, помылся под душем, надел все чистое, малость остыл на свежем воздухе. Но до сих пор не мог успокоиться. Волновался, как и в ту минуту, когда стоял перед микрофоном.

Степа Железняк отлично понимал, что сейчас испытывает его друг. Пристроился к нему, шагал нога в ногу и говорил:

— Не терзайся, бригадир! Все было правильно. Авторитетно тебе заявляю. Выступил хорошо, правильно. Говорил — и становился выше, вырастал. Говорил — и умнел.

Николай Дитятин согласился с тем, что сказал Железняк, но с оговоркой:

— Верно, Саша, ты здорово говорил. Но не думай, что дело сделано.

Саша слушал и Железняка и Дитятина, кивал, а думал о своем. Внезапно остановился, посмотрел на доменные печи и сказал:

— Мировое чудо построили в глухой степи, двести миллионов тонн чугуна выплавили, двести пятьдесят миллионов стали, а жить по-настоящему до сих пор не научились!

Степан Железняк засмеялся:

— Э нет, бригадир, под такой самокритикой не подпишусь. Живу я хорошо. И работаю неплохо. Выполняю и перевыполняю. На чужое не зарюсь. Не приписываю себе того, чего не сделал. Ни перед кем не подхалимничаю. Пью в меру. Смеюсь и говорю много — и все от души. Книжки читаю. Лекции слушаю. Светку люблю семь дней в неделю. На чужих жен долго не заглядываюсь. В общем и целом вполне доволен работой и жизнью!

Саша слушал и не слушал Степана. Думал о Вале, о том, что неосмотрительно назначил ей свидание сразу после работы. Опаздывает. Валя гордая, не станет ждать.

Прошли перекидной мост, спустились вниз, к центральной проходной, и очутились на Комсомольской площади. Тут на автомобильной стоянке на временном приколе, покрытая заводской пылью, стояла бежевая «Победа». Вчетвером сели в машину и поехали.

Остановился Саша неподалеку от гостиницы «Центральная», напротив сквера. Ему хорошо видны скамейки. Все пусты. Вали нет. Эх, растяпа!..

— Ты чего застопорил, бригадир? — спросил Степан Железняк. — Вези дальше! Я лично тороплюсь в ресторан.

— А мне пора домой, — сказал Коля Дитятин. — Обещал жене в кино пойти...

— Зачем тебе кино в такой день? — с негодованием воскликнул Степан Железняк. — Нам с тобой, Коля, сейчас шампанское требуется, коньяк или, на худой конец, холодная «столничная». Да и оратору надо залить огонь души. И Славке Прохорову хочется сегодня покуражиться в честь героического выступления бригадира. Одним словом, Саша, вези нас в ресторан.

— В ресторан?.. — переспросил Саша. — А что, ребята, это неглупая мысль. — Не пить Саше хотелось, а говорить, говорить с подруч-

ными. Посмотрел на Дитятину, своего первого подручного и главного советчика.— Как ты, Коля, не возражаешь?

Железняк ответил за Дитятину:

— Не возражает! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Рули вправо!

Саша в последний раз окинул взглядом сквер...

Он и его подручные расположились у окна, за столом, заставленным бутылками и тарелками с закусками. Все навеселе. Все пугмели. Один Саша трезво поглядывал на часы. Степа Железняк поднял бокал с вином:

— Друзья, выпьем за наше правое дело!

— За правду не пьют, Степа,— строго заметил Саша.

— Да?.. Тогда выпьем просто так... за чьи-то красивые глаза!

В тот момент, когда Железняк поднял бокал, пирующие были зафиксированы на пленку фотоаппарата. Но ребятам было так весело, так светло, что они даже не обратили внимания на мгновенную вспышку...

— А ты почему уклоняешься? — спросил Дитятин, заметив, что Саша не пригубил свой бокал.— Работаем вместе и пить должны вместе!

— Вы же знаете, я за рулем.

— Вечером гаишники ужинают, как и все нормальные люди. Пей!

Влас Кузьмич, весело насвистывая, вошел в подъезд своего дома, почти бегом поднялся по лестнице, нажал кнопку звонка.

Дверь открыла Татьяна Власьевна. На ней домашняя блузка, пестрый ситцевый передник, голова повязана косынкой, руки до локтей в муке и тесте.

— Ты один? — спросила она, заглядывая через плечо отца на лестничную площадку.

Влас Кузьмич, прищурившись, смотрел на дочь и тихонько насвистывал. Она рассердилась:

— Перестань! Я спрашиваю, где Саша?

— Скоро явится, не беспокойся,— отвечал Влас Кузьмич и опять стал лихо насвистывать.

— Что с тобой? В забегаловке успел побывать?

— Только собираюсь, Татьянушка! Ставь-ка лучше на стол графинчик, выпьем на радостях за Александра. Молодец, барбос! Знаешь, что он отколол сегодня?

— Знаю. Сообщили по телефону... Не ожидала, что оскандалится!..

— Да ты что, Татьяна?! Слыхала звон, да не знаешь, где он. Это Шорников оскандалился. Сашка нанес ему сокрушительный удар в самое чувствительное место!

Татьяна Власьевна мрачно молчала, глаза ее наполнились слезами.

— Понимаю... Тебе, Татьяна, хочется видеть своего сынка послушным, обтекаемым со всех сторон. Тьфу да и только! — Влас Кузьмич плюнул и пошел в столовую, где уже был накрыт стол к ужину и кипел самовар...

Гостиница неподалеку от ресторана — через дорогу. Дойти до нее быстрее, чем доехать. Но Саша сел в машину, развернулся, подождал, пока по главной магистрали пройдут самосвалы, и проскочил Кировскую улицу. Оставил «Победу» перед сквером, поднялся на четвертый этаж, постучал в комнату № 77.

Дверь открыла Валя. На ней был все тот же беленький, легкий, так идущий ей свитерок. Она смотрела ему прямо в глаза и молчала.

— Добрый вечер,— смущенно проговорил Саша.— Опоздал... На работе задержался. Извините. Этого больше никогда не повторится.

— Я вас не ждала.

— Тем лучше. Значит, не теряли напрасно время... Поехали!

— Куда?

— Как это куда? Я же обещал вам показать ночной город.

— Ну, раз обещали... — Она улыбнулась, взглянула на ручные часы.— Нет, не поеду. Поздно.

— Сейчас только девять часов. Детское время...

— Ну... хорошо.

...«Победа» шла по старому, времен первой пятилетки городу — по барачной улице.

— Как вам живется в нашем граде?

— Хорошо... Гуляла. Была там, где отец когда-то строил первые объекты. Написала ему большое письмо — подробный отчет о том, как прожила здесь свой первый день. А как вам работалось после курорта?

— Плохо...

— Почему?

— Потом как-нибудь расскажу...

— А почему не сейчас? Мне показалось, что для вас работа на первом месте, жизненная необходимость... Что же плохого случилось?

— То, что и должно было случиться...

— Усатые орлы все-таки подрезали крылышки молодым орлятам?

— Да. Но и усатым досталось. И еще неизвестно, кто возьмет верх.

— Молодые проявили безумство храбрых?

— Только начали проявлять. Все самое трудное впереди.

— Загадочно... Мне, впрочем, нравится таинственность. Скучно, когда люди все сразу разжевывают... Куда мы едем?

Машина миновала окраину какого-то поселка и натужно взбиралась в гору. Ни огонька вокруг, ни прохожего, ни деревца. Высокий бурьян. Громадные валуны.

— Я спрашиваю, куда мы едем?

— Поближе к звездам!..

Машина взобралась на вершину горы и остановилась. Все, дальше ехать некуда. Впереди далеко внизу — глубочайший карьер.

— Вот и звезды! Каждую можно потрогать...

В долине куда только доставал глаз сияли огни. Над тысячью заводских труб стояли колонны дымов. Вспыхивали голубовато-зеленые молнии электропоездов, бегущих к прожорливым домам. Огромное, вполне зарево поднялось в дальнем северном углу комбината, где сливали жидкий шлак...

Пахнет пылью. Магнитные глыбы лежат там же, где лежали, может быть, миллионы лет назад. Небо, усеянное звездами, висит прямо над головой. Дикая первобытная земля. Вечное небо. И между ними Саша и Валя. Вчера они еще не знали о существовании друг друга, а сейчас...

Валя стояла на краю обрыва, лицом к ночному городу.

— Спасибо, Саша, что привезли меня сюда. Эту ночь я долго буду помнить.

— И я,— сказал Саша.

Валя не отрывала глаз от ночной панорамы города и завода.

— Я не сварила ни одной тонны стали — и все-таки с гордостью люблю комбинатом. А какую же гордость должны испытывать вы, глядя на дело рук своих!

— Хотите, я отчитаюсь за все двадцать пять лет своей жизни?

— Зачем мне ваш отчет? Вы не мой подчиненный, я не начальница.

— Простите... Мне показалось, что вы заинтересовались моей жизнью. — Он взял ее руку. Заглянул в глаза. — Валя!.. Перед вами счастливейший человек на свете! И счастливым он стал с той минуты, как увидел вас...

Спокойно, не спеша освободила руку, насмешливо сказала:

— Старая как мир наживка, но на нее клюют и теперь. Да и как не клонешь? О любви мечтает каждый. Говорите, говорите, Саша!

— Не надо так.

— Надо!.. По опыту подруг, по статистике я знаю, чего стоит так называемая любовь с первого взгляда и как бывают влюбчивы парни.

У него не хватило ни ума, ни выдержки стать ироничным, непосредственным, как она. Угромо сказал:

— Не понимаю, зачем тогда согласились поехать со мной?

— Как не поедешь с таким!.. Интересно! Сталевар эпохи НТР! Сын сталевара! Внук сталевара. Молодой орел... Кроме того, ваша влиятельная мама может оказать протекцию начинающему инженеру-строителю.

— Ну знаете!.. То в прорубь, то в кипяток швыряете.

— А вы любите, когда с вами обращаются как со слабым полом?.. Ну все! Поговорили по душам. Побывали на горе, под звездами. Можем спускаться на землю.

Саша сел за руль, подождал, пока Валя расположилась рядом, молча включил мотор и покатил вниз.

В квартире Людниковых в столовой горела люстра. На столе еще не остыл самовар. Татьяна Власьевна и Влас Кузьмич поужинали, немало наговорили друг другу обидных слов и теперь, оба уставшие, злые, отчужденные, были заняты каждый своим делом: он чинил электрический утюг, она что-то шила. Оба время от времени прислушивались к звукам, доносящимся с улицы, нетерпеливо поглядывали на дверь. Ждали возвращения Саши.

Внизу, на улице, раздался знакомый автомобильный сигнал. Татьяна Власьевна бросила шитье, подняла голову. Влас Кузьмич вышел на балкон и, перегнувшись через перила, посмотрел на улицу, залитую ярким светом луны. Бежевая «Победа» на полной скорости прошла мимо...

Саша и Валя молча ехали по ночному городу. Их отношения вступили в ту стадию, когда молчание не тяготит.

— Вот вы и дома, — сказал Саша, останавливаясь перед гостиницей.

Валя вышла из машины, протянула ему руку:

— До свидания. Спасибо за прогулку. Она была чудесной.

— Завтра утром мы побываем в горах, на горном озере.

— Завтра так завтра... А как же мартеновская печь? Разве вы завтра не работаете?

— Иду в ночную смену. Весь день свободен. Жду вас на заре на этом самом месте. Покойной ночи.

Валя проводила взглядом машину и побежала к подъезду. Пройдя пустынный вестибюль, она быстро поднялась наверх. Дежурная по этажу сказала:

— Тебя ждут не дождутся. Какая-то девушка. Полсмены торчит в коридоре...

Валя остановилась перед дверью своей комнаты, и к ней тотчас подошла Клавдия со свертком в руках.

— Я Шорникова...

— Здравствуйте,— беспечно откликнулась Валя.— Вы откуда? Не из отдела кадров?

— Нет, я сама по себе. По личному делу...

— По личному? Ко мне? Я только вчера приехала... Вы, девушка, не ошиблись? Вам кто нужен?

— Вы. Два битых часа вас, Валечка, дожидаясь.

После легкого замешательства Валя окинула позднюю гостью внимательным взглядом и спросила:

— Что вам от меня нужно?

— В коридоре будем разговаривать?

Валя открыла дверь своего номера, сдержанным кивком пригласила Клаву войти. Та быстро вошла и уселась на диван, держа сверток на коленях.

— Я вас слушаю,— сказала Валя.

— Клавой меня зовут. Вам он, конечно, ничего не рассказал обо мне?

— Кто это «он»?

— Не притворяйтесь! По глазам вижу, что поняли, о ком я говорю.

— Вот теперь поняла... Вы угадали. Людников действительно не говорил мне о вашем существовании.

— «Существовании»!.. Слово-то какое подобрали. Я живу, а не существую! И дальше буду жить. Всем чертям назло. И ему, Людникову. И вам, столичная штучка. Понятно?

— Очень даже понятно. Жить хорошо, достойно — долг человека.

— Я-то живу достойно, а вот вы, барышня... Первый день в нашем городе и уже напакостили. Увели моего парня...

— Зря свирепствуете, Клава. На ваши оскорбления я не отвечу оскорблениями... Вы ослепли, озлобились от ревности. Мне вас жаль, Клава... Что вам нужно от меня?

Клава, вскочившая было с дивана, снова села и сказала бессильным, плачущим голосом:

— Откуда ты только свалилась на мою голову?

— Это самое могла бы сказать и я о вас и Людникове. Не нужен мне ваш парень!

— Слава богу! Наконец-то добилась человеческого ответа. Значит, уедешь? Завтра, да?

— Нет, не уеду. Я приехала сюда работать. И довольно, Клава. Я устала... Напоследок скажу: в положение обманутого попадает только тот, кто этого хочет!

Клава медленно поднялась и пошла к двери, прижимая к груди сверток. Пройдя шага три, обернулась, швырнула сверток к ногам Валя и скрылась за дверью.

На пол из разорвавшейся газеты вывалились фотографии. Валя опустила на колени, стала их рассматривать. На всех, а их было много, Саша Людников и Клава. Взявшись за руки, смеющиеся, стоят они под вишней, осыпанной весенним цветом. Катаются на лодке. Сидят на крутом берегу горного озера. Вместе склонились над книгой. Играют в мяч... На обороте одной из фотографий она прочла:

Зови надежду — сновиденьем,
Неправду — истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!..

Сидя на полу, подперев голову рукой, Валя долго смотрела в ночное окно...

Саша взбежал по лестнице, вставил ключ в замок, но повернуть не успел: дверь открылась. На пороге стояла Татьяна Власьевна.

— Мама, почему ты не спишь? — мягко, почти заискивающе спросил Саша.

Татьяна Власьевна молча пропустила сына в прихожую, захлопнула дверь.

— Где ты был?

Он попытался отшутиться:

— Мамочка, я давно вышел из того возраста, когда...

— Я знаю, где ты был.

— Если знаешь, зачем спрашиваешь?

Татьяна Власьевна приготовилась резко поговорить с сыном, но он своей мягкостью обезоружил ее.

— Ах, Саша, что ты со мной делаешь!.. Иди ужинать.

Они прошли в столовую. Влас Кузьмич поднял голову от распотрошенного утюга и поверх очков насмешливо посмотрел на притихшую дочь.

— А ты почему не спишь, дедушка? — спросил Саша.

— Тебя дожидался, хотел защитить от ястреба. Зря боялся: хищник оказался ласточкой.

Татьяна Власьевна подала сыну ужин, села у края стола и, грея у самовара ладони, печально-тревожно смотрела на сына. Она не отказалась от мысли поговорить с ним.

— Саша, давай поговорим. И мне и тебе это очень нужно.

— Что ж, давай... Мне это действительно нужно.— Он отодвинул тарелки, положил на стол локти и внимательно, с нежностью посмотрел на мать.— Я слушаю.

— Ты веришь, что я желаю тебе только добра?

— Конечно!

— Понимаешь, что все хорошее, что есть в твоём характере, я помогала тебе приобрести?

— Да, мама. Но я и сам не плошал. И дедушка не ленился. И рабочий класс. И комсомол...

— Веришь, что мне виднее, какой ты — как живешь, как работаешь, как люди относятся к тебе?

— Мать не может беспристрастно оценивать своего сына — либо пересаливает, либо недосаливает...

Влас Кузьмич сердито посмотрел на дочь:

— Ты чего, Татьяна, вокруг да около крутишься? Приступай прямо к делу! Скажи своему любимому сыну, что он скандалист, неблагодарная чушка, что оскорбил знатного Шорникова. И еще скажи ему, непутевому, что не имеет он никакого права разлюбить финтифлюшку Клавку. А ты, Александр, слушай и кайся!

— Ты это хотела сказать? — спросил Саша, по-прежнему с нежностью глядя на мать.

Она села рядом с ним, обняла его за плечи.

— Сашенька, родной мой! Ты безобразно выступил на юбилее Шорникова. Мне больно видеть тебя таким. Я боюсь, что ты хоть отдаленно станешь похожим на своего отца...

— Мой отец три года назад стал Героем!

— Твой отец сбежал от меня за два месяца до твоего рождения. Он был красив, прекрасно работал, но... он предал меня, оказался плохим мне мужем. Не знаю, какой он муж другой жене...

Саша поднялся, подошел к открытому окну, смотрел вниз, на пустынную улицу, курил и думал... Похож он на отца или нет?

Небо посветлело. В нем проступили первые сполохи утренней зари. Ночь все дальше отступала в горы. Водохранилище открылось от

берега к берегу. Прозвенели первые трамваи. Прошумел автобус. Раскрывались окна в домах. Сквозь предрассветную дымку проступал темный силуэт комбината — трубы, трубы, тысяча труб.

Татьяна Власьева неслышными шагами подошла к сыну, прижалась плечом к его спине.

— Если ты действительно любишь меня...

Он отстранился от матери.

— Чего ты хочешь?

— Восстанови добрые отношения с Иваном Федоровичем. Напиши в цехком, осуди свое выступление. И с Клавой помирись.

— Мама! — Возмущение и тоска прозвучали в голосе Саши.

— Ты должен это сделать!

— Не могу! Понимаешь, не могу! И не хочу отказываться от самого себя.

— В погоне за славой, в борьбе за первое место ты уже зарвался. Остановись! Мы, Людниковы, никогда никому не завидовали. Даже отец твой... А ты... не понимаю, как ты оказался на краю ямы.

— О чем ты говоришь? Какая яма? Какая зависть? Да и кому завидовать — дутому победителю?

— До чего же ты резок...

Влас Кузьмич высоким визгливым голосом закричал:

— Мой внук имеет право стоять за правду! Я ему это свое право передал! Да он и сам уже заработал его. Сашка работал в поте лица своего и победил любимчиков Тестова! Вот какой он, твой непутевый сын. Гордиться им надо, а ты его клянешь!

— Хорошо. — Татьяна Власьева не сдавалась. — В производственных делах я могу ошибаться, но в личных...

— О чем ты говоришь? — с досадой воскликнул Саша. — Меня она называла любимым, а с другим... куролесила, мягко говоря...

— Не может быть! Это клевета. И ты поверил?

— Как же не поверить, если она сама призналась... Теперь тебе понятно, почему я вдруг сорвался и уехал в отпуск?

Влас Кузьмич отодвинул от себя отремонтированный утюг, собрал отвертки, шурупы, провода, кусачки, поднялся и, шаркая шлепанцами, пошел к себе. На пороге остановился, молча насмешливо посмотрел на дочь и закрыл за собой дверь.

Саша закурил новую сигарету и сказал:

— Мама, ты несправедлива и ко мне и к себе. Ты со всеми добра, хочешь угождать всем. Тебе нравится Полубаяров, но ты из-за меня боишься выйти за него замуж. Как же, требуется благословение взрослого сына!.. Не требуется! Теперь о моем выступлении. Разве человек не должен отстаивать свои убеждения, свое достоинство? Разве он не имеет права на возмущение, столкнувшись с несправедливостью?

Татьяна Власьева не перебивает сына.

— Ты хочешь, чтобы я помирился с Клавой? — продолжал Саша. — Но я с ней не ссорился. Она отвернулась от меня, обидела меня. Тебе бы радоваться, а ты... Вспомни, как ты возмущалась, когда Клава начала таскать меня по ресторанам, вечеринкам и танцулькам. Вспомни, как уговаривала: «Не пара тебе Клава». Я, дурак, тогда не соглашался с тобой. А теперь, когда понял, что собою представляет Клава, когда я встретил хорошую девушку, ты всполошилась, считаешь, что я поступаю бесчестно. Я, мама, люблю другую, люблю Валю. Вот все, что я могу сейчас тебе сказать...

У Татьяны Власьевны нет ни слов, ни сил возражать. Глаза полны слез.

Саша вышел из комнаты, спустился вниз. Вывел машину из гаража

и поехал к гостинице. Помнил, все время помнил, что договорился с Валею встретиться на заре!..

Вали на условленном месте не оказалось. Подождав минут пять, поднялся на четвертый этаж. Дверь номера 77 была раскрыта, и он увидел Валею в простеньком ситцевом сарафане, с шелковой косынкой на плечах, причесана, свежа.

— Доброе утро.

— Здравствуйте.— Она пылливо вглядывалась в Сашу.— Что с вами? Почему вы такой? Будто возмужали лет на десять.

— Постарел, значит. Было от чего. Всю ночь с матерью разговаривал. До сих пор сам не свой. Руки дрожат.

— О чем у вас с матерью был разговор? Впрочем, извините, я не должна была спрашивать.

— Про жизнь говорили... Так мы поедем или не поедем в горы? Говорите прямо — да или нет!

Она засмеялась, пошла следом за ним.

...Промелькнули многоэтажные дома окраины, началась степь — неоглядная, росистая, освещенная первыми лучами солнца, в хлебах и травах, рассеченная асфальтовой дорогой. Они долго молчали. Наконец Валя спросила:

— Вчера вы хотели рассказать о себе... Что, расхотелось?

— Хотел. И хочу. Там, на озере, у костра, все расскажу... А сейчас... Сейчас надо песни петь или стихи читать.

— Прочтите что-нибудь... Лермонтова помните?.. «Зови надежду — сновиденьем, неправду — истиной зови, не верь хвалам и увереньям, но верь, о, верь моей любви!..»

Саша, не ведая, что летит в пропасть, подхватил:

— «Такой любви нельзя не верить. Мой взор не скроет ничего: с тобою грех мне лицемерить, ты слишком ангел для того»...

Валя с любопытством смотрела на него. Нет, он несколько не смущен. По-видимому, забыл, что когда-то написал эти лермонтовские стихи на своей фотографии, подаренной Клаве...

Въехали на каменистый горб дороги и остановились. Отсюда хорошо было видно громадное озеро, раскинувшееся у подножья темных лесистых гор, освещенное утренним солнцем. Валя достала из сумки пачку фотографий, положила их на колени Саше.

— Вчера ночью я имела удовольствие познакомиться с Клавдией Шорниковой. Она забыла у меня в номере вот это. Передайте ей, пожалуйста.

Саша быстро поднял глаза на Валею и сейчас же снова опустил их.

— Вас удивляет,— сказала она,— почему я после встречи с нею поехала с вами? А почему бы не поехать? Я не из трусливых. И мне интересно наблюдать людей. Я уже говорила вам об этом вчера.

Саша медленно вел машину вниз, к озеру.

— Я вчера хотел рассказать вам о ней, но вы... Мы с Клавой до шестого класса сидели на одной парте. Вместе вступали в комсомол. В один день сдавали экзамены в техникум. Вместе готовились к сессиям. Вместе получали дипломы. Мы были друзьями... Она нравилась мне. Но потом...

Валя перебила Людникова:

— Сегодня вам разонравилась Клава, а завтра разонравится еще кто-нибудь. Остановите машину!

— Валя!..

— Остановите!

Затормозил, выключил мотор. Он и не пытался задержать Валею, когда она выходила из машины. Забытая ею косынка осталась на спинке сиденья.

Не оглядываясь Валя пошла по дороге в сторону от озера. Тревожный сигнал заставил её обернуться. По пыльному проселку мчался лесовоз с бревнами. Выехав на асфальт, остановился около девушки. Молодой шофер распахнул дверцу кабины:

— В город? Садитесь.

И вот уже лесовоз летел степью. Шоферу явно хотелось поговорить со случайной спутницей. Белозубый черноглазый парень протянул Вале большое яблоко:

— Ешьте. Из собственного сада. Сохранились от прошлогоднего урожая.

Она взяла краснобокое крепкое яблоко, поблагодарила, но есть не стала. Послышался резкий продолжительный сигнал «Победы». Шофер и Валя оглянулись. Сашина машина приблизилась к лесовозу и почти впритирку пристроилась к нему с той стороны, где сидела Валя. Из окна «Победы» высунулась рука Саши с косынкой.

— Возьмите! — крикнул он.

Она молча взяла и строго, с окаменевшим лицом стала смотреть вперед на дорогу. Шофер все понял. Чуть повернув руль, согнал «Победу» на обочину. Машина Людникова запрыгала на ухабах и исчезла в пыльном облаке.

— Вот так-то! — с удовлетворением сказал шофер и посмотрел на Валю. Ждал благодарности, но она молчала. Даже не улыбнулась.

(Окончание следует)



ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ДЖАЙН ХАУЛЕТТ

Королевские ванны

Поднимем наши кофейные чашки
в честь нашего долгого,
славного прошлого,
в котором крахмальные воротнички
одни лишь поддерживали нас
в нашей нищете,
а банты на нашей шее
были как подарок от беззаботной жизни.

Теперь же потерявшие свою форму
шляпы с оборванными полями
скрывают мятеж
наших рыжих, но уже, увы, поредевших
кудрей.
А слезы мы скрываем за вуалью.
Мы склоняем свои головы
перед памятью ушедших вальсов и полек.
Так грызите ваш сухой бисквит,
старики,
что отплясывали на этом паркете!

Чувства все были только в скрипке,
да и внутри пианино.
Как в вас еще таится где-то
ваш полный респектабельности взор!
Но прошлое по крайней мере
еще где-то в вас звучит!
Мы все те же, что окружают нас,
но постарели,
как музыка, как наш век.
Все в мире регламентировано:
каждая нота, как каждый человек,
знает свое место.
Струны замолкли,
боясь позора одиночества.
Смерть для нас уже обычна,
как старый приятель.
И только жизнь еще пугает нас
чем-то неизвестным.

Я в трауре
по утерянному стихотворению.
Оно прославляло бы будущий прекрасный день —
а теперь этот день прошел.
И я не знаю, справлюсь ли
с крахом
такой большой своей надежды.

Мои каракули все еще бегут по строке,
но слова уже устали,
затрепаны.
Еще один лист бумаги, разорванный мной,
брошен под стол.

Постыдное жалкое хныканье
вместо прекрасного львиного рева.

Опять я возвращаюсь к поэтическому ремеслу,
выкрикиваю слова чужих людей
в отчаянье,
и власть их растет надо мной,
а я раскалена в сосредоточенной безнадежности,
держу карандаш,
затачивая его так,
что остается лишь добрый, острый конец.

Буря

У них наверху, на верхнем этаже, вечеринка.
Они танцуют, прижавшись,
они влюбляются, они шумят,
и я не могу заснуть,
слушая стук ног по паркету.

У них наверху вечеринка.
Ангелы танцуют и влюбляются.
Святой Петр бросил на пол пустую бутылку.
Теперь действительно польет.
Я позабыла звуки бури.

Вот молния сверкнула.
Она может зажечь небо!
Вчера она убила человека в центре города,
он умер.
Невосстановимо разрушение, когда наши
соседи наверху
устраивают вечеринки
и влюбляются.

К черту сон!
Я на улицу выйду босая,
как я делала в детстве.
Я помню, что люди тогда умирали от молнии
и от любви.
Я тогда не боялась.
Ну что же, я поднимусь вверх.

АНТОНИ РУДОЛЬФ

Войти в одну и ту же реку дважды

Он слова-то взял мой,
но изменил совершенно их порядок.
Но все-таки это было
мое стихотворение!
Оно — было про то же самое...
Много воды утекло
с тех пор.

Я буду писать
те же самые слова...
Но окончание всех моих слов —
это же ведь уже начало!

Вспоминающий

Я рассказал о том,
чего никогда не было на свете.

Движение самой моей речи
и было моей целью
в данном случае.
Я пишу про такое
только для того, чтобы достичь
глубин праязыка,
которого я не знаю.
Я буду разговаривать
этой светлой ночью
о древней крови
когда-то живших подвижников
и писать историю
тишины.

Сверкающая сеть

Прелесть солнца
как всегда
неописуемая...

Но солнце для солнца,
как слово подменяет слово,
когда человек
каламбурит.

После сна

После сна
я вошел в комнату.
Я зажег свет,
и сумрак, который позади меня,

стал разговаривать с сумраком,
который впереди меня...
Свет коснулся моей темноты.
Весь мир окно куда-то?
Все есть темнота?
Нет, это все позади меня.
Завтра я уж не буду так резко входить.

Песня

Я уважал этого человека.
Я любил эту книгу.
Я поссорился
с тем человеком так,
как человек может
поссориться с книгой,—
навсегда.

Сейчас я ссорюсь с этой книгой
дважды.

Перевел Е. ВИНОКУРОВ.



В МИРЕ НАУКИ

ВЛАДИМИР ШУБКИН,
доктор философских наук



ПРЕДЕЛЫ

Нет, что ни говорите — без одержимости ни одно крупное дело не делалось. Не чуждо ничто человеческое и социологам. Когда после XX съезда партии стали возрождаться у нас социологические исследования, многим из пионеров казалось, что вышли они на бескрайнее поле, что возможности новой области знания беспредельны, а сама она нравственна и гуманна, ибо своим существованием демонстрирует усиление внимания к личности, к человеку, к его ценностям, потребностям, интересам, мотивам.

Такова была увлеченность этим новым делом. В него вовлекались партийные и комсомольские руководители, хозяйственники, профсоюзные работники, газетчики. А за ними и немолодые, умудренные опытом литераторы стали частыми гостями на социологических конференциях и семинарах, присматриваясь, оценивая, вспоминая грехи «вульгарного социологизма» и вырабатывая свой **новый** подход.

Десять лет назад «Новый мир» (1967, № 12) опубликовал работу писателя В. Я. Канторовича «Социология и литература». Эта статья вобрала в себя многое из того нового, что было сделано в конкретных социологических исследованиях, и решительно поставила вопрос о содружестве социологов и писателей. Она сразу же вызвала многочисленные отклики и сыграла важную роль в интерпретации возможностей социологии, в становлении новой области знания, в развитии контактов между литераторами и учеными.

PER ASPERA AD ASTRA

Через тернии к звездам — общий закон развития науки, в том числе и такой сугубо земной, как социология. И хотя звезд с неба она не хватает, но потребность в социальном знании сегодня еще насущней, чем вчера. Подобно тому как развитие науки и техники, в первую очередь автоматизации, реактивной авиации, космонавтики, на каком-то этапе стало лимитироваться неизученностью физических и психических возможностей человека (его способности к перегрузкам и невесомости, возможности охватить и переработать возрастающий поток информации), так и дальнейшее совершенствование управления общественными процессами в определенной степени стало лимитироваться недостаточной изученностью ряда аспектов жизни общества, слабым развитием конкретных социологических исследований.

Для марксиста очевидно, что определяющие тенденции исторического процесса лежат в сфере экономики. Однако основоположники научного коммунизма не раз подчеркивали, что ход истории во многом зависит от политических, социальных, идеологических и других факторов. «Маркс и я, — писал Ф. Энгельс, — отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше зна-

чения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и поводов отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии»¹.

Конкретный социальный анализ общественных явлений и процессов характеризуется прежде всего комплексностью. Круг явлений, попадающих в сферу социологических исследований, по необходимости значительно шире, чем в отдельной специальной области, скажем в экономике. Социологические исследования не ограничиваются анализом экономических отношений, форм собственности и зависимых от них форм распределения материальных благ. Они охватывают всю совокупность общественных отношений, определяющих поведение социальных групп, не только производственные, но и другие отношения; не только классы, но и группы; не только объективные, но и субъективные явления и процессы.

Тот, кто внимательно присматривается к деятельности человека, не может не заметить, что она в отличие от действий животного целесообразна. Иначе говоря, она предваряется идеалью — как стремление, желание и т. п. «В конце процесса труда, — писал К. Маркс, — получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. идеалью»². Следовательно, в деятельности человека в качестве ближайших, непосредственных причин выступают идеальные факторы, которые опосредуют материальные. Анализ наукой и искусством этого идеального мира, этих идеальных факторов — необходимая предпосылка понимания закономерностей поведения человека. Социология, социальная психология не могут не привлечь к себе внимание прежде всего потому, что они предпринимают отважную попытку описать хотя бы некоторые из этих идеальных факторов — стремления, желания, интересы, потребности.

С другой стороны, деятельность человека определяется непосредственно не просто идеальными факторами, но в значительной мере теми из них, которые принадлежат будущему. Идеальные модели будущего в огромной мере влияют на формирование сегодняшних целей, постоянно оказывая воздействие на поведение человеческих групп сегодня. Реалистичны они или иллюзорны, но они, эти осознаваемые или плохо осознаваемые образы будущего, лежат в основе наших сегодняшних поступков и решений. Ведь «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»³. Поймать эти отблески будущего, оценить их с позиции интересов тех или иных групп, проверить их адекватность реальному поведению — значит приблизиться к пониманию факторов, управляющих развитием общественных организмов. И этот подход, декларированный социологией в идеях социального планирования и управления, также не может не привлекать к себе энтузиастов.

Комплексный характер социальных исследований предполагает широкое использование теоретических положений и методологических принципов всех общественных наук, а также требует тесного сотрудничества с представителями этих наук. Так, развиваясь на базе исторического материализма, социологические исследования способствуют его обогащению.

Правильно поставленные социологические исследования — враг волюнтаризма, произвола, ибо любое, самое авторитетное мнение рассматривается при этом лишь как гипотеза, пока оно не проверено опытом, практикой. Развитие социологических исследований тесно связано с развитием демократии, они немыслимы без нее! В свою очередь, они сами способствуют развитию демократических институтов и методов управления социалистическим обществом.

Репрезентативные социологические исследования выбивают почву из-под ног любителей игры в примеры, в фактики, так как строятся на анализе всей совокупности относящихся к данному вопросу фактов или на математически обоснованной выборке. Они дают информацию о процессах и противоречиях, возни-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах. М. Политиздат. 1955, т. II, стр. 469.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 189.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 194.

кающих в ходе развития общества, позволяют всесторонне оценивать последствия принимаемых решений. Тем самым социальные исследования помогают принимать оптимальные решения, проводить политику, отражающую действительные положения вещей.

Социологические исследования являются важнейшим условием дальнейшего творческого развития марксизма-ленинизма. Пренебрежительное отношение к ним трудно расценить иначе как попытку со стороны некоторых обществоведов спрятаться за абстрактными формулами от сложных проблем и трудностей, возникающих в ходе строительства нового общества, ограничиться дедуцированием одних общих положений из других, еще более общих. Игнорирование конкретного анализа общественных явлений означает отход от широкого вторжения науки в практику коммунистического строительства, от разработки научных основ руководства развитием общества, к чему призывают представители общественных наук Программа партии, решения XXV съезда КПСС.

В наши дни существенно изменилась не только сфера интересов общественных наук, но и их роль: на основе глубокого анализа давать опережающие практики рекомендации в форме, которая позволяет их использовать для нужд планирования и управления. В лаборатории экономико-математических исследований Новосибирского университета была, например, выполнена работа, суть которой сводилась к определению того, сколько и каких квартир (а стало быть, и домов) предстоит построить в Новосибирске (с учетом амортизации, сноса жилья, роста населения, изменения структуры семей), чтобы уже в ближайшие годы наиболее рационально использовать жилой фонд и наилучшим образом удовлетворить потребности населения в жилье. Для решения этой задачи нужно знать, в частности, как будет меняться количественный состав и структура семей в данном городе, скажем, на протяжении пяти лет. Поскольку городское население увеличивается в значительной степени за счет пополнения из деревни, важно знать, в течение какого срока показатели рождаемости, смертности, количественного состава семей, пришедших из деревни, выравниваются с соответствующими показателями городских жителей. Без социальных обследований точного ответа на эти вопросы дать нельзя. А ответ необходим уже теперь: ведь дома строятся не на год, а на десятилетия. Поэтому отсутствие такой работы сегодня потребует завтра крупных затрат на снос, перестройку и реконструкцию домов, чтобы «подогнать» структуру и планировку квартир к структуре семей. Наоборот, учитывая масштабы нашего строительства, можно представить себе, какую экономию в конечном итоге может дать серьезное исследование социальных проблем советской семьи даже в одном этом аспекте.

Целесообразность и масштабы производства того или иного товара определяются в зависимости от степени нужности его будущим покупателям. Поэтому необходимо с достаточной степенью вероятности знать, каковы потребности различных социальных групп в разных районах страны; какова степень удовлетворения их потребностей сегодня, как, под влиянием каких факторов и в каком направлении они меняются; какова величина спроса на различные товары; каковы тенденции — какие товары будут покупать завтра представители разных социальных групп в разных районах.

Правда, здесь приходится заняться всесторонним исследованием не только объективных (экономических), но и субъективных факторов — вкусов, моды, предпочтений, настроений. Но это не должно нас смущать. Это, так сказать, «объективно необходимый субъективизм». Перспективный план производства, основанный на научном прогнозе потребностей населения, во много раз точнее и эффективнее, чем план, составленный без их учета. Социалистическое производство в этом аспекте требует систематического изучения. Если капиталисты США, имея такой автоматический показатель соотношения спроса и предложения, как цена (которая колеблется в зависимости от спроса и предложения), тем не менее содержат несколько тысяч фирм и специальных агентств для изучения рынка, то в плановом социалистическом хозяйстве тем более необходим широкий и систематический анализ движения покупательского спроса. Без этого неизбеж-

ны разрыв между производством и потреблением и работа на склад. Напротив, создание такой системы бесспорно позволит серьезно улучшить планирование и принесет значительную экономию.

В связи с этими сугубо практическими делами встают крупные теоретические задачи по дальнейшей разработке проблем социальной структуры нашего общества, изучению групп, различия между которыми обусловлены уже не формами собственности на средства производства, а такими факторами, как профессия, уровень квалификации, образование, размер дохода. Без научной разработки вопросов социальной структуры, выделения дифференцированных групп людей, объединенных по принципу сходства занятий, квалификации, потребностей, мотивов трудовой активности, нельзя успешно решать вопросы планирования и управления, конкретные экономические проблемы коммунистического строительства.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО РАБОТА

Социалистическое общество решало и решает задачи, связанные с огромными социальными преобразованиями, которые касаются всех сторон жизни общества. Для этого нужно постоянно предвидеть социальные изменения, управлять ими. Другими словами, необходимо осуществлять социальное планирование. «Мы теперь получили довольно редкий в истории случай,— писал в 1923 году В. И. Ленин,— устанавливать сроки, необходимые для производства коренных социальных изменений, и мы ясно видим теперь, что можно сделать в пять лет и для чего нужны гораздо большие сроки»⁴. В нашем обществе социальное планирование не утопия, а реальность. Основой, позволяющей социалистическому обществу «устанавливать сроки, необходимые для производства коренных социальных изменений», является планирование народного хозяйства, которое, в свою очередь, становится возможным благодаря обобществлению средств производства.

Один из важнейших объектов планирования составляют трудовые ресурсы.

К ним нельзя подходить с узкими мерками и критериями. Они не только главная производительная, но и главная потребительная сила. Они не просто объект экономических расчетов, а главный персонаж исторической драмы. Поэтому управление трудовыми ресурсами предполагает комплексный аналитический подход, вторжение в область субъективного, изучение мотивов поведения различных социальных групп в нашем обществе.

Мы недостаточно занимаемся социальными аспектами трудоустройства. Здесь все еще сказывается своеобразный предрассудок, согласно которому обобществление средств производства само по себе автоматически обеспечивает полную занятость населения. В действительности же общественная собственность на средства производства создает предпосылки, возможности решения этих проблем. Требуется повседневная и кропотливая работа, чтобы реализовать эти преимущества социалистического способа производства.

Проблема трудоустройства имеет в наших условиях территориальный, отраслевой и профессиональный аспекты. Сейчас трудовые ресурсы размещены по территории страны неравномерно. При нехватке рабочей силы в одних районах, областях, городах наблюдается избыток ее в других. Следовательно, чтобы эффективно управлять трудовыми ресурсами, важно своевременно организовать плановое перераспределение рабочей силы, систематически информировать население о потребностях в кадрах, а хозяйственные, проектные, планово-экономические органы об имеющихся трудовых ресурсах.

Большое значение имеют социальные исследования для управления движением населения. Известно, например, что особое внимание уделяется сейчас развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Сюда направляются огромные капиталовложения. Их освоение предполагает не только естественный, но и механический прирост населения. Однако проведенные исследования, пока-

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 385.

зали, например, что с 1939 по 1959 год прироста населения в Сибири в результате миграции не было. В 1959—1960 годах в Сибири в целом, и особенно в Западной Сибири, наблюдался существенный отток населения. Эти исследования выявили и причины отрицательной миграции. Естественно, проведение такой работы позволяет конкретно подойти к управлению сложными процессами механического движения населения и улучшить размещение рабочей силы на территории нашей страны.

Управление трудовыми ресурсами — дело тонкое и кропотливое. Возьмем текучесть кадров. По подсчетам экономистов, потери от нее составляли не так давно в промышленности и строительстве почти 3 миллиарда рублей в год. Успешно бороться за ее сокращение можно, лишь изучая причины. Опытный руководитель организует тщательное обследование и обнаружит самые разнообразные и подчас неожиданные причины: в одном случае они связаны с разнородной оплатой труда, в другом — с недостатками в планировании жилищного строительства и распределением жилой площади, в третьем — с необеспеченностью аслями, детскими садами.

Объект социального планирования составляют общественные отношения. Цель его — решение конкретных социальных задач, ликвидация всех препятствий, которые еще мешают гармоническому развитию человека, социализации личности, органическому сочетанию интересов индивида с интересами коллектива, общества в целом. Поэтому социальное планирование, естественно, не ограничивается лишь сферой экономики.

На основе народнохозяйственных планов необходимо определять на перспективу оптимальные пути решения социальных проблем, связанных с постепенным уменьшением дифференциации доходов разных социальных групп посредством маневрирования заработной платой, нормами, общественными фондами и т. п. Вместе с тем социальное планирование призвано заниматься и такими, например, вопросами, как выявление, локализация и изживание очагов и причин алкоголизма, преступности, проблемами социальной гигиены, особенно влиянием на человека научно-технического прогресса и урбанизации.

Пока в этом отношении у нас делается мало. Возьмем одну из серьезных проблем — проблему молодежи, вступающей в сознательную трудовую жизнь. Каковы личные планы молодых людей в этот период? Как они реализуются? Что знают юноши и девушки о новых профессиях? Какова популярность профессий и какие занятия избирают различные группы молодежи? К каким территориальным, профессиональным, социальным передвижкам ведет выбор профессии? В какой степени выбор профессии обусловлен традициями семьи, успеваемостью, местожительством и другими факторами? Каковы особенности трудоустройства разных групп молодежи? Вопросы эти имеют не только познавательное значение. Обеспечить соответствия между личными стремлениями разных групп молодежи и интересами общества — важная задача. Успешное ее решение всегда дает как социальный, так и экономический эффект. С одной стороны, уменьшаются возможности ошибок, неудовлетворенности, разочарований, связанных с первыми самостоятельными жизненными шагами юношей и девушек. Это создает в нашей стране объективные предпосылки для сокращения разного рода антиобщественных явлений (преступность, алкоголизм и т. п.). С другой стороны, уменьшаются текучесть, миграция, обеспечивается более быстрое и эффективное включение молодежи в трудовой процесс, то есть решаются, по существу, экономические задачи: растет производительность труда, достигаются наилучшие результаты с наименьшими затратами.

Правда, экономический эффект здесь не всегда бросается в глаза. Вот почему у нас нередко допускается крайняя расточительность во имя ложно понимаемой экономии, мы отказываемся изучать важные вопросы, считая, что они не имеют отношения ни к рублям, ни к пудам, и мы несем потери, которые измеряются миллионами пудов и миллиардами рублей. Назовем, например, те невидимые потери, а стало быть, и невидимые резервы, которые связаны с выбором первой

профессии. Это потери школы, где многих ребят обучают профессиям, которыми они никогда не будут заниматься.

Это потери при перекалфикации юношей и девушек — опять материальная база, станки, сырье, заработная плата педагогам, стипендии. Так, по нашим данным, лишь 11 процентов выпускников средних школ Новосибирской области работало по специальностям производственного обучения.

Это потери от текучести рабочей силы. Среди тех, кто пишет заявление об уходе с завода, есть летуны-рвачи, но есть много людей, которые выбрали профессию необдуманно. Половина ежегодных потерь из-за текучести кадров приходится на долю молодых рабочих. Не разобравшись в сути процессов, нельзя дать обоснованных рекомендаций, как реализовать подобные невидимые резервы.

В противоположность капиталистическим странам у нас есть возможность успешно решать такие проблемы. Но и здесь нельзя рассчитывать на самотек. Эти процессы необходимо заранее предвидеть и намечать меры, которые позволили бы изыскать дополнительное число рабочих мест, предусмотреть расширение приема в училища, техникумы, вузы и тем самым с минимальными издержками своевременно преодолевать возникающие трудности.

СОЦИОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Трудно переоценить роль социальных исследований в повышении уровня идеологической работы. Ведь в этой работе могут быть громкие, но холостые выстрелы. Социальные исследования, в частности изучение общественного мнения (о чем говорилось на XXV съезде КПСС), дают возможности полнее выявлять идеологическое воздействие печати, радио, телевидения, художественной литературы, произведений изобразительного искусства, кино.

Взять, например, оценку произведений самого массового из искусств — кино. Ленинский лозунг «искусство принадлежит народу» означает и то, что произведения искусства создаются для народа и главный судия им — народ. Но народ не безликая масса с одинаковым вкусом. Поэтому нелепо, когда некоторые критики берут на себя монопольное право выступать от имени народа. «Народ принял», «народ не принял» — подобные голословные декларации ничего не значат до тех пор, пока действительно не выявлено мнение масс.

В связи с этим было бы очень полезно, если бы литературоведы, искусствоведы проводили систематические представительные обследования среди различных социальных групп населения и выявляли их отношение к произведениям искусств, кино, литературы. Здесь вполне может оказаться, что нельзя противопоставлять одно произведение другому, что второе нравится одной группе населения, а первое популярно у другой, зато третье не нравится никому. Не исключено, что у представителей некоторых социальных групп обнаружались бы явно отсталые художественные вкусы. Но тогда по крайней мере стало бы яснее, где, среди кого и в каком направлении необходимо вести работу, развивать эстетические вкусы, а где нужно поднимать художника до зрителя и писателя до читателя. Такие обследования были бы чрезвычайно полезны для читателей, писателей, работников кино, идеологических комиссий и позволили бы гораздо эффективнее вести работу по воспитанию нового человека.

Социологические исследования важны и для каждодневной ориентации миллионов людей.

Людям приходится сталкиваться с общественными проблемами, по которым нужно принимать ответственные решения, но которые далеко выходят за пределы той области, о которой они имеют четкие представления. Им нужно решать проблемы быта, труда, выбора профессии. При этом молодые люди да и их родители имеют более или менее правильное представление о нескольких специальностях, а судить им приходится о десятках и сотнях.

Рассказывают притчу о слепцах, которых просили описать слона. Тот, кто потрогал хобот, сказал, что слон длинный и теплый. Ощупавший клык заявил, что слон твердый и острый. А тот, кто наткнулся на ногу слона, утверждал, что слон высокий и круглый, как дерево. Никто из них не лгал. Но негрудно видеть,

как далека картина в целом от описаний каждого из них. Так и представления о явлениях общественной жизни часто ограничены. К тому же миллионы людей, занятых каждодневными делами — работой, учебой, домашним хозяйством, общественной деятельностью, — не имеют ни средств, ни времени проводить по каждому вопросу самостоятельные «репрезентативные социологические исследования», «референдумы» и «переписи».

На помощь человеку приходит его среда, которая с малых лет и до старости вооружает его стереотипами — упрощенными формулами и образами процессов и явлений. Стереотип — это своеобразное свойство человеческого мозга, который не в состоянии переработать всю обрушившуюся на него информацию или, напротив, не имеет необходимой информации, но вынужден постоянно выдавать «приближенные» решения. С этой точки зрения процесс стереотипизации — необходимый способ человеческого мышления, который позволяет обобщенно включать прошлый социальный опыт в сегодняшние решения. Вряд ли была бы у человека хоть малая надежда разобраться в себе и во внешнем мире, сделать верный выбор, если бы среда с малых лет не вооружала его образами внешнего мира, понятиями добра и зла, полезного и вредного. Определенная система ценностей жизни, скрытая от постороннего взгляда, всегда лежит в основе нашего выбора, а сама, в свою очередь, находит опору в этических, нравственных ориентациях.

Однако было бы ошибочно полагать, что все само собой образуется, что люди достаточно вооружены благодаря передаче им определенного стандартизированного опыта. Стереотип пороку и дезориентирует, ибо жизнь меняется, а мы в своих сегодняшних решениях и действиях нередко основываемся на вчерашнем стереотипе.

В мире нет ничего сложнее и загадочнее социального явления. На нем всегда отблеск тайны. И чем глубже проникаешь в социальный процесс, тем больше убеждаешься, что он результат сложнейшего взаимодействия не только технико-экономических, но и исторических, космических, демографических, генетических, психических, духовных сил и явлений.

Социальная жизнь имеет свои подводные течения, свои землетрясения, свои цунами. Познание их требует не только использования статистики, математики, кибернетики, но и известной тонкости нервной организации, чувства меры, остроты политического мышления, реализма и интуиции — всего того, что в совокупности и представляет собою талант исследователя-обществоведа.

Конечно, популяризация всегда нужна. Она жизненно необходима сейчас, в эпоху научно-технической революции. Но именно поэтому важно напомнить, что это очень тонкое дело, почти искусство. От популяризации до вульгаризации — один шаг. Потерять чувство меры, перешагнуть точку оптимума, перегибать здесь крайне просто. Поэтому популяризация и вульгаризация часто союзники. В результате схемы общественного развития, которые оседают в массовом сознании, обычно бедны и прямолинейны. А это к добру не ведет. «Познание человека, — писал В. И. Ленин, — не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали»⁵.

Научный подход состоит именно в том, чтобы обеспечить систематическую проверку стереотипов, максимально возможно приблизиться непосредственно к явлению и тем самым минимизировать просчеты, в основе которых лежит устаревшая, односторонняя или частичная информация. «Степень научности» становится тем выше, чем точнее мы описываем в наших понятиях, концепциях, моделях, теориях то или иное явление, тот или иной процесс, чем решительнее отходим от односторонности и прямолинейности.

Социология в этом случае выполняет одну из самых значительных своих функций. Она показывает связь личной жизни человека с историческим процессом, осознание которой (связи) является важнейшим условием социальной активности. Давая объективную картину общества, социологические исследования

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 322.

демонстрируют как социологам, так и несоциологам, что они представляют собою, каковы реальные основы как макро-, так и микрорешений. Они показывают стереотипы, которыми представители различных социальных групп руководствуются в их повседневной жизни. Здесь функция социологии — самонаблюдение общества для самосовершенствования его — способствует не только разрушению предрассудков, но и росту самосознания и нравственности всего общества.

Впрочем, это отнюдь не автоматический процесс.

СОЦИОЛОГИЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Трудно представить себе развитие современной области знания, да еще такой, как социология, без борьбы честолюбий, без ярмарки тщеславия. И не может это не подталкивать отдельных сжигаемых страстью к продвижению научных работников к экспериментам, рискованным не столько для них, сколько для реципиентов — людей, которые должны давать им информацию.

В редакцию «Литературной газеты» поступило письмо:

«Уважаемые товарищи!

Наш институт готовится к переходу на так называемую карповскую систему, при которой оценка труда научных сотрудников определяется многими показателями, влияющими на эффективность научной работы. Помочь определить эти показатели взялись социологи — вот уже полтора года как в институте создана и работает социологическая лаборатория. Поначалу к ее деятельности относились с уважением и доверием, тем более что в преамбуле к первым анкетам цель работы определялась так: улучшение психологического климата в коллективе института, создание обстановки, которая способствовала бы увеличению эффективности научной работы. Поэтому такой, например, вопрос: «С кем бы Вы не хотели работать в одной лаборатории?» — хотя и вызвал некоторую настороженность, но все же был воспринят как допустимый: может быть, знание ответов на него необходимо для строго научного подхода к улучшению психологического климата. Через некоторое время выяснилось, что по ответам на упомянутый вопрос выставляется балл, который определяет «негативную экспрессивность» сотрудников. Потом оказалось, что сотрудники с высоким баллом «негативной экспрессивности» могут быть понижены в должности.

После этого отношение к работе социологов стало другим. Появились сомнения в том, правильные ли выводы делают они, подводя итоги анкетирования. Сомнения относились не только к методике оценки «негативной экспрессивности», но и других показателей. Многие стали отказываться от участия в опросах. Однако был издан приказ по институту, в котором сотрудникам фактически вменялось в обязанность отвечать на вопросы социологических анкет. Люди стали придумывать ответы, боясь подвести товарища. В институте создалась нервная обстановка — об улучшении психологического климата забыли и думать. На вопросы и критические замечания по поводу работы социологов начальник лаборатории отвечает, что сотрудники института некомпетентны судить об этом. Это, конечно, правильно, только здесь речь идет не о сугубо научных социологических проблемах, а о реальных результатах практической деятельности данной лаборатории. Нам кажется, что эти результаты могут способствовать лишь снижению эффективности труда научных сотрудников и в корне противоречат задачам, которые стоят перед институтом».

«НЕГАТИВНАЯ ЭКСПРЕССИВНОСТЬ»

Письмо не было анонимным. Под ним стояли фамилии авторов. В институт был направлен корреспондент. И вот передо мной громада материалов — статьи, анкеты, приказы, интервью с научными сотрудниками.

История, казалось бы, вполне обычная. В НИИ появилась новая, социологическая лаборатория. Ее руководитель, назовем его Петров, сразу же начал эксперимент.

Было решено применить в НИИ систему оплаты, которая проходит апробацию в Физико-химическом институте имени Карпова: в зависимости от эффективности работы научных сотрудников она дает возможность повышать зарплату до 50 процентов и понижать до 30. «Существенным условием этой системы,— поясняет в одной из своих статей директор НИИ (назовем его Константинов),— является то, что все изменения в оплате научных сотрудников происходят в пределах лимитированного фонда зарплаты. Однако при лимитированном фонде повышение оплаты части сотрудников неизбежно влечет за собой снижение ее у другой даже в том случае, если эффективность труда этой последней будет значительно повышена. Мы считаем, что это противоречие может быть снято только в том случае, если при переходе на карповскую систему с лимитированным фондом зарплаты параллельно будет происходить сокращение численности работающих за счет интенсификации научно-исследовательского процесса». Так родилась идея использовать взаимные оценки сотрудников, чтобы определять их квалификацию «для сокращения численности работающих».

О существовании этой идеи сотрудники института вначале не знали и поэтому достаточно спокойно отвечали на вопросы первой анкеты: «Является ли руководитель Вашей лаборатории, сектора, группы, темы (подчеркнуть) профессионально образованным человеком в той мере, в какой это необходимо для успешного руководства Вашей научно-исследовательской работой?», «Достаточно ли высок общий уровень развития Вашего руководителя?», «Обладает ли Ваш руководитель аналитическим складом интеллекта?», «Достаточно ли высок уровень эстетического развития Вашего руководителя?». Потом появилась вторая анкета и новые вопросы типа: «С кем из работников Вашей лаборатории Вы не хотели бы работать в одном коллективе?» К ней тоже отнеслись с доверием.

Каково же было всеобщее удивление, когда на аттестационной комиссии Петров начал выступать по поводу каждого аттестуемого, держа в руках так называемый лист оценки с цифрами: «Уровень авторитетности — 0,13», «Профессиональная образованность — 0,09», «Оригинальность и самостоятельность в решении научных проблем — 0,03», «Справедливость в решении спорных вопросов — 0,12», «Общая эрудиция — 0,01», «Личное обаяние — 0,02», «Негативная экспрессивность — 0,05» и т. п.

Тогда и стало известно, что руководитель группы М. получила семь голосов против по пункту «с кем бы Вы не хотели работать». Решением аттестационной комиссии М. была переведена из руководителей группы в рядовые научные сотрудники и, естественно, ей был понижен оклад. А вот мнение ее непосредственного начальника: «Я думаю, надо в первую очередь судить по делам. М. работает в институте около двадцати лет. У нее большое количество внедренных разработок — 16. Она коммунист и член партийного бюро научной части. Может быть, у нее в характере есть такие черты, которые сотрудникам, поверившим, что искренний ответ будет способствовать «повышению психологической сплоченности коллектива», хотелось бы изменить, но разве это основание для административных выводов?»

Отношение в НИИ к социологической лаборатории, возглавляемой Петровым, стало резко меняться. «Люди очень нервничают, и у них есть для этого основания»,— говорила сотрудница Е. Возникшая в результате накаленная обстановка не смутила Константинова. Готовясь к работе квалификационной комиссии, связанной с переводом на новую оплату труда, директор института издал приказ, в котором говорится:

«В целях успешного проведения работы квалификационных комиссий по переводу на новую систему оплаты труда научных сотрудников, разработанную в НИИ, приказываю:

1) начальникам всех лабораторий НИИ обеспечить условия для проведения в обязательном порядке анкетирования по анкетам № 2, № 3, № 4;

2) анкетирование по указанным анкетам проводить за подписью опрашиваемых;

3) ответственность за сохранение тайны индивидуального анкетирования возложить на начальника лаборатории...»

Поощряемый дирекцией, продолжал действовать и Петров. У него появилась даже новая концепция, которую он формулировал следующим образом: «У всех сложилось впечатление, что роль социологии примирять, сглаживать, улучшать психологический климат. Такой подход узок и даже буржуазен. У нас общество едино, у нас нет противоречия между основной массой работников и администраторами, так что нечего и сглаживать». «Меня называют Великим Инквизитором, — со вздохом признается Петров. — Думаете, мне хочется им быть? Но проблема интенсификации научного труда требует этого».

Таковы факты. А теперь попробуем разобраться в них.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СОЦИОЛОГ?

Если бы Петров знал основные вехи развития той науки, от имени которой хотел выступать, то он не стал бы кокетливо становиться в позу мессии или мученика, услышав о том, что его называют инквизитором, а очень самокритично посмотрел бы на дело рук своих.

Настоящий социолог, или социальный психолог, — фигура сложная. Это объясняется тем, что различные этапы социологического исследования предъявляют специфические требования к ученому. На одном этапе надо быть глубоким и оригинальным теоретиком, на другом — изощренным методологом, на третьем — вежливым, обаятельным интервьюером, на четвертом — внимательным, аккуратным кодировщиком, на пятом — острым интерпретатором. Естественно, что все эти качества редко сочетаются в одном лице. Подобно тому как хирургическая операция сегодня немыслима без ассистентов, инженеров, хирургических сестер, анестезиологов, современный социологический проект реализуется научным коллективом, в котором каждый выполняет свои специфические функции.

Однако какую бы роль ни играл тот или иной научный сотрудник, есть одно общее качество, которое необходимо каждому настоящему социологу и которое делает его родным братом врачу. Это свойство связано с требованием — не повредить!

Социолог-марксист отличается прежде всего гуманной и высоконравственной позицией. Он начинается с признания полной и безусловной суверенности личности человека, которая сама по себе обладает высшей ценностью. Даже если вам мерещится полный переворот в формах оплаты труда или докторская диссертация, вы, если вы настоящий социолог, не имеете права нанести ущерб личности, которая участвует в вашей работе.

Социолог-марксист начинается с того, что он отказывается принимать участие в бездушных манипуляторских затеях, которые не согласуются с нравственными принципами науки. Это требование встречают в штыки нравственно глухие научные работники, невольно свидетельствуя тем самым о своей профессиональной непригодности. С этой точки зрения позиция наших ученых принципиально отличается от позиции буржуазных социологов, для которых человек — безучастный объект исследования, подобно жуку или бабочке для биолога. Социолог-марксист никогда на это не пойдет. Он обязан знать состояние своей в высшей степени специфической науки, иметь представление о том, насколько разработаны те или иные методы, прошли ли они соответствующую апробацию и в какой мере их можно использовать. Методы социологии столь же ответственны, сколь и методы врачевания.

Социологические исследования при правильной их постановке имеют огромное воспитательное значение. Они оказывают благоприятное влияние на человеческое общение. Они дают образцы тактичного, уважительного отношения к человеку. Они способствуют более глубокому пониманию специфических особенностей и мотивов поведения других людей, разрушают предвзятость и предрассудки. Социологические исследования уже сегодня играют важную конструктивную роль в дальнейшем развитии подлинно социалистических отношений.

Общество — объект, открытый для наблюдений. Каждый человек, опираясь на собственный опыт, пытается судить о том, что люди любят, что им не нравятся, как они относятся к тем или иным явлениям или друг к другу. Однако социолог-профессионал в отличие от дилетанта помнит, насколько тонка и хрупка структура межличностных взаимоотношений, как легко разрушить ее и нанести тяжелую травму человеку, что разрушить коллектив, перессорить людей куда проще, чем создать отношения подлинного уважения и товарищеского сотрудничества.

Неделикатность в области человеческих отношений, общение с «позиции силы», удары авторитетом — вещи столь же недопустимые для социолога, как пользование топором для хирурга. «Не будете ли вы столь любезны ответить на ряд вопросов?» — «Нет, я не хотел бы отвечать сейчас ни на какие вопросы». — «Извините за беспокойство, всего хорошего». И все. Больше социолог никаких вопросов не имеет права ставить. Никаких «почему», никаких призывов к совести, долгу. Это любезность, если незнакомый человек согласился затратить свое время и ответить на вопросы, которые вы ему задали. Он имеет полное право не отвечать. Если же у него возникает хотя бы малейшее подозрение, что информация, которую он предоставляет, может повредить ему, то это ошибка исследователя. После такого сигнала он должен немедленно прекратить анкетирование или интервьюирование и заново пересмотреть всю методику.

Люди, бывшие во Франции, нередко отмечают, что французы малокоммуникабельны. Действительно, во французских поездах можно наблюдать такую картину: каждый укладывает свой чемодан на полку, раскрывает книжку или газету, достает бутерброд, бутылочку воды или вина. И никто не спрашивает друг друга: «А вы откуда? Вы куда? Кем работаете?»

Как-то я заговорил об этом с французскими психологами, и они объяснили мне все иначе. «Нам кажется, что дело не в малой коммуникабельности, а в деликатности. Вдруг у вашего соседа по купе умирает близкий человек и ему совсем не хочется обсуждать ваши вопросы. А другой просто хочет в дороге немного собраться с мыслями. Поэтому, если я не знаю, расположен ли данный человек вступать в контакт, я не имею права нарушать его душевный покой».

Бестактный человек — это микроагрессор. Он так же социально опасен, как пьяный шофер. Он посягает на ваше настроение, на ваше «я», на суверенитет вашей личности.

Бестактность не является монополией безграмотных социологов. Любителей задавать вопросы значительно больше. Среди подобных душевно глухих людей просматриваются два основных типа: одни как бы спускаются «по вертикали», другие въезжают «по горизонтали».

Я поступаю на работу. Обязуюсь печь хлеб, тачать сапоги или печатать книги. В связи с этим я вступаю в производственные отношения с начальником своего цеха. В определенных пределах я должен выполнять его распоряжения. Но я совсем не обязан его любить или восхищаться его эстетическими взглядами. Наше равенство перед законом, наши отношения товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи в том, в частности, и выражаются, что только в процессе труда я подчинен своему руководителю, а в остальном я равен ему. А может быть, и выше его.

Одно из профессиональных заболеваний, которое, к сожалению, не изучается соответствующими институтами, заключается в том, что некоторые люди с трудом выходят из своей роли: привыкнув распоряжаться в служебном кабинете, они и за пределами его по инерции продолжают командовать. Это бесцеремонное вторжение в чужую жизнь, нарушение суверенности личности нельзя квалифицировать иначе как злоупотребление служебным положением.

Второй тип — «по горизонтали». Каковы же его признаки? У некоторых крупных специалистов возникает уверенность в непререкаемости своего авторитета, причем не в области собственных исследований, где они обычно держатся скромно, но в целом. Скажем, известному химику начинает казаться, что он гений в экономике, и в праве, и в психологии, и в других областях науки.

Как-то я присутствовал на выступлении одного крупного математика. Он твердо ответил «не знаю» на 90 процентов вопросов, касающихся его предмета, и вел себя здесь в высшей степени корректно. Зато он без тени сомнения брался за решения любой задачи из других областей знания, особенно связанных с общественными науками. Твердые «да» и «нет» сыпались здесь на все сто из каждых ста вопросов.

Ну а если такой специалист становится социологом (кстати, это случалось за последние годы не так уж редко)? Тогда отсутствие социологического образования дополняется еще и гуманитарным невежеством. Инженеры привыкают к отношениям типа «человек — машина» и переносят их на отношения совсем иного типа — «человек — человек». «Машинный подход» опасен привычкой к тому, что машине можно задавать любые вопросы. При этом не возникает никаких этических проблем: не хватает информации — добрать, вот и все. Такой подход, к сожалению, характерен и для большой группы людей, пытающихся заниматься социологией. «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте», — сказал поэт. И они спрашивают всюю.

Разумеется, в исследовании могут использоваться самые тонкие методы — тесты, вопросы, значение которых понятно лишь профессионалам. Поэтому нельзя по отдельным, выдернутым из контекста пунктам анкеты пытаться судить о работе в целом. Но два условия должны соблюдаться при любом социологическом исследовании: первое — добровольность предоставления информации, второе — честность во взаимоотношениях между социологом и тем, кого он опрашивает.

ОБ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Беда не только в том, что методы, которые использовали директор института Константинов и заведующий социологической лабораторией Петров, противоречат нравственным принципам марксистской социологии. Худо и то, что они не позволяют получать достоверную информацию. «Нам нужна *полная и правдивая* информация, — писал В. И. Ленин. — А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить»⁶. Социолог-марксист постоянно ощущает свою ответственность перед народом за полученные им результаты. Он, как и всякий ученый, выше всего ставит истину. А выявить истину совсем не просто, особенно тогда, когда информация поступает к исследователю непосредственно от человека. Это можно пояснить, используя следующую схему: А—В—С

В ней:

А — изучаемое явление (например, набор профессий или вариантов жизненных путей);

В — восприятие индивидом, или группой, или классом данного явления с учетом той деформации, которая обусловлена социальной позицией;

С — то, что человек сообщает в анкете, в интервью исследователю о своем восприятии данного явления. Эта информация подвержена социальному контролю. Даже тогда, когда человек вполне осознал свое отношение к данному явлению, он в силу тех или иных причин может не дать информацию о своем действительном отношении или намерениях;

Д — реальные поступки, решения, поведение различных индивидов и групп. Очевидно, что они прежде всего связаны с В, то есть с тем, как в действительности воспринимают люди то или иное явление, а не с тем, что они сообщают об этом в анкетах и интервью. Поэтому Д и С совпадают друг с другом, а могут и существенно различаться.

Для человека, работающего в области конкретных исследований, совершенно очевидно, что анкета совсем не является какой-то универсальной социологической отмычкой. В ряде случаев достоверная информация не может быть получена с помощью анкеты или интервью. Поэтому социология использует все источ-

⁶ В И Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 446.

ники: данные государственной статистики, различные формы отчетности, непосредственные наблюдения и т. д. и т. п.

Если же мы попытаемся делать выводы на основе информации, полученной от человека, надо ясно представить себе, как она была получена, каким способом, в какой ситуации. Без этого такие данные могут стать лишь дезинформацией руководящих органов, основой ошибочных и вредных решений. Без этого, как говорил Ленин в своей знаменитой статье «Статистика и социология», «неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает... чаще, чем кажется»⁷.

Возьмем, например, некоторые работы экономистов и социологов по изучению причин текучести рабочей силы. Важность выявления их никем не подвергается сомнению. Но беда в том, что многие исследователи априорно исходят из того, что В равно С. В действительности же человек сплошь и рядом отвечает не то, что думает, а то, чего, как он полагает, ждет от него исследователь или общественность. Ну скажем, человек увольняется с предприятия. Каждый знает, что это обычно не очень приятная процедура. И вот в этой ситуации в отделе кадров увольняющемуся предлагают заполнить анкету, подчеркнуть одну (или несколько) из 20 возможных «причин увольнения». В «подсказке» предлагается такой вариант: «Неудовлетворенность заработной платой». А у человека возникает мысль: «Я это подчеркну, а они позвонят на новое место работы и скажут: «Кого берете? Это же рвач». «Подсказка» продолжается: «Плохие отношения с мастером», «Плохие отношения с коллективом». Снова возникает мысль: «А вдруг кто-нибудь на новом месте работы скажет: «Склочник! Сам признался». Наконец увольняющийся находит какой-нибудь размытый, ничего не говорящий вариант вроде: «По личным обстоятельствам». «Вот это для меня. Здесь я хотя бы сам себе не нарекжу», — думает он, подчеркивая этот пункт. А потом те, кто проводил исследование, делают сногсшибательный вывод: «В наших условиях лишь 10 процентов не удовлетворены зарплатой. Это свидетельствует о том, что зарплата, материальные стимулы уже отошли на второй план». Но ведь это же чистейшая дезинформация, возникшая вследствие крайне низкого профессионального уровня исследования. Из-за нее может быть прекращено совершенствование материального стимулирования. А в действительности-то его как раз и надо развивать.

Если посмотреть на результаты деятельности социологов в том НИИ, о котором шла речь, с позиции достоверности информации, то грубейшие ошибки окажутся очевидными.

Испокон веков все согласны, что платить научным сотрудникам надо в зависимости от количества и качества их труда. Проблема всегда была в другом: как точно количественно измерить эффективность научно-исследовательских работ? Разумеется, практика — всегда критерий истины. Но пока открытие еще не в металле, а на бумаге, кто может точно сказать, нужно ли оно вообще? Кто вероятнее всего не даст маху и правильно санкционирует расходы на продолжение исследований по теме № 17 и рекомендует прекратить финансирование по теме № 23?

Пока лучше, чем экспертная оценка специалистов, крупнейших авторитетов в данной области, ничего не придумано. По идее, директор НИИ, будучи крупным ученым и располагая заключениями экспертов, должен быть способен оценить по достоинству реальный научный вклад лаборатории и ее руководителя.

Но можно все это весьма сложное и ответственное дело шаржировать. Например, поручить взаимную оценку работ самим сотрудникам лаборатории. Пусть старшие и младшие научные сотрудники, лаборанты, аспиранты определяют вклад в науку заведующего лабораторией и ставят ему оценку по пятибалльной системе, а потом директор суммирует все эти оценки и под псевдодемокра-

⁷ Там же, т. 30, стр. 351.

тический аккомпанемент (дескать, коллектив всегда прав) выведет среднюю арифметическую, которую и положит в основу аттестации.

Стоит ли говорить, что в этом случае в результате привлечения недостаточно компетентных судей их оценкой ни в коем случае нельзя руководствоваться, особенно при решении человеческих судеб. Мы уж не говорим о том, что взаимные оценки затрагивают весьма чувствительные струны человеческого сердца.

Нет, мы не возьмемся утверждать, что во всякой области знания этическая сторона органически связана с достижением истины. Может быть, есть какие-то этически нейтральные области науки, но здесь, в изучении человеческих отношений, этика и истина неразрывны. Вот почему люди с неразвитым моральным чувством, душевно глухие неминуемо терпят в социологии крах и как научные работники.

Жизненность этой проблемы, ее возможности для остросюжетного произведения понял, в частности, писатель Виктор Конецкий. В его повести «Путевые портреты с морским пейзажем» («Звезда», 1976, № 3) блестяще написан тип «социально опасного социолога» (Шалапина) и создана основа для прекрасной кинокомедии о том, как замороченный тестами и в результате переругавшийся «подопытный экипаж» сажает корабль на камни.

«АФФЕКТ НЕАДЕКВАТНОСТИ» У УЧЕНЫХ

То, что мы рассказали, пока касается людей, оказавшихся по тем или иным причинам в данной области науки более или менее случайно. Но и сама наука, между прочим, тоже не безгрешна. Она никогда не знает точно, что она может, а что нет, и вечно пытается превзойти собственные пределы. И не стремится социология к мирному сосуществованию с литературой. Напротив, она не прочь потеснить литераторов, захватить новые земли, самой вести исследование человека в предельных ситуациях.

Здесь отношение между ученым и реципиентом вновь замутняется, ибо ученый неизбежно должен как-то обмануть обследуемого, спровоцировать его, чтобы получить нужные данные. И в этом случае вопрос, как обмануть, становится одной из главных методологических проблем исследования.

Передо мной сборник, посвященный изучению мотивации детей и подростков. В теоретическом и методологическом плане здесь немало любопытного, прежде всего в связи с исследованием возникновения и роли самооценки, конфликтов между самооценкой, оценкой окружающих и тем идеальным представлением, которому человек стремится соответствовать. Безусловно важным представляется и исследование так называемого аффекта неадекватности, возникающего в результате того, что притязание на определенное положение в обществе или в коллективе превышает возможности, а человек оказывается не в состоянии изменить свою самооценку и игнорирует свой неуспех. Так формируется неадекватное отношение к действительности, обида, уверенность в несправедливости оценок других, агрессивность к тем людям и обстоятельствам, которые обнаруживают несостоятельность притязаний. В результате, как отмечают авторы сборника, переживание обиды и несправедливости позволяет человеку чувствовать себя «хорошим», оставаться в своих глазах «на должной высоте», более того, чувствовать себя незаслуженно пострадавшим, что еще больше возвышает его в собственных глазах и исключает недовольство собой.

Сборник интересный. Но когда мы переходим к знакомству с методами экспериментальной выявления направленности личности подростков, возникает чувство неловкости. «При подготовке эксперимента необходимо было так разработать инструкцию и ход опытов, чтобы иметь возможность испытывать различные методики на одних и тех же испытуемых. Кроме того, нужно было добиться, чтобы эксперимент не создавал у испытуемых впечатление специального исследования их личности, а выступал как задание, естественно связанное с их участием в общественно полезной деятельности»⁸.

⁸ «Изучение мотивации поведения детей и подростков». М. «Педагогика». 1972, стр. 250.

Перед учеными уже возник вопрос о допустимых границах эксперимента. Но, как видно, они ничтоже сумняшеся переходят эти границы: раз этого требуют сформулированные ими задачи, то не надо говорить испытуемым о подлинных целях, о том, для чего все это делается, то есть надо обмануть их.

Вот как совершается эта операция. Один из экспериментаторов зачитывает инструкцию № 1: «Это исследование связано с задачами общегосударственного планирования производства различных электронных и счетно-решающих устройств. Такие работы очень важны для будущего широкого внедрения этих машин в производство и в различные области жизни. Для того чтобы установить наилучшие режимы работы этих машин, необходимо знать, как люди воспринимают и оценивают время, расстояния, как быстро они могут отвечать на различные сигналы».

Как понимает читатель, все это неправда. Ни малейшего отношения ни к задачам «общегосударственного планирования различных электронных и счетно-решающих устройств», ни к «внедрению этих машин», ни к режиму работы этих машин эксперимент не имеет. Просто экспериментаторам нужно заморочить головы подросткам от имени ее величества НТР, ее превосходительства ЭВМ и т. д. Говорят, бывает святая ложь. Может быть, это как раз тот случай?

Но возникает встречный вопрос: достижима ли истина, если для этого нужна ложь? Иначе говоря, не почувствуют ли молодые люди сами (или с помощью родителей), что дело здесь совсем не в проектировании ЭВМ, а в чем-то совсем ином? И не породит ли это у них настороженности, нежелания говорить правду: «Раз меня так, то и я так»? И может ли из таких отношений между экспериментаторами и испытуемыми родиться истина?

Впрочем, дело не только в этом. Главное здесь — нравственный ущерб. Ученые в ходе такого эксперимента невольно преподают наглядный урок о границах честности, и не должны ли подростки сделать из этого урока вывод, что если взрослые дяди и тети имеют право обманывать во имя своих интересов, то, стало быть, им тоже можно приврать, исходя из своих? Как видим, «принцип дополнительности» — о влиянии экспериментатора на результаты эксперимента — в данном случае оборачивается к нам прежде всего своей моральной стороной. Вряд ли можно надеяться, что мы далеко уедем на двойной морали: одна для нас, другая для них. И особенно опасно, когда мы лжем подросткам от имени науки.

Иногда возражают: «Бросьте выдумывать! Никаких моральных пределов нет. А если и есть, то их нельзя точно определить». Между тем вряд ли можно полагать, что эти пределы непознаваемы. Особенно, как это ни удивительно, они отчетливо ощущаются в гуманитарных науках. И не там ли эта граница для ученого-гуманитария, где он не может продолжать исследование, не обманывая обследуемых? Не тут ли он должен остановиться?

«ПО НАЗНАЧЕНИЮ СВОЕГО СЕРДЦА»

Для русской социологии всегда был присущ гуманизм, не только исключаящий нанесение какого-либо вреда людям, которые обследуются, но, напротив, предполагающий проявление к ним максимума внимания, стремление помочь им, что так точно выражается старым, почти вышедшим из обращения словом «милосердие». Вспомним, например, что писал Л. Толстой по поводу нравственной стороны переписи 1882 года в Москве, в которой он сам принимал активное участие:

«Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастье людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук.

Особенность — в том, что социологические исследования не производятся учеными по своим кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а двумя тысячами людей из общества. Другая особенность та, что исследования других наук произ-

водятся не над живыми людьми, а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель всякой другой науки есть только знание, а здесь — благо людей. Туманные пятна можно исследовать одному, а для исследования Москвы нужно 2000 людей. Цель исследования туманных пятен только та, чтобы узнать все про туманные пятна; цель исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам все равно, исследуют их или нет, и они ждали и еще долго готовы ждать; но жителям Москвы не все равно, особенно тем несчастным, которые составляют самый интересный предмет науки социологии».

Толстой прекрасно понимал научное и социальное значение переписи, в ходе которой не могло не выявиться, что в Москве живут десятки тысяч людей без хлеба, одежды и приюта. Но еще больше он был озабочен тем, что тысячи молодых людей будут в качестве счетчиков смотреть, как мучаются их соотечественники, и спокойно регистрировать умирающих с голода и холода. Это было бы дурно и безнравственно.

Поскольку цель социологии — «учредить лучше жизнь людей», Толстой призывает руководителей, счетчиков, всех жителей Москвы не ограничиваться лишь регистрацией. Не по команде начальства, «а по назначению своего сердца» он призывает присоединить к делу переписи дело помощи нуждающимся, чтобы и по окончании обследования продолжать его, ибо, как бы кто ни смотрел на жизнь, всякий согласен, что важнее нет ничего человеческой жизни. «И это надо не забывать и не позволять никаким другим соображениям заслонять от нас важнейшее дело нашей жизни. Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук; что если бы был вопрос в том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи,— пропадай вся перепись, только бы накормить старуху!»

Так круто, на предельной ноте ставит этот нравственно-научный вопрос Лев Толстой, что не может читатель не вспомнить о слезинке ребенка, о которой писал и другой наш великий соотечественник.

Участвуя в переписи сам, знакомясь с обездоленными, больными и умирающими в подвалах и ночлежных домах Москвы, Лев Толстой замечает, насколько трудна задача помощи, что благотворительность недостаточна, что «когда пришлось вникать в то, что требовалось, то оказывалось, что потребности равномерно возрастали по мере помощи и не было и не могло быть удовлетворения», «что несчастье их не поправимо внешними средствами, что они ни в каком положении не могут быть счастливы, если взгляд их на жизнь останется тот же...».

«Я не понимал того,— признается Толстой два года спустя в статье «Так что же нам делать?», рассказывая о своем участии в этой переписи,— что помочь такому человеку можно только тем, чтобы переменить его мирозерцание. А чтобы переменить мирозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее мирозерцание и жить сообразно с ним, а у меня было такое же, как у них, и я жил сообразно с тем мирозерцанием, которое должно быть изменено для того, чтобы люди эти перестали быть несчастными».

Врачу — исцелился сам. Такой вывод делает Лев Толстой, обращаясь к себе и своему сословию. Люди высшего сословия не могут врачевать, ибо сами корыстны, злы, аморальны, не могут помочь миллионам нуждающихся, ибо больно все общество.

Тем не менее надежда не покидает Толстого. Он не может не надеяться, что когда-нибудь люди проснутся и поймут, что нет ни одной обязанности, которая была бы важнее, чем эта. «Почему не надеяться, что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен, это значит, что клетки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: она

вытесняет мертвые; запирает живую преградой зараженные, сообщает жизнь отживавшим, и тело воскресает и живет полною жизнью.

Отчего же не думать и не надеяться, что клеточки нашего общества оживут и оживят организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его».

Вот как сто лет назад ставил вопрос властитель дум той эпохи, «зеркало русской революции», писатель Лев Толстой! И уместно ли нам теперь, после всего пережитого, игнорировать эту нравственную традицию русской мысли?

УВЛЕЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В начале развития любой области знания энтузиасты обычно преувеличивают ожидаемые от нее результаты. Это неудивительно. Ведь здесь — до начала исследований — они имеют дело с непрофессионалами, которые обычно не представляют себе, как тернист путь науки, которые не знают, что лишь десятая часть реализованных исследований дает действительно важные результаты. Настолько важные, что они с лихвой перекрывают все затраты. Если ты сам не попробовал этой езды в незнаемое, не ощутил на себе трудностей поиска — вряд ли ты вполне поймешь других. Не удивительно, что поначалу ученым приходится, говоря о своей области знания, несколько форсировать свой энтузиазм. Без этого не построишь синхрофазотрон стоимостью в сотни миллионов рублей, не создашь современный вычислительный центр, не организуешь новый, современный биологический институт. Без этого нельзя провести и серьезных социологических исследований.

Впрочем, дело не только в этом. Люди сплошь и рядом становятся жертвами собственной пропаганды. И ученым, работающим в социологии, которые столько сил потратили на то, чтобы возродить эту область знания, начинает казаться, что они всемогущи, что они методами своей науки способны изучить человека и общество вдоль и поперек. Самоокопачивая себя, они вторгаются в соседние области знания, в искусство, в литературу, полагая, что все им ведомо и доступно. Здесь, на этих рубежах, сплошь и рядом происходит превращение науки в то, что К. Маркс называл светскими формами религиозного сознания. Вот почему поистине актуально и сейчас, прежде чем объединяться, размежеваться, критически оценить используемые методы, уяснить себе, кто есть кто, где чья сфера влияния.

Социология, как мы уже говорили выше, возрождалась у нас в стране как наука дискурсивная, то есть широко использующая статистические и математические методы. С тех пор как в начале 60-х годов были изданы первые книги по количественным методам социологических исследований, интерес к ним не затухал. Именно это отмечали после VI Всемирного социологического конгресса западные обозреватели, пытаясь понять причину, специфику и направление «социологического бума» в СССР. Этот интерес к количественным методам был вызван не столько стремлением приподнять социологию, сколько практической направленностью, стремлением дать свои разработки в форме, которая позволяла бы их непосредственно учесть при подготовке и принятии соответствующих решений. И такой «перекос» в сторону логических, математических методов был бы естественным и плодотворным, если бы сохранялось чувство меры, если бы он не был связан с недооценкой литературы и искусства как исключительно важных форм познания социальных явлений и процессов.

Перелом наметился лишь за последние годы, когда социологи стали более явственно ощущать пределы своей области знания. Этому способствовало и то, что сам взгляд на искусство и науку за последнее десятилетие непрерывно обогащался. Если прежде наука с ее специфическими методами рассматривалась часто как единственная форма познания окружающего нас мира, то теперь даже для представителей самых точных областей знания становится все более очевидным, что в познании социального без литературы, искусства не обойтись.

Член-корреспондент АН СССР физик Е. Л. Фейнберг в своей статье в «Вопросах философии» справедливо выступил против фетишизации логического мышления, против недооценки синтетических, интуитивных форм познания, характерных для искусства.

«И в эпоху научного знания,— пишет он,— интуитивное постижение несколько не утратило своего важнейшего значения (хотя некоторые объекты суждений, опосредствованные дискурсивно и опытно, перешли в сферу науки). Более того, рост авторитета дискурсивного знания, доходящий до попыток фетишизации дискуссии, с одной стороны, ослабление таких источников авторитета интуиции, как религиозная мистика, обрядовость и опора на божественный авторитет,— с другой, предъявляют повышенные требования к искусству в целом и к ассоциативной, эмоциональной и интеллектуальной восприимчивости тех, кому искусство адресовано. Возможно, в этом кроется и причина усложнения, обострения форм, средств, используемых искусством.

Поэтому, можно полагать, искусство как метод, помогающий удержать познание от монополии дискурсии (функции которой во всевозрастающей степени передаются машине) и тем обеспечить полноту познания, будет необходимо и в будущем, поскольку адекватное и полное познание в целом есть необходимое условие существования человечества»⁹.

Хотя здесь автор и рассматривает искусство в основном с точки зрения познания, с его суждениями трудно не согласиться. Более того, этот подход дает возможность дифференцированно посмотреть на соотношение дискурсии и интуиции в различных областях знания. Математика, физика, техника, химия, биология, гуманитарные науки — наверное, я не очень ошибусь, если буду утверждать, что соотношение дискурсии и интуиции в них различно, хотя, может быть, я и не вполне строго ранжировал их по этому признаку. Если в математике почти безраздельно господствует дискурсия, если она, особенно в XX веке, захватила командные высоты в физике, технике, то вряд ли это можно утверждать, говоря о гуманитарных науках, в частности о социологии, где роль интуиции в действительно содержательных открытиях чрезвычайно велика, хотя, конечно, социология, как, впрочем, и биология и история, чтобы выглядеть прилично и современно, при каждом удобном и неудобном случае стремится облечь свои интуитивно полученные выводы в дискурсивные наряды.

Важная роль чисто интуитивного познания в науках об обществе обуславливает противоречивые последствия. Во-первых, это требует иных, нелогических форм доказательности истины. Сплошь и рядом критериями истины здесь являются суждения, которые разделяются другими специалистами. Вот почему отбор специалистов, способных отличать сверкающие крупницы нового знания от серого песка эпигонства и невежества, имеет первостепенное значение для существования социологии. Если в ученых советах, ВАКе сосредоточены действительно профессионалы, эрудированные, знающие состояние социологии в стране и за рубежом, которые сами проводили оригинальные, теоретически и практически важные исследования и способны выполнять роль экспертов, то наука имеет перспективы развития. Если же специалисты вытесняются, а командные высоты занимают случайные люди, то ликвидируются основные критерии научности. Во-вторых, нельзя не видеть, что возрастание роли интуиции расширяет возможности спекуляции. Фетиши авторитета, должности, звания — все это может быть использовано и нередко используется вместо дискурсивных критериев истины и существенно ослабляет чисто научные позиции гуманитариев.

Нередко самообман ученого-социолога питается ограниченностью информации. Ну, скажем, имеющаяся статистика позволяет ему учесть пять факторов, влияющих на данный процесс. На них он может построить удивительные дискурсионные замки, использовать теорию графов, теорию вероятности, мате-

⁹ «Вопросы философии», 1976, № 7, стр. 108.

матическую статистику, мощные компьютеры, делающие миллионы операций в секунду, и пр. и пр. А на самом деле данный социальный процесс обусловлен не пятью, а ста факторами. Да к тому же вовлеченные в исследование пять факторов не являются главными, определяющими. В итоге все эти упражнения не дают адекватного представления о данном процессе.

«Порок таких работ,— говорит И. Грекова, человек весьма искушенный и в математике и в литературе,— отсутствие доматематического, качественного анализа явления, подлинной постановки задачи. Умение ставить задачи, безусловно, должно быть отнесено к области искусства, и в этой зоне наука теснейшим образом смыкается с искусством, включает в себя элементы искусства как неотъемлемую часть.

К сожалению, многие авторы пренебрегают этой важнейшей стороной научных исследований и заполняют свои страницы пустыми формальными выкладками. Через этот барьер формул и мутных мыслей (зачастую неясных даже автору) трудно бывает продрафаться, чтобы с уверенностью квалифицировать работу как образец псевдонауки»¹⁰.

ВАГРАНКА ИЛИ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Это особенно важно, когда в социологических или социально-психологических исследованиях мы от среднестатистического человека или от среднеарифметического представителя того или иного класса или группы доходим до проблем личности. Выдергивая то одну, то другую группу факторов, мы неизбежно искажаем картину, хотя порой нам и кажется, что мы просто делаем ее менее сложной, более простой. Но без этих сложностей при бесчисленных ограничениях и абстракциях теряется то, что поэт называл «лица необщим выраженьем» и что мы называем личностью. Напротив, при комплексном подходе множество тончайших социально-психологических проблем всплывает перед исследователем. Здесь такие нюансы, такие глубины, которые не постигнешь с помощью каменных орудий современной социологии и психологии и которых, будем справедливы, некоторые исследователи просто не чувствуют. Все это лишь подчеркивает настоятельную необходимость использования для более полного познания социальных явлений средств не только науки, но и искусства, прежде всего литературы.

Тут требуются психологические эксперименты в предельной ситуации. Тут нужно идти до края, до пропасти. И здесь не обойтись без писателей, которые задолго до появления слов о системном, комплексном и прочих подходах доступно разъяснили вещи, которые нынче начинают переоткрывать. «Что знает рассудок? — спрашивал, например, Ф. М. Достоевский. И отвечал: — Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает: это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет»¹¹.

Если так подходить к натуре человеческой, то в ней обнаруживается немало удивительного, алогичного, парадоксального. Например, в структуре ценностей жизни и мотивов поведения, о которых теперь любят говорить и писать социологи. «Ведь вы, господа, сколько мне известно,— говорит цитировавшийся выше автор устами человека из подполья,— весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого,

¹⁰ «Вопросы философии», 1976, № 10, стр. 105.

¹¹ Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах Л. «Наука». 1973, т. 5, стр. 115.

при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит»¹².

О какой же выгоде, от которой весь расчет зависит, говорит этот знаток души человеческой, высмеивая любителей «научно-экономических формул» и «статистических цифр»? Вот, пожалуйста: «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту». И удивительнее всего: это оказывается не так уже вредно нашему брату, «может быть выгоднее всех выгод... потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность»¹³.

Можно спорить с Ф. М. Достоевским, но нельзя не видеть, что такие нюансы не схватишь с помощью дискурсивного знания. В этих рассуждениях свобода самовыражения, самоосуществления, право на собственные поиски и ошибки — это главнейшая ценность, без которой человек не может сохранить себя как личность. И то, что мы стремимся расширить эту свободу, обеспечить в том числе расширение свободы поисков призвания не для капризничающих одиночек, а для всего общества, для всех классов и социальных групп, — лучшее свидетельство того, что здесь создаются все более благоприятные условия для синтеза человека экономического, социального и духовного, реальных шагов к обществу, где «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»¹⁴.

Социолог — не будем об этом забывать — изучает, строго говоря, не личность, а среднестатистического человека в среднестатистической ситуации. При операции осреднения живого человека как бы обстругивают. В результате у него из бесконечного числа граней, в которых запечатлелась его и его предков природа, история, социум и что придавало ему отблеск единственности и неповторимости, остается совсем немного — в зависимости от того, как его обстругивали исследователи. Он может стать трехмерным или плоским, как доска, а то и одномерным человеком. Если по результатам такого абстрагирования (то есть обстругивания) мы попытаемся делать прогнозы относительно его поведения — мы только людей насмешим: индивидуум скончался при операции осреднения, а для изучения поведения живых людей нельзя использовать трупы. И здесь в нашем анализе мы наталкиваемся на пределы, которые не перейдешь. К тому же этот среднестатистический человек в среднестатистической ситуации, конечно же, безнравственный и бездуховный. А если мы из него выпотрошили совесть, способность к самооценке и самоограничению, нравственное самосознание, то его модель оказывается весьма несовершенной. И хотя сейчас некоторые математики в эйфории публично обещают сконструировать модель человека, это может вызвать у людей, способных к критическому анализу, лишь усмешку. Эти математики (или кибернетики) имеют тысячекратно преувеличенное представление о возможностях науки и тысячекратно преуменьшенное представление о сложности человека, который уж наверняка не менее неисчерпаем, чем атом.

Как-то два математика в Академгородке под Новосибирском объявили, что они построили модель человека. Они напряженно работали два года. Наконец, когда дело дошло до выдачи результатов, они несколько смущенно объявили: «Модель человека у нас пока не получилась, но мы построили модель КМК — Кузнецкого металлургического комбината, точнее модель вагранки». Это было, конечно, честное признание. И оно имеет важное значение и сегодня, прежде всего в главном: давайте не путать человека с вагранкой, давайте реально видеть пределы научного знания.

¹² Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах, стр. 110—111.

¹³ Там же, стр. 113, 115.

¹⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 447.

«Пределы — здесь, пределы — там, — скажет недовольный читатель. — А как же прогресс науки?» Не знаю, кто и когда вбил нам в голову мысль об исключительной самоценности развития науки. И так прочно, что стали мы порой забывать, что прогресс знания не цель, а средство. Причем средство, целиком и полностью подчиненное интересам человека и человечества.

Речь, конечно, не идет об абсолютных, незыблемых пределах. По мере того как сужаются возможности дискурсивного познания социума и человека, все более расширяются иные горизонты. В том, чего сегодня не может совершить наука, не преступая своих собственных ограничений и нравственных пределов, ей может помочь искусство, и прежде всего литература.

К ЧЕЛОВЕКУ ДУХОВНОМУ

С некоторых пор как бы официально признано существование двух потоков, в которых так своеобразно отражается наша жизнь, — социология и литература. На съездах писателей и семинарах, в толстых и тонких журналах — везде теперь они стоят рядом. И так уж примелькался этот расхожий «социологический подход» (звучит солидно и в то же время достаточно туманно), что все чаще писатели и социологи начинают отождествлять друг друга, поскольку, дескать, разница невелика, все мы пишем сочинение на тему «Человек и общество».

Только странная вещь — расширение круга исследований, сам этот литературно-социологический поворот к человеку, проходил не без сюрпризов. Он подталкивал всех, кто хотел видеть, к пониманию, что среднестатистический человек по мере приближения к нему начинает расщепляться на социальные, профессиональные, национальные группы и дальше — вплоть до индивида, до конкретной судьбы. С другой стороны, по мере насыщения элементарных потребностей населения становилось все более очевидно, что не хлебом единым жив человек, что он может быть определен множеством эпитетов:

человек экономический,
человек социальный,
человек духовный.

И все настойчивее звучал вопрос: «Все ли ипостаси его в равной мере отражают социология и литература?»

Нет нужды подробно говорить о литературе как союзнике социологии. Действительно, книги В. Овечкина, Е. Дороша, Г. Троепольского, Г. Радова и других по праву рассматриваются у нас как глубокие исследования жизни нашего общества. И не только в тот период, когда социология была на положении золушки, но и сейчас. И если Маркс называл Бальзака «доктором социальных наук», то и ныне многие писатели безусловно заслуживают общенародного признания не только как литераторы, но и как ученые-социологи.

Ныне этот союз укрепляется, взаимодействие родов войск налаживается, осознание своих подлинных ролей и возможностей становится все более четким. Социологи, изучая престиж профессий у молодежи, установили, например, реальное противоречие — низкий престиж сферы обслуживания именно в тот период, когда эта сфера предъявляет наибольший спрос на рабочую силу, открывает все новые и новые вакансии. Ученые отмечали, что эти занятия рассматриваются как социально презираемые, что нужно разрушить этот предрассудок у молодежи. Литераторы ответили на это реальной работой. Статьи А. Аграновского «Официант», А. Левикова «Обед с официантом» и «Ужин с официанткой», умная содержательная книжка А. Рубинова «Лестница престижа» — все они так точно и художественно интерпретировали занятия в сфере обслуживания, как, видимо, не смогли бы сделать сами научные сотрудники.

В этих публикациях идет принципиально важный разговор о престиже профессий сферы обслуживания. Разговор содержательный и, главное, результативный: социологи уже фиксируют повышение престижа этих самых непопулярных прежде профессий. Впрочем, не будем обольщаться — перекосы в общественном сознании конечно же не выправляются несколькими очерками, статьями. Но ясно

уже, что союз социологов и литераторов и в сугубо практическом плане весьма перспективен.

А рядом с этой и многими другими проблемами еще более широкая — об изменении отношения к физическому труду. Модные разговоры о НТР, компьютерах, искусственном интеллекте сдвинули набекрень мозги не только у молодых. В результате мы как бы невольно оказываемся в плену наших прожективных концепций. Получается, что во имя мифического завтра приносится в жертву сегодня и тем самым отдалается реальное завтра. Миллионы молодых правдами и неправдами стараются избежать профессий физического труда. Но без них не вытянешь весь народнохозяйственный воз. А тут еще надвигается демографический отлив, порожденный последствиями второй мировой войны, который делает баланс трудовых ресурсов крайне напряженным. Возрождение уважения к физическому труду, к делу рук своих становится одной из крупнейших социальных проблем, которая также требует совместных усилий социологов и литераторов.

Дел у них, как видно, навалом. И первый опыт взаимодействия, совместных акций очень обнадеживает. Литераторы и ученые имеют реальные возможности на основе общественного разделения труда увеличить свой вклад в решения этих важных для народа проблем. И здесь, когда литераторы находятяся в кругу тех же вопросов, что и социологи, сотрудничество между ними органично. Тут естественно сопоставлять проблематику, опираться на результаты науки для отбора наиболее актуальных публицистических тем и, наоборот, черпать из литературы социальные вопросы, ждущие своего научного осмысления и практического решения. И вполне допустимо средствами количественного анализа изучать, нет ли перекоса в публицистике, когда, скажем, все наваливается на одну проблему или на одну стройку, а другие не менее великие стройки и проблемы игнорируются.

Да не только в этом. Социологические исследования могут сыграть важную роль в изучении потребления литературы, читательских интересов, вкусов, оценок. Из таких исследований в качестве побочного результата возникают дифференцированные типы читателей, которые интересны уже не только своим отношением к литературе, но и сами по себе. И нет необходимости повторять аргументы за сотрудничество социологов и писателей на этих уровнях, хотя, заметим, и здесь литература отнюдь не может быть зеркальным отражением реальности.

Однако дело коренным образом меняется, когда в анализ вовлекаются собственно художественные произведения. Ну, скажем, берутся романы и повести, опубликованные за год в толстом журнале, подсчитывается пол, возраст, образование, социальная и профессиональная принадлежность героев, количество рождений, смертей, браков, разводов, преступлений, наказаний, и все это сопоставляется со средними показателями по стране, республике, области и из этого делают выводы вроде того, что журнал «сгущает краски», что молодые люди в романах слишком много пьют, курят, влюбляются, интересуются импортным барахлом чаще чем положено, разводятся и т. д. и т. п. А ведь именно об этом была острая дискуссия Б. Рунина со свердловскими социологами в № 4 «Литературного обозрения» за 1974 год.

Писатели называют социологию «родственной наукой». К сожалению, «родственники» бывают разные. Сплошь и рядом они отличаются от чужих людей бесцеремонностью. Нечто подобное происходит, когда «социологический родственник» отважно сулит раскрыть «суть искусства» или осуждающе покачивает головой по поводу отклонения прозаика от среднестатистического образца. Ну, представим себе, например, последствия использования подобных подходов к таким произведениям, как «Белый пароход» Ч. Айтматова или «Живи и помни» В. Распутина, огромная нравственная сила которых органически связана с исключительностью ситуации, в которой оказываются герои. Да и сами герои здесь индивидуальны, необычны, неповторимы, и именно благодаря этому они так поражают воображение читателя, так, говоря словами Ф. М. Достоевского, «пробивают сердца».

Часто различия между литературой и социологией смазывают: написано поярче, поживее — литература, посуше — социология. В действительности дело не в форме. Суть в том, что они работают в разных плоскостях. По мере перехода от человека экономического и социального к человеку нравственному и духовному роль социологии резко уменьшается, ибо она наталкивается на свои естественные пределы. Напротив, роль литературы резко возрастает, она вырывается на оперативный простор, где ей почти все доступно и дозволено.

Здесь нельзя рассчитывать, что научные работники откроют глаза литераторам, укажут нравственные и духовные коллизии. А ведь это главное поприще творчества писателя. Несоизмеримость героев художественных произведений, несводимость их к общему знаменателю, сложность и непредсказуемость художественного взаимодействия книги и читателя, опасность обстругивания образа фактически не дает права социологу на оценочные суждения, а тем более на декларации о том, хорошо или плохо отражает этот роман реальную жизнь.

Здесь опять рвется социология за свои пределы. Опять хочет возвыситься на плечах других — оценивать, сравнивать, командовать, управлять. Разумеется, социологи имеют право, как и все, высказывать свое мнение, но в этом случае они выступают лишь в роли читателя, а отнюдь не как ученые специалисты. С чувством растущей настороженности я наблюдаю за этими попытками вторжения в творческий процесс, ибо наука для многих литераторов все же авторитет, к ней, что ни говори, прислушиваются. Серость, тривиальность иных современных произведений искусства в огромной мере результат ориентации части наших писателей на эти среднестатистические образцы, которые выдаются за типические. Деятели науки должны быть вдвойне бдительными и втройне корректными, ибо всякая попытка инвентаризации, осреднения художественных произведений вольно или невольно есть покушение на самое дорогое для настоящего художника — на свободу его творчества. Там, где начинается сфера собственно художественного творчества, литератор — главный распорядитель, исследователь и интерпретатор.

Литература сжимает, концентрирует человеческую жизнь, рассматривает предельные ситуации, с которыми человек сталкивается подчас слишком поздно и в таком состоянии, что не имеет уже сил и времени их понять и осмыслить. Подобно металлу, человек обнаруживает себя на изломе, в экстремальных условиях. Только тогда выявляются действительные ценности и резервы личности. Но ведь человек не живет и не может жить постоянно в такой предельной ситуации, у любого самого сильного человека внутренние ресурсы ограничены. И если социолог фиксирует человека в повседневной жизни, то настоящий художник всегда рассматривает человеческую судьбу как сумму его предельных состояний, когда наиболее полно раскрываются его глубинные ценности, нормы, цели и методы.

Писатель имеет право ставить своего героя в самые исключительные, подчас невероятные условия. Когда, например, герой одного из произведений оказывается за линией фронта, в тылу мятежников, с заданием взорвать мост, чтобы обеспечить успех наступления республиканцев, он живет эти дни такой напряженной жизнью, он оказывается в таких переплетах, он так раскрывается в своих поступках, что вряд ли найдется критик, который усомнится в том, что художественно это не только оправдано, но необходимо. И когда в свой последний бой вступает тяжело раненный Джордан, который отдал все что мог за то, что казалось ему достойным и дорогим, читатель не только верит ему больше, чем многим своим закадычным друзьям, но и постигает, почему «этот колокол звонит по тебе».

Сжимая жизнь героев до суммы звездных часов, литература создает новое пространство, новые измерения. В них читатель может уйти от «томительно грустной жизни», когда кажется, что смысл утерян и жить дальше нельзя. «И только в сфере искусства, — пишет один из крупнейших английских прозаиков, Джон Уэйн, — человечество способно воспарить над своими поражениями

и несоответствиями. Лишь созерцая великое полотно, слушая великую симфонию, читая великий роман или поэму, мы присутствуем при утверждении человека без его отрицания, при человеческих достижениях без человеческих провалов — и все это исключительно благодаря тому, что отрицание, провал художественно осмысляются и показываются нам вместе со всем остальным, поднимаясь до высот искусства, когда наши несовершенства как в зеркале отражаются перед нами сквозь наши достоинства, и мы тогда умиротворенно и с благодарностью воспринимаем самих себя».

С этим неразрывно связана защитительная функция литературы. Она активно охраняет право человека на индивидуальность, неповторимость, суверенность его внутреннего мира. «Так, — совершенно справедливо говорит писатель Д. Данин, — параллельно проблеме охраны внешней среды возникает проблема охраны внутреннего мира человека. И так же, как в решении первой проблемы неопределима роль науки, так в решении второй — неопределима роль искусства».

Герои этого параллельного мира создают те органические, нравственные ценности, которые лежат в основе собственного поведения читателя в критических ситуациях. Они очерчивают Волгу, дальше которой отступать нельзя. (Хотя пределы эти не универсальны: у одних Волга течет по Днепру, у других — по своему руслу, у третьих — далеко за Уралом.) Тем самым литература активно способствует формированию совести.

Здесь литература помогает не только формированию нравственных норм. Она позволяет человеку обрести смысл своего назначения, неразрывную связь не только с семьей, родом, но и с высшими ценностями культуры. Человек социальный возвышается до человека духовного.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Понять, осмыслить во всей полноте эти проблемы сложно потому, что в человеке все туго связано, взаимоопосредовано, круто замешано. К тому же духовное и нравственное сплось и рядом подменяется социальным и рациональным. Между тем нельзя добиться повышения роли литературы в нравственном воспитании народа без понимания этой специфики.

Человек социальный, например, очень широкое понятие. И его появление знаменовало собой начало целой эпохи. А когда он вовлек в поле своего зрения и стал идентифицировать свои собственные проблемы не только с семьей, но и с родом, племенем, нацией, наконец всем человечеством, никто уже не мог отрицать, что он поистине, как говорил Маркс, животное общественное.

Тем не менее не только это выделяло его из животного мира. Ведь общепризнано, что животные тоже объединяются в малые группы и довольно сложные организации и развитие их подчиняется определенным законам, которые изучает сегодня целый комплекс наук.

Главное отличие человека от животного — в сфере нравственного и духовного, что, разумеется, отнюдь не предполагает отрицания его биологической природы или значения социальных факторов. Что же касается социальной сферы, то она всегда между духовным и плотским. И она может быть по-разному окрашена. Когда социальная активность идет от духовных потребностей — она имеет высший смысл, она поднимает человека. Когда социальная деятельность окрашена лишь материальным интересом — человек биологизируется и как бы убождается своим дальним предкам. Биосоциальные ориентации гипертрофируются, вытесняя нравственные и духовные. В результате возникает и получает распространение специфический тип личности, который с некоторыми оговорками можно было бы назвать рациональный *homo sapiens*.

Термин «рациональный» нам не кажется вполне адекватным. Он может быть уточнен. Но дело, видимо, не в дефинициях. В их прокрустово ложе не втиснешь сложные и многообразные феномены. Для расшифровки этого типа, который довольно широко распространен, попробуем просто набросать эскиз его словесного портрета.

Человек рациональный — промежуточный продукт общества. В социологии для определения подобного типа используют термин «внешне-ориентированная личность». Ее антагонистом является «внутренне-ориентированная личность», которая не подчиняет себя внушаемым извне правилам поведения. К человеку рациональному ближе всего первая. Он, по сути, весь вовне. Годами в его сознание внедрялось, что человек — продукт среды. И в конце концов он поверил. Благодаря этому он получил ряд преимуществ, и прежде всего постоянное чистое алиби, с него сняли ответственность за свои поступки.

Если человек рациональный не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится внешних санкций. Даже если соблюдение этих норм становится для него полурефлекторным, как бы результатом своеобразной дрессировки. У человека в этом случае вырабатываются лишь временные, условные рефлексы, а не нравственное самосознание. Попытки же внедрить в сознание рационального человека образцы поведения, используя кино, печать, телевидение, не затрагивают обычно глубин его человеческого «я» и без труда нейтрализуются или опровергаются разумом, этим слугой эмоций, потребностей, интересов. Да он и сам себя постоянно чувствует как бы в жестком игровом противоборстве с обществом или с теми или иными социальными институтами. И на угрозы общества он отвечает выработкой своей контркультуры. Красть нехорошо, за это посадят в тюрьму, говорит ему общество. Правильно, но не пойманный не вор, возражает он.

У человека рационального, как видно, нет внутренних ограничений, то есть он лишен совести. Благодаря этому он способен получать удовольствие от того, что ему удалось кого-то перехитрить, обмануть. Человек рациональный видит одну реальную цель жизни — получение максимума удовольствий. В основе его помыслов и действий лежит свой кровный интерес (обеспечить воспроизводство своего рода, удовлетворить свои биологические потребности плюс некоторые социальные потребности, часто связанные с первыми, — богатство, власть, престиж, статус). К духовным, нравственным ценностям он относится снисходительно-иронически, как к пережиткам прошлого, хотя и знает, что людей духовных, нравственных можно неплохо использовать в своих интересах. Поэтому он морализирует, оценивает, призывает к соблюдению «правил общежития», морали. Но при этом сам лишь имитирует нравственные поступки, ибо начисто лишен внутреннего морального чувства. Себе он грехи отпускает с легкостью необыкновенной: иначе я не мог, мне тяжелее, поэтому мне это дозволено, с волками жить — по-волчьи выть.

Он считает себя воплощением *homo sapiens*. Он не задумывается о смысле жизни, считая это блажью. Он выбирает профессию, которая может дать ему максимум для удовлетворения его биосоциальных потребностей.

Он понимает, что его желания ограничены стремлениями других. Он так хочет обустроить свою жизнь, чтобы она учитывала не только его противостояние природе, но и обществу. Сквозь призму кровного интереса он видит необходимость познания социума. Человек рациональный непрерывно словно четки перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно. Нынче он привлекает к этим расчетам компьютеры, что, впрочем, по сути ничего не меняет.

Стремясь иметь самые точные и конкурентоспособные расчеты, он нуждается в новейшей информации и ищет ее везде где возможно — в печати, статистике, социологии, социальной психологии. Он постоянно не только добывает, но и торгует социальной информацией, которая для него окрашена материально. В основе его отношений с другими — стремление меньше дать, больше взять, но как минимум обеспечить эквивалентный обмен. Добыче и обмену информацией в значительной мере подчинены его личные отношения — знакомства, дружба и т. п.

Рациональный человек очень привязан к этому миру и его благам. У него высоко развито чувство самосохранения. Он космополитичен, у него обычно нет сантиментов, чувства родины, но развито ощущение групповой солидарности

с себе подобными. У него мало мужества, но много гибкости. За исключением состояний аффекта, ненависти, фанатизма он не способен на жертвы, но всегда готов на компромисс. Это обусловлено как раз тем, что он не имеет надежных нравственных опор, они у него — в меняющемся, сиюминутном.

Как видно, человек рациональный — гедонист.

Он оживлен, но не одухотворен.

Он обычно исполнитель, но не творец.

Он не религиозен, но суеверен, то есть сплошь и рядом во власти светских форм религиозного сознания, как называл их Маркс.

Как видно, рациональный человек — существо во многом несовершенное. Изучение и отрицание его средствами искусства — необходимое условие формирования человека нравственного и духовного.

Кратко: человек духовный — это человек с совестью. Иначе говоря, со способностью внутренне различать добро и зло, оценивать свои помыслы и поступки, формулировать для себя нравственные предписания, требовать от себя их исполнения. «Голос внутренней совести не есть абстракция, — пишет в одной из своих статей академик А. Д. Зурабашвили, — а святейший дар, без которого невозможна жизнь и деятельность человека». В этом случае человек становится обладателем внутренних ценностей, столь весомых, что именно они определяют его главнейшие решения и поступки. Человек духовный преодолел в себе опаснейшее искушение видеть смысл существования в удовлетворении своих непрерывно растущих потребностей. Благодаря этому он обрел новую грань свободы, которая делает его способным служить высшим ценностям культуры, поискам истины, смысла бытия.

Он признает огромную роль социальных и экономических проблем в жизни человека, но он всегда видит в них не цель, а средство. Он не может полагать, что творимые людьми социальные институты могут быть выше их самих, а магия природы или искусства для него не менее важна, чем материальное, ибо благодаря им растет духовное богатство мира.

Человек духовный не против рационального знания, но он угадывает его ограниченность, чувствует, что в мире немало есть такого, «что и не снилось нашим мудрецам». Работая в науке, он сохраняет определенную остроту, самостоятельность. Он никогда не позволяет авторитетам, мифам и идолам науки увлечь себя целиком. Именно благодаря этому основные открытия в науке были сделаны такими свободными, бескорыстными и самоотверженными людьми.

С развитием человечества может происходить переход к человеку духовному. Но может и наоборот — сфера духовного вытеснится и заменится био-социальными эрзацами. Конечно, лишь немногие люди и страны доросли до осознания социальных проблем во всем их объеме. Что же касается людей подлинно нравственных и духовных, то именно они являются героями человеческой истории, именно благодаря им не была утеряна эстафета, не был закрыт путь к духовному, нравственному прогрессу человечества.

Развитие производительных сил и производственных отношений в социалистическом обществе создает условия для того, чтобы все больше и больше людей поднимались от чисто экономических забот к духовным проблемам. Не просто увеличение потребления материальных благ (это был бы путь к потребительскому обществу), а растущее удовлетворение от самовыражения в труде, творчестве, когда ты действительно постоянно чувствуешь приносимую тобой пользу, когда результаты твоей деятельности вполне согласны с тем духовным пониманием смысла бытия, который выстрадан тобою, — вот подлинная цель и критерий прогресса.

Это не значит, конечно, что мы можем игнорировать нравственное воспитание, стимулирование самостоятельного мышления и понимания реальных противоречий, совершенствование самих методов преподавания, которое одновременно должно быть воспитанием, активным привлечением населения к обсуждению и решению сложных вопросов. И здесь, может быть, уместно напомнить некоторые подходы К. Маркса к таким вопросам.

«Рошар, безусловно,— писал К. Маркс,— обладает большим — часто совершенно бесполезным — знанием литературы, хотя даже в этом сразу узнал я alumnus (питомца.— В. Ш.) Гёттингена, который не ориентируется свободно в литературных сокровищах и знает только, так сказать, «официальную» литературу... Но, не говоря уже об этом, что за польза мне от субъекта, знающего всю математическую литературу, но не понимающего математики?.. Если подобный педант, который по своей натуре никогда не может выйти за рамки ученья и преподавания заученного и сам никогда не сможет чему-либо научиться... был, по крайней мере, честен и совестлив, то он мог бы быть полезен своим ученикам. Лишь бы он не прибегал ни к каким лживым уловкам и сказал напрямик: здесь противоречие; одни говорят так, другие — этак; у меня же по существу вопроса нет никакого мнения; посмотрите, не сможете ли Вы разобраться сами! При таком подходе ученики, с одной стороны, получили бы известный материал, а с другой — был бы дан толчок их самостоятельной работе. Конечно, в данном случае я выдвигаю требование, которое противоречит природе этого педанта. Его существенной особенностью является то, что он не понимает самих вопросов, и потому его эклектизм сводится, в сущности, лишь к натаскиванию отовсюду уже готовых ответов»¹⁵.

Самостоятельное мышление как в области естественных, так и общественных наук, которое вырабатывается при таких методах преподавания,— важнейшее условие формирования личности. Оно поднимает воспитуемого до уровня воспитателя, преодолевает отчуждение.

Характерное для домарковского материализма представление о разделении общества на пассивную массу воспитуемых и воспитателей основоположники научного коммунизма неоднократно критиковали. «Материалистическое учение о том,— писал К. Маркс,— что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания,— это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна)»¹⁶. В знаменитых тезисах о Фейербахе третий тезис был направлен как раз против этого неравенства. И чем полнее мы реализуем эти принципы в своей практической работе, тем успешнее будет нравственное воспитание, о котором уже произнесено столько хороших речей.

Усовершенствовать человеческую личность — задача не простая. Даже если отвлечься от биологических, генетических и прочих особенностей и говорить лишь о социальной среде, то и здесь факторов, влияющих на формирование личности, хоть отбавляй.

Ближайшая сфера социального окружения — семья. Она прежде всего лепит человека непрерывно, сознательно и бессознательно. Она играет решающую роль в детские годы, до тех пор пока не появятся друзья, подруги, которые образуют новую сферу социального окружения, конкурирующую с первой и в юношеские годы часто оттесняющую семью, родителей на задний план. Следующий слой — школа, одна из главных организаций, в которые включен ребенок, юноша. Чем формальнее она, чем сильнее разрыв между воспитателями и воспитуемыми, чем крепче дают учителя учеников авторитетами, угрозами, наказаниями, тем сильнее отчуждение ученика от школы, тем меньше ее роль в формировании ребенка. Действие рождает противодействие, и на казенную школу ученик всегда быстро вырабатывает иммунитет, одевается в такую броню, которую не прошибешь ничем. Наконец, человек связан и со всем обществом в целом. Это прежде всего массовые коммуникации — печать, кино, телевидение, радио. Но не менее важны и реальные столкновения с обществом — на работе, на улице, в магазине, в городе и за городом.

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 30, стр. 517—518.

¹⁶ Там же, т. 3, стр. 2.

Все эти элементы социального окружения не только спорят друг с другом, они и внутренне противоречивы. Ничто не проходит мимо, все оседает в нашей корке или подкорке. Одни из этих влияний оказываются чисто внешними, другие скрытыми, третьи проявляются лишь в критических ситуациях. И формирующий воспитательный результат — это своеобразная равнодействующая всех этих влияний.

Все более ускоряющаяся и усложняющаяся жизнь обуславливает нарастающую остроту коллизий прошлого и настоящего, придает им принципиально новый характер. Так обстоит, в частности, с проблемой поколений.

Жизнь нашего довоенного поколения не баловала нас альтернативами. Реальная же трагедия жизни открывала для миллионов единственно возможный путь — на фронт, вместе со всем народом. Решения принимала за нас сама жизнь, история. И скажем честно: в чем-то нам было легче — на миру и смерть красна.

Молодым людям, вступающим в жизнь сегодня в отутюженных костюмах и ярких галстуках, о которых мы не смели и мечтать, не легче, чем нам. Вряд ли стоит сползать поэтому на ту примитивную точку зрения, что материальные, бытовые трудности трагичнее духовных. Весь опыт нашего развития свидетельствует, что по мере насыщения материальных потребностей возникают проблемы духовные. И они сплошь и рядом тоньше, сложнее и острее, чем те, с которыми мы сталкивались прежде.

Молодые люди сегодня не детерминированы законами исторической необходимости, они имеют варианты, альтернативы. Они вынуждены принимать самостоятельные решения. При этом они должны опираться на внутренние нравственные критерии. Но каковы они у них?

У ИСТОКОВ НРАВСТВЕННОСТИ

Сегодняшнее поколение острее нуждается в надежных, внутренних ориентирах, в нравственном и духовном воспитании. Как же решать эту задачу? Рационализаторских предложений хоть отбавляй. «Раз у нас в школе не изжиты аморальные поступки — нужно срочно ввести курс этики, — предлагают некоторые. — Тогда мораль сразу поднимется на требуемую высоту».

Каждый раз я удивлялся, как не понимают, не чувствуют авторы таких предложений, что нравственность нельзя выучить, что это слишком тонкая вещь, что она отнюдь не всегда пропущена через рассудок и что, кроме деморализации, курс этики в школе ничего дать не может.

Пути к нравственности и духовности неисповедимы. Здесь не только знания, логика, дискурсия, но и подсознательное, интуитивное, эмоциональное. Здесь и предания, легенды, поэзия, музыка, природа, которые апеллируют непосредственно к чувствам.

С социально-психологической точки зрения проблемы нравственного воспитания в значительной степени связаны с конструированием внутренних референтных групп, то есть системы образов, нравственных эталонов, на которые невольно оглядывается, ориентируется человек в своем поведении, решая, что такое хорошо и что такое плохо.

Мы постоянно живем среди образов не только реальных, но и почерпнутых нами из художественной литературы, которая не случайно в английском языке определяется как fiction. Мертвые и живые, герои реальные и вымышленные принимают активное участие в нашей жизни. Так бывает во сне. Но нечто подобное происходит и наяву. Создается новый мир, где звонят свои колокола. Он начинает заселяться Джорданом и Дон Кихотом, Гришкой Мелеховым и Настёной Гуськовой, которые сплошь и рядом оказываются не менее влиятельны, чем наши реальные сослуживцы или соседи по квартире. Из тех и других отбирает каждый человек группу самых близких, самых дорогих, которые бывают его советниками на распутье. И если он совершает поступок, который вызвал бы их одобрение, был бы санкционирован ими, он получает огромное нравственное

удовлетворение. Напротив, если человек оказался в конфликте со своей референтной группой, для него это, если это нравственный человек, связано с внутренним разладом и острыми переживаниями.

Герои художественной литературы — полноправные члены нашей референтной группы. Но стать ими они могут лишь при некоторых предварительных условиях. Прежде всего они должны быть созданы рукою мастера, написаны так талантливо и правдиво, чтобы быть вполне конкурентоспособными по сравнению с образами реальных людей, которых я сам встречал в жизни. Малейшее искажение жизненной правды — и я уже никогда не допущу героя в свой внутренний мир, в свою референтную группу. И не будет это произведение иметь никакого влияния на мою нравственность. К тому же формирование референтной группы — процесс сугубо интимный. Едва я почувствую, что мною пытаются манипулировать, внедрить кого-то в мой внутренний мир, и я захлопнусь, как раковина, чтобы сохранить самое дорогое — себя как независимую личность. И опять от этого произведения и его героев нравственный, воспитательный эффект будет нулевой.

Мне хочется привести слова признательности и любви к литературе, прозвучавшие в последней статье покойного писателя А. И. Смирнова-Черкезова: «Гений писателя стократно приумножал мой жизненный опыт. Я был графом и безлошадным крестьянином, был влюбленной девушкой и старой бабушкой, был бродягой, картежным игроком, сумасшедшим, убийцей, был даже лошадей и собакой. Много раз рождался и умирал, жил в Древней Элладе и в гитлеровской Германии, побывал в аду и в раю, сражался с Наполеоном и ветряными мельницами. Я испытал все искушения и страсти, поднимался на вершину человеческого духа и низко падал. Каждый день я живу своей и чьей-то еще жизнью и низко кланяюсь писателю, когда эта чужая жизнь становится моей».

Вряд ли писатель, не обостряя до крайности ситуацию, может вести глубинное исследование человеческих характеров. В противном случае все неизбежно сведлось бы к описанию поверхностного, к банальностям. Серьезный писатель всегда аналитик и страстно стремится вскрыть глубинное, невидимое невооруженным взглядом. Без этого нет исследования. Как говорит К. Маркс, всякая наука была бы бессмысленна, если бы видимость явления совпадала с сущностью его. Задача исследования именно в том, чтобы за видимостью вскрыть сущность явления. Это в полной мере касается и литературного творчества, которое всегда есть открытие новых характеров, глубин человеческой души.

Как же пробиться в эти сумеречные тайники?

Сейчас много говорят о всемогуществе науки в XX веке. Да, все это, видимо, так. Биологи с математиками пытаются разработать модель мозга. Кибернетики убеждены, что их компьютеры способны мыслить и даже слагать стихи. Психотехники вроде бы измеряют интеллект с помощью тестов. Только будем откровенны: если уподобить человека айсбергу; то все эти упражнения современной науки в основном касаются видимой части личности, все ищут ключи под фонарем, а они, вполне вероятно, скрыты в темноте, под водой.

Нет, не ученым, вооруженным ЭВМ, синхрофазоциклотронами, батискафами и другими орудиями современной науки, а писателям, у которых, как и тысячу лет назад, одно оружие — перо, приходится изучать подводные части людей-айсбергов, проводить мысленные эксперименты в предельной ситуации, выснять скрытые ценности, подлинные мотивы, нравственные устои.

Но есть еще более глубокий аспект — вопрос об истоках и опорах нравственности. Исполон веков человечество пыталось упрочить опоры нравственности. Для этого были придуманы удивительные способы укоренять их не только в настоящем, но и в прошедшем, не только на земле, но и на небе, в недостижимом, трансцендентальном. А уже на них как на аксиомах возводить все здание нравственности.

Век просветителей и гуманистов принес надежды, что люди сами по себе растут добрыми, как деревья, и не нуждаются во всех этих сложных сооружениях. Но прошли столетия — и круг замкнулся, вновь стало очевидно: нравст-

венность — важнейшее, необходимейшее условие существования человеческого общежития. И ее нельзя строить впопыхах, на неустойчивом, сиюминутном, испаряющемся.

«Мне близки эти писатели,— говорит, например, Ю. Бондарев о Белове и Астафьеве,— потому что они вскрывают глубокие социально-нравственные пласты народной жизни, касаясь непреходящих духовных ценностей. Когда утрачивается традиция, исчезает ощущение истоков и взаимосвязей, так как настоящее — это реализованные возможности прошлого. Каких бы высот ни достиг современный прогресс, нравственные начала в человеке являются охранителями его духовного мира, который не имеет права быть пустыней, обезвоженной, однако богатой синтетическими ценностями. Если человек утратит чувство ответственности перед миром, чувство сопричастности чужой боли, он превратится в машину с пластмассовыми деталями».

Вечные ценности не валяются на дорогах. Основы нравственности должны быть укоренены в земле предков, в традициях семьи, в могилах отцов и дедов, в нравственных образах прошлого и настоящего. Забвение, замалчивание прошлого, произвольность оценок лишают человека не только знания истории, но и нравственного чувства. Если рушатся связи, теряется чувство преемственности, уважения к предшественникам, то, значит, все, что было до тебя,— зря. И сам ты оказываешься духовно гол, и все тебе дозволено, и нет у тебя родины. Новейшая история не раз видела, на что оказываются способны люди без прошлого.

В наши дни, или, как говорят, в эпоху НТР, когда все так подвижно и текуче, особенно важно сохранение исторической памяти, чтобы не лишать новые поколения нравственных ориентиров. Короткая историческая память не дает прочных устоев. Чем толще культурный слой, чем глубже приходится копать археологам, тем надежнее и прочнее эти опоры. Чем благодарнее, чем протяженной назад наша память, тем больше шансов, что молодые, столкнувшись с новыми духовными испытаниями, не дрогнут, не отступят.

Это наше счастье, что рядом — дома, улицы, погосты, а под нашими ногами культурный слой, этот спрессованный тысячелетний опыт народа, нравственные опоры нашего самосознания.

Дорожить историей своего народа, впитывать ее как воздух, знать ее во всех противоречиях и зигзагах, хранить имена и памятники прошлого — это не забота об эрудитии, а одно из важнейших условий нравственного воспитания новых поколений.

В. Тендряков в «Правде» в статье «Совесть за партией» справедливо отмечал, что «совести нельзя обучить, как химии». Для этого, пишет он, человек «должен быть приобщен к великому нравственному опыту всего рода людского, мало того — научиться сопереживать то, что в разные времена духовно потрясало человечество».

Если обычная жизнь не предлагает серьезных испытаний совести, не ставит человека в предельные ситуации, когда он сам должен делать нравственный выбор, будучи готовым идти на риск и на жертву, то в этих условиях реальным способом борьбы против атрофии совести является внутреннее переживание предельных ситуаций, которые может дать подлинное искусство. Всесторонне, мысленно, интуитивно, эмоционально, подсознательно переживая вместе с героем художественного произведения его нравственные коллизии, его поиски, его решения, читатель не может постоянно не оглядываться на себя, мучаясь этими проблемами как своими собственными. И закрыв книгу, возвращаясь из мира художественного вымысла в реальный, он приходит уже иным — очищенным, как после исповеди, узнавшим о себе немало удивительного, с окрепшими, выстраданными нравственными ориентирами, более опытным и зрелым духовно.

Все произведения искусства с этих позиций можно было бы подразделить на две группы. Первая — произведения, потрясающие душу, пробуждающие совесть. Вторая — произведения, убавляющие совесть. Серединные массовые произведения литературы и искусства, не затрагивающие глубин-

ных пластов человеческого сознания и психологии, усыпляют совесть, нередко оказывают деморализующее влияние. Напротив, самые жестокие произведения нашей и мировой литературы, например романы и повести Ф. М. Достоевского, дают такую встряску читателю, на такой предельной ноте повествуют о делах человеческих, так бесстрашно раскрывают проклятые вопросы и конфликты духовные, что их роль в формировании человека нравственного нельзя недооценивать.

Если наша страна оказалась способной перенести тяжчайшие испытания, если и ныне мы встречаемся с высокими проявлениями нравственности, то это прежде всего благодаря наследственной информации, которую мы получили, в частности, через нашу великую художественную литературу, самую бескомпромиссную, самую ищущую в мире. И, может быть, самое обнадеживающее сегодня в том, что эти традиции живут и крепнут в современной советской литературе.

* * *

Как видно, восхождение от социального к духовному человеку ограничивает использование тяжелых орудий современного социального знания. Напротив, все более расширяются возможности интуиции, воображения — традиционных инструментов художественной литературы.

По-разному, на разных высотах устанавливается динамическое равновесие, нащупываются подвижные, вечноменяющиеся границы социологии и литературы, тот оптимум, который позволяет им, опираясь на результаты друг друга, эффективно играть свою истинную роль. Как прежде, так и теперь литература расширяет горизонты социологии. Она способна удерживать ученых от безнравственных исследований. Она дает возможность исследовать человека в таких предельных ситуациях, в которых никогда не изучали и не смогут изучать его социология и психология. Литература позволяет познать вершины человеческого духа, недостижимые для науки, самые сложные, проклятые вопросы человеческой жизни. Она никогда не отказывается от стремления разгадать истоки нравственности, смысл бытия.

Только не дай ей бог возомнить, что сама она беспредельна.



О ЧИЕ РУКИ НАШИ ИХ ДЖЕ Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В. ДРОБЫШЕВ



ЗАИНСКИЕ ЭСКИЗЫ

Колесо является одним из величайших изобретений человечества.

Большая Советская Энциклопедия.

Есть в Татарии речушка, Багряжкой называется. Местные пацаны упираются шестом в дно, перемахивают на ту сторону — вот и вся ширина. Сразу над Багряжкой встает сосновый холм. С его вершины открываются поля, там, дальше, — зеркало водохранилища, дамба, трубы ГРЭС, скопления домов. Это и есть Заинск. Нынче на его окраине сооружается завод обода колеса. Толпы командированных — наши и иностранные. Конструкторы, инженеры, ученые, металлурги, энергостроители. Гостиницы переполнены.

... — Билибей! Билибей! Да что у вас, провода полопались? Не наводите тень... Стержни отгружайте! Механосборочный стопорите. Что? Разряды?.. Стержни, говорю, давайте, сте-ер-жни-и от механизма блокировки среднего дифференциала. Вот-вот, горячо — сыро не бывает! — Трубка брошена на рычаг, в аппарате звякает. Хозяин кабинета, крупный, в плотной зеленой куртке, взглянул в мою сторону, двинул было стулом, но опять телефон.

Николай Васильевич Романюк, директор колесного завода, изучает мое командировочное удостоверение. Короткий шрам над левой бровью, военная отметина, смещается в зависимости от настроения: вниз — хмурится, вверх — настрой хороший. Глянул в распахнутое окно, стекла плавятся на солнце, прищурился на голубые небеса:

— Ну и парильня! Хоть бы облачко! — И вниз: — Фарид, «Нисса» на ходу? Запрягай. Поедем на площадку.

В привычном представлении завод — нагромождение труб, крыш, заборов, вахтерских будок, мешанина подъездных путей. Ничего подобного не увидишь на колесном. Просто среди поля поставлен короб — плоский, сплюснутый. Корпус неожиданно раздается. Над головой — переплетение стальных кружев. В пространстве теряются фигурки строителей. Сквозь щабобу колоннады продирается автокран.

Колесный корпус сейчас представляет собой стройплощадку. Огромный короб напшиговывают механизмами, бетоном, грунтом. Снуют самосвалы, грохот, скрежет, пыль. Романюка окружил народ. От генподряда докладывает Нуриахметов. Лицо смуглое, пыль на бронзовых щеках. Черные густые усы. Фатых Хазиевич показывает на фермы. Задираем головы. Над нами, гудя и вздрагивая, зашевелился, пришел в движение, пополз по навесным рельсам мостовой кран.

— Добре! — Романюк жмет руку Нуриахметова. Шрам над бровью скачет вверх, но тут же сползает. Директор хмуро смотрит на транспортников: —

Хоть вы и называетесь участок механизированных работ, а производительность, как у землекопов. Отстае с засыпкой фундаментов.

— Машин маловато.

— Не люблю, яки больше меня брешут. Грунт шабашникам сплавляли?

— Было дело. За бутылку, наверное, сманили наших шоферов. Разберемся, составим акты.

— Мне не акты — фундамент подавайте! — Прицельный взгляд на Рослякова. — Выручай, Владимир Федорович!

Должность у Рослякова внушительная, ее не сразу выговоришь: зпнуаокгэс — заместитель начальника производственного управления автотранспортного объединения Камгэсэнергострой. Моложав, деловит. Прикидывает на ходу: в колесном корпусе надо переместить 13 тысяч кубов грунта, под станцию нейтрализации — 480, под очистные сооружения — 5 тысяч. Гора земли!

— Одолеете?

— Как знать. Сроки сжатые.

— В июле монтаж автоматических линий. Договор подписан. Фирма запаковала станки, ждет вызова. Не жмись, Владимир Федорович. Давай своих тяжеловозов!

Продолжительная, трудная пауза. Росляков решительно:

— Пригоню еще десять «КРАЗов» и столько же «МАЗов». Часть с прицепами. Но оголяю другие объекты.

— Фундаменты — пусковой участок, — напирает Романюк, — сердце колесного! Добавляй еще, вскрывай резервы!.. Надо бы, Михаил Исакович, материально заинтересовать водителей, — советуется Романюк с начальником управления строительства Теплоэнергострой Вайнером. — Чтобы не шакалили по стонам. Аккордные наряды.

— Пожалуй. — Вайнер тут же распорядился: — Фатых Хазиевич, дайте указание перечислить тысячу рублей из средств авансовой премии.

Романюк долго и цепко осматривает строительную площадку, прикидывает, примеривается. Потом говорит:

— Был у нас недавно западный немец. Господин Кёниг, представитель фирмы «Кизерлинг». Страшал: дескать, земляных работ на целый год. А мы ему: сработаем за пару месяцев! Крутит головой: найн, найн. Жаль, пари не заключили. Проиграл бы немец. — Отер взопревший лоб, взглянул на фермы, через которые сочилось солнце: — Це кочегарит! Махнуть бы на Багряжку.

Утром следующего дня над заводом колес вздыбилось рыжее облако. Наполняя окрестность протяжным гулом, «КРАЗы» возили насыпной грунт, самосвалы подавали на площадку дымящийся бетон, набрасывали фундамент.

Я находился в партбюро, когда раздался звонок. Анисимов снял трубку.

— Михаил Тимофеевич, в Зайнске корреспондент камазского радио. Рвется к вам.

Надя Мингалеева. С ней я познакомился еще в первый день приезда в Набережные Челны. Заместитель секретаря парткома КамАЗа Наиль Фатыхович Галиуллин просил ее рассказать мне о городе, показать заводы.

Волосы у Нади густые, черные, коротко подстрижены, слегка курчавятся. Длинные ресницы касаются стекол очков, словно обмахивают их. Через плечо на тонком белом ремешке портативный магнитофон «Романтик-3». Надя сама из Казани. Но считает себя уже коренной набережночелнинкой. Начинала здесь с нуля. Суматоха большой стройки, бездорожье, дожди, морозы, неустроенность житейская... Вернется с работы в общежитие, волосы слиплись — хоть железом скреби, воды нет. Были и слезы, и острое желание сбежать домой. Через все прошла семнадцатилетняя казанская девчушка. С неподдельным весельем вспоминает, как едва не утонула на литейном:

— Сапоги сорок третьего размера, меньше не давали. Накрутила портянок, тряпок, члобы не спадали. Засосало сапоги в слякоть. Выпрыгнула бы из

них, да ноги заклинило в тряпках. Стою и плачу. Спасибо такедажникам. Подогнали кран, на пауке доставали из болота.

Вначале работала лаборанткой, потом машинисткой корпункта газеты «Социалистическая индустрия». Как-то отважилась, записала репортаж для радио. О челнинских кулинарах, о заводском торте. Репортаж так и назывался: «Торт «КамАЗ»! На другой день в редакцию явилась делегация челнинских кулинаров. Принесли свеженпеченный фирменный торт. Первый журналистский опыт, первая награда! С той поры сделала десятки очерков, корреспонденций — о передовиках, новоселах. Стала Надя профессиональной радиожурналисткой.

В Заинск Мингалеева приехала, чтобы рассказать о мастерах, их месте в производстве. Из партбюро сразу направилась в механосборочный цех (часть колесного завода), поставляющий уже КамАЗу готовые детали — от миниатюрных золотников и краников до аппаратуры дистанционного управления. Беседует с рабочими, мастерами. Ее интересует все: учеба, заработок, план, наставничество, взаимоотношения в коллективе. Я заметил: Надя, готовя репортаж, отбирает наиболее острые, выразительные куски и тут уже не щадит ни рассказчика, ни себя, добываясь четкой акустической записи, лаконичной информативности материала. Долго билась над коротким интервью с Виктором Лушковым. Он один из лучших мастеров, настоящий командир производства. А говорить о своей работе не умеет, робеет перед микрофоном, слово застрекает в горле. Надя подсказывает:

— Расскажи о своем участке, о людях, о роли мастера в производственном процессе.

Виктор напрягается, преодолевает собственную нерешительность:

— Мастер — это цементирующая сила рабочего класса.

— Верно. Но попробуй сказать проще.— Надя щелкает клавишей, стопорит кассеты.

Виктор, забыв на минуту о микрофоне, торопливо говорит:

— Мастер отвечает за все: за подготовку рабочего места, план, качество, технику безопасности, повышение квалификации. Нелегкая это должность, беспокойная. Иные итэровцы подыскивают тихую работенку, рвутся в КБ, в технологи. Подальше от цеха, поближе к столу, бумагам. Из таких редко получаются дельные руководители. А мастер запросто потянет промышленность. Мастер — это будущий руководитель участка, цеха, завода. От него во многом зависит успешное выполнение народнохозяйственного плана...— И вдруг, глянув на микрофон, смущенно замолкает.

— Все хорошо. Очень правильно! — поддерживает его Мингалеева.

Виктор недоверчиво смотрит на Мингалееву и машет рукой:

— Плохой из меня оратор. Легче дать два плана.

Надю окружают рабочие, руководители участков. Говорят о накипевшем: заброшен колесный, в газетах, по радио — ни слова. Обидно. Хоть бы заметку тиснули.

Механосборочный корпус похож изнутри на выставочный павильон, над эстетикой которого неплохо поработали дизайнеры. Мягкий свет стекает с потолка и через широкие продольные окна. Металлическая паутина несущих ферм окрашена в теплые голубые тона, легка, невесома. Ряды зеленых автоматов. Станки работают, бегают автокары, перемещаются мостовые краны, но странно: ничто не стучит, не скрежещет. Шум поглощается огромным пространством, скрадывается мягким настилом полов. Воздух чистый, с легкими примесями масла и разогретого металла.

У расточного станка внимание привлекает «острая» сцена. Начальник участка распекает девушку-токаря Сашу Ахмедгараеву. На Саше темно-синяя спортивная куртка, джинсовые брюки, красные сапожки.

— Что за мода? Кто разрешил? Почему на рабочее место приходите не в спецодежде? Где комбинезон?

— В нем тесно. Мне так больше нравится.

— Мало ли кому что нравится. Неположено, непорядок.

— Я исправлюсь.— Саша соединяет брови ниточкой, стреляет в подружек, вот-вот прыснет.

Начальник участка не унимается:

— А кроме того нарушаешь технику безопасности. Читай, что тут написано,— сует он в Сашины ладони книжечку.

Ахмедгараева поднимает глаза, озорство в них гаснет.

— В перерыве полистаю. Мне к станку.

— Не допущу.

Саша пробегает глазами по абзацу: «При переноске груза вручную соблюдай предельные нормы...»

— А ты какую чушку ухватила,— пеняет ей начальник участка.— Таскаешь тяжести, волосы рас-тре-паны. Ба-ле-ри-на!

Саша Ахмедгараева и впрямь похожа на балерину: стройная, с гибкой шеей, руки тонкие, ногти аккуратно подстрижены, наманикюрены. Этими пальцами она ловко, в одно касание, подхватывает с конвейера шестерню, снимает червяк, быстрым движением соединяет детали, вставляет узел в корпус рычага, фиксирует: ось вращается, узел качественный!

В детстве Саша увлекалась танцами, мечтала о блистательной карьере балерины. Как знать, возможно, все так и было бы: спецшкола, училище, а там — сцена, музыка, овадин, цветы! Но произошло непредвиденное. В автомобильной аварии погибли родители. Росла и воспитывалась Саша в интернате, закончила профессионально-техническое училище, поступила на завод. А с мечтой не расстается. По вечерам приходит в Дом культуры «Октябрь». Гриммуется, надевает легкий балетный костюм. Белая птица лебедь плывет по серебряному озеру... На самодеятельной сцене Саша Ахмедгараева выступала в «Спящей красавице». Любимый ее композитор — Чайковский. Любимая балерина — Уланова

В выходной повстречал ее с подругами на улице Энергетиков. Прячась от солнца под зонтиками, со свертками, в легких платьях, торопились девчата к водохранилищу. Смеются, быстрый татарский говорок — будто Багряжка перекапывает камешки. Про них, наверное, сказал поэт: «Молодые — пока без отчеств — собрались тут строить и цвести! На КамАЗе нет одиночеств. Комсомольская дружба есть!»

В конце недели работа на колесном на несколько минут приостановилась. В цехах и на стройплощадке настала непривычная, странная тишина. Народ притиснулся к динамикам, слушал радиопередачу. Заводчане узнавали собственные голоса. Улыбки довольные: «Молодец, Надия! Сдержала слово, тиснула репортаж! Вон как лихо накрутила, прославила колесный!»

В среду партбюро. В актовом зале общежития окна настезь. Жарко, душно. Народ в легких рубашках, ворота распахнуты. Секретарь партийного бюро Михаил Тимофеевич Анисимов в костюме, галстук. Жарко, но крепится. Такая должность. На повестке несколько вопросов. В их числе — рейд по общежитиям, работа с кадрами.

Рабочая комиссия, обследовавшая общежития, пришла к заключению. Содержатся в чистоте, белье вовремя меняется, туалеты работают, газовые плиты, розетки исправны. Лучшим комнатам вручаются переходящие призы: телевизор, холодильник, проигрыватель. Ход соревнования за образцовое общежитие освещается в стенной печати. Все бы ничего, да вот с досугом неурядицы. Скучно молодежи в общежитиях, часто меняются воспитатели.

— Важно создать духовный мир рабочей молодежи,— говорил Анисимов.— Увлечь ее интересными делами, охватить спортом. Для этого у нас многое имеется: библиотека, читальный зал, настольные игры, спортивные секции, есть лодочная станция, стадион. Дело в нас самих. Нужно встряхнуть молодежь...

О работе отдела кадров докладывает заместитель секретаря партбюро инженер-конструктор Ирина Николаевна Днепровна. Картина сложная. За последние два года на завод приняли полторы тысячи человек, треть из них уволилась

Текучесть сказывается на плане, качестве работ. Основные причины: нехватка жилья, использование кадров не по специальности. В том, что люди не держатся, есть вина и заводского бюро отдела кадров, его руководителя Филиппа Ильича Семенычева. Побывал в командировке, на вербовал, но из числа тех, кого пригласил на завод, большинство рассчиталось. Оказались среди них и пьяницы.

Филипп Ильич разводит руками:

— Не пойму, почему они уволились?

— Не уволились. Их уволили.

— Надо было провести воспитательную работу, — напирает Семенычев.

— Вы беседовали с этими товарищами, прежде чем приглашать на завод?

— А чего словами-то сорить? Смотрю в трудовую книжку. Чистая. КЗОТа нет — зазываю. Откуда мне знать, что у него в кармане бутылка?

— Дело не в бутылке. Вы наобещали золотые горы: сразу квартиры, высокий заработок, работу по душе. Люди понадеялись, снялись с насиженного места, ехали издалека...

— Думал, приживутся. Как другие.

— Не занимайтесь маниловщиной. Надо говорить реальные вещи, не вводить в заблуждение. Человек поймет. Решится приехать — осядет прочно, сумеет преодолеть временные трудности, заводской коллектив сделается для него родным. Вы же подошли формально, да и просто непорядочно. Даете вексель, а люди и завод расплачивайся.

Партбюро закончилось поздно вечером. Вышли с Анисимовым. По дороге на Багряжку сворачиваем круто в сторону, к Урозайкину, так называется лесной участок на берегу водохранилища. Самого Урозайкина, местного лесничего, не встретили. Местечко, называемое в обиходе его именем, оказалось на редкость живописным. Высокие травы, крутой холм, поросший осиной, березой, дубом. Пологая поляна опускается прямо в воду.

— Здесь зайцы снимают напряжение, сбрасывают нагрузки, — поясняет Анисимов, — сюда отдыхать приезжают из Альметьевска, Нижнекамска, Набережных Челнов...

Михаил Тимофеевич замолчал. Участок, к которому мы подошли, был погружен в странную мертвую тишину. Анисимов наклоняется к стволу, показывает на что-то шевелящееся, густое, мохнатое. Это гусеницы. Толстые, короткие, пушистые, падают на иссушенную землю, карабкаются вверх.

— Дубовый шелкопряд. Прошлым летом обрабатывали этот участок ядохимикатами. Исчезли птицы, муравьи. Деревья ослабли. Вот и навалились.

Только теперь я присмотрелся. Голые стволы. Ни одного листочка. Будто прошелся верховой пожар.

.. Зараженный участок обрабатывают с вертолета.

Утром просматриваю список награжденных за ввод первой очереди КамАЗа. Среди них А. П. Юров, наладчик, бригадир слесарей, — орден Трудового Красного Знамени. Мне ранее называли эту фамилию. Почетный «потомственный» камазовец.

Анатолий Юров, худощавый рослый человек в промасленном комбинезоне, возится у станка. На минуту отрывается, трет ветошью ладони, улыбка вежливая, а глаза торопят: некогда. Снова занялся автоматом и комментирует вслух обнаруженное:

— Костоломы! При транспортировке побили. Будем менять абразивные кольца.

Юрову под сорок. Родом из-под Куйбышева, из деревни Солонцовка. Трудовая биография его началась с восьми лет. Нанимался летом в колхозные подпаски, помогал матери, школьной уборщице, вдове солдата, на плечах которой осталось пятеро детей. Тогда же, в восемь лет, заслужил первую награду — пару овец. За добросовестный труд. До сих пор не забыл наставника, пастуха Петра Буклеева. Тот знал толк в овцах, наставлял пацана. Животные не щиплют траву в жаркий день, только в холодочке. Держал при себе белую тряпицу: прикоснется

к траве — пожелтела, трава с вредной примесью, не следует выгонять овец, портить народное добро. Это рачительное, хозяйское отношение к делу передано Анатолию на всю жизнь.

После демобилизации завербовался на стройки Урала, затем Сибири. Работал монтажником, верхолазом. В Кемерове впервые встал к станку. И вдруг отчетливо понял: вот оно, настоящее призвание! Станок будто притягивал. Полюбилось ему это дело, по-настоящему гордился званием заводчанина. От работы до общепития добирался на трамвае. Приглянулась вагоновожатая. Анатолий часами ждал на остановке знакомый трамвай. Вагон обтерханный, бросает с боку на бок, но весело тренькает, а за стеклом она: в зеленом свитере, мягкий разлет бровей, большие смеющиеся глаза... В общем, познакомились, поженились.

В то время газеты и телепрограммы пестрели сообщениями о КамАЗе. Молодые посоветовались накоротке, решили: ехать.

В самих Набережных Челнах зацепиться не пришлось. Направили Юровых за полсотни верст, в село Зайнск, пообещали со временем дать квартиру и работу по душе. КамАЗ начинался с нуля. Юровы тоже строили свою жизнь как бы заново. Анатолий копал землю, месил бетон, штукатурил, плотничал. Мария работала кладовщицей, мотористом. К вечеру тело гудит, усталость валит с ног, вернется в вагончик, а там малолетние дочурки. Варка, стирка.

Зайнск поднимался на глазах. Вырастали контуры колесного завода. Урвав часок-другой, Анатолий наведывался на площадку, подгонял ген- и субподрядчиков. От него отмахиваются:

— Кто такой? Чего прицепился?

— Братцы, я ж по станкам. Немеют руки без металла.

О колесном Анатолий уже знал многое. Что скрывать: вначале было острое разочарование, чувство неудовлетворенности. Ну что — колесный! Ни названия, ни масштабов. То ли набережночелнинские соседи! Литейный, ремонтно-инструментальный, прессово-рамный, кузнечный, двигателей, автосборочный. Индустрия! Размах! Есть где развернуться рабочему человеку, помозговать... А тут — колеса. Но, как говорится... В общем, докопался Анатолий до сути. Колесо штука непростая. Сборное дисковое колесо — сложнейший агрегат, состоит из диска, обода, бортового кольца, замочного кольца. Тончайший механизм, высокая точность параметров, филигранная отделка каждой части. Ведь торцевое биение колеса приводит к преждевременному износу резины, поломкам деталей. Машины с кривыми колесами — рухлядь. Колесо, можно сказать, главная составная автомобиля, при его изготовлении требуется высокая квалификация, мастерство. Тут есть где развернуться. А масштабы! Универсальный завод, крупнейшее специализированное предприятие страны. Его оснастят тремя мощными автоматическими линиями, немецкой «Кизерлинга» и отечественными, воронежскими. Это около 200 единиц вспомогательного и основного оборудования: прессы, станки, машины. Через них пропускают профилированные листы железа, очищают, валкуют, рубят, завивают, обжимают, сваривают по швам, правят, калибруют. Все операции автоматические. Другими словами, запускают в линию кусок железа, а получают готовое колесо. Все, что было до этого в области производства колеса, безнадежно устарело.

Автоматические линии — целая поэма в металле. За час тысяча колес. В год 8 миллионов! Завод поставит на колеса весь машинный парк страны, станет законодателем мод. Вот они, подлинные масштабы! Научно-технический прогресс! Машина без колес что человек без ног, птица без крыльев. Колесо — гениальная находка человечества... Всей душой теперь Анатолий тянулся к колесному заводу. Быстрей бы только раскачивались геодезисты, ген- и субподрядчики. Душа истосковалась по станкам. Немеют руки.

Наконец первая очередь завода — механосборочный — вошла в число действующих. Непросто передать чувство, которое испытал Анатолий, снова встав к станку. И впрямь немели руки. Первая деталь, вторая, третья. Потом их были сотни. В каждую Анатолий вкладывал частичку себя, строгал с любовью. Зима 1974/75 года выдалась суровой. И напряженной. КамАЗ готовился

к монтажу и сборке первого большегрузного автомобиля. Успех дела во многом решался здесь, в Зайинске. На временных площадях, где в то время размещался механосборочный, работалось нелегко. Но рабочие не отходили от станков. В ту зиму держался экзамен на мужество, зрелость, закалку. И люди победили.

На завод поступали новые автоматы. Знаний не всегда хватало. Анатолий штудировал техническую литературу, ночами корпел над чертежами, схемами. О нем все чаще говорили: лучший станочник. Потом назначили руководителем бригады, доверили обслуживать станочный парк механосборочного. Непростое это дело — бригадир. Двадцать пять парней, не у всех одинаков профессиональный уровень, у каждого характер, норы. Одно время «выделялся» слесарь Вячеслав Калинин. Человек неплохой, но, бывало, и прогуливал, выпивал. Да и в семье неполадки, жена хотела уходить. Собрались было уволить его — мотай-де на все четыре стороны. Потом решили по-другому. Сурово поговорили с Вячеславом на бригаде, Юров сходил к нему домой, старался подбирать ему занятия в цехе по душе, чтобы мог увлечься. Нашел индивидуальный ключик. Вячеслав изменился. Почувствовал опору коллектива, поверил в себя. Сейчас на хорошем счету и в семье порядок. Когда же встал вопрос, кого направить в Челябинск для стажировки и последующей работы на современных автоматических линиях, в числе лучших был назван и Вячеслав Калинин.

Чувство локтя, ответственность, влюбленность в производство помогают бригаде добиваться высокой производительности, справляться с трудностями. Так, минувшей зимой поступил в цех токарный автомат. Новехонький — хоть на выставку. А стали опробовать на холостом ходу — барабан стопорится, шестерни перегреваются. Тщательные поиски, изучение схем, анализ и снова поиски. Обнаружили дефект: смещены оси валов шестерен. Грубый технический брак. Рекламация: автомат следовало вернуть заводу-изготовителю. А это потеря времени, план под угрозой. Да и рабочая косточка саднила, дескать, не безрукие, не лыком шиты. В общем, устраняли неисправность сами. И автомат заговорил.

Бог станочных линий — называли теперь Юрова.

Квартира у Юровых просторная. В одной из комнат оборудована детская, в другой — спальня. Там, где мы сейчас находимся, семья собирается по вечерам: посмотреть телепередачу, послушать пластинки, почитать, попотчевать гостей. Мария Андреевна хлопочет у стола:

— Перекусим и отправимся на дачу.

Из городского пионерского лагеря «Гагаринец» вернулись Светлана и Юля, по пути забрали из детского сада двухлетнюю сестренку Танюшу.

Юровы рассказывают о своем жизненном пути. Мария Андреевна достает из платяного шкафа сверток, раскрывает. В нем свитер. Зеленый, с бледно-розовыми вышивками. В нем работала вагоновожатой. Свитер вылинял от времени, потерт. Но он дорог Юровым как семейная реликвия, напоминает о теперь уже далекой юности, о случайной встрече, принесшей обоим прочное большое счастье.

— С той поры не расставались. Вместе уже пятнадцать лет. Из них только двадцать пять дней разлуки, когда Анатолий подыскивал работу на КамАЗе.

— За что получил орден? — повторяет мой вопрос Анатолий. — Принадлежит всей бригаде. Наш общий праздник! Отмечали вместе.

Фото, на котором Анатолий снялся в костюме, при ордене, отослали в Солонцовку. Долго ждали ответа, сердце сжималось отчего-то. Не откликнулась письмом мать Анатолия — Глафира Александровна. Сама приехала. Прислонилась к сыну, дала волю слезам. И вспомнилось прошлое. Война, сиротство. Всяко было, все переломили, остались живы. Дети поставлены на ноги. В добром здравье, работают, обзавелись семьями. На том и ладно. Чего ж еще? Могла ли мечтать о большем? Долго держала в сухих, потрескавшихся ладошках сыновний орден.

...Анатолий выводит из гаража «Запорожец».

— Аппарат негабаритный, но все влезем.

Так оно и получилось. Салон вместил всех шестерых: взрослых, Свету, Юлю и двухлетнюю Танюшу.

По асфальту двигаемся ходко, а вот на грунтовке «негабаритный аппарат» швыряет: то мостом заденем, то чиркнем рессорой. Перескочив через трещину, Юров говорит:

— Читал о ВАЗе. Очерк. Лихо! ВАЗ изменит дорожную карту страны, сделает ее великой дорожной державой. Двинутся «Жигули» во все стороны, размотают за собой асфальт и бетонку до самых глубин.

— Что ж, увеличивается количество машин, возникает и дорожная проблема. Одно к другому.

— Так-то оно так,— упрямится Анатолий.— Только надо наперед строить дороги. Чтобы бетонка разматывалась не за машиной, а впереди нее. А так сколько машин побьется, выйдет из строя. У нас плановое социалистическое ведение хозяйства. Надо наперед предусматривать строительство дорог. Это хозяйски...— Анатолий крепче вцепился в баранку и, перепрыгнув через колдобину, поставил точку: — Машина и дорога одно целое. Будет дорога нормальная — машина прослужит дольше. А это большой экономический эффект.

На Анатолии матерчатая кепка с длинным козырьком, куртка с «молнией». Я исподволь вглядываюсь в его лицо, ловлю себя на мысли: вот он, Юров, рядовой слесарь, все его обязанности сводятся к тому, чтобы крутились станки, не заклинивало автоматические линии. А он думает о большем, заботится об эффективности машинного парка в масштабах страны. Что ж, эта черта типична для передового человека.

Часа полтора провели на даче, расположенной между речушкой Сарполинкой и водохранилищем. Участок невелик, но на нем Юровы посадили картошку, помидоры, огурцы, укроп, капусту, лук, редиску, смородину.

— В магазине не всегда бывает свежий овощ, с земляным духом,— говорит Мария Андреевна.— Кровь-то у нас крестьянская, хочется покопаться в земле, отдохнуть на свежем воздухе.

Часть надела отведена цветам.

Присмотримся внимательней к Юровым. Рабочие. Трое детей. Отдельная квартира со всеми удобствами: холодная и горячая вода, центральное отопление, газ. Есть телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, собственный «Запорожец», гараж, резиновая лодка, садово-огородный участок. Все, что есть у Юровых, заработано честным трудом. Материально им никто не помогал, да и не было у родных такой возможности. Только доброе слово, житейский совет, материнское напутствие. Юровы живут и работают без каких-либо привилегий и поблажек. И в этой семейной биографии легко просматриваются черты типические.

...Вечер. Быстро темнеет. Мы выходим на балкон. Воздух, доносящийся с водохранилища, свеж и прохладен. Заинск загорается, тут и там в окнах вспыхивает свет.

— Все теперь у нас есть,— говорит Мария Андреевна,— да вот девочки подрастают. Столько хлопот, волнений...

За время, что нахожусь в Заинске, привык уже к Багряжке. Лес радует чистым воздухом, густой свежей зеленью. Багряжка с характером, есть у нее свой норов. Мчится, ворочая гальку, взрывается пеной и вдруг стопорится, словно бы и не было скоростей, мирно покоится в багряном извилистом ложе. Падают лист — не шелохнется. Но вот за таловым кустом опять срывается и будто пришпоренная скачет по руслу, гремит, стучится в берега, отламывая жирные красные ошметья. Вода словно насыщена охрой, густого чалого оттенка. Чалая вода, чалый берег! Это наводит на размышления. Помнится, еще задолго до приезда сюда невольно обращал внимание на название города, где развернулось строительство КамАЗа. Набережные Челны — есть в этом сочетании что-то привлекательное, неповторимый колорит. Но откуда оно взялось? Куда ведет этимология двух самобытных слов? Уже на месте не раз слышал рассказы

о челнах, пристающих к берегу: берег — челны. Набережные Челны! — убедительно. Но в очерке Виталия Семина «Строится жизнь» находим иную версию. Челны — от старого тюркского слова «чаллы», означающее крепость. Крепость — чаллы на берегу. Набережные Челны! — тоже впечатляет. А от Надии Мингалеевой, журналистки, прекрасно знающей этот край, его историю, довелось узнать такое: показывает вывеску на здании городского Совета. На ней два названия. По-русски Набережные Челны и по-татарски Яр Чаллы. Яр — берег, чаллы — передает оттенок, краску. Яр чаллы — берег чалого оттенка. Берега чалые, набережные чалые, Набережные Челны!.. В происхождении данного названия убеждает и Багряжка. Ведь действительно багряная, прямо-таки пламенная! Это от берегов. Красные куски земли перемалываются быстрым течением, вода схватывается огнем, делается багряной. Может, назвали бы ее Багряной или Багровой, да невелика речушка. Живописная, плещется среди трав, черемух, ветел, роет берега, набирается краски. Оттого и прозвали Багряжкой, что ласковая, уютная.

Изредка меня навещает работник Багряжского лесничества дядя Андрей. Он почему-то всегда в зимней шапке (в такой-то зной!), сухощав, немногословен. Неторопливо посасывает самокрутку, качает головой.

— Эссе яз, жаркая весна, жаркое лето. Плохая нынче трава, косить нехорошо. — И опять сосет самокрутку.

К ней, этой самокрутке, дядя Андрей привык со времен войны. Прошел все фронтовые дороги. Потом вернулся в родные края, устроился в лесничестве. В семье шестеро детей. Забот у главы семьи немало. Сено накопить, дрова заготовить, огород, работа. Последние два десятилетия никуда не выезжал, даже в Заинск, расположенный под боком. Мы неторопливо беседуем. Дядя Андрей сосредоточенно потягивает самокрутку. Я делюсь впечатлениями о Заинске, Набережных Челнах, рассказываю про КамАЗ: крупнейший автомобильный завод современности! А сами Набережные Челны! Высотные здания, универсальные магазины, детские сады, ясли, школы, Дворцы культуры, кинотеатры, институты, техникумы, бульвары, проспекты! Население — 260 тысяч человек. Это про Набережные Челны поэт сложил звенящую строфу: «Не всем дано так щедро жить — на память людям города дарить!» Набережным Челнам 350 лет. Но все эти три с половиной века ничто в сравнении с двумя последними десятилетиями. Подлинная история города, его юность, молодость, настоящая жизнь повели отсчет с декабря 1969 года, когда на берегу Камы был выворочен первый куб земли... Я увлечен рассказом, торможу собеседника, интересуюсь, когда он был последний раз в Челнах.

— Не помню, — говорит дядя Андрей. — Молодым совсем был.

— И что же? Как выглядели Набережные Челны в то время?

— Клуб, рынок, церковь, пристань на реке... — Лицо у дяди Андрея непроницаемое, в густой сетке морщин. Шапка надвинута на брови, долго вглядывается в порыжелый косяк, сгребает ладонью жухлые стебли: — Слабая трава, косить нехорошо.

Романюк всегда собран, деловит, энергичен. Мысль его постоянно обращена к машине. Знает про машину всю подноготную: от колеса до сложной схемы электрооборудования. Достаёт с конвейера гидровключатель сцепления, щупает глазами:

— Неважная отделка. Восьмой класс чистоты, а нужен десятый.

Показывает включатель гидромфты с градуированным делением:

— Тонкий, умный механизм. Режимное положение от семьдесят шестого до восемьдесят пятого градуса. Тогда машина не станет чадить, загрязнять выхлопами атмосферу.

Демонстрирует наконечник. Деталька крохотная, закатилась в трещину ладони — ее и не разглядишь.

— А хлопот с ней! Сверлят, нарезают резьбу, фрезеруют, гальванизируют.

Тончайшая, филигранная работа. Как говорится, мал золотник... Без него грузовик с места не сдвинется.

«КамАЗ» монтируется из многих тысяч деталей — и о каждой из них Романюк способен говорить часами. Рассказывает вдумчиво, не торопясь. Но временами будто взрывается. Это когда доходит до «предмета» особенно интересного.

— Представьте, в этом блоке уместилось солнце! Целое небесное светило. Такое же яркое и раскаленное... — Осторожно, будто в руках кипящая масса, опускает болванку на стол, хватая карандаш, чертит на бумаге. — В тот момент, когда насос-форсунка впрыскивает топливо, в цилиндре воспламеняется горячая смесь. Давление титаническое. Температура раскаленных газов, как на солнце! Между стенками цилиндра и поршнем рождается настоящее солнце! Оно крохотное, но энергия огромная. В действие вступают мощные силы. Происходит взрыв. Теперь включайте передачу — и тысячи кубов земли легко перебросит шагающий экскаватор, тепловоз двинет груженные составы, плавно сойдет с места многотонный «КамАЗ». И все потому, что в стальной груди машины бьются маленькие солнца!

Пятница. Ожидается приезд министра автомобильной промышленности. На колесном частенько поговаривают: прилетает едва ли не каждую неделю.

Поздно вечером, рассекая полумрак пронзительными фарами, прямо в колесный корпус въехала «Волга». Из нее вышел Виктор Николаевич Поляков. Высокий, слегка сутулится. Короткий, аккуратно подстриженный бобрик седых волос. Поздоровался с каждым за руку. Легко, пружинисто перемахивает через бетонные гнезда, металлические балки, трещины. Взгляд цепкий, внимательный. С ходу устроил на стройплощадке совещание. Слушает, лишь изредка бросает нетерпеливый взгляд на докладчика, когда тот тонет в мелочах.

Неполадок хватает: из-за нерасторопности строителей колесный корпус может остаться на зиму без тепла; задерживает детали Билибей; челябинцы тянут с поставкой пресс-штампа; волныят кровельщики, крыша до сих пор не застелена шифером, а синоптики грозятся скорыми дождями.

Министр ни разу не перебил докладчиков, вопросов тоже не было. Исключение сделал для Романюка:

— Николай Васильевич, подача площадей под монтаж оборудования в июле.

— Хай едут немцы. Можно вызов посылать!

Министр прошелся еще раз взглядом по фундаментам, отневелированным гнездам, подвел итоги:

— Приближается время, когда колесный завод вступит в строй. Много сделано, хорошо трудились. Спасибо вам, товарищи.

Похвала ободряюще подействовала на строителей. Да она и заслуженна: объем работ выполнен немалый. В сутки монтировали до тысячи тонн металлоконструкций, переместили горы насыпного грунта, бетона. Перевыполнение плана превысило триста с лишним тысяч рублей. За многими недоделками и неувязками Виктор Николаевич Поляков сумел разглядеть главное, выделить основное. Об этом он и сказал сейчас. А услышать от Полякова теплое слово не так-то просто. Министр не охоч до комплиментов — строг и суров. Потому и похвала его дорого стоит...

Забегая вперед: через пять-шесть дней после приезда министра на строительной площадке завода все пришло в движение. Где-то сработали невидимые рычаги, и кровельщики за пару суток настелили крышу; телеграмма из Челябинска: пресс-штамп отгружен; Билибей шлет стержни; в колесном корпусе на самом видном месте строители теплотрассы соорудили здоровенный щит: «Срок подачи тепла — 15 сентября. Ознаменуем юбилейный год ударным трудом!»

...Министр был в Заинске в пятницу. А в субботу утром раздался звонок. Романюка вызвали в Набережные Челны на совещание директоров заводов. Вечером этого же дня Заинск облетела неожиданная весть: Николая Васильевича назначили директором автосборочного завода. Приказ подписан.

В летописях не сохранилось сведений, раскрывающих происхождение названия Заинск. Да и самих летописей, в общем-то, нет. Ничего примечательного не несла в себе деревенька, неподалеку от которой пролегалась так называемая оборонительная линия Российского государства. В справочниках Заинск упомянут скромно: маслодельно-сыроваренный завод, средняя школа, кинотеатр, две библиотеки.

Новая история села началась, когда на реку Степной Зай пришли энергостроители. Они построили здесь крупнейшую в Европе тепловую станцию, Заинскую ГРЭС. Она еще сооружалась, когда было принято постановление о строительстве в Заинске спутника КамАЗа — завода по производству обода колеса. Вместе с промышленными гигантами возводился и новый город. Сегодня в Новом Зае проживает и работает 20 тысяч человек. Здесь действуют десятки промышленных предприятий: элеватор, комбикормовый и сахарный заводы, сельский строительный комбинат производительностью 100 тысяч кубических метров сборного железобетона; создается пищевой комплекс, где ежегодно будет изготавливаться свыше полутора тысяч тонн кондитерских изделий. Имеются школы, детские комбинаты, широкоэкранный кинотеатр, Дом культуры, поликлиника, больница, инфекционный корпус, школа-интернат, профессионально-техническое училище, магазины. Дом быта, стадион. Недавно утвержден генплан строительства завода нефтепромыслового оборудования, расширяется жилищное строительство. Стремительно растет рабочий поселок.

Новый Зай совсем юный город. Он и выглядит под стать возрасту: молод, красив, опрятен. На фасаде здания щит: «Превратим наш город в цветущий сад!» Похоже, слова у горожан не расходятся с делом. Призыв как следует не вылиняла на солнце, а кварталы и дворы утопают в зелени тополей, акаций, лип, жасмина. Планировка Нового Зая безупречна. Улицы прямые, город просматривается насквозь: одним концом Центральная упирается в зеркало водохранилища, другим — в густую стену леса. Перекрестная начинается с ярового клина и заканчивается на подошве холма. Там, на пологом склоне, в солнечных лучах нарядно серебрятся корпуса колесного завода. От строительного бума кое-где сохранились следы: развороченная земля, десятка два вагончиков-временок, несколько барачков, снуют «вахты». Город продолжает строиться. Десятки новоселов справляют в 35-м квартале — подобию московских Черемушек. За городской чертой вырастают массивы нового микрорайона.

Новый Зай молод, но уже имеет историю, именитых земляков. Нынешним летом приехал на заинский сабантуй уроженец этих мест, олимпийский чемпион Федор Тимашев. Отлично заявляют себя питомцы детско-юношеской спортивной школы «КамАЗ» по гребле на байдарке и каноэ, в командном зачете вырвались на первое место в Татарии. Тесно с Заинском связано имя татарского писателя и драматурга Аяза Гилязова, автора повести «Жемчужина Зая» — о строителях Заинской ГРЭС. Здесь похоронен Саббух Рафиков, создавший литературные произведения о наших современниках, о великой силе интернациональной дружбы народов. Имя Рафикова присвоено одной из улиц, городскому парку.

Бережно, с любовью относятся заинцы к природе, ревниво охраняют окружающую среду. Первый секретарь Заинского райкома партии Завдат Абдуллович Ахметзянов рассказывал о незыблемом правиле: вырубил деревья на площади пяти соток — посадите гектар! В лесах разводят бобров, появились кабаны, косули. Прежде эти животные здесь не обитали. Сокращены с пятидесяти до двух лицензий на отстрел лосей. Промышленному напору противопоставлен заслон. Только на возведение очистных сооружений колесного завода мощностью в 14 тысяч кубометров в сутки (иловые площадки, отстойники, биологическая обработка) выделено около 700 тысяч рублей. А взять ГРЭС! Крупное энергетическое предприятие. В несколько дней тепловая станция проворачивает в турбинах все водохранилище, зеркало которого превышает 20 квадратных километров. И при этом мирно уживается с природой, не наносит ей ущерба. Я видел мощную струю, с ревом рвущуюся из бетонных створов, и не без удивления наблюдал за рыбками, то и дело дергающимися из вспененного, будто гонимого винтом корабля потока толстолобиков, уклейку, подлещиков, карпов, сорожку, белого амура. Вода

остаётся чистой. Не только радужных разводьев — масляного пятнышка не различишь. Кромка водоема незамутненная, ясно просматриваются золотистый песок, стайки мальков. Водохранилище сделалось излюбленным местом отдыха горожан. В ближайшее время здесь приступают к созданию хозяйства по разведению прудовой рыбы, водохранилище превратится в крупнейший в Татарии рыбопитомник. На примере Заинской ГРЭС еще раз находим подтверждение тому, что промышленность и природа вовсе не антиподы, как это, к сожалению, еще бывает, что они могут не только сосуществовать, но и дополнять, активно развивать друг друга.

За короткий отрезок времени, каких-то два с небольшим десятка лет, простое село выросло в крупный культурный и промышленный районный центр. Имена его создателей войдут в новую летопись, расскажут о замечательных свершениях, интересных судьбах. Напомнят страницы летописи и о тех, кто навсегда остался в людской памяти. И поныне в заводском партийном бюро хранится учетная карточка коммуниста: Торопов А. П., рождения 1930 года, член КПСС — ноябрь 1961 года, образование высшее, должность — главный инженер, принят на учет 23 мая 1973 года, снят с учета 28 января 1977 года.

Анатолия Петровича Торопова направили в Заинск как ведущего специалиста. Он отдавал производству все: знания, вдохновение. Работал увлеченно, самозабвенно. Когда почувствовал недомогание, отмахнулся: так, пустячная простуда.

Торопову было сорок шесть. Хоронили главного инженера всем заводом. Январские морозы словно остервенели. Птица леденела на лету. Стылая земля не поддавалась лому. Отбойный молоток, подсоединенный к работающему двигателю «даймонт», с трудом дробил окаменевшую поверхность.

...Пробежав под гудящими проводами высоковольтной линии, пыльный нагретый проселок вплотную прижимается к лесу, как бы замирает в тени деревьев. На опушке — кладбище. Среди кленов, дубов поставлен жесткий квадрат металлической ограды. Скромный обелиск — ему, Торопову. Будто павшему солдату.

Расставаясь с Заинском, не мог не заглянуть я на Багряжку. Привык к этой ласковой речушке, часто укрывался от зноя на ее тенистых берегах. Нынешнее лето выдалось жаркое, раскаленный воздух не остывал и по ночам. Иссушенная солнцем, прилипла к галечному дну Багряжка, но бег свой не умерила. В тени размашистой ветлы долго сидим с дядей Андреем. Не знаю, сколько проходит времени, когда дядя Андрей словно пробуждается. Прикрыв ладонью глаза от солнца, всматривается в горизонт, где копятя облака. С силой, гортанно выдохнул:

— Яшенле янчыр! Дождь грозовой!

Часа через полтора ударил ветер, небо потемнело. Это был даже не дождь, а сплошной поток. Низкие облака прорезывали молнии. Острые отблески рассекали взорвавшуюся поляну, изламывались, ударили в землю. Тяжелые раскаты грома с протяжным гулом разносились над пришедшими в движение полями. Все вокруг дымилось. Деревья, воздух, облака. Липкая влага мешалась с многочисленными запахами, они были пряные, от них туманилась и кружилась голова, они душили, распирала грудь, неспособную вместить в себя мощный поток, поднимавшийся из трав навстречу ливню.

— Биг якши! Эйбет! Гроза! Очень хорошо!

Дядя Андрей восторженно стонал, подставив лицо навстречу струям. Что сделалось с Багряжкой! Поднялась вровень с берегами, зазеленела, бьет в берега, выдирает рыжие ошметья. Сейчас, когда казалось, будто вся природа взбунтовалась, Багряжка быстро меняла оттенки: от чалого к бледно-розовой охре, а там и вовсе загустела, схватилась пламенем, тронь — обожжешься.

Скрылись за холмом строения Заинска, трубы ГРЭС. Польский микроавтобус «Нисса» весело катит по шоссе. Посвежели после вчерашней грозы колхозные поля. напитались влагой. Сочно кудрявится горох, пестреет гречиха, ярко

зеленеют свекольные квадраты, потянулись вверх яровые. На холмах разбросаны гурты знаменитых поярчатых овец, стада крупного рогатого скота. Белые прямоугольники ферм, живописные деревеньки. И небо! Высокое, чистое, звеняще синее, промытое до блеска.

За рулем Фарид.

— Через полчаса будем в Челнах.

И тотчас под днищем ударило. «Нисса» встала.

— Опять шестерни, — с досадой сказал Фарид. — Перекаливают или недокаливают. Скажу завгару, пусть шлет полякам рекламу.

Вышла из строя «Нисса», поломались и мои планы. Накануне отлета я должен был встретиться в Набережных Челнах с Романюком. С большим трудом удалось выбить у Николая Васильевича окошко. Я понимал: входит в должность, нагрузки солидные. Автосборочный — это многотысячный коллектив, сорок пять гектаров производственных площадей, два главных конвейера, двенадцать модификаций «КамАЗа». План, план. Ритм, ритм. И скидок никаких. Ведь автосборочный завод — лицо КамАЗа, его зеркало!

Встреча с Романюком сорвалась. Это было ясно. Теперь одна забота — добраться в Бегишево, успеть бы к самолету. Эх, «Нисса»...

Пришлось голосовать.

Притормозил «КамАЗ». Загорелое лицо из-за стекла:

— Залазь. Подкину.

Шофер терпеливо ждал, пока я карабкался в высокую кабину, а потом размещался вместе с разбухшим от блокнотов портфелем. Кабина просторная, сиденье что диван. Пахнет маслом, разогретой кожей. Стекла широкие, обзор отличный. Шоферу лет тридцать пять, придерживает баранку — словно за плечами не большегрузный автомобиль, а так, легковесный «жигуленок». В пути разговорились. По душе ему «КамАЗ».

— Нормальная тачка! На горбу восемнадцать тонн, а чешет запросто под девяносто.

Узнав, кто я и зачем здесь, шофер зацокал, глянул в боковое зеркало, вдруг бросил «тачку» на подвернувшийся проселок.

— Опробуйте сами, пощупайте руками! — пихает в руки ключ зажигания. — Да вы смелей! Проселок неухабистый, и инспекторов ГАИ нет.

Я неуверенно поискал, и когда ключ туго провалился в скважину, повернул его. Мягко загорелся щиток приборов, качнулись стрелки. Шофер нетерпеливо:

— Чего зря жечь аккумулятор! Заводите... Не вцепляйтесь в руль, сжали, как клещами... Дистанционное управление! Гидравлика! Мизинцем править можно!

Давлю стартер, перехватываю пяткой педаль акселератора, врубаю скорость и... всем телом ощущаю вибрацию металла, могучую поступь «КамАЗа». Кабина наполняется ровным дрожанием. Шофер что-то говорит, но я не слышу. С волнением наблюдаю, как за стеклом сдвинулся с места яровой клин, качнулся, начал надвигаться сочной зеленью. Большегруз пружинит на выемках.

— Ну как? — кричит водитель.

— Отличный аппарат!

Мы опять меняем места. Шофер выводит грузовик на магистраль, и «КамАЗ», почувствовав свободу, неудержимо рвется по прямому, будто прочерченному карандашом бетону. На спидометре за девяносто. «КамАЗ» урчит, как сытый зверь. Ветер хлещет в стекла. Шелест шин. Все вокруг сливается в пеструю летящую картину. Ровно гудит мотор.

На аэродром успеваю впритык. Объявлена посадка. Считанные минуты. Бросаюсь к телефону, набираю Набережные Челны, автосборочный. На другом конце провода трубку снимает женщина:

— Николай Васильевич занят. Планерка.

Уговариваю, прошу. Вздых, продолжительная пауза и... знакомый голос. Романюк. Торопливо извиняюсь, задаю единственный вопрос:

— Как чувствуете себя на новом месте?

— Жарюсь, как на сковородке,— басит Николай Васильевич.

...Писатель, журналист дважды встречается со своими героями. Впервые и когда обрабатывает блокнот. Так и теперь: просматривая записи, я как бы снова возвращаюсь в Заинск, брожу по прямым зеленым улицам, заглядываю в заводские цехи, разговариваю с рабочими, узнаю их судьбы, мечты. Довелось мне в Заинске увидеться и с Аркадием Андреевичем Родыгиным. В феврале 1976 года Родыгин, в то время секретарь парткома КамАЗа, а ныне работник обкома партии, обращаясь в редакцию журнала «Новый мир», писал:

«В буднях не сразу приходит понимание того, что именно на твоём участке, твоём рабочем месте, твоими руками творится история, что твои товарищи, ты сам причастны к грандиозным свершениям».

При нашей встрече Аркадий Андреевич повторил эти слова, но теперь они звучали более весомо. Ведь вступила в строй первая очередь КамАЗа, сооружается вторая очередь автогиганта. Передавая привет читателям «Нового мира», Родыгин с гордостью добавил:

— КамАЗ работает. КамАЗ набирает темпы.

КамАЗ работает, набирает темпы! Продолжается славная летопись о трудовых свершениях, о замечательных героях нашей современности.

Когда очерк был подготовлен и отправлен в редакцию, я случайно услышал по радио информацию о передовом шофере Мензелинского района. Название района, имя водителя показались мне знакомыми. И сразу вспомнились Набережные Челны, обширные луга на берегу Камы, сабантуй — красивый, озорной, грандиозный, необычайно многолюдный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Финишировал сабантуй весело и не совсем обычно. По местным правилам торжество венчают три борца, каждый из которых вышел победителем в своей весовой категории: легкой, средней и тяжелой. Теперь им предстоит мериться силой между собой. Над полем повисает драматическая тишина. Тысячи взглядов устремлены в центр огромной поляны, опоясанной трибунами, где соперники готовятся к поединкам, вяжут жгутами полотенца, пробуют их на разрыв.

Исход состязаний как будто предрешен. Но кто знает: всякое бывает. Общий интерес к схваткам возрастает. Жребий брошен. Свисток. Вплотную сходятся борцы легкого и среднего веса. И вот она, неожиданность. Бросок, другой, третий. Судья поднимает руку победителя, который головы на две ниже своего поверженного противника. Чистая победа! Что же будет дальше? Ведь теперь спортсмену легкого веса придется потягаться с противником, габариты которого весьма внушительны. Здесь все ясно. Впрочем... На этот раз сенсаций не было. Богатырь взял соперника в полотенце, поднял на грудь, держал, пока тот не хлопнул в ладони. Поединок кончен. Толпы устремляются к победителю. Болельщики окружают великана, подбрасывают, просят автографы. А он, крупный, с коротким жестким хохолком, покатыми плечами, добродушно улыбается, и видно по всему, что не приучен к славе, выбраться бы поскорей из тесного кольца поклонников.

Абсолютным батыром набережночелнинского майдана-77 стал шофер из Мензелинска. И было в этом что-то символическое. Ведь профессия шофера нераздельно связана с машиной. Водитель — батыр майдана-77. КамАЗ — батыр десятой пятилетки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕВГЕНИЙ ГРОМОВ



АСПЕКТЫ ГЕРОИЧЕСКОГО

Заметки о книгах и фильмах

Развитие, самое возникновение советского искусства теснейшим образом связаны с художественной разработкой темы героического — героического поступка, деяния, характера. Не удивительно, что, когда в 20-е годы велись жаркие дискуссии, каким именем «окрестить» дитя — основной метод рожденного революцией нового искусства, — нередко предлагался термин «героический реализм». Конечно же, не в каждом произведении (и жанре) социалистического искусства содержится, должно содержаться прямое и непосредственное утверждение героического, прометеяева начала, однако в самой мысли об искусстве «героического реализма» была заложена глубокая и жизненная суть. Это понятие схватывает и передает чрезвычайно важную и существенную — как в 20-е или 30-е годы, так и ныне — особенность художественной культуры нашего общества.

Роль героической, возвышенной тематики в советском искусстве исключительно велика — как ни в какой иной эстетической системе нового и новейшего времени. Последовательная ориентация на раскрытие и утверждение героического в человеческом бытии составляет внутренний нерв социалистического реализма, его гуманистический пафос.

Хорошо известно, что этот пафос чужд современной буржуазной культуре; в своих декадентских, элитарных формах она уповает скорее на «антигероя» — на людей ущербных, опустошенных, равнодушных к жизни и собственной судьбе. Можно подумать, что иначе обстоят дела в «массовой культуре», где действуют супермены всех мастей и калибров: полицейские, шерифы,

детективы, ковбои — «сильные личности», которым неизменно присущи воля, решительность, энергия, настойчивость и т. д. Слов нет, эти душевные качества сами по себе прекрасны, только во имя чего они существуют в человеке?

Первый вопрос, который возникает при оценке героического деяния, — вопрос объективного критерия. Лишь пользуясь им, можно очертить границы самого понятия «герой». Храбрых, стойких, сильных людей не так уж мало на земле, героев куда меньше. Ибо в герое величие души, бесстрашие мысли и сердца сочетается со служением идеалу, обществу, народу. «Всякая героичность стала бы бессмысленной, — писал А. В. Луначарский, — если бы она не имела какого-то соединительного звена с историей человечества, если бы она не чувствовала себя прямо или косвенно вкладывающей свою личность, как камень в общее строительство».

Отчетливо и ярко проступают «соединительные звенья» в социалистическом искусстве, в галерее прекрасных образов, начинающейся с горьковских Ниловны и Павла Власова. Стремление оборвать и расторгнуть эти звенья неизменно ощущается в буржуазной художественной культуре.

...По широкому полю экрана несется легкой наездник. Выстрелы, огонь, смерч. Кого он ловит? За что готов сломать себе шею? В данном, сиюминутном восприятии фильма — очередного вестерна — это кажется или, точнее, может показаться не столь уж существенным. Герой храбр и красив, в его роли снялся знаменитый и обаятельный актер и вот зритель, чуть ли не с пеленок приучаемый к тому, что в кино славят силу

как силу, удачу как удачу, отдает этому герою свои симпатии и не хочет думать о каких-то там критериях и высших ценностях.

Магия яркого, динамичного зрелища, остросюжетного повествования в полной мере используется буржуазной «массовой культурой» в ее культе псевдогероев. Этот культ, уходящий идеологическими корнями в ницшеанскую мифологию (понятую, заметим в скобках, в ее достаточно плоском и вульгаризированном аспекте), насаждается годами и всеми средствами массовых коммуникаций. Распознать его в отдельных произведениях порою бывает нелегко. Современная «массовая культура» многое воспринимает от культуры элитарной, «высоколобой», она не чурается ни сложных монтажных троп, ни изысканных психологических конструкций. Одно из последних свидетельств тому — фильм, о котором уже немало писалось в нашей прессе, а еще больше пишется на Западе. Я имею в виду ленту «Штейнер — Железный крест», поставленную американским режиссером Сэмом Пекинпа по роману Вилли Генриха «Многотерпеливая плоть» на западногерманские деньги (формально фильм производства Великобритании — ФРГ). Фильм, любопытный как выражение определенной социальной тенденции и тенденции эстетически кинематографической.

Как видно уже из названия, «Штейнер» принадлежит к числу военных фильмов, его главным действующим лицом является фельдфебель немецкой армии, отступающей в 1943 году на Восточном фронте. Вообще говоря, западный кинематограф долгое время избегал обращаться к военной тематике; во всяком случае, еще не так давно военный фильм был не в почете. Не раз заявлялось, что люди, дескать, устали от боев и схваток на экране, что не надо сыпать соль на едва затянувшиеся раны, разжигать страсти и т. д. И вот теперь западные критики заговорили о возникновении «военной волны», которая призвана сменить волну «катастрофических фильмов», последние несколько приелись зрителю.

Ставятся или уже поставлены картины о поражении японского флота в 1942 году, об американских пехотинцах во второй мировой войне, о вымышленном похищении Черчилля гитлеровцами и т. п. В ряду такого рода фильмов находится и «Штейнер», о

котором журнал западногерманских кинобизнесменов «Фильм-эхо» с удовлетворением писал: «Это громадный успех в нашем кино и на международной арене». За первые три дня проката в ФРГ его продюсер собрал около миллиона марок. Особо отмечается, что на фильм идет молодежь.

Успех этот кажется несколько странным — фильм не отличается ни хорошим вкусом, ни особой заманчивостью фабулы, ни изобретательностью постановки. Что же в таком случае привлекает молодого зрителя? Думается, тема подвига. Личность самого Штейнера.

Новое поколение спрашивает: что представляли собой наши отцы и деды? Особенно деды... Они жили не столь прозаично, они страдали, они окутаны некоей туманной дымкой. В их времена, кстати, не было ни безработицы, ни терроризма, ни наркотиков... Оставшиеся в живых ортодоксальные фашисты хотели бы, конечно, четко и определенно романтизировать свое поколение, но такая «четкость» вряд ли сейчас имела бы шансы утвердиться. В ходу более тонкие и сложные формы реабилитации ушедших «героев». В частности, фильм С. Пекинпа подается как антифашистское и антимилитаристское произведение. Он содержит в себе фразы о мире, о бессмысленности войны, в нем цитируется Брехт, приводятся «объективные» документальные кадры, в том числе и из советской кинохроники.

Командир взвода разведки Штейнер — отнюдь не безукоризненный наци и даже не самый образцовый солдат. Он находится в конфликте со своим командиром капитаном Странским. Тот — законченный карьерист, желающий любой ценой заполучить высшую награду вермахта — Железный крест, которым Штейнер владеет по праву истинного героя. Известный актер М. Шелл рисует Странского сугубо темными красками. Он ничтожество и фанатик — только не идеи, а чинов и орденов. Пустой аристократичка. Совсем иной человек Штейнер. Выходец из народа, он беззаветно предан Германии и боевому товариществу. Храбр без позы, благороден. Правда, голливудский актер Джеймс Коуберн выглядит на экране не столько стопроцентным арийцем, сколько ковбоем в зеленом мундире. Привычные, впрочем, не лишённые известного шарма стереотипы американского «дикого Запада», явственно просвечивают в

его повадках и манере, в том, как он лихо вскидывает автомат, управляется с ножом, обращается с солдатами...

Американизация героя вызвала раздражение у журнала «Шпигель». Там была помещена рецензия Вольфганга Лиммера под характерным названием «Дикий Запад на Восточном фронте». Лиммер нашел, что Коуберн слишком вял в роли фельдфебеля Штейнера, а подчиненный ему отряд «состоит из орды рубаек, которые по вечерам нападают на часовых совсем как индейцы, а вечерами играют на губной гармошке у лагерного костра». Не согласился Лиммер и с тем, что в фильме выдвинуто на первый план столкновение Штейнера со Странским, он (и не без основания) считает изрядной липой то, что фельдфебель вызвал на дуэль своего начальника: «Вместо того чтобы показать безрассудство стратегии, с которым на Восточном фронте была загублена «многотерпеливая плоть» немецких солдат, Пекинпа впал в старый обмен дуэлями».

Не только Лиммер, но и другие западногерманские критики отозвались о фильме довольно критично. В их рассуждениях явно звучит и ущемленное национальное, а скорее националистическое чувство. Его в осторожной форме выразил и цитированный выше журнал западногерманских прокатчиков: «Фильм показал, как мало мешает тема, считавшаяся запрещенной, если она правильно подготовлена и захватывающе предложена. Нет сомнения, что это доступно и отечественным режиссерам».

Самое, однако, важное в данном пассаже не скрытый упрек и призыв к «отечественным режиссерам», а общая оценка: тема «правильно подготовлена». Сэм Пекинпа рассчитал все точно. Фигура гитлеровского солдата, как и весь прусский типаж, весьма скомпрометированы в глазах широкого зрителя; пока мало вероятности, что он придется по вкусу западной молодежи даже в ее сугубо конформистской части. Денационализируя Штейнера, режиссер и актер эксплуатируют отмеченную нами долготлетнюю традицию в зрительском восприятии вестернов и ковбойских лент с их удобной и наперед заданной «философией»: не важно, за что дерется герой, важно, как он дерется.

Вместе с тем в ряде сцен Штейнер и объективно может вызвать сочувствие зрителя. Он отпускает на свободу захваченного в плен юного красноармейца, «сына полка»;

он яростно схватывается со Странским; он до конца верен своим камрадам. И еще одно немаловажное обстоятельство. Обращаясь к опыту современного психоаналитического фильма, режиссер вводит зрителя, причем мастерски, в смятенное сознание Штейнера (тот поражен контузией), заставляет взглядеться в его глаза, в них читаются боль, мука, раздумье.

Не простой он человек, этот бравый ковбой, уверяет нас автор, поймите его. Разве не достоин он уважения и сожаления? Разве не похож он на рыцаря? Рыцаря долга и чести, являющегося одновременно винтиком гигантской военной машины. Он палач и жертва. Скорее только жертва. Субъективно, лично он чист перед людьми, перед будущими поколениями, поскольку помыслы его чисты и благородны.

Понятно, что гитлеровская армия состояла из разных людей. Наверное, Штейнер из них не самый худший. Во всяком случае, констатация его психологической амбивалентности не вызывает возражения.

Но невозможно согласиться с тем, что в фильме отстаивается некая субъективная правда героя, которая незаметно, исподволь противопоставляется правде исторической, объективной.

Последняя же строга и проста. Каким бы ни был Штейнер и иже с ним в собственном сознании, но он исправно и послушно служил третьему рейху — он в любом случае остается в наших глазах ландскнехтом, профессиональным убийцей. Ни больше и ни меньше! Уместно привести здесь слова одного великого немца: «Ставить на карту свою жизнь, разумеется, более достойно, чем лишь страшиться смерти, но это все же — только нечто отрицательное и само по себе не имеет поэтому значения и ценности; только положительное, только цель и содержание сообщает этой смелости ее значение; разбойники, убийцы, т. е. люди, преследующие преступную цель; искатели приключений, преследующие цель, созданную ими в своем мнении, и т. п. тоже обладают этой смелостью, тоже рискуют своей жизнью» (Гегель).

«Только положительное, только цель и содержание» сообщает подвигу его нравственное значение. Псевдогероям, которых на Западе с помощью магических средств искусства пытаются мифологизировать, утверждать как подлинных героев, как образец для подражания, социалистическое искус-

ство противопоставляет своего Героя — подлинно значительную человеческую личность, совершающую высокие и благородные дела.

Слово «Герой» не случайно написано с большой буквы. Размышляя о социально-психологических критериях и границах этого понятия, нельзя не видеть заключенной в нем диалектики обыкновенного и необыкновенного и ведущей роли здесь именно последнего — возвышенно-значительного, из ряда вон выходящего поступка, деяния, характера.

Героический образ нельзя смешивать, как это порою делается в нашей критике, с образом «положительного персонажа» — просто хорошего человека, порядочного, честного, доброго. Между тем и другим нет жесткой границы, но различия есть, и существенные. В героическом деянии всегда просвечивает высшая степень человеческой активности: огромное желание и умение приносить людям и обществу максимум пользы.

Герои формируются обстоятельствами — герои и формируют обстоятельства, преобразуя их своей деятельностью, активной и сознательной. Герои не только совершают подвиги, когда это необходимо обществу, но ищут и находят в жизни место для подвигов. Герои не сверхлюди: марксизм-ленинизм не приемлет субъективно-идеалистическую концепцию героя-одиночки и инертной толпы. Герой потому и герой, что он ярко выражает лучшие мечты и идеалы своего класса и времени. Он не над людьми, но впереди их. Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно сделать в интересах человеческого общества.

Формы проявления героического столь же многообразны, как сама жизнь¹. Одной из важнейших, можно сказать классических, является воинский подвиг, совершаемый во имя родины. К нему всегда обращалось и будет обращаться социалистическое искусство. Огромное идейно-воспитательное значение военно-патриотической темы с особой силой подчеркнул Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе на XXV съезде КПСС. Надо отметить, что в советском искусстве трудно найти мало-

мальски крупного мастера, который так или иначе, прямо или косвенно не касался бы этой темы. Ее актуальность трудно переоценить.

Из того многого, что появилось в нашем кино на эту священную для всех нас тему (вспомним «А зори здесь тихие», «Блокаду», «Аты-баты, шли солдаты...», «От зори до зари», «Семнадцать мгновений весны»), я хочу рассмотреть несколько произведений, в которых, как представляется, отчетливо проступают некоторые существенные тенденции нынешнего подхода к героической проблематике, взятой в ее военном аспекте. Произведения эти тем более примечательные, что в них как бы соединяется опыт двух ведущих искусств нашего времени — литературы и кино.

Оговорюсь сразу. В данном случае я не буду касаться проблемы экранизации как таковой, сравнения и сопоставления кинообразов с образами литературными. Об этом лишь попутно. Скажу одно: фильмы характеризуют бережное и уважительное отношение к первоисточникам, стремление сохранить не только их дух, но и основные сюжетные линии, манеру, стиль. Потому и уместней говорить здесь об общих закономерностях в разработке героического — общих как для литературы, так и для кино.

Все писавшие о фильме «Двадцать дней без войны» отдали должное той проникновенной правдивости, с которой переданы в нем быт и будни тыла (а им являлась тогда вся страна). Об этих буднях рассказывалось в нашей литературе меньше, чем о самом фронте, еще меньше показывались они в кино. Со строгой объективностью и искренней взволнованностью фильм «материализовал» на экране образ ушедшего, но незабываемого времени. Да, так все было. Жуткие жилищные условия эвакуированных, недоедание, недосыпание. Это тоже краски войны, от них никуда не уйдешь. Они не сгущаются, но и не разбавляются в фильме.

Однако если бы режиссер А. Герман ограничился документально достоверным показом одного лишь быта, его фильм не приобрел бы сколь-нибудь заметного общественного значения, он попросту не ответил бы духу и стилю литературного первоисточника — одноименной повести Константина Симонова. Главное, что в фильме, как и в повести, сквозь детальное изображение будничного рельефно проступает возвышенное, героическое.

¹ Об этом подробнее мне довелось писать в книге «Духовность экрана», в главе «Проблема номер один» (М. «Искусство». 1976).

К каким главным выводам и суждениям приходит Лопатин за свои двадцать дней без войны?

Много изведавший в жизни, вдумчивый журналист и писатель, Лопатин отчетливо осознает теневые стороны жизни в тылу. И встречается он с людьми разными, далеко не все из них герои и даже просто порядочные люди. Он видит — не обличая, но и не прощая — трусость своего друга Вячеслава; не составляет для него тайны и эгоизм, суетность его бывшей жены, ее театральной компании. Но Лопатин, а вместе с ним и авторы фильма смотрят в корень вещей.

Смешная маленькая женщина с визгливым голосом, расспрашивающая его о фронте и о муже, который ушел в рейд по вражеским тылам, ее сын, милый очкарик с его недетской серьезностью и детским простодушием, раскрывают Лопатину лучше и полнее любых газетных информаций и митингов внутреннюю силу и героизм людей, глядя на которых никогда и не скажешь, что они герои. Такие маленькие женщины до последнего вздоха верны мужьям и родине, они великие труженицы, не знающие отдыха ни на работе, ни дома. Знаменитое «все для фронта, все для победы» приобретает применительно к ним абсолютное значение: они отдают делу победы буквально все что имеют. Перед этим «тихим» героизмом нельзя не преклонить колени.

Подобные образы, судьбы составляют живую ткань фильма. С ними понимаешь: изображение обыденного, будничного в фильмах, подобных «Двадцати дням без войны», не самоцель, а средство проникнуть во внутренний мир людей, прославить человеческий подвиг тех, кто выдержал на своих плечах трудовое бремя войны. Встречаясь с этими людьми, вглядываясь в них, Лопатин получает новые импульсы для жизни и творчества. Он обретает, наконец, любовь.

Тема любви, сокровенная для Симонова, проходит красной нитью и через фильм «Двадцать дней без войны». Зачин ее в монологе летчика, гневно, удивленно и растерянно рассказывающего случайному попутчику об измене жены. Монолог звучит как необычная по форме парафраза известного «Жди меня». Продолжение темы — в разговоре маленькой женщины с Лопатиным. Ее апофеоз — в чистой и строгой любви Лопатина к Нине Николаевне.

Образ Нины Николаевны опять-таки возвращает нашу мысль — очень по-своему! — к теме героизма. Женщина, казалось бы, полностью погружена в быт, подавлена ужасной участью отца (он в госпитале для безнадежных), и все-таки она не теряет ни своей женственности и привлекательности, ни вкуса к жизни, ни веры в нее. Нина Николаевна, какой она рисуется актрисой Л. Гурченко, человек 40-х годов, она сотворена из надежного человеческого материала. Это характер сильный и гордый. И замкнутый. Душевное очарование Нины Николаевны не напоказ, его не сразу распознаешь...

И вот Лопатин. Внешне он в исполнении актера Юрия Никулина полная антитеза прежним симоновским героям, какими они рисовались в строках военной лирики: любимцы фортуны, романтические, уверенные в себе, красивые, «от женских ласк отвыкшие мужчины». Ничего подобного о себе не мог сказать, даже подумать не мог военный журналист Лопатин. Чего-чего, но мужской самоуверенности нет у него и в помине. Нет и каких-либо внешних романтических аксессуаров. В герое резко подчеркнута прозаическое, обыденное начало.

Но при всем том Симонов всегда остается Симоновым... Как в лирических своих вещах (вспомним хотя бы повесть «Дни и ночи») он не отказывался от трезво-земного показа «грязной, утомительной, беспощадной окопной жизни», так и в поздних «сугубо реалистических» произведениях писатель остро чувствует красоту героического характера. По своему духу Лопатин близок не только генералу Серпилину или Синцову из «Живых и мертвых», но и комбату Сабурову, для которого подвиг — каждодневная реальность.

Именно по духу. Ни в повести, ни в фильме Лопатин не совершает подвига в прямом смысле этого слова. Но недаром мы неизменно подчеркиваем, что палитра героического в социалистическом искусстве необычайно богата красками. Само по себе изображение героического поступка никогда не было его самоцелью. Цель художника — через подвиг ярко и правдиво выразить глубинное и сокровенное в человеке, звездные минуты его жизни. С другой стороны, в современном искусстве с его повышенным вниманием к нравственной проблематике огромное значение приобрел художественный анализ этического потенциа-

ла личности, ее скрытой до поры духовной активности. Вот этот-то анализ и составляет сильную сторону повести и фильма «Двадцать дней без войны».

Симоновский Лопатин — человек внутренне значительный, он как-то даже исключителен в своей скромности, бескорыстности и надежности. Когда речь заходит о кровно дорогих ему понятиях и ценностях, он становится юношески страстным, напористым; при уступчивости в мелочах (помните его споры с кинорежиссером или разговоры с Вячеславом?) он бескомпромиссен в принципиальных вопросах. Его легко представить в ситуации реального подвига; конечно, в любой сложной ситуации такой человек вел бы себя мужественно, твердо, последовательно.

Думается, однако, что образ Лопатина был бы еще убедительней, сумей актер и режиссер придать герою, очень искреннему в военных и бытовых эпизодах, в серьезных разговорах и спорах, такую же достоверность в сценах, требующих если не душевного пафоса, то лиризма, поэтичности. Это принципиально: из-за опасения впасть в выспренный тон нельзя обеднять подобных героев, избегать романтики и лирики там, где они возникают «по жизни», по духу характеров и драматической ситуации.

Решающим же для фильма, родившегося из симоновской книги, стало общее чувство правды характеров — правды времени, которое было и осталось в нашей памяти суровым и грозным. Но и прекрасным и возвышенным!

Еще несколько лет назад фильмы об Отечественной войне ставили, как правило, бывшие фронтовики. Их боевая биография (при прочих соответствующих данных) служила как бы залогом жизненной и художественной достоверности. Но время идет. И эстафету военного фильма берет — и должна брать — на себя новая генерация советских режиссеров. К ним относится А. Герман. Относится и Лариса Шепитько.

Фильм Л. Шепитько поставлен по мотивам известной повести Василя Быкова «Сотников», привлекая внимание широкого читателя масштабностью и остротой нравственных проблем, внутренней динамичностью сюжета, рельефно вылепленными характерами. Повесть была по справедливости оценена критикой как заметное явление современной военной прозы. Не

удивительно, что мимо нее не мог пройти кинематограф, как, впрочем, он не проходит мимо и многих других произведений Василя Быкова. Быков, равно как Шолохов и Симонов, экранизируется, пожалуй, наиболее часто. Когда пишутся эти строки, на экран вышел новый быковский фильм по повести «Обелиск».

Знаю, что не все критики и зрители относятся к фильму Л. Шепитько одинаково — одни замечают, что его поэтика где-то рознится с поэтикой быковской повести; других «царапают» иные «библейские» аналогии, подчеркнутые в фильме, — жертвенность Сотникова, иудино предательство Рыбака...

Выражая здесь сугубо личное впечатление от «Восхождения», хочу объяснить, как я понимаю суть этого кинопроизведения, суть истинно героическую!

Лариса Шепитько, знающая о войне лишь по тревожным воспоминаниям детства, ее соавторы оператор В. Чухнов и художник Ю. Ракша, которые ходили в атаку разве что на учебных сборах, с ревностной бережливостью, лаконично и емко воссоздают быт и атмосферу фашистской оккупации и борьбы с нею на истерзанной белорусской земле.

Современный игровой кинематограф, многое восприняв из опыта документального кино, оказывается теперь способным к удивительно полной и точной реконструкции фактов и событий на экране, когда, будучи перенесенным в иную эпоху, чувствуешь себя непосредственно участвующим в разворачивающемся действии, в реальность которого веришь безусловно. В «Восхождении» иные кадры, например партизанского лагеря в лесу, почти неотличимы от хроникальных, добытых в годы войны фронтовыми кинооператорами. В изобразительном строе фильма, а он явно тяготеет к графике, контрастно сталкиваются темные и светлые краски. Лес и поля в тревожных сумерках, уютный полумрак крестьянских изб, зловещая мрачность гестаповских застенков. А вокруг российская снежная белизна, ослепительная и одновременно мягкая, приветливая. По снежной дороге, идущей вверх, пройдет свой тернистый путь старший лейтенант Борис Сотников. Путь к бессмертию.

Пристальный анализ личности Сотникова, его нравственного поединка с предателем Рыбаком составляет главное в повести Быкова и в фильме Шепитько. На это

го героя, Сотникова, Лариса Шепитько вышла отнюдь не случайно. С самого начала творческого пути, что наиболее отчетливо проявилось в картине «Крылья», ее интересовал сильный и крупный герой, поставленный в критически острую, переломную ситуацию. Гвардии капитан в отставке Надежда Петрухина (это осталось лучшей ролью Майи Булгаковой) находилась, в сущности, на грани жизни и смерти. Правда, в такую ситуацию привели ее не столько внешние обстоятельства, сколько логика ее собственного нравственного максимализма. Она не смогла всецело найти себя в мирной жизни, а жить вполнакала, не ощущая всей полноты бытия, Надежда Петрухина не хочет и не может.

Борис Сотников, ровесник героини «Крыльев», соткан из того же человеческого материала, что и она. Оба они люди внутренней убежденности, цельности, нестигаемого мужества и воли. Но эти душевные качества выявляются у Сотникова вовсе не сразу, не при первом знакомстве. Умный и тонкий писатель Василь Быков не любит ненужной скоропалительности, к его героям надо привыкнуть, приблизиться, тогда только поймешь истинные масштабы их личности.

В фильме даже больше, чем в повести, сначала наши симпатии привлекает Николай Рыбак. Ловкий, лихой парень, душа нараспашку, от него так и веет уверенностью в себе, силой и здоровьем. А Сотников кажется жидковатым, замкнутым, нерешительным. Даже странно, что, больной, он не уклоняется от выполнения задания. Тем не менее в фашистском плену он, а не Рыбак оказывается подлинным героем. Почему? Все решает мера личной стойкости и убежденности. Подчеркиваю: мера. Ибо Рыбак не только кажется сильным и храбрым, он и на самом деле отважный солдат, бывший не раз в опасных передрагах и с честью выходявший из них. Рыбак по-своему сложная фигура. И своих отрицательных персонажей В. Быков избегает рисовать одной темной краской. Его художественная манера, что хорошо почувствовала Л. Шепитько, глубоко диалектична. Рыбак способен выдерживать и весьма мощные удары судьбы, но в сравнительно обычных военных ситуациях. Попадая же в ситуацию экстраординарную, предельную, когда остаешься наедине не просто со смертью, а с мучительной пыткой, Рыбак пасует, сдается.

Психологическим ключом к его образу является сделанное им невольное признание в разговоре с Сотниковым, когда они идут по лесу. Рыбак: «Подходим уже. Ну вот, глядишь, за разговором и путь короче. Не знаю как ты, а я терпеть не могу этих одиночных заданий, даже самых легких... По мне хоть сто раз в атаку, но в строю. А ночь, лес, оно, знаешь, давит...»

На людях и смерть красна, говорит старая пословица. Чтобы выдержать испытание на прочность, когда рядом с тобой нет или почти нет товарищей и друзей, нужна особая, высшая степень мужества. Ее нет у Рыбака. Попав в плен, он начинает лихорадочно искать пути к спасению, рассчитывая обмануть гитлеровцев, так сказать, притвориться предателем, с тем чтобы потом убежать к своим и с новой силой бить фашистов.

Разве нет резона в этих намерениях? Конечно, есть. И мы не можем вот так легко, сразу не поверить Рыбаку. Но каковы мотивы, которыми он руководствуется? Только ли желание сохранить жизнь во имя дальнейшей борьбы? Нет, не только. Это желание смешано с другим, по-человечески понятным, но в данной коллизии внеморальным: любой ценой сберечь себя. Кинокамера несколько раз как бы проецирует на экран мысли и побуждения Рыбака. Он видит себя убегающим от полицейев и убитым их пулей. Ему страшно, и постепенно этот страх вытесняет другие чувства. Рыбак начинает лицемерить, еще не осознавая, что лицемерит.

Не только истина, но и подвиг всегда конкретны. Это, пожалуй, любимая мысль Василя Быкова, она ярко воплощена и в фильме. В одних случаях соглашение с врагом не означает сделки с собственной совестью, в других — единственно возможной нормой поведения является абсолютная бескомпромиссность. Все зависит от целесообразности поступка и его внутренних мотивов. Но кто возьмет на себя роль высшего судьи в такой предельно острой коллизии? Кто сможет правильно и точно оценить ее нравственный смысл? Прежде всего (а иногда и только) ты сам, в ней находящийся. Твоя совесть. Известная истина «со стороны виднее» тут не проходит.

Сотникову, что тонко и правдиво передано молодым актером Б. Плотниковым, не меньше хочется жить, чем его напарнику. Он отнюдь не картонный герой, а живой человек. Но опытный солдат, Сотников тот-

час разобрался в обстановке: здесь, не предав, жизнь неохранишь. Значит, остается одно: погибнуть с достоинством. Приняв это решение, он осуществляет его с необыкновенным мужеством — как нравственным, так и физическим.

Впрочем, констатации последнего, думается, уделено избыточное внимание в фильме, что несколько противоречит его собственной сверхзадаче — активизировать, обострить нравственное чувство в зрителе.

Надсадно кашляя, совершенно ослабевший Сотников идет вместе с Рыбаком по снежной земле. Тяжко ему, но все равно он не поддается болезни и усталости. Долго, однако, слишком долго длится этот проход — режиссер доказывает уже доказанное, очевидное. Злоупотребляется в фильме и показом воспаленных, страждущих глаз героя. Это впечатляет в финале, в романтично-притчевых кадрах, и маломуместно в бытовых, прозаических. Героическое рискованно подавать на одной высокой ноте, даже если она мастерски исполняется: зритель устает, привыкает. Зрелище физических мук бьет по нервам, но тут тоже рискованно нарушать меру и пропорции. Во всяком случае, лично меня более всего покоряли в фильме те его эпизоды, в которых зримо и глубоко раскрывалось духовное в герое.

Единоборство Сотникова со следователем Портновым в фильме занимает даже большее место, чем в повести, и резко и фундаментальнее выявлен его философский подтекст. В ярком исполнении актера А. Солоницына (мы запомнили его по фильму «Андрей Рублев») Портнов отнюдь не заурядный злодей, он по-своему умеет, не чужд наблюдательности и аналитичности. Портнов уже сделал свой выбор — сознательно пошел в услужение к фашистам. Теперь он жаждет завербовать Сотникова. Это нужно ему не только для карьеры, но еще больше во имя морального самоутверждения. Рыбака он презирает, а к Сотникову проникается уважением.

Примечательно, что Портнов даже не пытается прельщать своего узника материальными посулами. Ничего не говорит он и о превосходстве германского оружия, бесполезности сопротивления и т. п. Портнов берет выше, он апеллирует почти экзистенциалистскими понятиями. «Мы же конечны, со смертью для нас кончается все, вся жизнь, мы сами, весь мир». Если это так, а это так (кто спорит?), то, полага-

ет Портнов, незачем бороться и страдать. Логичнее, целесообразнее пойти на предательство.

Усложнив образ Портнова в духе некоторых современных рассуждений о смысле жизни, о соотношении рационального и эмоционального в век научно-технической революции, наделив его чертами экзистенциалистского циника, Л. Шепитько и ее соавтор по сценарию Ю. Клепиков пошли на заметную модернизацию повести, что, однако, никак не противоречит ее внутреннему пафосу. Портнов — «идейный» негодяй, то есть самая худшая разновидность негодяев. Он понимает, что творит зло, и пытается оправдаться перед своей рептильной совестью рассуждениями о глобальной греховности и ничтожности людей. Все, дескать, дерьмо, и любые высокие идеи не больше чем фанатерия. Их можно выжечь каленым железом.

Сотников не унижается до словесных баталий со своим просвещенным мучителем, он только говорит ему с откровенным презрением: «Мразь человеческая». Но своею гибелью Сотников утверждает простую и великую истину: да, каждый из нас конечен, смертен, но все мы вместе как народ, как человечество бесконечны и бессмертны. Это бессмертие духовной жизни, смены поколений, ответственности отца перед сыном, каждого из нас за день сегодняшний и за будущее, в котором нас и не будет. Словом, прав Сотников: «Есть вещи и поважнее собственной шкуры».

Так совершенно конкретная ситуация обобщена в фильме до серьезнейших раздумий о человеке и смысле его бытия. Поставленная в документальной манере, киноповесть постепенно приобретает черты философской притчи. К финалу расстановка действующих лиц становится предельно ясной и четкой, как и подобает в притче. На одной стороне Сотников и люди, идущие с ним на казнь; на другой — Портнов, полиция, фашисты. Между ними суетится Рыбак. Но третьего в критических ситуациях не дано. Завершение нравственного компромисса символично: Рыбак вынужден своими руками казнить Сотникова. Так, быстрее, чем Иуда, он предает товарища и родину.

Испытав вдруг бурный взрыв протестующей совести, Рыбак пытается покончить с собой в уборной. Не получается! Смерть не приемлет предателя. Тоже символ, вырастающий из сугубо реалистической ткани

повествования. Эта сцена сыграна актером В. Гостюхиным мастерски, с пугающей достоверностью. Она казалась бы натуралистичной, если бы не была столь искренней.

Однако все-таки главным и наиболее западающим в сердце является другой эпизод. О мастерстве здесь не думаешь — сосредоточиваешься на самой сути... Последние минуты в жизни героя. Плачет мальчик в буденовке. Сотников улыбается ему. Белый снег. Глаза Сотникова. Они обращены к нам, сегодняшним зрителям. В них вопрос — какие мы? В них вера в нас, в нашу совесть, волю, стойкость.

Думается мне, потому из мирового искусства и не уходит военная тема, что человечество не может жить без героев и героизма, как не может оно не вспоминать имена и дела тех, кто отдал свои жизни во имя его счастья. Особенно велика потребность в эпических полотнах, когда на экране развертывается масштабное и динамическое действие, совершаются реальные и достоверные подвиги. Симптоматичен успех, выпавший на долю киноэпопеи «Освобождение» режиссера Юрия Озерова практически во всех странах, где она демонстрировалась.

Опыт, творческие успехи «Освобождения» широко использовались в новой киноэпопее «Солдаты свободы», которая начинает свое шествие по экранам в дни, когда пишется эта статья, — у эпопеи, посвященной героям из героев, руководителям, вождям коммунистического движения, несомненно будет своя большая судьба; о ней, о ее поэтике, конечно, речь особая, она еще впереди...

Буржуазная кинематография пытается по-своему преломить опыт таких наших фильмов, как «Освобождение», предложить зрителям нечто подобное, но «свое», тоже эпическое. Намерения эти неизменно терпят крах, потому что искусство, антинародное по своей социальной сущности, не способно создать подлинно эпические полотна.

Только в условиях социализма героическая эпопея, эпопея народного подвига, получает мощные и глубокие стимулы для своего полноценного развития. В советском кино, как оно начиналось Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко, традиции эпического фильма, во многом питаемые опытом социального романа, всегда были исключительно сильны. В их русле и находится фильм «Они сражались за Родину», где

частные человеческие судьбы обобщаются до судеб народных.

Совсем «обыкновенные» люди в пехотном полку, что держит оборону в донских степях в июле 1942 года. Когда их видишь в строю, на марше, одинаково одетых и одинаково усталых, то вначале возникает ощущение некой нерасчлененной массивности, всеобщности. Это ощущение, однако, отнюдь не негативное, на него и рассчитывали авторы. В фильме «Они сражались за Родину» (как и в «Броненосце «Потемкине» Сергея Эйзенштейна или в «Железном потоке» А. Серафимовича) действует коллективный герой. Им является тот самый пехотный полк, от которого осталась лишь горстка солдат и один командир, а потом и он погибает. Но это все равно полк, сохранивший свое знамя, дух воинского товарищества, уверенность в победе. И в бою он выступает как единый организм — каждый глубоко ощущает свою кровную связь с соседом. И дерется каждый за десятых. Иначе нельзя. Враг в сердце России.

Изображая батальные сцены, С. Бондарчук пошел на существенное укрупнение их масштаба. Сто с лишним солдат, описанных Шолоховым, физически не могли вести бои такого огромного размаха, какие они ведут в фильме. Не знаю, сколько человек было занято в массовых эпизодах, но впечатление, что их десятки тысяч. Это укрупнение, гиперболизация, вызвало разные суждения, я же думаю, что С. Бондарчук здесь совершенно прав. Он использует богатые возможности экрана в изображении зрелища величественного и яркого. В фильме не однажды показываются потрясающие воображение кадры боев, когда небо смешивается с землей и безумный огонь выжигает все на своем смертоносном пути. Не мудрено в этой кровавой сече дрогнуть, испугаться, бежать, бежать, лишь бы только спастись. Но бойцы стоят на смерть. С. Бондарчук делает зримым и вещественным самое определение «Великая» — Великая Отечественная война. Тем самым он былинно укрупняет своих героев.

Романтика — неотъемлемое слагаемое эстетики подвига, его живая душа. Романтикой окрашена изнутри проза М. Шолохова и картина С. Бондарчука. Это романтика особого рода. Герои «Они сражались за Родину» меньше всего думают, что они герои. Но их дела говорят о них лучше любых слов. Эпический фильм С. Бондарчука

отличает пристальное внимание к духовному миру человека. Перед нами проходит целая галерея ярких народных характеров: вдумчивый и серьезный Стрельцов, строгий старшина Поприщенко, веселый едессит Копытовский, немногословный и основательный Некрасов...

Коллективный герой фильма — пехотный полк — на поверку отнюдь не представляет собой некую однородную массу; в нем служат, а вернее живут, люди самых разных профессий и национальностей, возрастов и биографий. Что ни характер, то собственная статья, своя судьба. Единство народа, поднявшегося на священную борьбу с фашизмом, есть единство личностей, индивидуальностей. В фильме творчески синтезируется эйзенштейновская и пудовкинская традиция в советском киноискусстве. По-пудовкински аналитично и индивидуально-конкретно выписываются характеры.

Особенное наше внимание привлекают два образа — Ивана Звягинцева (актер С. Бондарчук) и Петра Лопехина (актер В. Шукшин). «Я думаю,— говорил Василий Шукшин о своем герое,— это очень народный характер. Он ведь, хоть и должен подставлять грудь и спину железу, падающему с неба, остается, пока жив, живым человеком. Случилась бабенка на пути, попытался ее приобнять. И так далее. В этом много от жизни... Я стараюсь правдиво сделать роль. Стараюсь даже некое озорство шолоховское передать в выявлении характера». В. Шукшин отдал этой роли весь жар своей души. Он многоцветно и проникновенно раскрыл самую суть характера, вылепленного Михаилом Шолоховым. Без лишнего слов, с шахтерской смекалкой и лихой удалью сражается Лопехин за родную землю. Скажи ему, что он герой, человек с большой буквы, так он искренне удивится. Но он действительно герой.

Из народных сказов кажется пришедшим на экран Иван Звягинцев. Пахарь по натуре своей, он вынужден заниматься делом, ему совершенно чуждым, — войной. Но делает он его с беспримерной отвагой и самоотречением. Звягинцев из тех, с кем можно пойти в самую опасную разведку. Надежный, сильный, добрый, он олицетворяет лучшие черты русского характера.

Ивана оперируют в госпитале без наркоза. Чудовищная боль, врачи борются за его жизнь, а он беспокоится о новых са-

погах, ругает почему зря хирурга... На последней грани страдания горько плачет, но все равно не сломлен!

Смотреть эпизод в операционной трудно. В последние годы в кинематографе, и не только в военном фильме, стали откровенно показывать физические страдания (не путать со смакованием актов насилия в коммерческом кино). Что ж, искусство, если оно желает оставаться правдивым, не может обходить острые и страшные темы. Необходимо ему порою и эмоционально резко «встряхивать» зрителя и читателя, напоминая о том, о чем в благополучные мирные годы не всегда хочется помнить. Кроме того, ныне изменились и многие стереотипы зрительского восприятия — в частности, здесь сыграло немалую роль распространение документального кинематографа с его беспощадной откровенностью.

И все-таки надо, как говорится, семь раз отмерить, обращаясь в игровом кино к изображению насилия, мучений, пыток. Чуть-чуть переберешь в деталях и подробностях — и в восприятии зрителя может произойти психологический сбой: страшно, мученическое в героическом деянии выплывает как бы на первый план, отодвигая в сторону собственно героическое — мужество и твердость духа. На грани такого «чуть-чуть» и находится эпизод с операцией Звягинцева.

В то же время, еще раз подчеркну, героическое немислимо без трагически-скорбного; речь идет только о мере и характере его выражения в искусстве. Трагедийные ноты, которые звучат в лучших фильмах и книгах о минувшей войне, а к ним, безусловно, относится и «Они сражались за Родину», глубоко оправданны, современные, гуманистичны.

На этой войне гибли люди, более чем кто другой достойные жить. И они, что прекрасно показано в фильме С. Бондарчука, даже в тяжелейшие дни отступления жили полно и ярко, не теряя ни чувства юмора, ни вкуса к жизни, ни надежды. Им внятно все человеческое. Они размышляют о судьбах страны и государства, вспоминают мирные дни, свои семьи, друзей, любимых. В фильме, как в жизни, личное переплетается с общественным, бытовое с возвышенным, драматическое с лирическим. Проникая глубоко в человеческую личность, кинокамера рассказывает правду о ней, а тем самым и правду о великой войне.

Эта правда едина и многолика. Это и тяжелый окопный труд, когда проклинаешь каменистую землю, в которую вгрызаешься саперной лопатой. Это и страх смерти, заставляющий порою по-детски взывать ко всем небесным и земным силам. Это и упоение боем, радость удачного выстрела, поражающего ненавистного врага. Это и просветленное чувство боевого товарищества, когда один за всех, все за одного. Это, наконец, радостный триумф победы, высокие слова, венчающие высокие дела.

Эпическая лента «Они сражались за Родину», фильм-притча «Восхождение», психологическо-бытовая драма «Двадцать дней без войны», не обнимая, конечно, всех граней героической темы в нашем искусстве, как и книги, положенные в их основу, знаменуют собой заметные вехи в ее современном художественном осмыслении. Разные по жанру, стилю и авторскому видению мира, эти фильмы во многом и близки друг другу. Они нацелены на постижение нравственного мира человека на войне и во время войны, человека вроде бы и рядового, обычного, но и необыкновенного в своей стойкости, надежности, убежденности.

Этот человек — героическая личность, душевное богатство которого неиссякаемо. Неиссякаема потому и военная тема в социалистическом искусстве. Она не подвержена ни моде, ни конъюнктуре. Советский военный фильм, слава богу, не складывается в некие «волны», которые сегодня всплывают, с тем чтобы завтра сойти на нет. Его развитие определяется глубинными общественными потребностями. Одна из важнейших среди них — в неустанном познании духовного облика тех, кто победил фашизм. Познание, которое ведет к самосовершенствованию.

За шестидесятилетнюю историю своего развития советское искусство создало много замечательных образов: вождей революции, в первую очередь В. И. Ленина, бойцов и полководцев гражданской войны и Великой Отечественной, партийных работников, рабочих, крестьян, ученых, организаторов производства. Все это герои

нового типа, нового социального содержания. Они знаменосцы марксистско-ленинской идеологии, социалистической морали, советского образа жизни.

Именно знаменосцы! При всем демократизме и народности героя нового типа он личность неординарная и в жизни и в искусстве.

Значительность личности — фактор не только психологический и индивидуальный. В конечном счете он определяется социальными условиями, которые могут благоприятствовать или, напротив, ставить преграды полноценному развитию индивида. Современный капитализм объективно не заинтересован в подлинно героических личностях, они ему чужды и враждебны. Социализм раскрывает лучшие духовные потенции людей, вдохновляет их на подвиги и свершения. Социалистическая революция, построение нового общества невозможны без массового героизма. Вместе с тем этот героизм не означает нивелировки всего и вся. Даже в бою, в штыковой атаке, когда все солдаты «как один», есть свои градации храбрости и наступательности. «Мы, — говорил В. И. Ленин, — победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства так же сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу»².

В этих ленинских словах глубоко раскрывается диалектика героизма. Есть подвиг всего класса, всего общества, есть авангардная роль его передовых отрядов — лучших людей класса, лучших людей народа.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 232.



ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ



ПИСАТЕЛЬ И ВОЙНА

В раздумье о творчестве писателей, завершивших свой жизненный путь, современники и сотоварищи, которым наравне с читателями остались в наследство и на память их книги, чувствуют необходимость сопоставить литературное наследие с сохранившимися в памяти чертами личности авторов. Это наш долг, наша святая обязанность.

Мы их знали, были вместе в те дни и годы, когда с особой остротой проявляются и узнаются главные человеческие качества, мы писали на одной бумаге, в одних газетах, спали на соломе и полыни в одних и тех же хатах и сохранившихся подвалах... Существует точка зрения: писатель — это только книги, все остальное несущественно. Но в наши годы в противовес этому мнению, может и справедливому по своему, повысилось и разгорелось читательское внимание ко всему, что происходило и происходит вокруг читаемых книг, что связано с их замыслами и работой над ними, с материалом, легшим в их основу.

Проблема личности писателя и его книг, его образа и образов, им созданных, — одна из интереснейших не только в академическом литературоведении. Обязанность современников, свидетелей — выверенно и точно воспроизвести на страницах «апокрифов» материалы своей памяти. К сожалению, недавние годы знают писания приукрашенные и недостоверные: впрочем, их хватало во все времена.

А рядом еще одна проблема, много написано вокруг нее, но нельзя сказать, что достаточно обобщено и изучено. Это тема «писатель и война». На опыте советской литературы можно ярко показать, что писатели, участвуя в справедливых войнах,

защищая отечество, оставались в высочайшей степени гуманистами, как и надлежит быть писателю. Обязанность очевидцев — оснастить фактами и подробностями этот тезис, это важно в особенности для рассмотрения роли и места советской литературы в литературе мировой.

Именно эти соображения призвали меня рассказать свое об Александре Твардовском и Илье Эренбурге, старших современниках, чьи книги — в золотом фонде советской литературы, звучат как произведения не только исторические, но и современные. Для меня две эти столь самобытные и даже несопоставимые личности имеют и единый знаменатель — они были воинами и гуманистами, советскими художниками и общественными деятелями во всем — в жизни, творчестве, в нашей памяти.

* * *

Я был знаком с Александром Твардовским на протяжении более трех десятилетий. Сразу скажу, что мы не были близкими друзьями: не знаю, как на меня смотрел Твардовский, но я на него — снизу вверх, как на старшего, как на мастера еще тогда, когда сам был начинающим, да и в последующие годы.

Он старше меня на пять лет — в молодую пору такая разница чувствуется остро. Но главное старшинство было и в стихах и в характере поэта. Мы все начинали рано, печатались с юности, а Твардовский уже с первых своих шагов казался взрослым. У него был взрослый характер. В годы, когда многие из нас еще били в пионерские барабаны, он о детстве своем писал так:

Нас отец, за ухватку любя,
 Называл не детьми, а сынами.
 Он сажал нас обапол себя
 И о жизни беседовал с нами.

—Ну, сыны?
 Что, сыны?
 Как, сыны? —
 И сидели мы, выпятив груди,—
 Я с одной стороны,
 Брат с другой стороны,
 Как большие, женатые люди.

Приехав в Москву в середине 30-х годов из Смоленска, он отличался от нас некой сельской степенностью и дружил со старшими по возрасту. Вероятно, не без оснований он считал меня и моих ровесников мальчишками, во всяком случае до тех дней, когда красноармейская форма сделала всех нас похожими друг на друга.

В 1939 году группа писателей была призвана, точнее сказать — добровольцами направилась, в ряды РККА, и мы с Твардовским выехали в одном вагоне в его Смоленск, чтобы 17 сентября вместе перейти границу и участвовать в освобождении Западной Белоруссии. Потом в том же качестве «писателя военной газеты» и он и я были направлены под Ленинград и прошли войну с белофиннами на Карельском перешейке. Редакции у нас были разные, но узкий фронт — один. Мы стали боевыми товарищами взамен литературной дружбы, которая у нас в обычном ее понимании вообще не состоялась. Вот об этом товариществе и своих впечатлениях о Твардовском на войне я имею право и, наверно, должен рассказать. Я ограничу свои воспоминания одним годом войны — Великой Отечественной, — начну с середины 1941-го и доведу рассказ до весны 1942-го.

23 июня мы встретились в Главном политуправлении Красной Армии, где с 1939-го числились прикомандированными для выполнения специальных заданий. Туда явились Константин Симонов, Алексей Сурков, Борис Горбатов, Евгений Петров, Михаил Светлов, Василий Лебедев-Кумач, Сергей Михалков, не помню, кто еще. Мы были возбуждены, расстроены, каждый ожидал получения «командированного предписания» (тогда слово «командировочный» только обрело права гражданства и в разных неуклюжих формах проникало в обиход). Предписание это, впрочем, ничего не объясняло — указывался лишь город, куда надлежало прибыть и к какому начальнику там обратиться. Мы получали от

начальника отдела печати документы и узнавали, кто в каком направлении отбывает из Москвы.

Александр Твардовский был словно отключен от высокого напряжения, будоражившего нас. Он сидел у окна печальный и сосредоточенный. В трудные моменты он всегда вот так замыкался — я уже знал эту черту его непростого характера. Лучше было его не трогать, не заговаривать с ним.

Мы получили предписания одновременно и показали их друг другу. Нам надлежало отбыть в одном направлении и поступить в распоряжение одного бригадного комиссара. Условились ехать вместе первым же поездом. К нам присоединился еще Джек Алтаузен. На войну с белофиннами он очень рвался, но приехал в Карелию в день объявления мира. Признаюсь, мы не раз добродушно подтрунивали над этим его опозданием. И теперь казалось, что красавец Джек радуется — уж он не опоздает, больше не будет насмешек. Драматизма наступивших событий и трагизма отдельных наших судеб еще не понимали мы в полной мере на третий день войны... Во всяком случае, могу сказать это о себе и о Джеке.

Итак, мы едем вместе. У нас с Алтаузеном было по шпале на петлицах, а у Твардовского две. Он становился, разумеется, старшиной нашей маленькой литературной команды и принял новую обязанность с иронической улыбкой:

— Требую беспрекословного подчинения, и помните, что вы низшие чины. Один за водкой, другой за селедкой — ать-два... И ограничимся этой рифмой!

Джек был чуть старше нашего «старшины» по возрасту и литературному стажу. Люди они были совсем-совсем разные, но Твардовский помнил, что в начале 30-х годов знаменитые в те времена Жаров и Алтаузен разбирали «дело», накрученное завистниками и злыднями против него, и решительно защитили Твардовского от опасных нападок. Иные люди оказанную им в трудный момент поддержку потом считают унижением, стараются забыть сделанное им добро. Твардовский всегда помнил как вовремя пришли ему на помощь комсомольские поэты, не стеснялся чувства благодарности.

Мы встретились под часами у Киевского вокзала. Нас никто не провожал — так заранее условились, не желая усугублять тяжесть расставания с близкими. Комендант

определил нас в вагон. Заняли купе. Твардовский сказал:

— Знаете, Джек, не защити вы меня тогда, может, пришлось бы мне ехать совсем в другом направлении.

Джек краснел и радовался.

Твардовский не предьявлял своих начальнических прав, более того, просил съесть сначала его снедь, ссылаясь на полное отсутствие аппетита.

Впрочем, стоило поезду тронуться, сложность обстановки, грусть разлуки и тревога словно спрятались куда-то. Первый вечер в дороге мы провели весело, без обид подтрунивали друг над другом, даже пели нестройно и умиленно «Тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой». Этой несколько накрученной возбужденностью старались ограничить остроту момента. Рано легли спать и рано проснулись. Утро было нежное, полное июнем. Поезд задержался на станции, где из другого состава на параллельном пути выгружались спешно эвакуированные из совсем молодой Советской Прибалтики. Зеленый склон возле станции был уставлен желтыми, красными и лакированными, особо бросающимися в глаза как «заграничные» чемоданами беженцев.

Это первое видение, сконцентрировавшее в себе жестокость и горе войны, глубоко потрясло Твардовского. Он писал об этом сам, мне нет нужды пересказывать. Тогда, безмолвно смотря из окна вагона, везшего нас на фронт, поэт проникся печалью и гневом, водившими его пером почти четыре года войны, да еще и многие годы потом.

Только первый вечер был у нас такой беспечный. Впрочем, способность добродушно подтрунивать над товарищами Твардовский сохранил и в самые сложные дни.

Приехав наконец в Киев, мы отправились по городу пешком в штаб Киевского особого военного округа, ставшего уже тыловой базой Юго-Западного фронта. Город был в полном расцвете щедрого лета. На душных улицах почти не встречалось взрослых, но мы видели очень много пионеров, не успевших выехать в лагерь или успевших вернуться. Мальчишки патрулировали небольшими группами — не знаю уж, по чьей инициативе. Они с подострастием заглядывались на высокого си-неглазого военного в новеньких ремнях, с орденами Ленина и Красной Звезды на гимнастерке. Тогда мало было орденос-

цев. Твардовскому любой костюм был к лицу и по фигуре, выглядел он браво и солидно.

Мы поинтересовались, что за патрули на углах и перекрестках. Узнали: ловят шпиона. Его видели на вокзале в каком-то странном сером полувоенном френче и с пишущей машинкой в руках. Он выдавал себя за писателя. На вокзале никто не проявил бдительности, шпион скрылся. Теперь спохватились, ищут...

История эта очень развеселила нас. Твардовский сказал:

— Вступаю в роль старшего команды. Первый приказ — забудем, что мы писатели. Никому ни слова, если мы окажемся в руках у этих огольцов, они нас разделяют под орех. Шутка ли — шпион выдает себя за писателя!

Мы дошагали до штаба. В политуправлении оставался на хозяйстве один батальонный комиссар. Он был болен и лежал на диване у телефона. Как раз когда мы, спросив разрешения по всей положенной форме, вошли в кабинет, телефон зазвонил. Сообщали о поимке шпиона. Шпион твердит, что он писатель. Дети, задержавшие его, порядком помяли бедняге бока... Попяв из реплик, о чем речь, Твардовский приложил сомкнутые пальцы к фуражке и лихо отчеканил:

— Писатель прибыл в ваше распоряжение.

Батальонный комиссар оторопел. Мы с Джеком приняли условия опасной игры и последовали примеру своего «старшины»:

— Писатель явился...

— Писатель докладывает...

Батальонный комиссар оказался человеком веселым. Он приподнялся на локте и с очень серьезным видом буркнул:

— Сейчас призову на помощь пионеров, тогда узнаете, как у нас в Киеве детишки поступают с теми, кто выдает себя за писателей. Особенно за Твардовского.

Мы были разоблачены. Нам оставалось попросить батальонного комиссара познакомиться нас со шпионом. Все-таки выдает себя за нашего коллегу. Шпион с портативной пишущей машинкой? Странный детектив!

Пришли дополнительные сведения. Шпион назвал себя не одной, а сразу двумя фамилиями — Мальцевым и Ровинским. Он приехал из Львова, его зовут Орестом. А ведь в Западной Украине действительно жил писатель Орест Мальцев, подписывав-

ший псевдонимом Ровинский. В 1939 году он, войдя с войсками во Львов, женился на польской красавице и остался в городе. Все это мы рассказали батальонному комиссару. Зловещий клубок начал разматываться.

Нам предъявили задержанного. Вид у него был жалкий.

— Саша, Женя, Джек, выручайте! — испугав своих конвоиров, закричал Орест, ибо, как пишут в роскошных романах, это был он.

Он выскочил из пылающего Львова, захватив лишь пишущую машинку, в мундире родственника своей жены, бывшего легионера. Он наивно полагал, что надо облачиться хоть в какую-нибудь военную форму, и ехал в Москву за назначением, но попался в руки киевским пионерам.

Твардовский предложил составить документ, подтверждающий, что задержанный действительно писатель, наш старый знакомый, что у него есть и фамилия и псевдоним, что он едет в Москву в Главпур за назначением.

Наше пребывание в Киеве было почти целиком занято спасением Ореста. К вечеру его освободили из-под стражи и он отбыл в Москву. До вокзала мы его проводили, чтобы не повторилось утреннее происшествие.

Ночью мы выехали на командный пункт фронта, в Тернополь (Тернополем города стал зваться позже). Нас подключили к команде мобилизованных, направлявшихся в распоряжение штаба. Это были партийные работники в новеньких, топорщащихся гимнастерках. Грузовик с несколькими рядами досок-сидений от борта до борта. Все мы с винтовками, полученными в штабе бывшего округа...

Твардовский сказал:

— Здесь и так много начальников, я слагаю с себя обязанности старшины.

Не успели киевские начальники расстаться на досках, а уже командование взял на себя, конечно, «безусый энтузиаст» — Джек Алтаузен. Властвование доставляло ему, очевидно, удовольствие. Он очень вовремя подавал команду «воздух!», мы выпрыгивали в кюветы, падали из винтовок в небо, а после отбоя вновь забирались в кузов, ехали дальше, тесно прижавшись друг к другу плечами.

Очень короткая ночь с бомбежками казалась длинной-предлинной. Пулеметным обстрелом с воздуха, смутными вестями и

слухами о сброшенных противником десантах была она наполнена до отказа.

Утром мы подъезжали к старой границе (1939 года). Прекрасные нивы, ставшие уже здесь золотыми, свежие, в росе васильки и маки на обочинах дорог. Твардовский и все мы особым взглядом пытались охватить эту голубоватую с золотом даль.

Александр Трифонович считал сам процесс сочинения, а особенно записывание стихов делом тайным, интимным. Он молчал отчужденно, не отвечал на вопросы. Лишь после я нашел в комплекте газеты «Красная Армия» стихи «Тебе, Украина», сложившиеся в то утро. Вот начальные строки:

Какие хлеба поднялись от границы,
Как колосом к колосу встали они,
Как пахнут поля этой ржи и пшеницы
На утреннем солнце. Всей грудью вздохни.

Вздохни, оглянись — и увидишь вперые,
Как вольно раскинулась эта земля —
Поля золотые, леса молодые,
Луга заливные и снова поля.

В стихотворении упоминалась и «белая пыль», которой мы наглотались вдоволь. Мы прибыли в Тернополь словно в масках из этой белой пыли. Гимнастерки наши потеряли свой щегольский вид, винтовки, с которых мы не успели вытереть масло, покрылись как бы шерстью и требовали основательной чистки.

Штаб Юго-Западного фронта размещался в не очень старинном, но возведенном по всем правилам замке на окраине города. Прежде чем идти представляться начальству, совершенно необходимо было помыться. Твардовский сказал, что баня — это уж его дело. Он отправился в разведку, облазил какие-то башни и коридоры и радостно известил нас, что нашел ванную комнату, но на дверях почему-то здоровенный амбарный замок. Мы отправились туда втроем и при помощи найденной во дворе железяки замок аккуратно сорвали. В большой белой алебастровой ванне лежал мертвый командир в окровавленной гимнастерке.

— Свят, свят, свят, — сказал Александр, и мы стали торопливо прилаживать замок на место. В те дни уже ничему не удивлялись.

На другом этаже нашлась все-таки незапертая ванная, и мы помылись холодной водой, потеряли друг другу спины. Твардовский кричал, ахал, безжалостно поливал наши хлипкие тела. **Сам он был красиво сложен, плечист и говорил, что о человеке**

можно судить по глазам и по коже. Есть люди с такой кожей, что лучше бы им родиться курами без перьев!

Чистенькие предстали мы перед очами начальства. Решилась наша судьба. Твардовский оставался в редакции фронтовой газеты «Красная Армия», а мы с Джеком направлялись в армейские газеты 6-й и 12-й армий и обязаны были ночью выехать и искать свои редакции на дорогах отступления. Твардовский очень ласково и грустно попрощался с нами.

В течение июля мы часто оказывались где-то совсем близко друг от друга. Мне передавали привет от «Трифоныча» Юрий Крымов, Виктор Полторацкий. Я, в свою очередь, передавал поклон ему. В нашу армию нерегулярно доставлялась фронтовая газета, но когда приходила все-таки, я читал стихи и корреспонденции Твардовского как личные письма, адресованные мне одному.

Потом 6-я армия оказалась в кольце.

Когда осенью, проламывая рваными сапогами первый ледок, израненный и, наверное, страшноватый с виду, я шел к линии фронта по оккупированной Полтавщине, однажды в исполосованном колесными следами лесу я набрел на место политотдельской стоянки, недавно опустевшее; хотелось верить, что товарищи вырвались на восток... Там валялась намокшая от дождей и росы пачка газет «Красная Армия». Я жадно развернул газеты, первое, что мне попало в глаза, были стихи Твардовского и Безыменского. Значит — живы, значит — действуют! Драгоценная весточка, полученная мной от товарищей, прибавила сил.

Мне суждено было вновь встретиться с «Красной Армией» лишь на следующий день после двадцать четвертой годовщины Октябрьской революции. Вот как это произошло...

Перейдя наконец линию фронта, я вместе с группой окруженцев добрался до станции Валуйки. Здесь комендант квалифицировал меня как «доходягу» и поместил в санитарный поезд, направлявшийся, по слухам, в Иркутск. Раны, на которые я не позволял себе обращать внимания «там», чтоб только выжить, на своей территории вновь открылись и заныли. Ко всем бедам добавились фурункулы. Военврач сказал, что в тылу меня за месяц-другой поставят на ноги, приказал лежать. Я сдал проводнику вагона (санпоезд был составлен из

вагонов дальнего следования) свою жалкую одежку, получил казенное белье. Проводник обещал в пути выменять мое барахло на продукты и поделиться ими со мной.

Я лежал на жесткой полке и уныло смотрел в серое окно. Вот рельсовые пути стали множиться — мы подъезжали к станции Воронеж. Санпоезд поравнялся с эшелоном из специальных вагонов и остановился. Я увидел в большом зеркальном окне противоположного вагона просторный салон с наборными кассами. У кассы стояла девушка с косами венком вокруг головы, набирала шрифт в верстатку, а в проходе вышагивал взад-вперед высокий, красивый, такой знакомый человек.

Твардовский!

Это мог быть только поезд-редакция «Красная Армия»! Я испугался: сейчас мой санпоезд тронется, меня увезут черт знает куда. А здесь редакция, Саша, товарищи. Я хотел выскочить как был в белье. Но встретившийся мне в тамбуре проводник забеспокоился — не самовольничай! Он, видно, решил, что я сейчас пуцую в обмен вчера полученное белье. Я снял казенную белую рубаху. Моя швивая одежда еще не успела пойти на обмен и была возвращена мне растерявшимся проводником.

Санпоезд уже трогался, я соскочил на ходу, бросился к спецпоезду, забрался на подножку вагона, распахнул тяжелую дверь, вбежал в наборный цех.

Твардовский ошеломленно и растерянно смотрел на меня. Мы молча стояли друг против друга. Кажется, я заплакал первым, но он бросился навстречу, неуклюже обнял, и вот уже его слезы потекли по моим заросшим щекам. Заслышав какую-то суматоху в наборном цехе, прибежал украинский поэт, мой довоенный добрый знакомый Савва Головановский.

Когда оторопь этой странной встречи чуть улеглась, Савва вспомнил, что перед праздником Твардовский показал ему письмо моей матери из татарского городка Чистополь, куда ее эвакуировали, спросил, как найти силы, чтобы ответить ей. Да, наша встреча состоялась 8 ноября, а 7-го, в день двадцать четвертой годовщины, Твардовский писал в «Октябрьском письме»:

Мать, не спешి считать меня убитым...

Письмо было тут же вручено мне — материнское письмо, исполненное веры в

невозможность, немыслимость гибели сына. Через несколько дней мне пришлось уехать на проверку в Урюпинск. Я вернулся в начале декабря и поселился в редакции «Красной Армии», передислоцировавшейся из поезда на главную улицу Воронежа, в здание музыкального училища. Мы оказались с Твардовским в одном музыкальном классе. Не стол, а рояль был там, Твардовский называл его письменным роялем.

Твардовский, старший по званию, был и здесь старшиной, неукоснительно требовал образцовой заправки коек и вообще порядка. Правда, все мы нещадно дымили, кто из трубки, кто из козлей ножки. Табак был ужасный и назывался «филичевым».

Твардовский делал в редакции все, что положено рядовому журналисту, — правил заметки, дежурил по номеру, был на расвете «свежей головой» (так назывался выпавший работник, читающий первый пробный экземпляр номера газеты). Потом он писал то, что было сегодня нужно — передовую так передовую, очерк так очерк, стихи так стихи.

Теперь, через столько лет после войны, многие читатели, никогда ее не видевшие, не совсем ясно представляют себе боевую позицию писателя на войне, а может, и вообще бойца на фронте. Наверное, не было такого человека, который все четыре без малого года не выходил из боя. Внутри полка и дивизии сражающееся подразделение менялось местами с подразделением отдохнувшим, стоявшим во втором эшелоне, само уходило во второй эшелон. Дивизия менялась позициями с другой дивизией. Были дни и месяцы без активных боевых действий, были передислоцирования. Редко кому из бойцов удавалось обойтись без ранения и госпиталя. Однако все эти передвижения и перемещения — относительно боя и огня — оставались пребыванием воина на фронте. И в этом смысле можно без всяких преувеличений сказать, что Твардовский всю войну провел на фронте, так же как и его Василий Теркин. Боевая позиция поэта была в редакции фронтовой газеты, по врагу огонь он вел с ее страниц.

Когда же ему удавалось выезжать в командировки, он спокойно и с достоинством выходил под огонь, если этого требовали обстоятельства. В окопах и на дорогах Твардовский всегда выбирал **стрелков определенного характера, подолгу бе-**

седовал с ними. Лишь позже, когда сложился образ Василия Теркина, товарищи, ездившие с поэтом в части, узнавали черты знакомцев Твардовского. Психологию солдата он знал блестяще, достоверность созданного им образа неповторима.

Работал в политуправлении фронта бесстрашный бригадный комиссар Иван Гришаев. Однажды он запретил Твардовскому ехать в опасное место. Александр пошел к бригадному объясняться. Гришаев сказал ему:

— Третьяковскую галерею эвакуировали в Сибирь. Могу же я проявить осторожность, когда речь идет о литературных ценностях. Не своевольничайте, Саша, вы себе не принадлежите.

Вместе с киевским русским поэтом Борисом Палийчуком Твардовский вел в газете юмористический отдел — четвертую полосу. На нее перекочевал со страниц «На страже Родины», газеты Ленинградского округа 1940 года, веселый персонаж — красноармеец Василий Теркин, здесь же действовал казак Иван Гвоздев. Четвертая полоса создавалась коллективом журналистов, художников и писателей. В старых комплектах можно найти фельетоны, подписанные вместе Твардовским с Палийчуком. Общими были и персонажи, не возбранялось никому пользоваться ими для очередной сатиры.

Я знал, что Твардовский считал творчество делом сугубо индивидуальным, не признавал коллективных сочинений. Когда в 1939 году накануне 17 сентября мы с Владимиром Луговским в Смоленске стали сочинять песню для будущего освободительного похода «Белоруссия родная, Украина золотая», Твардовский нас чуть ли не высмеял:

— Плюс да плюс дают минус! Не знаю, как это получается в математике, но в литературе очень наглядно!

Впрочем, через несколько дней он написал на пару с Ильей Френкелем стихи «Перед боем». Да и «Белоруссия родная, Украина золотая» была впоследствии по-другому принята Александром Трифоновичем. Шли уже последние месяцы войны, когда мы, вызванные ненадолго с фронтов, встретились в Москве на пленуме Союза писателей. Твардовский отозвал меня в сторонку и спросил:

— Ты не обидишься, если я вас с Луговским процитирую без кавычек?

— О чем речь?

— О вашей строевой песне.

Так в «Теркине» в главе «Про солдата-сироту» появились строчки:

Срок иной, пора иная —
Бей, гони, перенимай.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Здравствуй, пели, и прощай.

Щепетильность Твардовского при цитировании стихов товарищей была известна. Он имел право возмущаться, когда один поэт почти дословно повторил в своей песне теркинские строки «Я согласен на медаль». Он говорил автору, к которому вообще-то неплохо относился:

— Попроси у меня — я тебе получше строчки подарю. Но без спросу не хватай, это гадко.

Теперь, в условиях фронтовой работы, он не считал для себя зазорным писать вместе с товарищами. Некоторые материалы четвертой полосы составлялись в нашем музыкальном классе, ставшем общежитием, на гладкой и блестящей крышке уже упоминавшегося рояля.

Я бывал в Воронеже не часто, но, возвращаясь с фронта из дивизий, всегда оказывался в дружеской семье журналистов «Красной Армии».

Твардовский был инициатором встречи у нас в музыкальном классе 23 февраля 1942 года — годовщины Красной Армии. Из писателей на ней были Александр Безыменский, Микола Упеник, Савва Головановский, Джек Алтаузен, Борис Палийчук, Виктор Кондратенко. Кому-то надлежало остаться трезвым как стеклышко и дежурить по праздничному номеру газеты. Редактор, обычно отдававший приказания, на этот раз сказал — решайте сами. Заложили в шапку фантики — пустые бумажки, а одну с надписью «ответственный несчастный дежурный». Эту бумажку вытянул Михаил Розенфельд, боевой корреспондент «Комсомольской правды», еще до войны успевший побывать в Испании и на Северном полюсе. Именно сегодня стало известно, что Розенфельд награжден еще одним орденом. Тем досаднее было ему оказаться дежурным по номеру. Дежурному было выражено соболезнование. Мы засели за рояль — теперь лаковая крышка была накрыта газетой и уставлена бутылками и консервами.

Мы поднимали наивные тосты за то, чтобы победа пришла в этом, 1942 году, пели

хором и читали друг другу стихи и эпиграммы, а бедный Розенфельд корпел над сырыми полосами завтрашней праздничной газеты. Правда, он время от времени заглядывал к нам в класс, жалобно произносил на пороге:

— Пожалейте сирого и голодного, ответственного и дежурного.

Сердце не камень, мы милостиво угощали дежурного, и он, несколько повеселев, возвращался на свой пост.

В полночь Александр встал из-за стола, объявил, что должен пойти проверить, все ли в порядке в отделе «Прямой наводкой», за который он отвечал. Он вернулся вскоре, принес полоску завтрашней газеты, показал нам верхнюю строку под линейкой. Там была крупно набрана дата выхода газеты: «23 февраля 1943 года».

— Миша Розенфельд уже прорвался в будущий год! Вот каким должен быть настоящий газетчик!

Тут появился ответственный дежурный, не знавший и не ведавший о пропущенной им ошибке и готовый вновь утолить жажду. Твардовский поднялся над роялем, объявил, что пить можно всем, кроме того, за кого будет поднят тост, и провозгласил: — За храброго человека, живущего в 1943 году!

Розенфельд еще не понял, что это пьют за него, но своей дозы не получил. Ему была предъявлена начерно сверстанная полоса с датой «23 февраля 1943 года», он схватился за голову и помчался в типографию вносить поправку. Увы, всеобщему любимцу, самому отчаянному из нас не удалось дожить до 1943 года: через три месяца после описываемого эпизода Михаил Розенфельд улетел под Харьков, где счастливо начиналось и вскоре трагически захлебнулось большое наступление. Он погиб на том участке фронта вместе с Джекком...

Гибель товарищей Твардовский переживал тяжело. Уже после войны в потрясающей балладе «Я убит подо Ржевом» Твардовский с особой остротой раскрыл горькое чувство причастности к судьбам погибших:

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.

Но тогда еще многие наши потери были впереди, кончалась зима и подходила весна 1942 года.

В Воронеже оказалось немало известных писателей, представлявших центральные газеты. Сманивали и Твардовского перейти в «Красную звезду» и в «Правду», но предварительные переговоры с ним всегда нарывались на резкий отказ:

— Я здесь, во фронтовой газете, на своем месте. Если и перейду на другую службу, то только в редакцию газеты армии, которой предстоит освобождать мой Смоленск и Смоленщину.

Ему было чуждо все показное. Военная форма скульптурно сидела на нем без каких-либо усилий с его стороны. Он любил шутку, но презирал сальность и пошлость. В его присутствии не рассказывали анекдотов — робели. Он никогда не отчитывал, не нравуочал, но умел резко осадить, больно ударить коротким и единственным, как бы вскользь сказанным словом. Был он колюч, непримирим, и некоторые из нас начинали разговор с ним с тайной опаской. Объективность требует сказать, что не всегда Александр Трифонович был справедлив по отношению к окружающим. Предубеждения его возникали порой без видимой причины и без достаточных оснований. Недолюбливал он этих самых представителей центральных газет. Ему казалось, что писатели, приезжающие из Москвы, слишком чистенько одеты и отутюжены; материал собирают в штабе, а не в траншеях. Прикрепленных к газете Военно-Воздушных Сил и носивших авиационные голубые петлички наших товарищеских писателей Александр Трифонович иронически называл гордыми соколами, а однажды окрестил их батальонными комиссарами из Торгсина. Были и обиды и объяснения, но, в общем-то, до серьезных разногласий не доходило.

Когда приехал в Воронеж Виктор Ардов для выступления перед горожанами и была расклеена на тумбах афиша «писатель-юморист», Твардовский разворчался:

— Как можно объявлять себя юмористом? А если в доме что случится? Заболит кто? Не дай бог умрет. Юмор, навязанный извне,— одно зубоскальство. Другое дело, если глупость сражают остроумием, в трудном положении пускают на выручку шутку.

Только Твардовский выговорился, а тут в редакции нашей появился смуглый человек с тщательно подстриженной и расчесанной бородкой, с иронически-веселыми блестящими черными ассирийскими глазами.

Наша машинистки загляделись на гостя. Он действительно был красив. Зашептались: Ардов, Ардов!

Александр Трифонович явно искал случая, чтобы обострить отношения, но Виктор Ардов не обращал на поэта никакого внимания, чем еще больше его подзадоривал. Наконец Ардов заметил пристальный недобрый взгляд и спросил:

— Твардовский, я вам не нравлюсь?

— Мне очень нравится ваша борода, но почему-то не нравится ваша фамилия — я ее прочел на улице, на афише. Ардов! Что это за фамилия?

Но не так-то просто было пикироваться с Ардовым. Юморист мгновенно парировал:

— Вам не нравится моя фамилия лишь потому, что она целиком входит в вашу! Тв-ардов-ский!

Александр рассмеялся искренне и по доброду:

— Сдаюсь! Мне и в голову не приходило, что мы с вами почти однофамильцы.

Отношения между этими — такими разными — людьми были налажены и больше не омрачались стычками. Твардовский предложил Ардову сотрудничать на четвертой полосе в отделе «Прямой наводкой». Ардов щедро поделился с художниками темами для карикатур, написал фельетон, и даже его анекдоты больше не раздражали поэта.

Вернувшись однажды с передовой в редакцию, я узнал, что Твардовского переводят на Западный фронт. То ли до начала дошли его мечты об участии в предстоящем освобождении родной Смоленщины, то ли, наоборот, начали действовать непостижимые правила, которые культивировал в отделе печати политуправления инструктор, ведавший распределением и назначением писателей. Он их вообще терпеть не мог и бог знает в чем подозревал. Этот деятель всегда поступал противоположно просьбам. Если подчиненный изъявлял желание служить на Севере, за Полярным кругом, его тотчас же направляли на самый южный участок фронта. Стоило начальнику услышать, что человек рвется из тылового округа на передовую, его переводили в еще глубже расположенный тыловой округ. «Начальника наоборот» быстро раскусили. Чтобы попасть на интересный и горячий участок боевых действий, надо было сказать ему: «Ну я навоевался! Пора и в Новосибирск на отдых!» В тот же

день хитреца самолетом отправляли в самое пекло, куда он как раз мечтал попасть.

Для того чтобы оказаться под Смоленском, Твардовскому надо было проситься в Среднюю Азию. Но, кажется, его миновала чаша сия. Появившиеся первые главы «Василия Теркина» сразу привлекли читательское внимание и внимание более высокого начальства. В интересах истины вспомню, что не всем понравились первые страницы «Книги про бойца». Новое всегда имеет не только сторонников, но и противников, иначе какое же оно новое? Александр Фадеев, Павел Антокольский, Николай Тихонов с первых глав ощутили значимость книги, ее силу. Однако нашлись блюстители устава, которым Теркин казался слишком вольным и даже недисциплинированным бойцом. Объявились мрачные ценители-оптимисты, оспаривавшие, например, повторение строк:

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Возражения были и против эпитета «святой» и против того, что «не ради славы». А чем же подбодрить воина? А ордена на что? Нашлись ворчуны, они признавали Теркина, когда он был персонажем четвертой полосы красноармейской газеты, и отказали ему в месте в большой литературе.

Да, начало шествия Василия Теркина по страницам газет не было триумфальным. Впрочем, мне кажется, что сам автор не представлял еще в полной мере, что он написал, и вообще легче судить о событиях и книгах только через годы, когда они утверждены временем.

Твардовский уже собрался уезжать в Москву — и вдруг затосковал. Ему трудно было расставаться с товарищами, с которыми начинал путь с запада на восток, и неизвестно еще было, с кем и как придется ему идти с востока на запад. Не с руки было переменить место работы и хотелось остаться...

Я был тогда лишь прикомандирован к редакции из политрезерва, в штате не определился. И тут стало известно, что на должность, освобождающуюся в связи с отбытием Твардовского, назначают меня. Испытывая чувство неловкости, зная, что ему не очень хочется уезжать, я встретился с Твардовским. Я откровенно поведал ему о своих волнениях. Мне не хотелось,

чтобы он заподозрил меня в стремлении сесть на его должность. Разговор у нас получился печальный, но Александр Трифонович посмеялся надо мной:

— Это у тебя наследственные адвокатские тревоги разыгрались. Я знаю, что если бы ты просился в редакцию на это место, тебя бы кадровик загнал на другой край фронта. Так что не терзайся, все правильно. Приказ из Москвы, я еду, все решено. Будешь писать Ивана Гвоздева и Василия Теркина?

— Теркина писать не буду!

— Смотри, а то посоревнуемся! У меня все равно получится лучше!

Забавная деталь: после войны в Болгарии были напечатаны главы «Василия Теркина», но фамилия автора стояла... Долматовский. Александр Трифонович при встрече вдруг сказал то ли шутя, то ли с досадой:

— Койку мою в Воронеже захватил, должность в редакции «Красной Армии» занял, а теперь еще и Теркина под своей фамилией публикуешь на болгарском языке!

Я вновь уехал в войска, и в Воронеж попасть больше не удалось: началось отступление, докинувшее нас до Волги. Твардовский из Воронежа отбыл на Западный фронт. Мы встречались потом не раз, в мирные времена даже соседствовали в дачном поселке Внуково, но ограничив свои воспоминания о нем первым годом войны, когда мы находились в одном боевом расчете, я не буду выходить за рамки этого времени.

Это был год боевого товарищества.

* * *

Молодой критик Анатолий Тарасенков, работавший тогда в журнале «Знамя», сказал, что со мной хочет познакомиться Илья Григорьевич Эренбург. Должен признаться, что я раньше не знал поэзии Ильи Григорьевича, не мог себе представить, что он, знаменитый прозаик и публицист, превыше всего на свете «болеет» стихами. Но Тарасенков утверждал, что мастер прочитал мои стихи в «Знамени» и сказал:

— Хочу с Долматовским поговорить как поэт с поэтом.

Я привожу здесь эту фразу потому, что Илья Григорьевич на протяжении более двадцати лет называл меня только так, по фамилии и на вы. Только однажды назвал

по имени и на ты. Но об этом я расскажу позднее. А то Долматовский — и все.

Сопровождаемый Тарасенковым, я отправился в Лаврушинский переулок, где тогда жил Илья Григорьевич.

Хозяин сам открыл нам дверь. Держа на руках черную лохматую собаку, провел в свой увлекательно-хаотический кабинет, показал на стулья рукой со сложенными пальцами всей ладонью. Когда мы сели, он сказал:

— Долматовский, будем читать друг другу стихи. Чур, я первый!

Эта неловкая попытка создать обстановку доверия, по правде говоря, не подействовала. Мне показалось, что хозяин дома считает меня мальчишкой. Говорят, я и выглядел значительно моложе своих двадцати, во всяком случае люди, подозревавшие меня в мальчишестве, могли сразу же восстановить меня против себя.

Но Илья Григорьевич, кажется, не заметил этих переживаний. Он взял со стола несколько полулистов, еще называемых четвертушками, словно предназначенных для писем, и стал читать ровно и грустно. Я запомнил, что стихи напечатаны на машинке сплошь прописными буквами. Я не мог сразу воспринять, что автор «Проточного переулка» и «Хулио Хуренито» — поэт. Я нахально попросил Илью Григорьевича прочесть одно из стихотворений еще раз. Как он обрадовался! Именно с этого мгновения к чертям полетели разница в возрасте, положении, все другие барьеры.

Я прочитал Эренбургу только что опубликованные в «Знамени» стихи, в них наивно описывался японский фашист, который, подготавливая себя к походу на СССР, «ест сухую гречневую кашу и валяные носки сапоги».

— Как это вам пришло в голову? Этого нельзя придумать, — сказал Илья Григорьевич.

Я признался, что прочитал о подготовке японцев в газете «Красная звезда». Он просил найти ему статью. Я пообещал, но не выполнил этой просьбы. (Во время войны на фронте Эренбург вдруг вспомнил об этом. Он упрекнул меня: «Меня поразило это как факт. Если бы вы принесли мне «Красную звезду», я бы тогда написал о ваших стихах и о юношах, противостоящих друг другу. Вот видите — не выполнили просьбу и остались без хвалебной рецензии! Так вам и надо!»)

Эренбург поделился со мной и Тарасенковым своими планами. Он заканчивает «Книгу для взрослых», там будет разговор о сегодняшнем дне, ищет встреч с молодежью. Я тут же предложил Илье Григорьевичу побывать послезавтра на комсомольском балу. К моему удивлению, мастер деловито спросил, в котором часу начало, где мы встретимся...

Через день без десяти восемь я нервно вышагивал перед фасадом Дома союзов и увидел сутулящегося Эренбурга в берете и с палкой на сгибе руки. Он улыбнулся той улыбкой, которая выражала или смущение, или иронию, а точнее и то и другое, и сказал:

— Пошли!

Бал гремел в Колонном зале. Я показывал своему гостю знаменитых бригадиров и ударников. Эренбургу явно нравилось находиться в толпе молодежи, он прошел зал по диагонали, танцующие пары недоуменно смотрели на него. Метростроевец, мой товарищ по бригаде Лев Рябов (он считался у нас самым большим интеллигентом и говоруном), предупрежденный мною заранее, подошел к нам. Эренбург учинил ему форменный допрос. Они долго беседовали в фойе, а потом я проводил Илью Григорьевича на автобус.

«Книга для взрослых» вышла в 1936 году. По правде говоря, она меня не взволновала. Может быть, просто я еще не был взрослым тогда?

Вскоре Эренбург уехал в Испанию...

Я сочинил цикл стихотворений. В одном из них был описан бал молодежи в Колонном зале. В те времена все, что со мной и на моих глазах происходило, попадало в стихи, вот и появление Эренбурга на балу оказалось в строках:

Голос флейты...
Громче пойте! Расширяйте круг!
Пробирается в толпе веселой
пожилой, тяжелый Эренбург.

Когда это написалось, Эренбург был далеко, я даже не представлял, куда ему послать стихи...

Может быть, не столько личное знакомство, сколько репортажи из борющейся Испании сделали его в моем представлении высоким образцом.

Эренбург приехал. Я встретился с ним в редакции «Знамени». Он был озабочен, углублен в свои думы, лишь едва-едва улыбнулся и сказал, что ждет меня вечером до-

ма. Встреча повторилась по той же программе: «Будем читать стихи!» Только уже без шуток, без «чур, я первый!» Илья Григорьевич читал стихи о войне, как мне до сих пор кажется — лучшие свои стихи. Его грустная, несколько отчужденная манера чтения на этот раз была более оправданной и совершенно естественной.

— На войне люди много думают, и я в Барселоне перебирал в памяти свою жизнь. Вот что мне показалось: после «Дня второго», «Не переводя дыхания» мне ближе всего ваше поколение. Хотя я старше Симонова, Алигер и вас на четверть века. Поэзия не имеет возраста. Среди поэтов нег рангов, важнее всего — стихи.

И Эренбург прочитал стихи, действительно обладающие некоторыми чертами поэтики нашего, более молодого поколения.

И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.

Настала моя очередь читать стихи. Признаком, когда я читал Эренбургу, мне необходимо было опустить, проглотить то четверостишие, где он «пожилой и тяжелый». Но, была ни была, я прочитал все без сокращений. Эренбург встревожился:

— Неужели я вам кажусь стариком? Я казался себе стариком, когда мне было двадцать! Но теперь...

Я что-то лепетал, оправдываясь, но, кажется, впустую. Илья Григорьевич потом не раз саркастически твердил:

— Это вам говорит пожилой, тяжелый, родившийся в прошлом столетии Эренбург. И трудно было понять, шутит он или разговор всерьез.

Я тогда по молодости лет не почувствовал, как он легко раним и обидчив, и на долгом протяжении нашего знакомства не раз корил себя, что не был к нему достаточно внимателен. Но надо сказать, что он сразу создавал непринужденную обстановку легкого подтрунивания, так что впору было собеседнику обидеться. Собеседник не обижался, настраивался на волну Эренбурга, а потом вновь оказывалось, что обиделся Эренбург...

Что до критики, то ее Илья Григорьевич всегда воспринимал очень болезненно, считал нанесением ранения любое замечание в свой адрес. Это не мешало ему самому быть резким и беспощадным в разговоре о литературе. Он некоторых своих оппонентов специально поддразнивал, вызывая на спор, и отчитывал; если человек ему вооб-

ще не нравился или не понравился сегодня, он мог наговорить бог знает что.

В каждом критическом слове Эренбург усматривал злой умысел, недобросовестность. Восторженный Тарасенков однажды еще до войны в «Знамени» сказал, что из цикла стихотворений, предложенных Ильей Григорьевичем, он бы одно отложил. Эренбург помрачнел, забрал все стихи, к Тарасенкову стал спиной. Только вмешательство Всеволода Вишневского разрядило обстановку. Цикл пошел, конечно, полностью, но Тарасенков потом долго не мог восстановить добрые отношения со своим кумиром.

...Приехав по вызову Главпура в Москву в январе 1942 года, я пошел в редакцию «Красной звезды», чтобы встретиться с Ильей Григорьевичем. Он недавно вернулся из командировки с Западного направления, побывал в освобожденном Можайске и на Бородинском поле. Я впервые видел его счастливым, когда он рассказывал о нашем наступлении под Москвой.

Эренбург попросил меня подробно рассказать о моих злоключениях 1941 года. Я попытался вспомнить белые стихи, которые слагал в окружении, для того чтобы лучше запомнить все: ранение в голову, что называется, отшибло память, она удерживала только стихи.

— Вот видите, Долматовский, как людям нужны стихи. Может быть, в стихах запомнят больше, чем можно запомнить.

Я вернулся на фронт, послал Эренбургу письмо уже осенью, из-под Сталинграда. Ответ был такой:

«3 декабря 42.

Дорогой Долматовский, рад был вашему письму, рад и тому, что вы пишете стихи. Верю, что они будут хорошими: за их спиной немало пережитого вами. Я помню ваши прекрасные стихи о воде... Я тоже пишу теперь по ночам стихи — после всех «фрицев». Очевидно, душа требует бани. Настроение стало лучше в связи с Африкой и Доном.

Ваш И. Эренбург.

Надо ли говорить, как обрадовало меня это письмо!

В одной из глав книги «Люди, годы, жизнь» Илья Григорьевич описал нашу встречу в январе 1942 года, но придавал происходившему совершенно иной оттенок.

Я рассказал ему тогда, что после перехо-

да линии фронта попал в особый отдел дивизии. Молодой оперуполномоченный оказался студентом, участвовавшим в диспуте, состоявшемся весной 1941 года на улице Герцена на юрфаке. Сергей Наровчатов и Павел Коган тогда задиристо объявили войну Симонову, Долматовскому и Алигер. Произошла веселая и бессмысленная перепалка...

Оперуполномоченный особого отдела теперь увидел меня — седого, в клочковатой бороде. Он простодушно говорил, что не узнает меня. Особый отдел дислоцировался в районной библиотеке. Нам удалось найти альманах «Молодая Москва». Там были стихи и портрет — абсолютно не похожий на окруженца. Мне пришлось читать стихи на память. Оперуполномоченный уверился, что я его не обманываю. Мы с ним вместе ужинали, спали на устеленном соломой и польнюю полу. Мы были сверстниками, стали друзьями. После войны мы переписывались, однажды даже встретились — через четверть века. Он давно стал школьным учителем... Во втором томе книги «Люди, годы, жизнь» этот эпизод был изложен так: «В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось убежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали пить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню».

Прочитав, я вспомнил, как и что рассказывал Илье Григорьевичу, как он взволнованно воспринял эту историю, как говорил:

— Вот уж я в мои годы не выдержал бы такого. Вас спасли ваше комсомольское легкомыслие и возраст. А я, как вы уже давно написали, «пожилой и тяжелый», не выдержал бы из той мясорубки.

Прочитав «Новый мир», я сразу же позвонил Эренбургу, стал раздраженно упрекать его в искажении тона и настроения той нашей далекой встречи. Эренбург резко **оборвал меня:**

— У вас есть прекрасная возможность

присоединиться к сегодняшней погромной статье... — И опустил рычаг телефона.

Я выбежал на улицу, стал просматривать газеты в стеклянных витринах. Действительно, одна из газет, что называется, «крепко ударила» по Илье Григорьевичу. Грубый тон, оскорбительные формулировки, черт знает что. И я оказался в этот день рядом с критиком, которого, мягко говоря, не уважал! Конечно же, надо было немедленно поехать к Эренбургу, что-то сказать ему. Но я этого не сделал, прерванный телефонный разговор взвинтил и меня. Короче говоря, этот инцидент обернулся годом взаимного недоброго молчания. Мы помирились на заседании в советском Комитете защиты мира на улице Кропоткина. Я послал ему через стол записку, где говорилось, что мой телефонный звонок абсолютно непреднамеренно и случайно совпал со статьей, под которой я бы никогда не подписался. Эренбург ответил иронично, что я выбрал удачное место для таких переговоров. Если мы за мир на всей земле, ладно, помиримся. Мы протянули друг другу руки через зеленое сукно стола...

Но я отдалился от рассказа о военных встречах. Я приехал на несколько дней в Москву после Сталинграда. В гостинице «Москва» встретился с Александром Твардовским (как я уже говорил, весной 1942 года он был откомандирован из фронтовой редакции на Западный фронт). Мы успели обменяться несколькими словами в холле, когда из лифта вышел Илья Григорьевич. Оказалось, как это ни странно, что они с Твардовским не были знакомы, и мне пришлось знакомить их. Эренбург смутил Твардовского, сказал:

— Всегда ищут ваши стихи...

И тут же пригласил нас зайти.

Эренбурги занимали двухкомнатный номер. Любовь Михайловна вышла навстречу мужу и не без юмора сообщила ему, что по ордеру, полученному в Союзе писателей, купила галоши. Эренбург заметил, что с первого класса киевской гимназии не носит галош.

Галоши стояли на подоконнике, сверкая черным лаком. Илья Григорьевич усадил нас за стол. Нашлись американские консервы, окрещенные солдатами «второй фронт», водка и хлеб. Твардовский явно робел под пронзительным взглядом хозяина. Эренбург посматривал на часы: оказывается, сегодня в Колонном зале Дома сою-

зов какая-то артистка читает со сцены его статьи напечатанные в газете «Красная звезда». Он не представляет себе, как можно читать с эстрады статьи, и непременно хочет послушать. Нам он наказал сидеть, питаться и ждать его возвращения и стал собираться на концерт. Любовь Михайловна сказала, что на улице страшная слякоть, получение галош оказалось таким своевременным. Эренбург ворчал, что никогда не наденет галоши. Мы, наверное из озорства, стали его уговаривать. Он возражал, показывал, что башмаки на двойной подошве, но наша все же взяла. Натянуть галоши на французские грубые башмаки оказалось делом простым. Помогала Любовь Михайловна, мы с Твардовским включились в спор, весело суетились. Наконец удалось натянуть галоши. Эренбург, чертыхаясь, ушел, предупредив нас, что не простит, если мы покинем дом до его прихода, что он только прослушает — чтица выступает вторым номером — и вернется. Любовь Михайловна занималась своими делами, мы с Твардовским ждали, даже вздремнули, сидя на диване. Любовь Михайловна стала волноваться — прошло два часа, а Ильи Григорьевича все нет. Мы уже собирались переходить Охотный ряд и искать его в Колонном зале, когда он явился, всклокоченный, сердитый, с галошами в руках. Он, лишившись своей обычной иронии, рассказал о своих злоключениях.

В гардеробе Колонного зала он, сдавая пальто, забыл снять непривычные галоши. Гардеробщица догнала его на мраморной лестнице. Он стал снимать галоши — они не снимаются. С трудом удалось сорвать их. Артистка действительно выступала второй, очень скверно прочла две статьи. Он пробрался между рядов, стараясь быть незамеченным, что не очень удалось. Спустился, стал искать номерок от галош. Не нашел. Он попросил все же выдать ему галоши.

— Какие?

— Вот эти.

— Самые новенькие выбрал, — рассмеялась гардеробщица.

Он потребовал, чтобы вызвали администратора.

— Я Эренбург! — представился он.

— Ну и что же? — парировал администратор.

Он все же снизошел к потерявшему номерок, сказал, что, когда все галоши разберут, оставшуюся пару Эренбург получит.

Пришлось ждать конца концерта. Вся публика схлынула, новые галоши одиноко поблескивали в опустевшем гардеробе. Их отдали Эренбургу. Он тщетно пытался натянуть их на ботинки под саркастический смех персонала, взял галоши в руки и вот явился. Был он не на шутку взбудоражен этой историей. Полез в карман за трубкой и выволок на свет божий злосчастный номерок от галош.

Мы старались не подливать масла в огонь. перевели разговор на другие темы. Наконец Илья Григорьевич успокоился, но стихи читать не мог, попросил Твардовского почитать. Слушая первые главы «Теркина», Эренбург хорошо улыбался, искренне радовался.

— Твардовский, это удивительная вещь. Ее не с чем сравнить в русской поэзии, наверное, будут сравнивать с ней... Я совершенно не понимаю, как это написано, как это найдено. Но получилось превосходно...

Твардовский бледнел от радости. Давно считаясь мэтром, он сохранил юношескую робость. Впрочем, я заметил, что почти все поэты, во всяком случае те, с кем мне приходилось встречаться, робеют, впервые читая свои новые стихи, особенно если их слушают малознакомые люди.

Мы сидели у Эренбургов до глубокой ночи. Инцидент с галошами был забыт. Ушли взволнованные, потом еще долго разговаривали с Твардовским в холле, каждому не хотелось остаться в одиночестве.

Следующая встреча произошла почти через год, в 60-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский. Эренбург поехал на левый фланг Центрального фронта, чтобы быть поближе к Киеву, еще не освобожденному тогда. Командный пункт армии дислоцировался на хуторе неподалеку от места слияния Днепра и Десны. Эренбурга поселили в чистой маленькой хате. К его приезду повар командующего соорудил огромный торт — полметра в диаметре, не меньше. На торте глазурью было написано «Илья». Эренбург очень рассмешил и растрогал этот подарок. Он шутил:

— А ведь командарму он не посмеет надписать торт просто «Иван»? Как вы думаете?

Торт отдали в штабную столовую, где мы состояли на довольствии. Назавтра Илья Григорьевич, войдя в столовую, спросил:

— Ну как, съели меня?

— Съели, товарищ Илья! — бойко ответил повар.

Когда у Черняховского находилось хоть полчаса посвободней, он непременно звал к себе писателѐй. Конечно, это внимание командарма относилось прежде всего к Эренбургу. Черняховскому было в ту пору тридцать шесть лет, он скорее принадлежал к моему поколению, чем к поколению главного гостя. Эренбург пылливо изучал командарма. Он больше слушал, чем говорил. А Черняховскому хотелось слушать знаменитого писателя. Они все время как бы пропускали друг друга вперед, и в разговоре возникали паузы. Позже в книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург так описал первую (предшествовавшую описываемой мною) встречу с Иваном Даниловичем Черняховским:

«...он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любителей. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать: „Нас водила молодость в сабельный поход...“»

В мемуарной своей книге Эренбург писал о многих военачальниках. Но если строки о них можно назвать карандашными зарисовками, то портрет Черняховского написан маслом. Эренбург любил молодых, это драгоценное свое качество в военной среде он распространил на Черняховского.

Когда мы вернулись в свою хату, Эренбург, конечно, говорил и говорил о Черняховском. Он сказал:

— Писателям нравятся люди, которых они никогда не смогут описать.

Видимо, работая над мемуарами, Эренбург поспорил сам с собой, вот и получился превосходный портрет Черняховского.

Поездку к Днепру Илья Григорьевич «отработал» не только в статьях. Уже после войны я прочитал рассказы «Слава» и «Удел капитана Волкова». Приведенную выше фразу из разговора о Черняховском я нашел в рассказе «Слава». Рассказ «Удел капитана Волкова» — почти дословная запись допроса предателя, при котором мы с Эренбургом присутствовали. Это происходило в штабе одной из дивизий. Привели тупого и опустошенного негодяя (я заметил: приговоренный к смерти или ожидающий неумолимого приговора предатель становится пустым, как бы картонным — не человек, а только серая оболочка человека). Его вырвали из рук разъяренных женщин.

Капитан, киевлянин, земляк Эренбурга,

насмотрелся за войну всякого, но чистая его душа не могла понять до конца, как растет раковая опухоль предательства. Он спрашивал у Ильи Григорьевича:

— Откуда берутся такие? Непостижимо! Вы старший, помогите разобраться.

В рассказе «Слава» восстановлены с документальной точностью увиденные нами картины форсирования Днепра. Образ красноармейца Лукашова достоверно сложился из впечатлений и бесед с участниками переправы. Противоречивый портрет военного писателя Дадаева вызван на страницы рассказа тем скептическим отношением ко многим товарищам по перу, которое порой возникало у Эренбурга.

По характеру своей жизни и деятельности Эренбург не был типичным писателем тех лет. (Впрочем, может ли быть типичный писатель, да и хорошо ли, если он типичный?) Журналистская работа, жизнь за границей ставили Эренбурга в особое положение, позволяли смотреть на нашу братию несколько со стороны, а некоторым казалось, что сверху. Иронический взгляд на литературную среду, подчеркивание ее суетности были свойственны Эренбургу еще в период I съезда писателей. Доставалось от мэтра многим, не думаю, что был он всегда справедлив, а в объективности он сам себе отказывал.

Я уже говорил, что Эренбург душой тянулся к нашему поколению. И в то же время он мог желчно осуждать какую-то не по душе ему пришедшуюся, а, в общем-то, безобидную черту того или иного писателя. Правда, наплывы скепсиса улетучивались неожиданно, на смену им приходила чуть ироничная доброта, но никто не был гарантирован от нового взрыва.

Писатель Дадаев в рассказе храбр, а в то же время добр, но все «от глубокого равнодушия, которое скрывалось за горячими речами и безрассудными поступками». Я наивно спросил Эренбурга, кого он имел в виду, когда рисовал писателя Дадаева.

— Что, задело? Зацепило? — улыбнулся он.

Я ответил, что не задело и не зацепило, но любопытство мучает.

— Не волнуйтесь. Могу дать расписку, что это вовсе не о вас. Неужели Головенченко и Сурков не научили вас в Литературном институте, что поиски прямых прототипов — безнадежное и вульгарное занятие?

Но вернемся на берега Днепра в осень 1943 года.

Однажды, показывая на двухсоттысячной карте, как форсировали Днепр, Черняховский употребил термин «tête de pont». Этот термин фигурирует в штабной практике, обозначая предмостное укрепление. Но не слишком понаторевший в терминологии штабов Илья Григорьевич решил, видимо, что генерал говорит по-французски, и был уже окончательно покорен им. Вечером в нашей хате он рассуждал жестко и убежденно:

— И они собирались победить эту армию и эту страну, вот таких тридцатипятилетних полководцев Иванов Даниловичей? Идиоты! А командарм еще успеет на этой войне покомандовать фронтом и выйти в маршалы. Вот увидите! Это будет самый молодой маршал!

К сожалению, лишь первая часть этого предсказания успела сбыться — генерал армии Черняховский успел покомандовать фронтом, но геройская гибель прервала его блистательный путь.

Назавтра, вновь встретясь с Черняховским, мы попросили у него разрешения побывать на этом самом «tête de pont».

— Что ж, поезжайте, товарищ Долматовский, — сказал сразу командарм.

Как-то по-детски растерянно Эренбург спросил:

— А я?

Черняховский, не отводя своих веселых глаз, объяснил, что Эренбург находится по меньшей мере в распоряжении Ставки, а он только командарм. Эренбург обиделся, замолчал, отвернулся. Он был человеком бескомпромиссно храбрым, даже высокая оценка командарма не польстила ему. Заметив, что писатель обиделся, член Военного совета Оленин попытался его утешить. Ничего не вышло.

— А вы говорите, что «tête de pont» крепкий и надежный! Что-то не верится! — подловил командарма Илья Григорьевич.

Задетый за живое, Черняховский заколебался. Мы с Ильей Григорьевичем решили, что лазейка найдена, можно, говоря военным языком, двинуться в прорыв. Не помню уж, на какой минуте командарм сдался. Мы ушли, обнадеженные. Вечером вестовой вызвал меня на телеграф. Но оказалось, что это уловка. Черняховский позвал меня к себе в хату, долго и взволнованно говорил о том, что при малейшей опасности мы

обязаны вернуться, что за Эренбурга я отвечаю.

— Уж не знаю чем и перед кем, — так сказал командарм.

Утром нас переправили на понтоне через Днепр. Мы пробыли до вечера в войсках, в сумерках явился на командный пункт какой-то штатский молодой человек с орденом Ленина и патронными лентами вперекрест на ватнике. Мы пригляделись, узнали друг друга и обнялись. В 1941 году мы были вместе и рядом в «Уманской яме». Бежали одновременно. Оказалось, что он командует партизанским отрядом, расположенным в соседней деревне и теперь взаимодействующим с войсками, вышедшими на правый берег. Забыв все обещания, данные командарму, мы поехали в отряд.

Эренбург долго беседовал с партизанами. Они, конечно, как все на фронтах, знали и любили его. Кто-то принес сулею яблоневого самогона. Илья Григорьевич попробовал:

— Настоящий кальвадос.

Но еще больше понравилась ему тыквенная каша:

— Я не еал ее сорок лет!

В изданных уже после смерти Ильи Григорьевича его статья, писавшихся для опубликования в Англии и Америке, одна, относящаяся к октябрю 1943 года, начинается так: «Деревня, где я нахожусь, — на правом берегу Днепра, в самом сердце Украины. Теплая ясная осень. Юг во всем — в тополях и каштанах, в листьях табака, который сушится, в тыквенной каше с молоком. Чудом уцелела эта деревня: партизаны помешали немцам ее сжечь». Это было написано, могу точно сказать, 6 октября 1943 года, а имеющаяся в издании дата 21 октября, по-видимому, дата отправки статьи через Информбюро. Кстати, в маленьком музее газеты «Красная звезда» сохранилась фотография — партизаны переправляют нас через Днепр. Эренбург без пальто, я без шинели. 6 октября это еще было возможно, а 21-го шел снег.

Но не это главное. Илья Григорьевич был вблизи особенно дорогого ему Киева. Он много горя увидел, недаром в следующем репортаже, написанном для американских читателей, он писал: «Я не могу спокойно спать после этой поездки, я вижу пепел, больные тени и небыть...»

Да, мы были под Киевом, мы видели форсирование Десны и Днепра. Мы были у партизан и у героев переправы. Мы были свидетелями величия нашей армии и наро-

да, зверств и позора гитлеровцев. Тем смешней и досадней, что в последнюю ночь у партизан мы поссорились по пустяку, разругались. Я уже однажды упоминал об этом (в книге «Было»). Я имел приказ редактора газеты «Красная Армия» привезти Эренбурга в Конотоп к 10 октября. Илья Григорьевич обещал поехать, но наша ссора ломала все планы. Я вернулся один 9 октября. В поезде-редакции было приготовлено купе для Эренбурга. Ночью фашистские самолеты сожгли поезд фосфорными бомбами. Так Илья Григорьевич, сам того не подозревая, избежал гибели.

Мы встретились почти через год, летом 1944 года, в Минске. Город горел. Кто-то окликнул меня на улице, заваленной обломками дома. Я оглянулся: мне улыбался Илья Григорьевич, стоя в открытом «виллисе». Он ни словом не напомнил о нашей размовке на Днепре. Я рассказал ему, как бомбили поезд-редакцию.

— Да,— сказал Илья Григорьевич,— повезло. Но ссориться больше не будем. Вы обидчивы, как мальчишка.

— Мальчишка! — взорвался я.

— Ну бывший мальчишка.

Так мы удержались от новой ссоры.

У меня в руках был невероятный трофей — запечатанные черные пачки фотобумаги. Вот как попали они ко мне. В первый день освобождения Минска я выскочил на машине на площадь у Дома правительства. Ко мне подошел серый, словно побитый молью человек. Он видел, что я записываю, а мой товарищ Толя Архипов фотографирует.

— Вы не из газеты?

— Ну из газеты.

— Тогда возьмите мой архив.

Оказалось, что этот человек частник, каких немало расплодилось в оккупации, владелец маленькой фотографии. Немецкие офицеры давали ему на проявку свою фотопленку: расстрелы, вечеринки, виселицы, пейзажи. Фотограф оставлял у себя отпечатки, но не проявлял их, только складывал бумагу обратно в черные пакеты и тщательно их заклеивал. Весь этот таинственный и страшный архив оказался в моих руках. Я объяснил Эренбургу, что за пакеты вожу с собой. Он загорелся:

— Надо немедленно ехать в редакцию и проявить отпечатки! Потом покажете мне, что там было.

Я послушался Илью Григорьевича, но расстались мы в тот день еще на год. А

фотографии оказались действительно страшные. Среди них был и снимок Зои Космодемьянской и многих других зверств гитлеровцев. Ряд снимков с моими комментариями был опубликован в газете «Фронтальная иллюстрация». Мне не удалось тогда показать их Эренбургу — он уехал на один из Прибалтийских фронтов. Его интересовал Вильнюс, где останавливался Наполеон в 1812 году.

После войны мы встречались не слишком часто, но каждая встреча была для меня высокой радостью. Илья Григорьевич буквально охотился за стихами молодых поэтов. Он читал наизусть «открытого» им еще во время войны Семена Гудзенко, увлеченно говорил о Михаиле Луконине, написал предисловие к первой публикации стихов Евгения Винокурова, восторгался строками Сергея Орлова «Его зарыли в шар земной», любил стихи Сергея Наровчатова, Юлии Друниной, Бориса Слуцкого. Мною Илья Григорьевич был, по правде говоря, не очень доволен. Он утверждал, что белые стихи, которые были для меня способом запоминания в 1941 году, надо было печатать, а я их зарифмовал и тем испортил.

Я обещал в начале этих воспоминаний рассказать о том случае, когда Эренбург в единственный раз назвал меня на ты. Вот как было дело. В начале марта 1950 года мы с Борисом Горбатовым вернулись домой из Донбасса. Я застал очень расстроенной свою маму: оказывается, именно сегодня в газете «Культура и жизнь» (была такая газета) меня разнесли в пух и прах за цикл стихов «Слово о завтрашнем дне». Ужасные обвинения могли обернуться большой бедой. Мама сказала, что дважды звонил Эренбург. Я позвонил ему в ответ уже ночью. Услышал усталый голос:

— Женя, ты читал статью? Нет еще? Ну и не читай! Это свинство, а не критика. Мне твой цикл не нравился, но теперь кажется хорошим. И не вешай носа, может быть, этот удар только привлечет внимание к стихам!

Эренбург оказался провидцем: через неделю после разноса цикл мой получил Государственную премию СССР. Фадеев рассказывал потом, что при обсуждении Сталин вспомнил «разносную» статью: интересно, что это за стихи о завтрашнем дне, которые так ругают? Прочел...

Я получил самое дорогое поздравление — букет цветов (это было 8 марта, цветы до-

стать было невозможно!) с записочкой: «Ну, что я говорил? И. Эренбург».

Я созвал друзей, чтоб отметить премию. Позвонил Эренбургу. Он вновь называл меня на вы. Обещал прийти, явился без опоздания, с куклой для дочки... В одном из гостей он сразу узнал метростроевца Леву Рябова, с которым беседовал пятнадцать лет назад в Колонном зале, и опять принялся его расспрашивать — теперь уже о новых делах метростроевцев.

Послевоенных встреч было немало, но, завершая свои воспоминания, хочу рассказать лишь об одной из них. Несколько писателей были приглашены в одно западное посольство на прием. Пришел и Илья Григорьевич. Как всегда на приемах, он выставлял с недовольным видом, сутулясь и безразлично поглядывая по сторонам. К нему подошла дама из посольства Израиля в Москве. Она завела беседу, как сама сформулировала, «по еврейскому вопросу». Илья Григорьевич пытался оборвать разговор:

— Вы не читали «Золотого тельца» Ильфа и Петрова? Там дан исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Дипломатическая дама уловила иронию, наверное, воспользовавшись своим положением женщины, которой из вежливости не возразят, она сказала:

— Вы плохой еврей, господин Эренбург.

— Нет, госпожа, вы ошибаетесь. Плохие евреи — это сионисты, но я никогда не был и не буду сионистом, не надейтесь. А сионизм — это нацизм, и вы, наверное, в курсе моих постоянных выступлений против нацизма?

Госпожа дипломат, получив такую недипломатическую отповедь, отпрянула и смешалась с толпой гостей. Эренбург лихо подмигнул своим коллегам...

В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Григорьевич многое сказал о себе. Его автопортрет дополнен рядом опубликованных воспоминаний. Я же попытался рассказать о своих встречах, не повторяя того, что уже известно широкому читателю.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Косолапов. Военные дневники Константина Симонова.— **Владимир Савельев.** «Поэзия — она живет, как мы...» — **Ю. Смелков.** Плохой хороший человек.— **Дора Дычно.** Мир Пушкина, мир исследования.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ким Селихов. Страницы наших биографий.— **Б. Жировов.** Влиятельная сила современности.— **Дмитрий Биленкин.** Все, что возможно, сбудется!

Литература и искусство

ВОЕННЫЕ ДНЕВНИКИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Константин Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. М. «Молодая гвардия». 1977. Т. 1. 1941 год. 574 стр. Т. 2. 1942—1945 годы. 781 стр.

Эти заметки о книге К. Симонова увидят свет в дни, когда Страна Советов будет праздновать шестидесятилетие своей армии и флота. За плечами у них трудный и славный героический путь. И на всем протяжении этого пути — от первых залпов гражданской войны, через огненные годы Великой Отечественной и до наших дней — отчетливо прослеживается тесная и неразрывная связь между армией и литературой, связь естественная и закономерная. Армия, созданная для защиты идей и завоеваний Октября, для защиты мира на земле, не могла не стать объектом художественного изображения мастеров слова, поставивших свой талант на службу народу. Писатели не только видели армию в сражениях. Вместе с ней, в ее рядах они сами участвовали в боях за родину. Вместе с ней испытали горечь неудач и радость побед. И сегодня, отмечая шестидесятилетний юбилей армии и флота, мы с признательностью вспоминаем многие произведения, в которых писатели правдиво и ярко запечатали для современников и для будущих поколений ратные подвиги советского народа. К таким произведениям принадлежат и военные дневники Константина Симонова.

Автор их, как известно, прошел всю Великую Отечественную — от первых и до последних ее дней — военным корреспондентом. О событиях разных дней войны, очевидцем которых был, о людях, встреченных на разных участках огромного фронта от Черного до Баренцева моря, он вел записи в блокнотах, иногда развернутые, иногда краткие — как позволяла обстановка. Между частыми поездками на фронт он выкраивал время, чтобы продиктовать стенографистке накопившиеся в блокнотах записи, отбирая все наиболее важное из того, что видел, чувствовал, пережил, о чем думал. Так страница за страницей рождались эти дневники, публикация которых в наши дни, через много лет после войны, с живым интересом встречена самыми широкими кругами читателей. Об этом интересе свидетельствует и то, что стопятидесяти тысячный тираж «Разных дней войны» разошелся мгновенно, едва успев поступить на прилавки книжных магазинов, и то, что в библиотеках на эту книгу всегда очередь читателей.

Не были обойдены «Разные дни войны» и вниманием нашей прессы. Сразу же по выходе их один из выдающихся советских

полководцев, маршал А. М. Василевский, писал в «Правде»: «Искренне и горячо рекомендую прочитать эти два объемных тома, в которых широким полотном представлена война начиная с лета сурового 1941 года до ее победного завершения. Здесь — и страдания народа, и горечь отступления, и мужество наших воинов, и наша все крепнущая сила, ломающая силу врага, и радость наших побед. Строгая документальность сочетается в книге с остротой писательского взгляда, точно подмеченная деталь фронтового быта или человеческого характера придает документу широту художественного обобщения».

В опубликованных рецензиях и откликах на «Разные дни войны» с единодушием, не столь уж часто встречающимся в литературной критике, подчеркивается, что автором создана книга значительная и чрезвычайно интересная; что она представляет собой яркое и подлинно реалистическое свидетельство о трагических и героических страницах нашей истории; что из множества лиц, о которых повествует писатель, перед нами возникает образ главного героя, имя которому — сражающийся народ; что ценность симоновских дневников состоит прежде всего в том, что в них правдиво и психологически достоверно изображен человек на войне, впечатляюще раскрыто движение человеческой души через годы тяжелейших испытаний; что именно это ставит книгу в ряд заметных явлений литературы, составляющих художественную летопись беспримерного подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Вполне разделяя эти оценки, я в своих заметках о книге Константина Симонова хочу подробнее остановиться на двух моментах: на жанровом своеобразии «Разных дней войны» и на значении дневников для понимания художественных принципов писателя, понимания возникновения замыслов и истории создания задуманных им произведений; на той роли, какую эти дневники, запечатлевшие виденное и пережитое в годы войны, сыграли, да и по сей день продолжают играть в творческой биографии их автора.

Итак, сперва о жанровом своеобразии симоновской книги. Те, кто не читал ее, могут сказать: а что тут мудрить? Дневник есть дневник — жанр издавна известный, издавна завоевавший свои гражданские права в литературе. Так-то оно так, но все

дело в том, что «Разные дни войны» во многом не походят на дневник в его привычной для нас форме, не укладываются в рамки общепринятых канонов этого жанра. Страницы дневниковых записей, сохранившихся с дней войны или сделанных по памяти вскоре после того, как оттремели ее последние залпы, соединяются в книге Симонова с нынешними его воспоминаниями и раздумьями, в том числе и с размышлениями по поводу самих записей военных лет; описание фронтовых событий — с осмыслением их значения и последствий, как они видятся автору сегодня, в свете исторического опыта войны и ее итогов. С картинами того, что было увидено писателем собственными глазами и нередко даже на месте занесено во фронтовой блокнот, часто соседствуют выдержки из оперативных донесений и сводок, журналов боевых действий, из сохранившихся лент телеграфных переговоров и других документов, помеченных теми же датами, но уже после войны разысканных автором в архивах. В книге приводятся выразительные характеристики участников великой битвы — рядовых бойцов, командиров, политработников, с которыми война сводила писателя на трудных фронтовых дорогах, и тут же рассказывается о том, как в дальнейшем складывались судьбы упомянутых в дневнике людей, рассказывается о послевоенных встречах автора с теми из них, кого удалось разыскать, публикуются сегодняшние письма бывших фронтовиков.

«Быть может, — пишет К. Симонов, — некоторым из читателей покажется, что я отвел в книге излишне много места выяснению биографических подробностей и дальнейших судеб даже мелком встреченных мною на фронте людей. Но мне хочется напомнить, что оборванность людских судеб — одна из самых трагичных черт войны. И сейчас у меня все обостряется чувство неоплатности долга, все неотложней становится обязанность: всюду где можно назвать разысканные тобою имена воевавших людей, проследить в сложных переплетах войны ниточки их судеб, иногда безвозвратно оборванных, а иногда просто не до конца нам известных, в том числе тех, кто остался жив, но, случалось, был записан в мертвые ошибкою памяти или документа».

Готовя свои дневники к печати, Симонов проделал поистине огромную работу, смысл которой заключался в тщательной, я бы

даже сказал, скрупулезной проверке точности дневниковых записей. Автор справедливо замечает, что в памяти не только многое бесследно утрачивается, это еще полбеда, но кое-что бессознательно деформируется, а это уже беда, с которой надо бороться. Бороться, проверяя по возможности все, что поддается проверке. «Уже давно так или иначе занимаясь историей войны,— пишет Симонов,— я, однако, раньше всерьез не соприкасался с архивными материалами и лишь теперь понял, какая бездонная глубина, еще никем до конца не изведенная, ожидает тех из нас, кто решается заглянуть в эти архивы войны... Начинаешь искать подтверждение какой-то своей догадки и незаметно для себя погружаешься в атмосферу того времени... Телеграфные ленты, запросы, нагоняи, требования уточнить обстановку; после многих неудач сообщения о первых удачах, сведения о потерях врага, порой преувеличенные, и о своих потерях, порой преуменьшенные, и рядом с этим правдивейшие доклады, свидетельствующие о безбоязненной решимости во имя интересов дела рассказать все как есть, назвать вещи своими именами».

Автор сопоставляет свои дневниковые записи с сообщениями Совинформбюро, с соответствующими главами и страницами опубликованных после войны мемуаров советских полководцев; изучает трофейные карты германского генерального штаба, протоколы допросов пленных, служебные дневники и воспоминания гитлеровских генералов; выясняя дальнейшие судьбы встреченных на фронте людей, перелистывает в архивах сотни личных дел военнослужащих, наградных листов, приказов... Он вновь едет в знакомые ему по войне места давно отгремевших боев, встречается с бывшими фронтовиками... Результаты всей этой многолетней кропотливой работы нашли свое отражение в «Разных днях войны», заняв в книге немало страниц и придав ей особую убедительность, особую широту и объемность.

Перед автором, готовящим свой дневник к печати через много лет после его написания, всегда возникает соблазн что-то изменить, поправить, улучшить, взглянув на давно написанное нынешними очами, с позиций сегодняшнего дня. Симонов откровенно признается в том, что, перечитывая свои записи, неоднократно испытывал желание задним числом вторгнуться в текст то одного, то другого тогдашнего рассужде-

ния. «И все же,— пишет он,— я удержался от соблазна». Чтобы побороть искушение что-то «улучшить» в записях военных лет, чтобы решительно отрезать себе все пути для этого, Симонов, перепечатав дневник, один экземпляр сразу же заклеивает в пакет и сдает в архив как документ-первоисточник. Даже в тех случаях, когда в результате сопоставления с документами в тексте дневника обнаруживалась та или иная неточность, то или иное расхождение в оценке событий или поступков отдельных людей, автор не вносил исправлений в свои тогдашние записи, оставлял все как было, как думал и чувствовал в то время. Но в сегодняшних к ним комментариях он непременно обращает наше внимание на допущенные им промахи, ошибки, всегда открыто и честно пишет о них. А это еще больше укрепляет доверие читателей ко всему, о чем рассказывают «Разные дни войны».

После выхода книги Константин Симонов в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Василием Песковым сказал: «Знаете, чем я удовлетворен, так это тем, что удержался от соблазна писать о войне облегченно и упрощенно». С щемящей сердце болью, с обжигающими душу подробностями показывает он, как нелегко приходилось людям на войне. Нелегко не только в начальный ее период. Нелегко и тогда, когда армия наша наступала, когда неудержимо растущая ее сила начала ломать силу сопротивления врага. «И как ни трудно вспоминать о тяжелом, но из уважения к людям, прошедшим через все это и все-таки победившим, нам, литераторам, не след вычеркивать невеселые подробности войны ни из своей памяти, ни из своих книг. Иначе нам не будут верить. И правильно сделают».

Дневники Симонова — книга не об одних только фронтовых поездках и выполнении автором сложных, требующих личного мужества, личной храбрости, часто сопряженных с риском для жизни обязанностей военного корреспондента. Она и о его писательской работе в те разные дни и годы войны. Читатель найдет на ее страницах интересные подробности, относящиеся к тому, когда, в какой обстановке были задуманы и написаны «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди меня», «Я помню в Вязьме старый дом...», поэма «Сын артиллериста», другие поэтические произведения; как создавалась драма «Русские

люди»; как, в результате фронтовых встреч с какими конкретными людьми возникли и сложились образы командира автобата капитана Сафонова, девушки-шофера Вали Анощенко, корреспондента центральной газеты Панина, предателя Харитоновна, других действующих лиц этой симоновской пьесы, пользовавшейся в годы войны и у фронтовиков и в тылу огромным успехом¹.

Читаешь в «Разных днях войны» о поездке автора осенью сорок второго в Сталинград, о его встрече на переправе через Волгу с военфельдшером Викторией и, конечно же, сразу узнаешь в ней Аню Клименко из повести «Дни и ночи». Читаешь подробную запись рассказа гвардии сержанта Захара Филипповича Канюкова, 1896 года рождения, и опять вспоминаешь «Дни и ночи». Тогда, после встречи с Канюковым, автор не стал писать о нем очередную корреспонденцию в газету, а оставил запись в блокноте про запас — на будущее. И это будущее оказалось близким: сев за повесть о Сталинграде, писатель вывел в ней старого солдата, изменив всего лишь одну букву в фамилии Захара Филипповича. «В данном случае,— вспоминает автор,— натура была такая, которой оставалось только поближе держаться, додумывая не характер человека, а лишь обстоятельства, в которых он действует».

Симонов свидетельствует, что в нем, содействуя и чем дальше, тем сильнее противоборствуя друг с другом, жили два видения войны — условно говоря, корреспондентское и писательское. С приближением конца войны второе все больше брало верх над первым. Он стал меньше писать корреспонденций в газету, отдавая предпочтение полужурналистским, полурассказам. Он все чаще рассматривает свои записки в блокнотах не как материал для завтрашней газетной корреспонденции, а как заготовки для чего-то, что напишет когда-нибудь потом. В соответствии с этим меняется и характер

самых записей во фронтовых блокнотах. Еще не зная точно, как скоро кончится война, но, как и все, чувствуя, что это не за горами, Симонов уже думал о своих послевоенных писательских планах.

Спустя много лет в одном из интервью он рассказывал: «...занимаясь подготовкой к печати своих дневников конца войны, я вспомнил: еще в марте — апреле 1945 года были первые замыслы — надо написать о войне большую книгу. В дневник я записывал, что, мол, таких-то людей, с которыми встречался на фронте, надо показать в романе, такие-то их черты отразить... В общем, война еще не закончилась, а эта книга о войне уже была задумана». Из дневника мы узнаем, что, кроме романа, в творческие планы Симонова входили и другие произведения, в том числе и пьеса о военном корреспонденте. Пьеса эта так и не была написана. Но в художественном творчестве нередки случаи, когда что-то давно задуманное и, казалось бы, забытое исподволь пробивает себе дорогу. В послевоенных симоновских повестях «Из записок Лопатина» главным действующим лицом постепенно и в какой-то мере даже неожиданно для самого автора все-таки становится военный корреспондент. Что же касается «большой книги о войне», то этот замысел, как известно, писателем был осуществлен, правда гораздо позже, чем он предполагал тогда, в сорок пятом.

Как писателю дневники сослужили Симонову после войны огромную службу. Они, говоря словами их автора, тот колодец, из которого он черпал и черпает. С наибольшей наглядностью значение дневников для осуществления творческих замыслов писателя раскрывается, конечно, когда сопоставляешь «Разные дни войны» с трилогией «Живые и мертвые», одним из самых крупных, самых значительных произведений не только в творчестве самого Симонова, но и во всей нашей литературе о Великой Отечественной войне.

Во вступлении к «Разным дням войны» автор сразу же предупреждает читателей, что при всей разнице литературных жанров «Живые и мертвые» написаны, в общем, о том же, о чем и дневник; что он, дневник, был отправной точкой для трилогии и предшествовал ей по времени; что читатели встретят в дневнике многие уже знакомые им по «Живым и мертвым» события и ситуации, детали и эпизоды войны, заметят сходство человеческих характеров.

¹ Среди помещенных в книге фотоснимков можно увидеть фотографии некоторых прототипов действующих лиц пьесы, как и прототипов героев других симоновских произведений. Надо сказать, что использованные в двухтомнике снимки военных фотокорреспондентов Д. Бальтерманца, Г. Зельмы, А. Капустянского, В. Мاستюкова, Д. Минскера, П. Тропкина, В. Темина, М. Трахмана, Я. Халипа, Е. Халдея, а также некоторые фотографии, авторство которых не установлено, отлично вписались в книгу и составляют единое целое с ее содержанием.

«Разные дни войны» как бы вводят читателя в творческую лабораторию художника. Внимательное чтение этой книги дает тем, кто знаком с «Живыми и мертвыми», очень многое в смысле понимания источников глубокого реализма, жизненной достоверности, подлинности чувств и переживаний людей — всего, что характерно для симоновской трилогии. Из «Разных дней войны» читатель получает представление о том, как постепенно складывался в сознании писателя образ главного героя «Живых и мертвых» — генерала Серпилина, черты характера каких встреченных автором на войне людей вобрал в себя этот образ. Читатель узнает и о том, кто стал прототипом «маленькой докторши» Тани Овсянниковой, генерала Кузьмича, других персонажей трилогии. Читатель увидит принципы отбора сюжетов, ситуаций, действий и поступков людей, свойств их личности, реалий фронтового быта² — словом, всего того, что видел, наблюдал писатель на войне и что легло на страницы его фронтовых блокнотов, — для создания большого художественного полотна.

Короче говоря, смею думать, что сопоставление «Разных дней войны» и трилогии «Живые и мертвые» представляет значи-

² Подробностям фронтового быта, тому, что называют буднями войны, Симонов уделил в дневниках большое внимание. В срок третьем году он писал: «В который раз, снова и снова думаю над одним из главных вопросов войны. Уже третий год люди живут в крайнем напряжении. И, как ни странно, помогают быт, житейские привычки. Если все время помнить и думать только о войне — человек не выдержал бы на ней не только года, а и двух недель. И писать войну, беря в ней только опасность и только героизм, — значит писать ее неверно. Среди военных будней много героизма, но и в самом героизме много будничного».

тельный интерес не только для критиков и литературоведов. Это интересно для всех, кто по-настоящему любит литературу, кто не ради праздного любопытства хочет познать секреты художественного мастерства и те методологические и творческие принципы, которые избирает для себя писатель и которым он следует. Для Константина Симонова эти принципы — писать войну, не поступаясь ее суровой и беспощадной правдой. Писать без прикрас, не умаляя силы и опыт врага, не обходя трагических моментов и ситуаций. Полной мерой показывать, какая огромная цена заплачена нами за нашу победу. Этими принципами, твердо сформулированными им для себя в ходе самой войны, писатель руководствовался, заполняя свои фронтовые блокноты. Этими принципам он стремился быть верным в своих корреспонденциях и очерках, стихотворениях и поэмах, рассказах и повестях, пьесах и киносценариях. Этими принципам он неукоснительно следовал и создавая свою самую большую книгу о Великой Отечественной — трилогию «Живые и мертвые».

Есть в «Разных днях войны» строки, которые, очевидно, не ускользнут от взора внимательного читателя. Это упоминание о новой книге, над которой Симонов уже давно работает и которую надеется через несколько лет закончить. Речь идет о книге «Послевоенные встречи». В ней писатель предполагает рассказать значительно подробнее, чем позволяли это сделать комментарии к записям военных лет, о дальнейших судьбах встреченных им на фронте людей. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что многочисленные читатели Константина Симонова с интересом будут ждать эту новую книгу.

В. КОСОЛАПОВ.



«ПОЭЗИЯ — ОНА ЖИВЕТ, КАК МЫ...»

Анатолий Жигулин. Полынный ветер. М. «Молодая гвардия». 1975. 224 стр.

Анатолий Жигулин. Стихотворения. М. «Художественная литература».

1976. 224 стр.

Анатолий Жигулин. Горячая береста. М. «Советская Россия». 1977. 304 стр.

Эти стихи воспринимаются легко, и поэтому не сразу даже замечаешь, как становятся они частью твоих собственных раздумий, как естественно обогащают и углубляют они твое личное ощущение мира и представления о нем. А все потому, что простота и безыскусность подлинной

поэзии никогда не имели и не имеют ничего общего с прямолинейной простотостью и ограниченной заземленностью. Эти простота и безыскусность подлинности, как ни странно, именно в космический век столь способствуют раскрытию души и ее обогащению, что порой даже забы-

ваешь об условности поэтической речи, о несвойственной нам вообще в повседневной жизни рифмовке строк и явно классическом покрое фраз. Но эта пора, которая «наполняет нежностью сердце», но этот почти несказанный «свет притихших берез» (заметьте, притихших, а не тихих!), который как бы вдыхаешь вместе с горьковатым дымком сжигаемого в полях жнивья, но эти печальные крики словно бы нехотя, словно бы принужденно и потому замедленно улетающих вдаль птиц...

Черные листья осины.
Зелень кукушкина льна.
Дивной, неведомой силы
Русская осень полна...
Как бы прошел я все муки
В той неуютной дали,
Если б не помнил в разлуке
Запах родимой земли?

У лирики Анатолия Жигулина свой неповторимый строй. Наиболее характерными чертами или, если угодно, оттенками жигулинского голоса являются не только обаяние и задушевность интонации, но и полное отсутствие позы и вычурности, но и продиктованное не иначе как самой природой этого дарования безошибочное чувство меры и разумной экономии при расходовании поэтических средств. Впрочем, есть ли и впрямь такая уж необходимость в том, чтобы скрупулезно раскладывать на составные части и даже частицы творческую сущность неповторимости?

Россия... Выжиженная болью
В моей простреленной груди.
Твоих плетней сырые колья
Весной пытаются цвести.

Теперь уже не только профессиональным литераторам, а и широкому читателю достоверно известно, что штрихи биографии поэта обязательно проступают на срезах его стихов, что чем более насыщена личная судьба автора, тем притягательнее, объемнее, полнокровнее его творчество. Без значительной биографии, без крупной судьбы, пусть и не слишком перегруженной внешними событиями, любой пишущий стихи обречен на искусственность, на книжность и в конечном итоге на гипертрофированное представление о собственной личности. Конечно, каждый художник слова приходит к подлинно общечеловеческим обобщениям, опираясь на свой выношенный опыт. Но в том-то все и дело, что таинственное и

столь желанное равновесие между судьбой пишущего и последующей судьбой написанного как раз и кроется в жизненном опыте будущих читателей твоих строк, в историческом пути всей твоей страны в целом.

Вот и на долю Анатолия Жигулина выпало нелегкое и непростое: в отрочестве, совпавшем с военной порой,— обескровленная грозным лихолетьем средняя Россия, в юности — выстуженная суровыми ветрами 40—50-х Сибирь, где бригадная работа среди словно бы семижилых первопроходцев этого края чем не этап большого творческого пути и становления авторского характера! Не случайно поэту так по-северному лаконичен, хотя и многопланов рассказ поэта об осиротевшей в победном году среднерусской деревне Утиные Дворики, деревне в «одиннадцать мокрых соломенных крыш», чья осиротелость усилена, обострена тем, что «там, за курганом, еще и Гусиные, кажется, есть...», что там, дальше, уже и по всей России несть числа безвестным селам, станицам и хуторкам, где в нашем детстве, в детстве тех, кому нынче за сорок, «скрипел и плакал журавль о тех, кто вовсе не вернется...». Те далекие дни наделили поэта не только горькой памятью о себе, но еще и пронзительной ясностью видения всего сухого сквозь призму той памяти, но еще и умением одной-единственной деталью передать и стоическое, каким и было испокон, превозмогание душевной боли, и тягу от бед великих к простому, будничному счастью — как, к слову, в тех же Утиных Двориках, так и на иной частичке много-страдальной русской земли:

И на любой тропе судьбы
Все вижу — явственно до боли,—
Как ровно сложены снопы
В послевоенном бедном поле.

Ровно сложены в бедном поле — такое, может быть, и впрямь открывается именно для того, чтобы потом, удержав это видение в себе как некий символ, пронести его по труднопроходимой тайге, среди дальневосточных сопок, через шахты, лесоповал и прокладку железной дороги сквозь неприветливые чащобы и топи. Все познается в сравнении, и тощие послевоенные снопы вспоминались как нечто праздничное и яркое в пору сурового труда на якутских просторах, где молодостью сполна оплачены и формирование творческой

индивидуальности, и наука четко, бескомпромиссно и, если нужно, категорично раскладывает жизнь на два основных цвета с резкой границей между ними — точно уголь на снегу: «...мир из черного и белого, по существу, и состоит». Наиболее конкретно это выражено в одном из программных для Анатолия Жигулина стихотворений «Рельсы», выражено с той же точностью, с какой передано и само ощущение изнурительного труда по прокладке рельсов вручную: «С каждым часом работы они тяжелели...» Или: «Нас по восемь на рельс. А под вечер — по десять, по четырнадцать ставил порой бригадир...» И вот тут-то не обезличенно, не ко всему белому свету в целом, а горячо и потому словно бы к каждому из нас непосредственно с четким проведением черты между двумя основными цветами обращает поэт вопрос, заданный некогда ему самой жизнью и оттого приобретающий ныне тон утверждения:

Вы когда-нибудь знали такую работу?
 До соленого пота,
 До боли в костях!
 Вы лежневые трассы вели по болотам?
 Вы хоть были когда-нибудь в этих местах?

Приходилось ли бревна
 Грузить с эстакады вам,
 Засыпать на снегу,
 Выбиваясь из сил?..
 Я не циркулем тонким маршруты
 прокладывал.
 Я таежную топь сапогами месил!

Пожалуй, не только в арсенале самого Жигулина, но и в творчестве работающих рядом с ним с конца 50-х годов таких ярких и разных по регистровым возможностям поэтов, как Вознесенский, Казакова, Рождественский, Куняев, Евтушенко, Ахмадулина, Шклярский, Матвеева, не много найдется стихотворений столь открытого, столь по-бойцовски целенаправленного и напряженного характера. Собственно, форма и смысловое наполнение «Рельсов» обусловлены задачей автора не только достоверно и честно поведать о пережитом, но еще и утвердить это пережитое в себе самом и в каждом из нас как главную координату для определения точки зрения на жизнь вообще и на человека в частности. Это тем резче бросается в глаза, что подавляющему большинству жигулинских стихотворений («Бурундук», «Кострожоги» и др.) при всей сложности, внутренней дра-

матичности лирического героя свойственны сдержанные интонации и скорее уж понижение голоса до шепота, чем неуместно громкие восклицания. Поэт словно бы с полной бесстрастностью констатирует происходящее, чтобы потом сделать простой и вроде бы очевидный, но тем не менее тот единственный вывод, за которым угадываются и долгие предварительные раздумья и дар безошибочного обобщения, роднящие это современное нам творчество как с народными традициями, так и с нестареющими сопереживательными музами Некрасова, Есенина, Твардовского. Иллюстраций к этому утверждению нетрудно привести множество. Сошлюсь хотя бы на достаточно известное стихотворение. А. Жигулина «Хлеб». Оно рассказывает о стойком труде на лесоповале, когда люди после смены «сразу падали на нары, тяжелых валенок не сняв», и когда предельно были обнажены их отношения с окружающим миром: «...кто больше в день валил деревьев, тот больше хлеба получал». Но не обида и не ожесточение вынесены лирическим героем «Хлеба» из тех суровых лет, не стремление наконец-то любыми средствами и во что бы то ни стало добиться «легкого хлеба», а житейская мудрость и чувство коммуной справедливости:

Прошли года.
 Теперь, быть может,
 Жесток тот принцип и нелеп.
 Но сердце до сих пор тревожит
 Прямая связь:
 Работа — хлеб.

И неторные дороги, и скрытая боль, и любовь, и даже горе, перевоплощаемые в стихи, остаются, как видим, тем надежным фундаментом, на котором неторопливо и основательно вырастает, на котором венец за венец поднимается все выше светлый, бесхитростный и приветливый дом жигулинской поэзии. И дом этот не в хуторном одиночестве на голом юру или среди некоего безымянного поля, дом этот кровно связан со своею — от края и до края — землей и со своим временем, приписан навечно всеми четырьмя сторонами своего основания к месту вполне определенному: «Воронеж!.. Родина. Любовь». Теперь уже и нам, читателям, до боли близка и знакома та земля, что накрепко привязала к себе поэта, теперь уже и нам чудится едва ли не собственная родина и в Утиных Двориках, и в селе Коршеве, и в тех почти

заповедных уголках, где «веет Дремучей, глубинною Русью от серых, замшелых осинных крыш», и, наконец, даже и в местах шумных, каменных, современных, скажем в этих «слухмяных» кварталах переродившегося ныне Беляево-Богородского. Впрочем, рядом с торжествующими стройками, рядом с ударными ритмами века и его ловококружительными скоростями, а вернее, даже не рядом, а в них самих, в самой их сути живет и дышит то давнее-давнее, откуда начинался теперешний путь:

Остался тот далекий дом
И блеск росы по желтым пожням.
Наверно, так уж мы живем—
Не только нынче,
Но и в прошлом.

Круг тем, очерченных творчеством Анатолия Жигулина, на главных участках совпадает с кругом самой жизни, и потому каждое стихотворение поэта становится если не решением, то хотя бы искренней попыткой распутать клубок вечных проблем — существования и смерти, веры и правды, любви и разлуки, будничности и ожидания счастья. И как раз последнее из перечисленного, то есть острое ожидание счастья, пусть и негромкого и не через край, просматривается во многих стихотворениях А. Жигулина.

Точность жигулинского письма, неиссякаемые доброжелательность и нежность метят особой метой в трех вышедших книгах этого автора лучшие стихотворения о любимой женщине, о сегодняшней Москве, о минувших испытаниях и новых взаимоотношениях между людьми, о наших личных привязанностях и отчуждениях. Удивительная осторожность, с которой А. Жи-

гулин пишет о матери, человеке, самом близком каждому из нас, особая, сокровенная теплота при этом делает стихи поэта на редкость доходчивыми, населяет их отголосками разговорной речи, одновременно чем-то едва уловимым приподнимая над будничностью рядового события:

Но все же какие хорошие
Нам в жизни минуты даны!..
Приехала мать из Воронежа,
Из милой моей стороны.

Всего одна строфа, а сколько в ней слов, которые и сами по себе и с несложными определениями вкупе дают возможность проследить взаимосвязь жизненного пути поэта с характером его творчества. Действительно, тут и «минуты», да не какие-нибудь, а «хорошие», тут и «жизнь» сама, и «мать из Воронежа», и признание в вечной любви к той единственной, той «милой моей стороне». И этой стороне-сторонке в не меньшей мере, чем самой матери, обязан А. Жигулин тем, что лирика его, несмотря на всю крутость внешних обстоятельств в период ее становления, удачно избежала как огрубленной прямолинейности в частности, так и чрезмерной громогласности в целом. Более того, чем строже и, можно предположить, даже скучнее отбирает поэт слова для выражения своих наиболее сложных чувств и переживаний, тем все яснее и проникновеннее звучит его голос среди многих голосов современной поэзии, тем все большее число людей прислушиваются к нему, ища подтверждения собственным раздумьям в щедрых на доброту и, видно, потому негромких жигулинских строках.

Владимир САВЕЛЬЕВ.



ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В. Тендряков. Затмение. Повесть. «Дружба народов», 1977, № 5.

В произведениях Владимира Тендрякова нравственные конфликты всегда были непростыми и требовали от героев не только принципиальности и стойкости, но и умения отстаивать эту самую позицию. Чтобы бороться со злом, как бы говорил нам писатель, недостаточно только любить добро, нужно еще и понимать, каким образом злу удастся укорениться в жизни, одерживать победы, и соответственно это-

му пониманию выбирать способ борьбы. Причем самым эффективным способом чаще всего оказывалось обращение к людям. Сергей Лыков из «Кончины» ничего не мог противопоставить своему дяде, всесильному Евлампии Лыкову, кроме одного — в него, Сергея, поверили люди, поверили в то, что при нем они будут хозяевами на своей земле: «Бабы-то сами дошли; значит, и дело своим считают, не казенным, не бри-

гадировым, попробуй только поперек встать — плешь проедят. Свое! Тут великий смысл. Чужое делать — неволя, свое-то — не подневольное». Были у Тендрякова и такие герои, что в жизни оставались одни из страха или от растерянности, заключали себя в одиночную камеру собственной совести — Настя Сыроегина из повести «Подёнка — век короткий», медвежатник Семен Тетерин из «Суда», сплавщик Лешка Малинкин из повести «Тройка, семерка, туз». Им приходилось плохо, они не сумели поступить по правде (именно не сумели, не нашли пути) — и муки совести становились неизбежным и заслуженным их уделом.

Павел Крохалев, герой новой повести Тендрякова «Затмение», попадает именно в такую ситуацию, где обращение к людям может помочь и помогает. Но ситуация эта в повести на втором плане, и победа лишь подчеркивает поражение Павла в другом — в том, что для него наиболее важно.

Институт, где работает Крохалев, раздирает склока. Брошено серьезное обвинение в научном бесплодии, в устройстве своего благополучия за счет государства, — обвинение бросил учитель Крохалева профессор Лобанов, а те, кому оно адресовано, собираются Лобанова «съесть». И Крохалеву предложено выступить на собрании против своего учителя. Он соглашается, но выступает не так, как от него ожидали. Без всяких околичностей Крохалев заявляет: «...докладчик... говорил и не верил ни единому своему слову, но при этом считал — так нужно! Мы все его слушали и тоже не верили, но, как и он, считали — все в порядке, так нужно. Получается, что все мы — и те, кто говорит с трибуны, и те, кто сидит в зале, — играем в игру, где условие: ложь следует принимать за правду. Но опомнимся, эта фальшивая игра — ложь вместо правды — наша жизнь!.. Вы ждете, что я стану доказывать, как это плохо, призывать вас — покончимте! Не стану... Если и сейчас кто-то не увидит фальшивую игру, не содрогнулся от ужаса и отвращения к ней, то может ли слушать такой доказательства, откликнется ли он на призывы? Ну, а тем, кто уже содрогнулся, доказывать необходимости нет, оглушать их призывами тоже бессмысленно».

Речь эта не просто верна и справедлива — она эффективна, убедительна; сначала Крохалев собирался говорить о другом, но в последний момент понял, как и о чем нужно сказать. Не склочничать, не влезать

в детали конфликта, но обнажить его суть. Идет борьба, и Крохалев умеет бороться — беспощадно, как того и требуют обстоятельства.

Это единственная конфликтная ситуация, из которой Павел Крохалев выходит победителем. Во всех других случаях он терпит поражение. Собственно, «все другие случаи» — это его взаимоотношения с женой Майей. Если отвлечься до поры до времени от того, как о них рассказано, получается такая схема: искренняя, порывистая женщина, жаждущая нести людям добро, бежит от своего прекрасного и любящего ее мужа к некоему сектанту Гоше Чугунову, рядом с которым она «весь мир любит, и весь мир отвечает ей любовью». Дать утешение убогим, несчастным, обиженным судьбой — в этом Майя видит свое назначение.

Тендряков не облегчает себе задачу и не спешит дискредитировать Гошу Чугунова. Он оставляет в стороне вопрос об искренности Гошинных религиозных убеждений, но к словам, которые Гоша произносит на страницах повести, нельзя не прислушаться: «Так я вам скажу, зачем вы пришли сюда, вы, ждущие любви, но не любимые, нуждающиеся, но не умеющие выкарабкаться из нужды, вы, затравленные своими близкими, больные и просто уставшие! У каждого из вас свое, но каждому не хватает одного и того же. И не столько тяжела ваша беда, сколько то, что ее не замечают, знать не хотят. А вот это уже вовсе невыносимо!» «И даже я забыл все, слушаю», — свидетельствует Павел Крохалев, отнюдь не разделяющий Гошинных идей.

Что ж, неустроенность и духовный голод — плодородная почва для религии, для идеи бога. Недостаток любви в жизни может толкнуть человека к богу — к тому, который есть любовь. И вот этому богу любви Павел не способен противопоставить сколько-нибудь убедительные аргументы. Он говорит о матерях, искалечивших детей неразумной любовью, а Гоша резонно отвечает, что любовь, когда разумна, перестает быть любовью. Потом разговор продолжается уже с Майей, но и здесь Павел не находит убедительных слов.

По улице, на которую вышли Майя и Павел из дома, где произносил свою проповедь Гоша, «шли стайками парнишки и девчонки — старательно современные, в рас-

клевенных брюках, буино патлатые и развязные. Они не догадывались, что рядом объявился пророк, вопрос бытия божия не возникал в их длинноволосых головах, да и вопросы собственного бытия их еще, видать, не особо волновали» — это сказано от лица Павла с чувством некоторого личного превосходства.

Однако так ли уж волнуют его самого вопросы собственного бытия? Рос, учился, сейчас работает, делает свое полезное дело — и все это без особых раздумий, без особых сложностей. Его поведение в институтском конфликте, выступление на собрании естественно для порядочного человека; чтобы поступить так, обязательно задумываться над высокими проблемами. О вопросах собственного бытия он всерьез стал размышлять только после женитьбы — заставила Майя с ее неприятием готовых формул. До женитьбы у Павла все было просто: если я тебя люблю — ты должна быть счастлива со мной. Реальная картина получилась не столь лучезарной: я тебя люблю, ты меня любишь, а счастья нет и испытанные рецепты мало помогают. Я тебя люблю, но не умею разделить твою горе, не умею стать тобой. Вполне временный муж, занимаюсь уборкой, хожу по магазинам, но тебе от этого почему-то не легче, да я и сам понимаю: все эти домашние занятия — что-то вроде попытки оправдаться в том, что тебе плохо со мной. Два человека, любящие друг друга, но друг от друга закрытые, — как сделать, чтобы они открылись?

Рядом случилось убийство: пятнадцатилетний мальчик, заступаясь за мать, выстрелил в пьяного отца. Павел не понимает, почему человек пьет; друг Боря Цветик отвечает: «Просто скука. Она страшней всякой нужды и скорби». Павел опять не понимает: «Мне постоянно в жизни не хватало времени, дни безделья обычно вызывали угрызения совести — что-то всегда не окончено, ждет меня, висит грузом на шее. Даже на счастливом Валдае нет-нет да врывается беспокойство — стороной течет время!»

На Валдае Павел ездил с Майей, это было их первое путешествие. Тендряков во всех подробностях передает чувства, владевшие его героем: восхищение, удивление, преклонение. И оказывается, что даже столь острые эмоции не мешали Павлу ощущать, как стороной течет время. Быть с любимой женщиной, открывающей ему

себя, для него, в общем-то, развлечение, а дело, настоящее дело, на которое не жаль времени, где-то там, в институте, на-верное.

И вот, с одной стороны, эта легкая, едва заметная обмолвка героя, с другой — его восторженные панегирики Майе: «Да пусть всегда исходит от меня твой свет! Да не иссякнет твое влияние на меня! Да станет вечен твой светлый дух! Да будет жить он и в поколениях после нас! Единственная среди людей — Жизнь дающая!» Чему верить? Как ни печально, обмолвке. Именно потому, что она вскользь, невзначай брошена. А панегирики — плод минуты, душевной размягченности и возвышенного состояния ума. Павел — прекрасный человек, честный, принципиальный, труженик, только вот ему как-то недосуг было «о душе подумать».

Мы эти слова употребляем преимущественно в ироническом смысле, но так ли уж всегда уместна эта ирония? Вот перед нами человек, заслуживающий вроде бы только положительных оценок и вроде бы способный на чувства высокие и искренние, — но почему женщина, ради которой он в лепешку расшибиться готов, уходит от него? Он не может понять почему, за что. Брошенный женой, отвергнутый своим учителем, он... «закатился по старой памяти в городскую библиотеку», и там его «заставил забыть даже самого себя» журнал, в котором была изложена парадоксальная физическая теория. А после идет по городу, размышляя о том, что физика зашла в тупик, и волнуется по этому поводу, и пытается себя успокоить: как будто если с физикой все наладится, то и его собственные проблемы будут тотчас же разрешены. Высокий интеллект, в науке находящий утешение? Да нет, какое-то удивительное и неприятное душевное спокойствие. Причем он не забывает отметить то обстоятельство, что теория принадлежит «не мальчишке-пржектору» и «не свихнувшемуся маньяку», а солидному ученому, академику, то есть, надо полагать, в противном случае он и волноваться не стал бы.

Тендряков отнюдь не разоблачает своего Крохалева. Все его достоинства при нем и остаются — вот и речь на собрании была блестящей, и нет в нем даже тени сытого равнодушия: тревожится по поводу загрязнения планеты, опасности термоядерной войны и возрождения фашизма... Но, оказывается, все это может сочетаться в од-

ном характере с душевной бедностью, с нравственной неподвижностью. Он безошибочно отличает зло от добра, но представить себе, что в одном явлении может быть и то и другое, не в состоянии. При первой встрече с Гошей Чугуновым Майя говорит, что тот похож на Дон Кихота. Павел немедленно отвечает: «Пожалуй, он и внутренне похож на этого рыцаря». Майя удивляется: «И относишься к нему с... неприязнью?» «Скорей с осуждением». — «Но Дон Кихотом-то все, все восхищаются. И вот уже несколько веков подряд». — «То-то и удивительно — все, кроме одного». — «Тебя, или есть еще кто другой?» — «Сервантес. Он же издевался над своим героем, и никто этого почему-то не замечает». Далее Павел авторитетно объясняет, что, освободив преступников, Дон Кихот увеличил количество зла в мире, а эпизод с ветряной мельницей здравомысленно называет «высшей степенью глупости». То есть искренне не понимает, что Сервантес и любил своего героя и смеялся над ним, видел в нем и добро и зло.

Только не надо усматривать в Павле сугубого рационалиста, дитя технической эры — она тут ни при чем. В нем есть порыв к духовной жизни, есть какие-то ее зачатки, но нет главной, всеобъединяющей нравственной идеи. Он может безупречно вести себя в той или иной частной ситуации, например был бы великолепным героем какого-либо производственного романа, но в том-то и дело, что производство — существенная часть жизни, но не вся жизнь. И не оттого ли нас порой раздражают герои производственных романов, что комплекс черт и качеств, обеспечивающих их «положительность» на заводе, недостаточен для жизни вообще? Павел отлично умеет бороться против лицемерия, своекорыстия и тому подобных качеств, но бороться не против, а за не умеет, не научился. Как будто очень просто: против лицемерия — значит, за искренность, но ведь нельзя же всерьез бороться за искренность, можно или быть искренним, или не быть, и никакая борьба ничего тут не изменит, и пламенный борец за искренность может оказаться двуличным. Бороться можно только за ту самую главную нравственную идею, а если ее нет...

А если ее нет, то борьба за уступает место борьбе против. От Павла ушла Майя к Гоше Чугунову — что тут делать? Попытаться вернуть Майю, но как, если она те-

перь живет в гармонии с собой и с миром? (Павел считает, что гармония эта основана на иллюзии. Вероятно, и в самом деле так. Но Майя верит в эту иллюзию, и пока ее вера не исчезнет, не исчезнет и ощущение гармонии.) К людям тут не обратись, надо что-то придумывать самому, но Павел не знает что, он не умеет решать такие проблемы. В результате борьба за Майю превращается в борьбу против Гоши. Выглядит это так. Павел встречает на улице их вдвоем.

«Я... сделал над собой усилие и сам поразился своему неподатливому хриплому, простуженно шершавому голосу:

— Мне... Мне надо посмотреть на тебя, Майка... Я уйду... Я только взгляну... Я начинаю видеть тебя всюду... Мерещишься... Я, кажется, схожу с ума, Майка...

Все! Свершилось!.. Я понял это и не удивился, не обрадовался. Не слова, нет, а сам звук моего больного голоса сломал ее... Мне нужно сейчас повернуться и уйти, оставить ее один на один с Гошей, со счастливым Гошей... И Гоша станет ей чужим, а со временем — ненавистным».

Обратим внимание: «сломал ее», «ненавистным». Только так, только ломая и заставляя ненавидеть, Павел хочет вернуть жену. Однако на этом все не кончается.

«И тут выступил он.

— Старик,— сказал он, и борода его раздвинулась в широкой улыбке, светлые глаза смотрели дружески, прямо и просто, а голос задушевен и торжествен.— Что делать, старик, мы любим друг друга...

Никогда прежде не испытывал к нему ненависти. Сейчас она вспыхнула внезапно, ослепила и помутила... Не помню, как я шагнул вперед, помню лишь, как мой кулак встретил его улыбку... Что-то хрустнуло под моим кулаком, и он свалился».

Гоша повержен, но тем же ударом повержен и Павел! Майя, естественно, не простит ему. После драки Павел размышляет: «Был слабого! А я был всегда убежден: лучше его, заповедней, честней, добрей... Выиграла злоба, слепая и бессмысленная, жившая в твоей глубине». Против этой злобы в решающий момент в душе Павла не оказалось никакого противоядия, нечем было зашпацать от нее. И получается: Павел терпит поражение не столько из-за Гоши, сколько из-за самого себя. Из-за того, что идеи и принципы, согласно которым он живет, которые он всей душой принимает, не находят в нем духовной опоры,

Павел, в сущности, сам порождает Гошу — не столько тем, что на какое-то время дает ему приют у себя дома, сколько тем, что недостаток доброты в Павле и ему подобных порождает ту потребность в ней, которую на свой лад и в собственных интересах удовлетворяет Гоша. Вот чего не в силах понять Павел с его «черно-белым» мышлением (вспомним разговор о Дон Кихоте).

В творчестве Владимира Тендрякова тема духовно безоружной добродетели звучит не впервые. Я бы вспомнил здесь его повесть «Подёнка — век короткий» — в обеих вещах мы находим исследование одного вопроса: как получается, что хороший, добрый человек творит зло? В «Затмении» Тендряков пошел дальше, ибо вина Насти Сыроежкиной, героини «Подёнки», смягчалась целым рядом обстоятельств: давление председателя колхоза Артемия Богдановича, нелегкая, одинокая жизнь, из которой померещился какой-то выход... Павла Крохалева никакие обстоятельства не извиняют. Пенять ему приходится лишь на себя. В центре авторского эксперимента — нравственный строй личности. И результат здесь касается отнюдь не одного Павла — он, подводя итоги, говорит: «Проросли люди друг в друга многими, многими связями. А самая простейшая, самая короткая человеческая связь — Он и Она! — начало всему... Тут чаще всего у нас рвется». Тут рвется — стало быть, что-то неблагополучно у Павла Крохалева, который в другом произведении был бы, пожалуй, абсолютно положительным героем. Вспоминается еще и Женька Тулупов из

«Трех мешков сорной пшеницы», юный, наивный ригорист, с «Городом Солнца» Кампанеллы в руках подступавший к милой, бесхитростной Вере и доказывавший, что любовь должна выражаться не в вожделении. Правда, размышляя о Женькиных словах, мы твердо помним и о суровом времени, и о юных летах героя, и о Кампанелле, который на него сильно подействовал. Павел взрослее, умнее, но и он из самых добрых побуждений может наломать дров.

Впрочем, если сравнивать эти вещи, нельзя не сказать, что «Затмение» по языку и стилю уступает и «Трем мешкам» и «Подёнке». Повесть написана от лица Крохалева, это позволило писателю исчерпывающе глубоко исследовать характер своего героя, но это же привело к перенасыщенности текста выпренными оборотами речи, претенциозными покушениями на «высокий штиль». В пристрастии к нему тоже сказывается Крохалев, его торжественные монологи в честь Майи заставляют вспомнить слова А. Роскина: «Сентиментальность — это холодность, любующаяся своей растроганностью». Но речевой портрет героя-повествователя неизбежно перерастает сам себя, становясь стилистическим облаком произведения. Добавим к этому, что не столь уж редки случаи, когда грань между языковой характеристикой Павла Крохалева и обыкновенной стилистической неряшливостью попросту неуловима.

Подводя итог, вновь вернусь к главному: Владимир Тендряков остается верен себе. В своей последней повести он прикоснулся к одной из болевых точек нашей жизни.

Ю. СМЕЛКОВ.



МИР ПУШКИНА, МИР ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. Д. Благой. Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина. М. «Советский писатель». 1977. 544 стр.

Новая книга Д. Д. Благого — заметное явление в нашем литературоведении. Все, о чем пишет в ней ученый, прошло не только сквозь его исследовательскую мысль, но, можно сказать, и сквозь сердце как нечто сугубо личное. Это определило эмоционально-лирический тон письма, обычно так привлекающий широкого читателя.

Книга эта, говорит автор в предисловии, посвящена «коренным вопросам жизни и творчества русского национального гения... В процессе моего полувекового и

упорного труда над изучением Пушкина я стал все острее осознавать, что без правильной постановки и сильного решения этих вопросов нет дальнейшего движения вперед по пути наиболее эстетически полноценного и исторически точного восприятия и понимания того, что сам поэт назвал своей «душой в заветной лире», не умирающего — сквозь века — пушкинского творческого наследия и вечно нетленной в нем, пока жива поэзия на земле... личности творца».

Д. Д. Благой рассматривает творчество поэта в перспективе мирового художественного развития. Место Пушкина от веков минувших до нашей современности в ряду таких великанов мировой художественной литературы, как Гомер, Данте, Шекспир, Гёте.

Исследуя, как Пушкин поднимался к таким высотам — от классицизма и романтизма к «позиции действительности», к реалистическому воспроизведению жизни, — ученый отмечает, что одновременно поэт понимал к достигнутому им уровню отечественную литературу, вводя ее на правах самобытной в семью наиболее развитых мировых литератур. «Шагая через века по вершинам мирового искусства слова», пишет Д. Д. Благой, Пушкин осваивал эстетически «то, что в истории развития западных стран заняло, если начать отсчет от Данте, свыше пяти столетий».

Ученый делает нас свидетелями того, как Пушкин создавал «новые миры», насыщенные точными приметами быта России, конфликтами и характерами с ярко выраженными национальными чертами, — «энциклопедию русской жизни», по известной характеристике Белинского. В книге говорится: «...впервые у нас с такой твердостью и силой зазвучало... чувство кровной, нерасторжимой связи поэта со своим народом», связи, которая определила активнейшее участие поэта в освободительном движении своего времени. Об этом Д. Д. Благой пишет в разделе «Великий гражданин великого народа».

Обстоятельно прослеживает ученый, как, под влиянием каких воздействий формировалась в Пушкине его свободомыслие, с годами приобретающее «все более ярко выраженную революционно-политическую окраску». Вольнолюбивость пушкинской поэзии ощущалась уже в стихотворении 1815 года «Лицинию» с его «грозной предупреждающей концовкой»: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». В этом стихотворении исследователь видит «зерно» «вольных стихов» поэта, сделавших его, «по существу, первым, задолго до декабря, литературным «декабристом», имевшим полное основание назвать себя эхом русского народа. Отсюда, — пишет Д. Д. Благой, — и неслыханная дотоле «народность» — популярность в самых широких общественных кругах его «возмутительных» политических стихов и эпиграмм. И этот гражданский подвиг Пушкина-поэта был тем значительнее, что... он совершал его в одиночку», не принятый

декабристами в свою организацию. Да, в бой с деспотизмом и тиранией Пушкин вступил задолго до 14 декабря 1825 года и задолго до этого был отправлен в ссылку.

С присущей ему научной доказательностью Д. Д. Благой показывает, что и в ссылке и после подавления восстания декабристов — в изменившихся политических условиях, в атмосфере общественной депрессии, — на новых путях, новым методом, иными художественными средствами, в иных художественных формах, обогащая литературу величайшими творениями своего гения, Пушкин продолжал быть певцом идей декабристов, и это давало ему право сказать о себе в 1827 году: «Я гимны прежние пою».

Пушкин предстает перед нами не только гениальным поэтом, гениальным художником, но и зорким, мудрым историком, социологом, философом. В стихах Пушкина, отмечает автор, «была дана исключительно прозорливая историческая оценка дела декабристов», оценка «проницательнейшего мыслителя».

Для Пушкина, создателя «русской художественной литературы как искусства слова, стоящего на уровне просвещения века и тем самым по-настоящему нужного людям, являющегося важнейшим фактором их духовной жизни», не могло быть дилеммы: поэт или гражданин. Понятия эти для него были неразрывны. Поэзия в его понимании «союз волшебных звуков, чувств и дум», союз нерасчленимый. Поэтому при всем уважении Пушкина к Рылеву он не мог принять его формулу «Я не поэт, а гражданин». Пушкин «был прежде всего и больше всего поэтом, — утверждает писатель, — распахнутым навстречу «всем впечатленьям бытия». Гражданско-патриотическое чувство не только органически входило в художественный мир поэта, но и являлось одной из драгоценнейших его граней». Д. Д. Благой отмечает, что, став основоположником великой русской классической литературы, Пушкин положил начало и ее связи с русским освободительным движением, с передовыми идеями века, что наряду с другими определяющими особенностями обусловило ее мировое значение и принесло мировое признание.

В книге проявилась замечательная способность советского литературоведа «вводить в действие те качества — «догадливость», «живость воображения», — которые, как считал Пушкин, не только необходимы

Для писателя-художника, но и вообще отвечают природе человеческого интеллекта... он может быть в большей или меньшей степени «угадчиком»...»

Так, пользуясь косвенными свидетельствами, ученый «угадывает» содержание разговора Пушкина с Пестелем и с царем Николаем I. Эти качества, догадливость и живость воображения, он использовал и в разделе «Погибельное счастье», предлагая читателям свою версию событий, связанных с дуэлью и смертью поэта, версию, доказывающую невиновность Натальи Николаевны в его гибели, освобождая ее имя от полуторавековых утверждений ее вины.

Вдумываясь в пушкинскую формулу поэзии, исследователь обращается к вариантам знаменитого пушкинского «Памятника», отмечая, что «залогом долгой признательности к нему народа» поэт «считает как свобододобивный и гуманистический дух своей поэзии («Вслед Радищеву восславил я свободу»), так и ее новый музыкально-поэтический настрой («...звуки новые для песен я обрел»).

Проникая в ткань поэтических «мыслей-образов» Пушкина, ученый отмечает как самое существенное то, «что в процессе воплощения им своего замысла «разум» и «музы» — смысл слов и их звучание — не расчленилась в его творческом сознании на два автономных ряда, а составляла некое взаимопроникающее эстетическое единство», «своего рода эстетический атом». «Мыслезвуки», по словам Благого, вообще составляют подлинный материал истинной поэзии (иным нынешним стихотворцам не худо бы усвоить сию доктрину!). Это определяет и необходимость не одностороннего (будь то «формальный» или «смысловой»), а целостного, в основе своей синтетического метода научного ее изучения, который не ведет к «расщеплению» атомного ядра — к деформации, разрушению самого объекта изучения — его эстетической сущности.

Интересны наблюдения ученого в разделе «Достоевский и Пушкин», дающие нам немало живого материала для размышле-

ний о роли великого поэта в последующем развитии литературы. Ученый замечает, что никто из писателей XIX века «не насыщал в такой степени пушкинской проблематикой, пушкинскими образами, сюжетами, фабульными ситуациями ткань своих произведений и сознание их героев, как именно Достоевский», несмотря на кажущуюся парадоксальность сказанного («Ведь мы обычно — и не без основания — склонны считать этих писателей явлениями скорее полярными»). И хотя накопилась уже изрядная литература на эту тему, исследовательская задача не может считаться научно решенной. Свою роль Д. Д. Благой видит в том, чтобы «сделать шаг по пути возможно более полного раскрытия этой темы во всей ее сложности и глубине». Ученый убедительно доказывает, что пушкинские произведения, такие, как верные «поэзии действительности» «Повести Белкина», маленькие трагедии с их философско-психологическим реализмом, «Медный всадник» с его демократическим героем Евгением, «Пиковая дама» с ее героем игроком Германом, и другие уже содержали те сюжетные зерна, которые проросли и дали могучие всходы в произведениях Достоевского. В частности, герой «Бедных людей» литературно вышел не столько из гоголевской «Шинели», сколько из-под того «овчинного тулупа», которым прикрывался пушкинский станционный смотритель. Но Пушкин, «сын гармонии», умел «владеть своим словом и мыслью, не переступать... черты, за которой начинается дисгармония, разрушение, хаос», тогда как Достоевский, по его же признанию, «всю жизнь за черту переходил».

Книга «Душа в заветной лире» написана ученым, действительно знающим в подробностях то, о чем пишет, умеющим высвечивать в явлениях все глубинное. Это книга старейшего писателя, чей славный юбилей мы отмечаем, писателя, изнутри постигшего природу и психологию творчества.

Дора ДЫЧКО.



Политика и наука

СТРАНИЦЫ НАШИХ БИОГРАФИЙ

Е. М. Тяжелников. Союз молодых ленинцев. М. Политиздат. 1977. 350 стр.

Я прочитал эту книгу, и невольно рука потянулась к нему, бережно хранящемуся в нашей семье вместе с наградами

родины комсомольскому билету. Стального цвета небольшая книжечка с силуэтом Владимира Ильича. Чуть ниже: «Всесоюз-

ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». Петитом на обложке билета: «Секция Коммунистического Интернационала Молодежи». С фотографии на меня смотрит худенький, со впалыми щеками подросток. Время вступления в ВЛКСМ — трудный военный год...

В комсомольских билетах наших детей другие лица, другие номера. И обложки сейчас другие, красные. Но, как и прежде, на них все тот же дорогой силуэт — великого Ленина, создателя и вдохновителя Коммунистического союза молодежи. верного, закаленного всеми испытаниями эпохи боевого резерва нашей партии.

Через эту школу мужества, чистоты и вдохновения прошли миллионы советских людей. Это удивительная организация, где всегда бьет ключом молодость и которая решает самые сложные задачи, выдвигаемые историей перед нашим народом. Организация, где живет и кипит ленинская мысль, воля партии, разум народа. О путях ее развития и мужания рассказывает Евгений Тяжельников в своей книге «Союз молодых ленинцев».

Перед нами не просто исторический очерк, а серьезная научная и журналистская работа, вобравшая в себя основные этапы жизни и деятельности ленинского комсомола, знакомящая читателя с новыми, неизвестными фактами и документами героической летописи прошлого и настоящего ВЛКСМ. В предисловии к книге автор пишет: «На всех этапах развития Советского государства — будь то годы кровавых схваток с классовым врагом или годы мирного созидания — комсомол всегда был светлым лучом большевизма в массах молодежи, выполнял роль ее сознательного боевого авангарда, резерва и помощника Коммунистической партии». Говоря о месте ВЛКСМ в классовых битвах, труде и бою, автор приводит слова Л. И. Брежнева, давшего высокую оценку деятельности комсомола, который всегда был и остается в первых рядах строителей нового мира. «Под руководством партии, — указывает Л. И. Брежнев, — комсомол учится сам и учит молодое поколение по-ленински жить и работать, бороться за торжество коммунистических идеалов. Комсомольцы везде на передовых рубежах. Они всюду, где нужны пламенное сердце, пылливость ума, энергия и инициатива».

Рождение комсомола неразрывно связано с именем Владимира Ильича Ленина.

Автор, опираясь на исторические документы, убедительно показывает, с каким вниманием и заботой относился вождь партии большевиков к трудящейся и учащейся молодежи России, к ее стремлению вместе с рабочим классом свергнуть самодержавие, бороться за строительство нового, социалистического общества.

«Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи, — приводит автор ленинские слова из его дореволюционной работы «Кризис меньшевизма». — Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь. Мы партия самоотверженной борьбы с старым гнильем, а на самоотверженную борьбу всегда первого пойдет молодежь... Мы всегда будем партией молодежи передового класса!»

В книге рассматриваются важнейшие документы партии, принятые на различных исторических этапах становления и развития деятельности ВЛКСМ. Особенно глубоко автор анализирует ленинские работы, связанные с коммунистическим воспитанием молодежи. «В. И. Ленин четко определил роль и место комсомола в системе диктатуры пролетариата, — подчеркивает Е. Тяжельников, — разработал программу идейно-политического, трудового и нравственного воспитания молодежи, вовлечения ее в борьбу за демократию, социализм и коммунизм». Известно более ста работ, речей и писем, в которых Ленин высказывает свои взгляды на молодежь, разрабатывает теоретические принципы партии в отношении молодого поколения. Автор напоминает читателям слова Л. И. Брежнева, сказанные в день пятидесятилетия гениальной речи В. И. Ленина: «Эта ленинская речь — поистине замечательный документ. Величайшее значение ее становится все яснее с течением времени... И в наши дни, когда советский народ занят делом, о котором мечтал Ленин, к которому он призывал готовиться, — делом коммунистического строительства, мудрые ленинские слова звучат для нас... как наказ партии молодому поколению строителей коммунизма».

В своей книге Е. Тяжельников показывает героический путь, пройденный ленинским комсомолом под руководством партии, раскрывает на конкретных примерах неразрывную, кровную связь ВЛКСМ с партией, делами и борьбой своего народа, его роль в борьбе за коммунизм. Названия глав этой книги определяют основные направления деятельности комсомола в реше-

нии народнохозяйственных задач, в защите социалистического отечества.

Одна из них — «Комсомол и культура». «Комсомол всегда брал и берет на вооружение лучшие произведения художественной литературы, — пишет автор. — Можно прямо сказать, что талантливая книга писателя — это комсорг, зовущий за собой и ведущий вперед новые поколения молодежи. Книга, ее герои, прообразами которых взяты люди труда, люди высоких помыслов и устремлений, могут стать лучшими пропагандистами и агитаторами, борцами за идеалы коммунизма».

В тесном содружестве работают писатели Страны Советов с ленинским комсомолом. Содружество, которое выполняет единую задачу коммунистического воспитания советской молодежи. Это содружество началось с первых же лет после победы Великого Октября. Е. Тяжелников приводит ставшие уже историческими строки из постановления V Всероссийского съезда РКСМ (1922), в котором, в частности, говорилось: «Необходимо использовать весь романтически-революционный материал для воспитания юношества — подполье, гражданскую войну, ВЧК, подвиги и революционные приключения рабочих, Красной Армии, изобретения, научные экспедиции и т. д. На литературу, кинематограф, театр, клубы, вечера должно быть обращено должное внимание».

Это был социальный заказ молодости республики родной советской литературе. Высоко ценя и всемерно пропагандируя произведения классиков русской и мировой литературы среди юношества, комсомол не только мечтал, но и предпринимал многие практические шаги, способствующие рождению новой, советской литературы. Об этом шел серьезный разговор на VI съезде РАКСМ (1924), а 2 июня 1926 года Бюро ЦК ВЛКСМ принимает развернутое постановление «О писателях из молодежи», где речь шла не только о достижениях, но и о недостатках нашей литературы. Благодаря культурной революции, проводимой партией, комсомол, советская молодежь становятся не просто читателем, но читателем требовательным, со своей классово-политической позицией, со своим героем, который помогает им в выполнении задач социалистического строительства, в защите социалистического отечества, в деле высокого культурного и нравственного роста гражда-

нина СССР — хозяина своей страны, своей судьбы. Работая вместе, рука об руку с великим основоположником пролетарской литературы А. М. Горьким, комсомол делал исключительно много для выращивания из своей среды молодых поэтов и писателей. Именно в те годы начинают свою творческую биографию Михаил Шолохов и Александр Фадеев, Михаил Исаковский и Александр Твардовский. В созвездии многонациональной советской литературы ярко засиял талант Мирзо Турсун-заде, Камиля Яшена, Самада Вургуня, Мусы Джалиля и многих других. По инициативе Союза писателей и ЦК ВЛКСМ в стране создается единственный в мире институт — Литературный институт имени Горького.

Год 1939. Студенты Литературного института — Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Платон Воронько, Павел Коган, Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Николай Отрада, Николай Майоров и многие другие. «Коридоры гудели от стихов; стихи звучали в пригородных вагонах, когда мы возвращались в общежитие», — вспоминал Михаил Луконин. Здесь готовилась новая смена советской литературы. Готовилась одновременно не только воспевать жизнь, но и сражаться за нее всей силой молодого таланта, всей страстью комсомольских сердец. Ведь вдоль границ родины вставали хмурые тучи войны.

Е. Тяжелников в своей книге рассказывает, какое огромное значение в те годы придавалось идейной зрелости нашей литературы, какие серьезные задачи ставились перед молодыми писателями в преддверии военной грозы. «До сих пор среди части молодых писателей не изжиты вредные настроения, выражающиеся в том, что будто бы писателем можно стать без настойчивой работы по поднятию своего общеобразовательного и культурного уровня, — говорилось в совместном постановлении Бюро ЦК ВЛКСМ и Президиума Правления Союза писателей СССР «О работе с молодыми писателями», принятом в 1939 году. — Нередки случаи, когда молодые писатели, не имеющие необходимого общеобразовательного уровня и достаточного жизненного опыта, берутся за литературу как за основную и единственную свою профессию, замыкаясь в кругу узко понятых литературных интересов и отрываясь, по существу, от практики социалистического строительства. Очень часто эти преждевременно профессионализирующиеся молодые

писатели уходят от больших тем нашей социалистической жизни, а с другой стороны, нередко прикрывают так называемой «актуальностью» темы идейно-художественное убожество своих произведений».

Время подтвердило справедливость этих слов. Только находясь в гуще народа, только будучи вместе с ним, разделяя все его радости и горести, можно познать жизнь, величие и красоту характера советского человека. Вот почему и в наши дни комсомол совместно с Союзом писателей СССР делает все возможное для того, чтобы помочь молодой смене многонациональной советской литературы верно осмыслить глубинные процессы развития нашего общества, создать яркие, запоминающиеся образы современников, творить произведения, по-настоящему достойные нашей героической эпохи. Новым важнейшим импульсом для улучшения деятельности в этой области служат постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» и «О работе с творческой молодежью».

Автор рассказывает о серии совместных мероприятий, проводимых Союзом писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. Это и всесоюзные совещания молодых литераторов страны и стран социалистического содружества, и творческая учеба в многочисленных литобъединениях при заводах, фабриках, в воинских частях. Это и неутомимая деятельность крупнейшего издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», издательств «Детская литература», «Малыш», сотен

журналов, газет для юношества и детей. Это, наконец, многочисленные поездки молодых писателей вместе с опытными мастерами слова на ударные стройки пятилетки, в колхозы и совхозы, в дальние гарнизоны, которые организуют Союз писателей СССР и ЦК ВЛКСМ.

Одна из таких встреч с читателями была в Тобольске... Большая площадь, заполненная людьми, да так, что действительно, как говорится, яблоку упасть некуда. Неожиданно, вопреки утреннему прогнозу — проливной дождь. Как нив грустно, но приходится объявлять: «В связи с ненастной погодой встреча...» И внезапно, как раскат грома: «Состоится!» — это ответила многоголосая площадь. Четыре часа под аккомпанемент дождя читали поэты свои стихи. Поистине счастлива та литература, которую так любит и в которую так верит народ!

...И снова в моих руках родной комсомольский билет. В нем два ордена, столько, сколько было на знамени комсомола в грозные дни Великой Отечественной. А сегодня их шесть — шесть орденов, шесть высоких наград родины за подвиг ленинского комсомола в борьбе за коммунизм.

Увлеченно и страстно рассказывает об этом боевом пути Евгений Тяжелников в своей книге «Союз молодых ленинцев». Это замечательный творческий подарок нашей молодежи в канун славного шестидесятилетия ленинского комсомола.

К. М. СЕЛИХОВ.



ВЛИЯТЕЛЬНАЯ СИЛА СОВРЕМЕННОСТИ

Общественность и проблемы войны и мира. М. «Международные отношения». 1976. 319 стр.

Актуальный научный труд, подготовленный советским Фондом Мира и Институтом мировой экономики и международных отношений АН СССР, представляет собой первую попытку всестороннего исследования роли общественности в современных международных отношениях. Он написан авторским коллективом советских общественных деятелей, непосредственно участвующих в движении миролюбивых сил, а также ученых, занимающихся вопросами войны и мира.

Красной нитью через всю книгу проходит мысль о решающей и все возрастающей роли народных масс в истории. По-

ложение это является одной из главных предпосылок вывода о возможности исключить мировые войны из жизни общества и утвердить принципы мирного сосуществования как основу международных отношений. Реальность такого пути зиждется на изменении соотношения сил в мире в пользу социализма, на росте его могущества.

В первом из разделов рассматриваются важнейшие особенности современного движения общественности за мир. Оно ведет свое начало с тех трудных послевоенных лет, когда задача предотвращения третьей мировой войны стала самой неотложной

общечеловеческой проблемой, для которой потребовались решительные совместные усилия всех, кому дорого сохранение плодов труда человечества, жизнь не только нынешнего, но и грядущих поколений.

Всей своей мощью и авторитетом на защиту мира встал Советский Союз, героической борьбой против фашизма завоевавший симпатии народов земного шара. Совместно со Страной Советов выступили другие социалистические страны. Их миролюбивая политика встретила понимание и поддержку людей всех стран и континентов, различных рас и наций, идеологий и мировоззрений. Повсюду стали возникать национальные и региональные движения и организации в защиту мира, объединившие десятки, сотни миллионов человек. Так, например, под Стокгольмским воззванием (1950), открывшим всемирную массовую кампанию, направленную на то, чтобы не допустить развязывания империалистами атомной войны, было собрано полмиллиарда подписей. Стокгольмское воззвание подписало фактически все взрослое население нашей страны.

Не просить, а навязывать мир — этими словами выдающийся французский ученый-гуманист, лауреат Нобелевской премии Фредерик Жолио-Кюри выразил саму суть и призвание всемирного движения сторонников мира. Не только в осуждении агрессивных войн, разоблачении их поджигателей, но и в развертывании активных действий за мир, свободу, национальную независимость видели поборники мира свою основную задачу.

Всемирное движение сторонников мира, отмечается в книге, является единственным действительно универсальным антивоенным движением с точки зрения как географической, так и политической принадлежности его участников. В нем сотрудничает мировая общественность 125 стран, социалистических, капиталистических и развивающихся, — представители самых различных классов и социальных слоев, сторонники разных идеологий, политических систем. Это движение внесло огромный вклад в недопущение развязывания империализмом новой мировой войны, в переход от «холодной войны» к разрядке международной напряженности.

Опыт, накопленный движением миролюбивых сил, серьезные сдвиги, происшедшие в общественном сознании многих социальных слоев на Западе под воздействи-

ем внешнеполитической деятельности СССР и других социалистических стран, Программы мира, выдвинутой XXIV съездом и развитой дальше XXV съездом КПСС, привели к качественному расширению фронта борьбы за мир. Движение общественности против войны, как свидетельствуют материалы книги, не только значительно приумножило свои силы, расширило свою социальную базу, но и обогатило программу, формы и методы борьбы за мир.

Важнейшим событием, определившим цели, направления, задачи антивоенного движения на современном этапе, явился Московский конгресс миролюбивых сил за международную безопасность и разоружение, за национальную независимость, сотрудничество и мир (1973) — крупнейший международный форум в истории движения. В нем участвовали различные политические и социальные силы современности, свыше 3500 делегатов и наблюдателей из 143 стран мира, представители более 1100 национальных и 120 международных организаций и движений.

Участники Московского конгресса выработали общую принципиальную позицию, которая сегодня служит платформой совместных действий. В призыве, с которым выступил конгресс, сформулированы требования народов превратить принципы мирного сосуществования в общепринятую норму международных отношений; ликвидировать расизм, колониализм и неоколониализм во всех их проявлениях; осуществить всеобщее и полное разоружение, направить ресурсы, используемые ныне на военные цели, на искоренение бедности, неграмотности и болезней; добиться более эффективной защиты прав человека; предоставить народам полное суверенное право владеть и распоряжаться своими национальными ресурсами; выполнять решения ООН, отвечающие интересам обеспечения мира, безопасности и справедливости.

В книге детально прослеживаются основные направления деятельности миролюбивых общественных сил. Призыв 28 коммунистических и рабочих партий Европы и Америки к действиям против решения правительства США приступить к производству еще одного вида ядерного оружия, оружия массового уничтожения — нейтронной бомбы, прозвучавший в августе 1977 года, в памятью для человечества дату — тридцать вторую годовщину трагедии япон-

ских городов Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся американской атомной бомбардировке, нашел горячий отклик в сердцах миллионов людей. Многолюдные манифестации, марши протеста состоялись на всех континентах, в городах и населенных пунктах многих государств.

Даже буржуазная печать, которая под дудку заправил военно-промышленного комплекса на все лады расхваливала новое нейтронное оружие, вынуждена признать, что такого размаха выступлений мировой общественности не наблюдалось с дней вьетнамской войны. А тогда, как известно, широкая, энергичная международная поддержка справедливого дела вьетнамского народа сыграла немалую роль в поражении американской агрессии, в том, что США пришлось с позором убраться из Вьетнама.

Правда, некоторые буржуазные пропагандисты, в частности на страницах западногерманских газет «Франкфуртер альгемайне» и «Нойе Рур-цайтунг», пытались заявить, будто широкий размах движения протеста против нейтронной бомбы «инспирирован Москвой», поскольку якобы «выгоден исключительно Востоку». Но всем очевидно, что подобные утверждения — ложь на коротких ногах.

Широкая международная общественность поддержала призыв 28 коммунистических и рабочих партий, откликнувшись на решение Всемирного Совета Мира провести Международную неделю действий против нейтронной бомбы, потому что не хочет, чтобы росла опасность войны, усиливалась гонка вооружений, чтобы были поставлены под угрозу положительные результаты, уже достигнутые в упорной борьбе за укрепление мира и международной безопасности.

В книге глубоко и обстоятельно показано, как гонка вооружений препятствует росту жизненного уровня широких масс населения, лишает народы мира значительной части материальных, трудовых, интеллектуальных ресурсов, необходимых для решения обширного комплекса задач социального прогресса человечества, глобальных проблем, с которыми сталкивается современное общество (защита окружающей среды, продовольственная и энергетическая проблемы и т. д.). Поэтому так актуален призыв XXV съезда КПСС, обращенный ко всем народам, — объединить свои усилия для того, чтобы положить конец пагубной гонке вооружений.

Второй раздел книги содержит развернутый анализ конкретной деятельности важнейших международных общественных организаций и движений, выступающих за мир. Здесь читатель ознакомится с деятельностью самого массового движения современности — всемирного движения сторонников мира и его международного центра — Всемирного Совета Мира, с движением афро-азиатской солидарности, Пагуошским движением ученых, борющихся за предотвращение мировой термоядерной войны и за научное сотрудничество, с семнадцатилетней историей Дартмутских встреч представителей американской и советской общественности для обсуждения насущных международных проблем, со старейшей международной организацией — Межпарламентским союзом, со Всемирной федерацией ассоциаций содействия ООН и другими. На обширном фактическом материале показаны также роль и место во всемирном движении за мир профсоюзов, культурных и молодежных организаций. Особо освещена деятельность общественности Европы, борющейся ныне за полное осуществление договоренностей, достигнутых участниками общеевропейского совещания и вошедших в Заключительный акт, подписанный главами 35 государств два с половиной года назад в Хельсинки.

Широкую поддержку европейской и мировой общественности, как отмечается в книге, встретили положения советской Программы дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, направленные на полное претворение в жизнь Заключительного акта общеевропейского совещания, достижение успеха на переговорах о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Конкретное подтверждение тому — результаты первого этапа Белградской встречи представителей государств — участников общеевропейского совещания в Хельсинки.

В книге «Общественность и проблемы войны и мира» собран богатейший фактический материал, убедительно раскрывающий неодолимое стремление самых широких народных масс к миру и их достижения на этом пути. Залогом новых успехов сторонников мира, подчеркивается в ней, является широкое понимание и единодушная поддержка всей миролюбивой общест-

венностью, всеми честными людьми на земле Программы дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, провозглашенной XXV съездом КПСС. Основные положения ее созвучны тем требова-

ниям, за которые выступает всемирное движение сторонников мира, поэтому выполнение их служит новым крупным шагом вперед за достижение прочного мира.

Б. ЖИРОВОВ.



ВСЕ, ЧТО ВОЗМОЖНО, СБУДЕТСЯ

Евг. Брандис. Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе (Жюль Верн). М. «Молодая гвардия». 1976. 223 стр.

С то пятьдесят лет назад, 8 февраля 1828 года, родился человек, без которого некоторые важные события XX века скорее всего приняли бы иной облик.

Применительно к Жюлю Верну, о ком идет речь, это утверждение может показаться преувеличенным, ибо он никогда не числился в ряду великих художников слова, мыслителей и преобразователей, которых мы единственно привыкли наделять мощным влиянием на ход отдаленных событий. Впрочем, не будем забегать вперед. Жизнь самого Жюля Верна, а тем более судьба книг основоположника научной фантастики не менее парадоксальна, чем сюжеты его фантастических романов. В этом лишний раз убеждаешься, читая книгу Евг. Брандиса «Впередсмотрящий».

К биографии возможен, условно говоря, писательский и научный, литературоведческий подход. Тому и другому присущи свои достоинства и свои недостатки. В писательском подкупает живость образа, увлекательность рассказа, но в жертву этому часто приносится правило «никаких домыслов!». Истинный литературовед, наоборот, предельно точен, однако логика фактов, даже когда их хватает, подобна работе фотокамеры — возникает снимок, а не портрет. Немногие биографии такого типа избегают безжизненности.

«Впередсмотрящий» — книга писателя и литературоведа одновременно. Евг. Брандис известен, пожалуй, как лучший у нас в стране знаток и исследователь творчества Жюля Верна. Основа его книги строго документальная. Здесь Брандис вводит новый, обширный, прежде неизвестный материал (семейные архивы Жюля Верна и архив его издателя попали к литературоведам в основном лишь недавно и высветили массу дотоле скрытых, подчас неожиданных обстоятельств жизни писателя). Автор ставил перед собой двуединую задачу:

не только исследовательски осмыслить жизнь и творчество Жюля Верна, но и создать достоверный, художественно убедительный образ основоположника научной фантастики.

Синтез, в общем, удался. Книга читается легко, живо, увлекательно. Великолепное владение материалом позволяет автору где надо «правду факта», не уклоняясь в досужий вымысел, дополнить «правдой характера». Так возникает убедительный и объемный образ того, кому посвящена книга. Не менее интересен и ход исследовательской мысли самого автора, он побуждает о многом задуматься.

Молодой Жюль Верн — типичный герой Балзака, провинциал с претензиями на литературную славу. Все как в романах: парижские мансарды, полуголодное существование, богема, лихорадочный поиск заработка, бесконечные пробы пера, родители, которые настойчиво требуют, чтобы сын занялся «серьезным делом», мелкий литературный успех, радужные надежды и жестокие разочарования, выматывающий бег в колесе. Но среди всех неудач Жюль Верн упрямо заявляет: «Я не сомневаюсь в своем будущем. К тридцати пяти годам я займу в литературе прочное место».

Пока в этом нет ничего особенного: без веры в себя ничего нельзя добиться. Любопытней другое. Задолго до своего громкого заявления еще совсем юный Жюль Верн пишет, что надо «улавливать новейшие веяния, следить за различными фазами, через которые проходит литература... Нужно глубоко постигнуть современный жанр, чтобы угадать предстоящий!».

Жизнь, однако, обламывала и не таких... В тридцать с лишним лет Жюль Верн — пример писателя-неудачника. Ни славы, ни имени, ни денег — ничего! Сданы, казалось бы, все позиции: он биржевой маклер, добротпорядочный семьянин, мелкий, каких

пруд пруди, буржуа. И все-таки он продолжает писать и повторяет, что в тридцать пять лет должен занять в литературе прочное место...

И выполняет свое обещание в точно намеченный срок!

Фантастика жизни. Словно какой-то автотопилот неукоснительно вел писателя к цели... Просто так отмахнуться от этой мысли нельзя. Уже в юности Жюль Верн обладал колоссальной работоспособностью, живым умом, талантом (некоторые сочиненные им пески имели вполне заслуженный успех). Но отдачу дало лишь обретение того самого «предстоящего жанра», о котором задумывался юный Жюль Верн.

В чем же он состоял, почему так труден и долг оказался к нему путь?

Для многих предисловий и биографий типична фраза: «Имярек жил в то бурное (переходное, переломное) время, когда...» Штамп работает безотказно, поскольку так можно охарактеризовать любой отрезок истории. Все же время Жюль Верна было и вправду переломным, ибо во многих странах тогда развернулась первая в истории промышленная революция. Именно поколение Жюль Верна наглядно столкнулось с феноменом бурного технического прогресса. В жизнь вторглось что-то новое, будоражащее, необычное. Что означает этот натиск машин? Куда мчится поезд прогресса? Что сулит? Эти вопросы носились в воздухе.

А литература за редким исключением помалкивала. Она очень глубоко и точно освещала социальные процессы и немела перед феноменом промышленного, технического и научного прогресса. Новый объект действительности был слишком непривычен, чужд прежнему литературному опыту и традициям. Требовалось новое видение и понимание, даже иная, чем прежде, поэтика.

Поиск, естественно, шел. Вот что, познакомившись с творчеством Эдгара По, записали в «Дневнике» братья Гонкуры: «После чтения По нам открылось нечто такое, что критики оставили без внимания. По — это новая литература, литература XX века, научное фантазирование, фабула, построенная, как А+В, литература болезненная и до предела логичная... Воображение, выверенное анализом... роман будущего, призванный больше описывать то, что происходит в мозгу человечества, чем то, что происходит в его сердце».

Время уточнило эту формулу, и первым внес поправку Жюль Верн, уж его-то «научное фантазирование» менее всего можно назвать болезненным! Да и отсчет становления научной фантастики, обращенной все же более к сердцу, чем к уму, мы ведем не с Эдгара По, а с Жюль Верна.

Вглядываясь задним числом в его молодые годы, мы видим и жадный интерес к науке, технике, и до поры до времени неосознанное накопление громадного материала, и упорное самообразование, без которого вообще лучше не приближаться к темам научной фантастики, и робкие попытки выразить себя в новом жанре. Река не знает, почему она торит свое русло так, а не иначе. Человеку дано понять требования века и сообразовать с ним свои возможности и устремления. Кому это удается, тот оказывается на гребне.

Успех Жюль Верна был ошеломительным: за его романами выстраивались очереди, они обошли весь мир. Не только их внимательность была причиной — мало ли тактик! Жюль Верн давал ответы на волнующие, неудовлетворенные, часто невысказанные вопросы.

К достоинствам книги Евг. Брандиса относится пристальный и вдумчивый интерес автора вот к этой взаимосвязи писателя со временем. Надо ли говорить, что эта проблема не устарела? Как и другая, более частная, но тоже важная, которую автор затрагивает. А именно: стал бы Жюль Верн Жюлем Верном, не будь Этцеля? Того самого издателя, который умно отредактировал его первый роман? Мгновенно заключил с новичком долгосрочный договор на регулярное издание двух-трех книг в год и положил ему гонорар примерно такой же, какой получили Жорж Сада и Бальзак?

Без Этцеля Жюль Верн скорей всего не смог бы так полно реализовать себя. Его творческое наследие огромно. В романах путешествий и приключений он не был новатором, но, между прочим, ни до, ни после никто не дал столь всеохватывающего описания земного шара. Жюль Верна называют «отцом научной фантастики»; пожалуй, его можно назвать еще и «отцом научной популяризации». Теперь все эти жанры разошлись по закону дифференциации, но в творчестве Жюль Верна они еще были слиты.

Все же мы выделяем заслуги Жюль Верна как человека, который понял, что

научно-технический прогресс как бы переводит нас из одного, вчера, казалось бы, фантастического мира, в другой, еще более необычный. И эта литературная, окрыленная научным дальновидением фантазия не сказка, не занимательное чтение, а созидаящая сила.

Подтверждением тому стали труды великого основоположника теоретической космонавтики. Почему мысль Циолковского обратилась именно к космосу? Константин Эдуардович сам ответил на этот вопрос: «Стремление к космическим путешествиям заложено во мне известным фантазером Ж. Верном. Он пробудил работу мозга в этом направлении». О том же самом, о могучем влиянии Жюль Верна на выработку их устремлений, писали Нансен, Маркони, Обручев, Кастере, Пиккар, многие другие выдающиеся ученые, путешественники, инженеры, изобретатели—люди, без чьих трудов и открытий XX век во многом выглядел бы иначе. Связь между количеством и качеством фантастики, ее читаемостью и обликом завтрашней технологии теперь настолько очевидна, что это уже стало темой научных исследований. Не в том ли смысле Менделеев называл Жюль Верна научным гением?

И над этим побуждает задуматься книга Евг. Брандиса. Однако долгую жизнь произведения Жюль Верна обеспечили не технические, быстро устаревшие фантазии, тем более не популяризаторские вкрапления в них. И дело не только в том, что именно в творчестве Жюль Верна громко прозвучала столь актуальная сейчас тема социальной ответственности науки, которая в зависимости от устройства общества, морали и нравственности людей может быть использована как во благо, так и во

зло. Без капитана Немо роман «80 000 километров под водой», очевидно, давно бы исчез с читательского горизонта. Но, в свою очередь, капитан Немо ничто без «Наутилуса». Двуединство литературы и науки в творчестве Жюль Верна нерасторжимо, но книги его созданы и живут по законам большой литературы, недаром ими восхищались такие мастера, как Стендаль, Тургенев, Лев Толстой.

И тут возникает очередной парадокс. Критика никогда не причисляла Жюль Верна к сонму классиков литературы; кому же не ясно, что художественные достоинства книг фантаста куда скромней достоинств произведений его великих современников в той же Франции? Однако наступили 70-е годы нашего века, и Жюль Верн по числу переводов оказался на третьем месте среди писателей всех времен и народов! Не потому ли, что в разгар научно-технической революции жизнь ставит перед литературой приблизительно такие же, как во времена Жюль Верна, проблемы? Не оттого ли новые поколения читателей так устремились к фантастике вообще и книгам «старомодного» Жюль Верна в частности, что ищут в них какой-то иным способом невозполнимый духовный заряд?

Развернутый ответ лежит вне рамок рецензии. Ограничимся немногим. Все, что возможно, сбудется! — считал Жюль Верн. Жизнь это подтвердила. А без представлений, что и как может сбыться, без ответа на эти вопросы, без духовного освоения пространств грядущего человек сравнялся бы с животным. Выполнить же задачу такого освоения может прежде всего литература. Обращаясь к Жюль Верну, мы лишний раз убеждаемся в этом.

Дмитрий БИЛЕНКИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



Н. М. МАТУЗОВА. Рабочий класс в художественной литературе ФРГ. Киев. «Наукова думка». 1977. 375 стр.

Интерес к рабочей теме в литературе ФРГ возрос в конце 60-х годов. Здесь сыграла свою роль и угроза экономического кризиса и активные выступления рабочих, прежде всего в Рурской области. Однако главная причина кроется в самом процессе политизации литературы ФРГ, вызванном стремлением противопоставить низкопробной литературной продукции новые произведения, обнаруживающие тенденцию к острой социальной критике, произведения о рабочих и для рабочих.

Н. М. Матузова, посвятив свою новую книгу исследованию литературы ФРГ о рабочем классе, ставит и решает актуальные проблемы изучения западногерманской литературы.

Буржуазные идеологи без усталости говорят о стирании классовых противоречий в капиталистическом обществе. Книга Н. М. Матузовой аргументированно опровергает подобные концепции, а также и домыслы «левых» ревизионистов, которые отстаивают тезис об утрате рабочим классом его ведущей роли в борьбе за революционное преобразование мира.

Автор книги дает исторический обзор развития и становления немецкой литературы о рабочих, рассматривает, и это особенно важно и интересно, идейное содержание и художественную специфику различных жанров литературы ФРГ о рабочем классе, таких, как поэзия, документальная проза, романы, анализирует творчество известных писателей Ганса Гюнтера Вальрафа, Макса фон дер Грюна, а также целого ряда менее известных у нас поэтов и писателей ФРГ.

Автор стремится ознакомить читателя не только с мировоззренческой концепцией того или иного художника, но и с его творческой эволюцией. Н. М. Матузова справедливо утверждает, что литература о рабочем классе не однородна, что борьба различных идейных направлений идет не только внутри этой литературы, а и вокруг нее, что вызвано воздействием социальной и духовной атмосферы страны.

Тем не менее заслуги западногерманской литературы о рабочем классе бесспорны, и они четко выделены автором рецензируемой монографии. Прежде всего эта литература способствовала развитию социально-критических традиций, что, в свою очередь, при-

вело к возникновению в ФРГ литературы демократического, социалистического направления. Социалистическая литература ФРГ стремится к художественному отражению действительности с позиций революционного пролетариата, ведет борьбу против попыток буржуазных идеологов утвердить тезис об отсутствии в современном капиталистическом обществе антагонистических противоречий, о «партнерстве» рабочих и предпринимателей.

Н. М. Матузова отмечает успехи литературы ФРГ о рабочем классе в художественном воссоздании образа рабочего, раскрытии его внутреннего мира и его многообразных взаимосвязей с нравственной и политической атмосферой эпохи. Образ рабочего дается в тесном переплетении общественного и личного. Автор монографии отмечает также искреннюю симпатию писателей к своим героям-рабочим, воплощающим лучшие человеческие качества, присущие людям труда. И что представляет особую важность, это пока единичные удачные образы рабочих-коммунистов, осмысленные в художественном плане.

Прогрессивные писатели ФРГ серьезно задумываются над теоретическими и практическими аспектами дальнейшего развития социалистической литературы. Н. М. Матузова анализирует тот круг сложных задач, которые стоят перед этой литературой. В целом же одна из центральных проблем современной западной литературы — проблема «свободы выбора» — решается в лучших произведениях о рабочем классе как сознательный выбор человеком своего места в общественной борьбе нашего времени.

В предисловии к книге ее автор свою основную задачу видит в том, чтобы отмеченную историко-национальную спецификой литературу ФРГ о рабочем классе представить и как один из важных факторов в становлении современной прогрессивной культуры в капиталистических странах.

Думается, что Н. М. Матузовой удалось в своем исследовании решить эту задачу, что позволило ей прийти к следующему выводу: литература ФРГ о мире труда и рабочем классе сможет активно противостоять теории и практике модернизма, а процессы осознания художниками революционизирующей роли рабочего класса приведут к активизации всей литературы ФРГ в деле борьбы за прогресс и демократию во всем мире.

Г. Егорова,

кандидат филологических наук.

Н. ЯНОВСКИЙ. Леонид Иванов. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 1977. 64 стр.

Читатель, следящий за нашей литературной периодикой, должно быть, помнит, как в середине 50-х годов вспыхнули споры вокруг нового имени — Леонид Иванов. Помнит редкий в журналистике эпизод: в 1957 году «Новый мир» перепечатал из «Сибирских огней» очерк Л. Иванова «Сибирские встречи» с доброжелательным предисловием Г. Маркова. Потом автора очерка взволнованно и горячо поддержал в «Литературной газете» Валентин Овечкин... С тех пор прошло два десятилетия. Иные из очеркистов, начинавших писать о деревне в 50-е годы, давно уже работают в более «солидных» жанрах. Л. Иванов по-рыцарски остался верен и теме и жанру. Он постоянно даже в «географии» своих очерков: по-прежнему пишет о родных местах Калининской области, о селах Западной Сибири, ставшей его второй родиной.

Маршруты остаются прежними. И вместе с тем всякий раз оказываются новыми. Мы убеждаемся в этом опять, читая книгу, посвященную творчеству Л. Иванова: ведь очеркист не хроникер, но аналитик; уходит одни проблемы — появляются другие. Их диалектика особенно хорошо различима на одном и том же жизненном материале.

Как бы раздвигая границы объявленной темы (творчество одного писателя), автор книги Н. Яновский показывает плодотворность, жизненность овечкинской традиции в современном деревенском очерке, которую развивает Л. Иванов.

Исследователь подчеркивает очень важную особенность работ очеркиста — их проблемность и конструктивность. Действительно, мы всегда встретим у Л. Иванова не только принципиальную критику недостатков, но и размышления о стиле руководства сельским хозяйством, и обобщение ценного опыта, и конкретные предложения, которые очеркист подробно аргументирует и с редкой последовательностью стремится претворить в жизнь.

В теоретическом плане, может быть, более других интересны те страницы книги, где Н. Яновский анализирует структуру очерков Л. Иванова, раскрывая внутреннюю природу его публицистичности.

Наблюдая путь очерка за два минувших десятилетия, Н. Яновский развивает и по своему подтверждает прозвучавшую когда-то парадоксально мысль Марка Щеглова: «Очерк, как известно, в силу своих специфических черт предоставляет писателю широкую возможность самовыражения. Этим своим качеством очерк близок — как ни покажется на первый взгляд удивительным — лирическому стихотворению». Как всякий большой талант, М. Щеглов был прозорлив и проницателен даже в мелких замечаниях «по поводу».

В очерках Леонида Иванова, где так много места занимают обычно статистические выкладки, расчеты, агрономические и иные

специальные рассуждения, Н. Яновский справедливо обнаруживает на редкость привлекательный «образ автора», сложный «образ движущегося времени». Именно это, полагает исследователь, придает очеркам Л. Иванова эстетическую ценность и значимость; именно это в конце концов делает его очерки (как всякую отличную публицистику) фактом подлинной литературы.

Да, не раз обнаруживает Н. Яновский истинную поэзию жизни за негромкой, сухой, сухой ее прозой. Писатель-очеркист не устает задавать и себе и читателю непростые вопросы, упрямо, настойчиво искать на них ответы.

Критика наша уже немало сделала для разработки теории очерка. Однако все еще редки работы о крупных, активно действующих очеркистах-деревенщиках. Книга Н. Яновского в какой-то мере восполняет этот пробел. Читая ее, думаешь о живых проблемах и вопросах. И о том, чем живет литература, и о том, чем живет деревня...

Е. Цейтлиш.

Кемерово.



МИХАИЛ ЦАРЕВ. Малый театр. М. «Московский рабочий». 1976. 128 стр.

Историю театра нашей страны невозможно представить без Московского Малого. Его роль в общественной жизни, в распространении свободолобивых идей, подлинного гуманизма трудно переоценить. Театр «научил меня, — писал К. С. Станиславский, — смотреть и видеть прекрасное... Стал тем рычагом, который управлял духовной, интеллектуальной стороной нашей жизни».

Отглядываясь на полуторастолетний путь театра, его нынешний руководитель Герой Социалистического Труда, народный артист СССР Михаил Иванович Царев пишет: «Старейший русский театр — Московский Малый —... на протяжении всей своей истории верой и правдой служил и служит народу». К этим словам, нет сомнения, присоединятся миллионы зрителей — поклонников искусства Малого.

Страницы книги воскрешают непреходящие традиции реализма театра. С Малым неразрывно связано имя Михаила Семеновича Щепкина, создавшего непревзойденные образы героев гоголевских комедий. Здесь играл и другой великий русский актер, Павел Степанович Мочалов, «слава и гордость русского искусства». Сцене Малого безраздельно, полностью отдал свои «пьесы жизни» Александр Николаевич Островский.

Об артистической династии Садовских, актерах великой правды, о Гликерии Николаевне Федотовой, актрисе «щепкинской складки», о Марии Николаевне Ермоловой, Жанне д'Арк русского театра, о выросшей к началу нашего века большой плеяде таких замечательных актеров, как Е. Д. Турчанинова, В. Н. Рыжова, В. Н. Пашенная,

В. О. Массалитинова, Е. М. Садовская, И. А. Рыжов, в книге рассказано ярко и увлекательно.

Великий Октябрь открыл новую эпоху и в Московском Малом. Зритель, пришедший в театр с заводских окраин, из солдатских казарм, по-своему оценивал происходящее на сцене, его необычная реакция не только будила у актеров новые чувства, но и раскрывала перед ними новые «спектры разыгрываемых пьес».

О первых послеоктябрьских шагах театра, поиске созвучного времени репертуара, о постановке горьковских пьес, об «автономии» управления театром, организации филиала на Таганской площади — обо всех этих и многих других делах Малого автор пишет достоверно, с большим знанием театроведческого материала. Его летопись обогащена свидетельством о посещении театра в 1919 году В. И. Лениным, смотревшим спектакль «Старик» Горького и хорошо отзывавшимся об игре актеров. Привлекает внимание и помещенный в книге отзыв А. В. Луначарского о постановке пьесы А. К. Толстого «Посадник», в котором нарком констатирует, что «настоящий подлинный пролетариат валом валит в такой театр, как Московский Малый театр...».

Проходит несколько лет. Постановками пьес В. Билль-Белоцерковского «Лево руля», А. Луначарского «Оливер Кромвель» и другими театр подготавливает сцену для пьесы К. Тренева «Любовь Яровая», а затем и для «Скутаревского» Л. Леонова, «Бойцов» Б. Ромашова, «На берегу Невы» К. Тренева, «Славы» В. Гусева. Примечательны приведенные на страницах книги слова В. Н. Пашенной, исполнительницы роли Любови Яровой, о том, что творчество Тренева «помогло русскому актеру до конца осознать волнующий перелом, который произошел в каждом из нас в дни Великой Октябрьской революции».

«Чувство единой дружной семьи, особенно обострившееся в годы испытаний в каждом советском человеке, вдохновляло коллектив Малого театра в его деятельности во время войны». Во главе фронтовых бригад становятся старейшие актеры театра: П. М. Садовский, Е. Н. Гоголева, И. В. Ильинский, А. А. Остужев, М. Ф. Ленин. Сотни концертов, выступлений, порой целые спектакли ставил театр на разных фронтах, воодушевляя советских воинов на подвиги во имя победы. Духовная связь театра с народом, с жизнью страны в те грозные годы еще более окрепла. В это же время Малый осуществляет новую постановку пьес А. Корнейчука «Партизаны в степях Украины», «Фронт», Л. Леонова «Нашествие», не переставая показывать зрителю и свой классический репертуар.

Главы книги, охватывающие послевоенное время, посвящены новым спектаклям о нашем современнике. Среди них «За тех, кто в море!» Б. Лавренина, «Великая сила» Б. Ромашова, «Русский вопрос» и «Русские люди» К. Симонова, «Птицы нашей молодости» И. Друцэ. Благодарный зритель признателен Малому театру за близость к

жизни, за то, что его спектакли воспитывают гуманизм, гражданственность, патриотизм, интернационализм.

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их». Эти слова В. И. Ленина, сказанные им в беседе с Klarой Цеткин и приведенные в конце книги, полностью относятся к Малому театру. Его искусство принадлежит народу, которому театр всегда служил и служит верой и правдой.

Вл. Андреев,

народный артист РСФСР.

Ф. Поварков.



И. ДУБИНСКИЙ, Г. ШЕВЧУК. Червонное казачество. Киев. Политиздат Украины. 1977. 220 стр.

Гражданская война на Украине была не менее ожесточенной и кровопролитной, чем в России. К тому же классовый характер противоборства враждующих сторон здесь осложнялся тенденциями так называемой самостийности, не только выразившими националистические устремления эксплуататорских классов, но и имевшими целью вбить клин между украинскими трудящимися и их русскими братьями.

Возникшая еще в марте 1917 года Центральная рада Украины состояла из лидеров буржуазно-националистических партий — Грушевского, Винниченко, Петлюры. После Октября рада, стремясь не допустить установления на Украине рабоче-крестьянской власти, усиленно стала создавать воинские части, демагогически названные «вольным казачеством». Пролетарские центры Харьков и Донбасс ответили на это созданием Червоного казачества, с первых дней своего существования стяжавшего славу беззаветной храбростью и классовой солидарностью. Об истории этих соединений, о подвигах червоных казаков повествуется в рецензируемой книге. Днем рождения Червоного казачества можно считать 29 декабря 1917 года, когда Народный Секретариат Украины по военным делам одобрил инициативу Примакова о формировании первой революционной воинской части и наименовал ее Первым полком Червоного казачества. Командиром этого полка, состоящего из 700 добровольцев, был назначен Виталий Маркович Примаков, будущий начдив Червоного казачества, будущий командарм.

Конники Примакова выбивали сечевиков и гайдамаков из Полтавы и Кременчуга, Бахмача, Нежина и Киева, дрались бок о бок с посланцами российского пролетариата и латышскими стрелками. Червоные казаки сражались также против немецких оккупантов и денкинцев. Путь полка Би-

таля Примакова, переросшего в бригаду, а позднее в дивизию, пролегал не только по земле Украины. В наиболее напряженный для советской власти период гражданской войны, когда армия Деникина рвалась к Москве и, овладев Орлом, развивала наступление на Тулу, на помощь русским братьям пришло Червонное казачество. Конникам Виталия Примакова принадлежит немалая заслуга в том, что отборные офицерские полки генерала Кутепова, корниловцы, алексеевцы, дроздовцы и прочие были разбиты и бежали из Орла, Харькова, Донбасса, Ростова-на-Дону...

Авторы прослеживают весь боевой путь Червонного казачества, с документальной достоверностью воспроизводят множество схваток и затяжных сражений, рисуют целую галерею портретов бойцов и командиров Червонного казачества: и самого В. Примакова, и комиссара Е. Петровского, и начальника штаба С. Туровского, и комбригов П. Григорьева и П. Потапенко, а также бойцов и командиров, выросших впоследствии в крупных военачальников, таких, как Маршал Советского Союза П. Кошевой, Маршал войск связи И. Пересыпкин, генерал-полковники Ф. Жмаченко и В. Крамар...

«На золотые страницы истории освобождения рабочих и крестьян от ига капитала и царских генералов будет занесено имя червонных казаков... Мы, рабочие, находясь в тылу, ни на минуту не остановим своей работы для того, чтобы вы, красные герои, не испытывали на фронте нужды ни в обмундировании, ни в оружии, ни в патронах, ни в снарядах. В знак единства, в знак спаянности рабочих с фронтом протягиваем вам руку, дорогие червонные казаки!» — говорилось в приветствии рабочих Москвы.

Очень показательна оценка действий червонновцев, данная членом Реввоенсовета Южного фронта Серго Орджоникидзе в телеграмме на имя Владимира Ильича Ленина: «Лучшие полки противника, дроздовский и самурский, так называемая белая гвардия, в боях между Льговом и Дмитриевом разгромлены благодаря смелому удару красной конницы т. Примакова».

Победный путь Червонного казачества, громившего еще и врангелевцев, и белополяков, и махновцев, явился наглядным подтверждением пророческих слов В. И. Ленина, писавшего в декабре семнадцатого года, что «в самой Украине революционное движение украинских трудящихся классов за полный переход власти к Советам принимает все большие размеры и обещает победу над украинской буржуазией в ближайшем будущем».

О подвигах Червонного казачества и его легендарном командире Виталии Примакове историками написано до обидного мало. Вот почему книга И. Дубинского и Г. Шевчука «Червонное казачество» представляет собой интересное и полезное современному читателю издание.

Владимир Даневбург.

О. П. ВОРОНОВА. Вера Игнатьевна Мухина. М. «Искусство», 1976. 189 стр.

Обилие фактов придает книге документальность. Краткие воспоминания друзей, высказывания художников о творчестве замечательного советского скульптора Веры Мухиной, ее собственные раздумья об искусстве и жизни придают книге подлинную значительность. Не злоупотребляя терминологией искусствознания, автор излагает тщательно собранный материал так, что личность Мухиной оживает в представлении читателя, вызывая его пиетет перед великим талантом, рождая безграничное чувство уважения к сложному, сильному, справедливому характеру этой удивительной женщины.

Биография светской барышни, пренебрегшей и богатством и «светом» во имя служения Родине. Биография художника беспокойного, ищущего, умеющего объективно проанализировать все сильные и слабые стороны произведений своих русских и французских учителей. Биография становления таланта, всем сердцем, всей практикой мастера принявшего и утверждавшего новь советского искусства.

Отрицая и осуждая формализм и натурализм, так как приверженцы обоих течений добровольно отказываются от богатства ощущений и для них характерна «духовная скудость», Мухина считает, что «социалистический реализм рождается из честного творчества художника, проникнутого социалистическим мироощущением. Если у тебя нет социалистического мироощущения, то нет и социалистического реализма». Подобные высказывания рассыпаны по всей книге. И чем больше вы углубляетесь в эти страницы, чем дольше следите за развитием (до последнего дня развитием!) взглядов и художнических принципов скульптора, тем ярче высветляется главная черта Мухиной — единство, гармония ее характера человека и творца.

Показателен случай, происшедший после возвращения из Парижа с Международной выставки, где советский павильон был увенчан скульптурой «Рабочий и колхозница». Эта вещь, получившая всемирное признание как непревзойденный образец нового искусства молодой социалистической страны, теперь известна всем. А тогда Мухина, принимая поздравления и награды, не только радовалась, но и... огорчалась: ей казались несправедливыми похвалы, расточаемые ей одной. «Очень жаль, что лучшие работники не были награждены. Те, кто сделал больше всех», — говорила она. Долгие месяцы писала Мухина в Комитет по делам искусств, доказывая, как велик вклад в общее дело создания скульптуры «лучших работников». В результате архитектор Иофан, инженеры, мастера цехов, слесари, шлифовальщики получили награды и поощрения.

Да, недаром «гражданственность она понимала как обличение несправедливости и сражение за добро». Но гражданственность Мухиной и ее работ сказывалась и в их публицистичности и в их удивительной че-

ловечности. Знаменитая группа «Требуем мира!» была охарактеризована самой Мухиной как агитационная скульптура.

Все ужасы войны, горе страны и личные горести не отвратили ее от работы повседневной, разнообразной, насыщенной огромной требовательностью к себе. Она была занята не только скульптурой. Она выступает на митингах и в печати как страстный поборник мира: «Мир нужен человечеству, как воздух. Без мира нет счастья, нет радости, нет творчества — этого верного признака высочайшего развития человеческого духа, нет и самой жизни... Иногда искусство призывает не только к мягкости — оно призывает к борьбе за будущее благо и к борьбе жестокой и беспощадной, и в этой борьбе за лучшую жизнь искусство как средство прямого эмоционального воздействия, может быть, есть оружие наиболее сильное...»

Так она говорила и писала, так и творила.

Рецензируемая книга значительна и тем, что показывает Веру Игнатьевну Мухину как художника и человека многогранного, с широкими эстетическими интересами, огромными знаниями и большой любовью к людям. К чему бы ни прикасалась рука Мухиной — все оживало, все радовало, все восхищало миллионы людей. Впрочем, эта фраза напрасно написана в прошедшем времени, ибо все созданное Верой Мухиной живет в настоящем и останется в будущем.

Анна Илупина.



ФРАНСИСКО МЕРОНЬО. И снова в бой. Воспоминания испанского летчика — участника Великой Отечественной войны. М. Воениздат. 1977. 184 стр.

Автор книги родился в Испании, в рабочей семье строителя. С малых лет он помогал отцу — таскал камни, месил глину. Однажды мать дала ему несколько монет, на которые он решил купить билет в кино. Знаменитый в свое время французский фильм «Крылья», поставленный на сюжет воздушных боев в первую мировую войну, произвел на подростка сильное впечатление. Так родилась мечта стать летчиком. Но в королевской Испании путь в авиацию для бедняков был закрыт.

В феврале 1936 года на выборах в кортесы победили партии Народного фронта, в стране стали проводиться первые демократические реформы. Однако вскоре группа генералов-фашистов подняла мятеж против законного республиканского правительства. Так в Испании началась гражданская война, переросшая в национально-революционную войну испанского народа против внутренней контрреволюции и германско-итальянской интервенции. В ходе ожесточенных боев создавалась новая республиканская армия и в ее составе авиация. Франсиско Мероньо, которому едва исполнилось семнадцать, с радостью воспользо-

вался возможностью осуществить заветную мечту. С первой группой молодых испанцев он отправляется в Советский Союз. «Вместе со мной, — пишет он, — в Кировабаде летные курсы, первый выпуск, окончили 200 испанских юношей. 180 из них погибли на фронтах: одни — в Испании, другие — как участники Великой Отечественной войны». И Франсиско Мероньо становится летописцем боевых дел испанских летчиков, сражающихся в советских военно-воздушных силах. Он пишет о тех, о которых в волнующей песне Расула Гамзатова есть строка: «С кровавых не пришедшие полей...»

После поражения испанской республики автор книги со многими другими испанцами находит убежище в Советском Союзе. С первых дней вероломного нападения гитлеровской Германии на нашу страну, верный своему интернациональному долгу пролетарской солидарности, он вступает в ряды Красной Армии и на протяжении всей Великой Отечественной войны сражается как летчик-истребитель.

После войны Франсиско Мероньо написал две книги — «В небе Испании» и «И снова в бой», где проявляется и его несомненный литературный талант. Вот как описывает он расставание нескольких испанских летчиков, отправлявшихся на фронт. Они стоят у станции метро «Кировская» — Доминго Бонилья, Хосе Паскуаль Сантамария и сам Франсиско Мероньо.

«Еще один шаг и...»

— До свидания, а может быть, прощай, дорогой друг!..

— Когда мы еще увидимся?

— Кто знает? Война! Ты что-нибудь за был?..

— Ничего. Хотел только тебе сказать... Если мы вернемся в Мадрид, запомни мой адрес: Франко-Родригес, 47, район Колония Виста, 37, Мадрид. Конечно, вернемся после победы над фашизмом!»

...125-я дивизия. В ее составе Франсиско Мероньо защищает небо над Тулой. Скупое упоминает он о своих вылетах и схватках с врагом в воздухе и вновь возвращается к погибшим друзьям. Хосе Паскуаль Сантамария, с которым Мероньо расстался на станции метро «Кировская», отправляется на Сталинградский фронт. Комиссар полка просит его выступить на митинге перед рабочими тракторного завода. В полуразрушенном цехе Хосе обращается к рабочим со страстной речью:

«Товарищи!.. — Он набирает побольше воздуха в легкие и продолжает: — Все мы хорошо знаем, что борьба против фашизма началась в Испании. Мы, испанцы, и советские добровольцы вместе несколько лет шли дорогами войны... Там, на нашей испанской земле, навечно остались замечательные советские люди. Вместе с нами они защищали испанскую землю и небо. Сегодня нам, испанским коммунистам, выпала судьба вместе с вами защищать Сталинград...»

Самоотверженно сражался Хосе Паскуаль Сантамария и навечно остался в земле Сталинграда.

Автор этой небольшой, но во многом замечательной книги прожил сложную и трудную жизнь. Он считает ее прекрасной, вспоминая волнующие события, опаснейшие перипетии битв. У него добрые, немного грустные глаза, по-детски доверчивая улыбка, чуть смуглое лицо с тонкими, на испанский манер усиками. Глядя на

этого застенчивого человека, трудно угадать в нем отважного воздушного бойца, сражавшегося в двух войнах, не раз встречавшего смерть и чувствовавшего ее холодное дыхание.

Военное издательство выпустило еще одну хорошую книгу, полезную для нашей молодежи, рассказывающую о нерушимом интернациональном братстве народов.

Л. Василевский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Доклад о партийной программе на VIII съезде РКП(б) 19 марта 1919 года. 23 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? 223 стр. Цена 35 к.

Г. Алиев. Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. 39 стр. Цена 10 к.

Проблемы международной политики КПСС и мирового коммунистического движения (Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции «XXV съезд КПСС и развитие марксистско-ленинской теории»). 198 стр. Цена 70 к.

Ш. Рашидов. 60-летие Великого Октября и торжество пролетарского интернационализма в СССР. 39 стр. Цена 10 к.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 11. Ноябрь 1975—июнь 1977 г. 735 стр. Цена 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Дунаев. Японцы в Японии. Очерки. 144 стр. Цена 30 к.

М. Каминский. Своими руками. Воспоминания полярного летчика. 382 стр. Цена 95 к.

В. Тендряков. Граждане Города Солнца. 429 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Д. Краминов. Последние окопы. Публицистические очерки. («Писатель и время») 95 стр. Цена 15 к.

На меридианах дружбы. Переводы. Предисловие С. Дангулова. Составитель Н. Тюльпинов. 288 стр. Цена 90 к.

С. Орлов. Верность. Стихи. 78 стр. Цена 41 к.

В. Рождественский. Жизнь слова. Беседы о поэтическом мастерстве. («Писатели о творчестве») 143 стр. Цена 25 к.

К. Симонов. Япония-46. Очерки. 341 стр. Цена 65 к.

В. Сырокомский. Что они знают о нас. Публицистические очерки («Писатель и время») 88 стр. Цена 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Мюзм. Луна и грош. Роман.— Рассказы. Перевод с английского. 391 стр. Цена 2 р. 40 к.

Н. Огарев. Избранное. 446 стр. Цена 2 р. 10 к.

Г. Рамос. Сан-Бернардо. Роман.— Рассказы. Перевод с португальского. 216 стр. Цена 1 р. 20 к.

Т. Сэдэнбеков. Среди гор. Роман. Кн. 1—2. Перевод с киргизского. 608 стр. Цена 3 р. 16 к.

И. Тауфер. Стихи. Перевод с чешского. 173 стр. Цена 55 к.

А. Фадеев. Материалы и исследования. 670 стр. Цена 2 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Атаров. Дальняя дорога. Литературный портрет В. Овечкина. 167 стр. Цена 35 к.

А. Ахматова. Стихотворения и поэмы. («Библиотека поэта». Большая серия) 558 стр. Цена 2 р. 70 к.

Н. Тихонов. Шесть колонн. Книга повестей и рассказов. 334 стр. Цена 1 р. 49 к.

М. Хублев. Рассказы Алана. Шутки, притчи, заметки. Перевод с карачаевского. 104 стр. Цена 30 к.

М. Шагинян. Зарубежные письма. 656 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Н. Байтеряков. Черемуха в цвету. Стихи и поэма. Перевод с удмуртского. 64 стр. Цена 30 к.

В. Перцов. От свидетеля счастливого... Статьи разных времен и воспоминания. 416 стр. Цена 1 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Армянская классическая лирика. В 2-х тт. Переводы. Т. 1. Древний период. Средние века. V—XII вв. 255 стр. Цена 6 р. 50 к.

Т. 2. Средние века. XIII—XVIII вв. 279 стр. Цена 6 р. 80 к. Ереван. «Советакан грох».

Н. Думбадзе. Десять рассказов. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 160 стр. Цена 45 к.

Э. Межелайтис. Голос. Стихи. В переводе Л. Мартынова. Вильнюс. «Вага». 150 стр. Цена 60 к.

И. Пташников. Мстжиж. Роман. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літэратура». («Белорусский роман») 366 стр. Цена 1 р. 50 к.

Средняя Азия в творчестве русских писателей. Из истории русско-восточных литературных контактов. Коллективная монография. Ташкент. «Фан». 227 стр. Цена 1 р. 90 к.

Устно-поэтическое творчество мордовского народа. В 8-ми тт. Т. 1. Кн. 2. Исторические песни XVI—XVIII ввек. Саранск. Мордовское книжное издательство. 352 стр. Цена 2 р. 21 к.

Г. Цадаса. Уроки жизни. Стихи. Перевод с аварского. Махачкала. Дагкнигоиздат. 142 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 25/XI 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/I 1978 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 10901. Тираж 270.000 экз. Зак. 3869.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 052.

Цена 70 коп.

70636